

Юрий ПОЛЯКОВ



Выдуманная История
ДЕМГОРОДОК

АПОФЕГЕЙ ❁ Парижская любовь Кости Гуманкова

Юрий ПОЛЯКОВ



Выдуманная История
ДЕМГОРОДОК

АПОФЕГЕЙ

Повесть

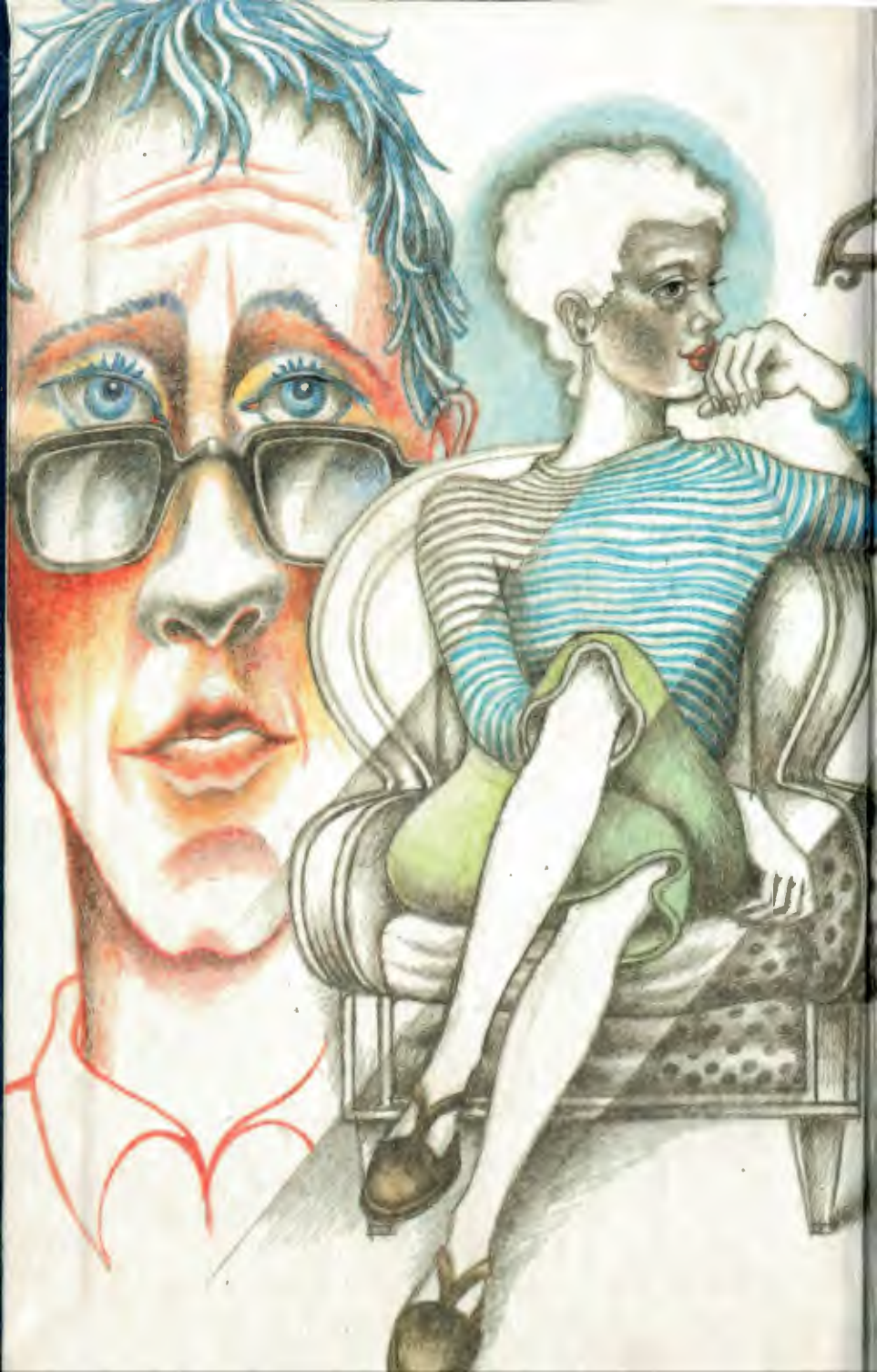


Парижская любовь

Кости Гуманкова

Повесть

РЕЦЕНЗИИ



Парижская
любовь
Кости Гуманкова



АПОФЕГЕЙ





ДЕМГОРОДОК
Выдуманная История



АПОФЕГЕЙ
Повесть



Парижская любовь
Кости Гуманкова
Повесть



Рассказы
и
статьи



ЗЕМЛЯ И НЕ ТАКИХ... ИСПРАВЛЯЛА!



Юрий ПОЛЯКОВ



ДЕМГОРОДОК

Выдуманная История



АПОФЕГЕЙ

Повесть



Парижская любовь

Кости Гуманкова

Повесть



Рассказы

И

статьи



Москва
Издательство «Республика»

1994

Художник *А. А. Пчелкин*

- Поляков Юрий Михайлович**
П54 Демгородок: Выдуманная История; Апофегей: Повесть; Парижская любовь Кости Гуманкова: Повесть; Рассказы и статьи.— М.: Республика, 1994.— 415 с.: ил.
ISBN 5—250—02428—9

Юрий Поляков — один из самых читаемых современных российских писателей. Каждая его книга вызывает острый интерес, споры критиков, мгновенно исчезает с прилавков (вспомним хотя бы нашумевшие повести «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», по которым были сняты фильмы).

В новый сборник писателя вошли популярные повести «Апофегей» и «Парижская любовь Кости Гуманкова», а также полный текст последнего произведения — «Демгородок» (с журнальным вариантом и отрывками из него читатель мог познакомиться в «Смене» и других периодических изданиях). Это одновременно детектив, антиутопия, пародия и политическая сатира, довольно злая.

Прозу Ю. Полякова отличают занимательные сюжеты, яркие характеры героев, тонкая ирония и точный язык. Его повести заставляют задуматься о таких серьезных вещах, как любовь, верность, долг, судьба Отечества...

Широкий резонанс получили рассказы, эссе, статьи, цикл лирических миниатюр «Апофегмы», публиковавшиеся в печати. Некоторые из них включены в книгу. В публикуемых в сборнике статьях автор предлагает читателю свое видение процессов и событий, происходивших в последние годы в жизни страны.

Адресуется самому широкому читателю.

П 4702010200—068
079(02)—94

ББК 84Р7

ISBN 5—250—02428—9

© Издательство «Республика», 1994



В глубоком подвале у пана Данила,
за трами заикались, сидит колдун,
закованный в железные цепи; а подале
над Днепром горит божовский его замок,
и алые, как кровь, волны хлещут
и толпятся вокруг старинные олен.
Не за колдовство и не за богопротивные
дела сидит в глубоком подвале колдун:
или судия Бог; сидит он за тайное
предательство, за оговоры с врагами
православной Русской земли...

И. В. Тоголь „Страшная мистика“

На третьем контрольно-пропускном пункте «дерьмовоз» проверяли в третий раз. Шофера ассенизационной машины Мишку Курылева поставили лицом к стене и обшарили, как последнюю подпольную сволочь из банды каких-нибудь там «молодых львов демократии». А сержант спецнацгвардейцев Ренат Хузин даже на всякий случай пошерудил у Мишки промеж ног автоматным стволом, чего раньше никогда не делал.

— Ну, ты достал! — тихо возмутился Курылев.

— Согласно приказу коменданта! — дружелюбно объяснил сержант Хузин.

Никогда еще Мишке не приходилось слышать, чтобы военный человек говорил «согласно приказу». Абсолютно все, включая коменданта Демгородка генерал-лейтенанта Калманова и даже самого Избавителя Отечества адмирала Рыка, обязательно говорили «согласно приказа». Не снимая пальца со спускового крючка АКМа, Ренат ловко вскочил на «дерьмовоз», откинул крышку люка и фонариком осветил в смердящую утробу цистерны.

— Никого нет? — простодушно изумился Курылев.

— Если бы там кто-нибудь был, тебя уже не было бы! — мгновенно отреагировал Ренат и улыбнулся с каким-то чисто восточным пренебрежением.

— Из-за письма, что ли, дергаетесь? — участливо спросил Мишка.

— Не дергаемся, Казанова, а служим Возрожденному Отечеству!..

Сколько раз Курылев пытался перешутить или хотя бы удачно поддеть сержанта, даже домашние заготовки придумывал, но безрезультатно... Оно и понятно: Хузин попал в спецнацдивизию «Россомон» со второго курса филологического факультета МГУ по добровольному набору в честь первой годовщины исторического рейда подводной лодки «Золотая рыбка» к берегам Японии. Он и здесь в свободное от дежурства время Сен-Жон Перса читает!

Спрыгнув на землю, Ренат брезгливо осмотрел свой пятнистый комбинезон, поправил казаковатую папаху и достал из кармана пачку «Шипки». Сразу забыв обиды, Курылев с удовольствием принял редкостную сигаретку.

— И вонючее же дерьмо у демократов! — молвил сержант, закуривая.

— Это добро у всех одинаковое...— с рассудительностью профессионала отозвался Мишка, втягивая в себя заморский никотинчик, которым в Демгородке баловались только спецназгвардейцы. Остальные же довольствовались отечественным табачком, произрастающим в абхазской губернии и продающимся на вес в сельмаге с хамским названием «Товары первой необходимости».

Курылев хотел было похвастаться, как подполковник Юртин угощал его потрясающими сигаретами под названием «Царьградские», выпущенными специально к подписанию Варненской Унии, но, подумав, делать этого не стал.

— Смелый ты парень, Мишкоатль! — неожиданно сказал Ренат и хитро поглядел на Мишку.

— Почему?

— Потому что любовь и смерть всегда вдвоем...

— Это откуда? Из песни?..

— Из устава караульной службы...— засмеялся Хузин, бросил окурок на асфальт и растер его кованой подошвой.

Наверное, это был условный знак, потому что бронированные ворота медленно раскрылись — и через минуту Мишка уже въезжал на территорию Демгородка. Для тех, кто не видел замечательного телесериала «Всплытие», получившего «Золотую Субмарину» на международном московском фестивале, я в общих чертах опишу место действия.

Демгородок очень похож на обычный садово-огородный поселок, но с одной особенностью: по периметру он окружен высоким бетонным забором, колючей проволокой и контрольно-следовой полосой, а по углам установлены сторожевые вышки, стилизованные под дачные теремки. На каждом шести сотках стоит типовое строение с верандочкой. Все домики выкрашены в веселенький желтый цвет и отличаются друг от друга лишь крупно намалеванными черными номерами.

Через весь Демгородок проходит довольно широкая асфальтированная дорога, которую сами изолянты с ностальгическим юмором именуют Бродвеем. Она упирается в длинное блочное здание, украшенное большим транспарантом «Земля и не таких... исправляла! Адмирал Рык». В правом крыле расположен почти всегда закрытый зубоврачебный кабинет, в левом — валютный магазинчик, а посредине — кинозал с хорошей клубной сценой.

Достопримечательность Демгородка — искусственный пруд с пляжиком, присыпанным песком. За прудом — кладбище,

пока еще небольшое, могил в тридцать, а за кладбищем обширное общественное картофельное поле, упирающееся, разумеется, в забор. От широкого Бродвея ответвляются дорожки поуже, но не асфальтированные, а просто посыпанные щебенкой. По ним можно подъехать к любому из 984 домиков — хотя бы для того, чтобы вычистить выгребные ямы...

Мишка сердито посигналил — жердеобразный изолянт, понуро тащившийся по Бродвею, испуганно встрепенулся и сошел на обочину. Это был поселенец № 236, знаменитый эстражник, угодивший сюда за чудовищную эпиграмму на Избавителя Отечества:

Какой-то пьяный адмирал
Подол Россиюшке задрал...

Кстати, поначалу никаких «удобств», а значит и выгребных ям в Демгородке не было: просто-напросто слева от каждого домика торчала банальная дощатая будка. Один веселый вертолетчик сказал даже, что сверху поселок похож на парад дам с собачками. Но после того как один за другим сразу шесть изолянтов (два из команды ЭКС-президента, три из команды экс-ПРЕЗИДЕНТА и один нераскаявшийся народный депутат) повесились почему-то именно в этих непотребных скворечниках, из Москвы пришло распоряжение: будки переоборудовать под летние душевые. А вскоре появилась и асенизационная машина.

Поначалу Демгородок был задуман как своего рода заповедник, где государственные преступники, изолированные от возмущенного народа, должны были один на один остаться с невозмутимой природой. Но в первую же зиму несколько человек померзло, а прочие истощились до неузнаваемости. Хотя всем и каждому весной были выданы семена, а осенью — дрова! Узнав об этом, адмирал Рык раздраженно поиграл своей знаменитой подзорной трубкой и произнес: «Еще странной хотели руководить, косорукие! Обиходить!..» С тех пор в Демгородке появились центральная котельная, медпункт, продовольственный склад, а позже и валютный магазинчик «Осинка».

Сверившись с путевкой-нарядом, Мишка свернул к домику № 186. На крыльчке сидел пожилой изолянт и с государственной сосредоточенностью чистил морковь. Его глянцева лысина состояла в каком-то странном, диалектическом противоречии со щеками, покрытыми недельной щетиной. Как и все обитатели Демгородка, одет он был в джинсовую форму, пошитую специально для первых российских Олимпийских игр. Но адмирал Рык забраковал эту форму, сказал, что такие «балахоны»

можно шить только врагам. Его поняли буквально и всю неудавшуюся спортивную одежку распихали по демгородкам, предварительно споров олимпийские эмблемы — гербового орла, держащего в когтях пять колец. От прежнего, устаревшего, новый орел отличался тем, что головы его смотрели не в разные стороны, а друг на друга и с явной симпатией.

— Здравствуйте, дорогой! — вкрадчиво поприветствовал лысый и помахал морковкой.

— Здравствуйте, № 186, — хмуро отозвался Курылев, засовывая толстую гармошчатую кишку в отверстие выгребной ямы.

По инструкции охрана и персонал Демгородка обращались к изолянтам исключительно по номерам. Причем если осужденный — крайне редко! — проживал вместе с родственниками, то инструкция предусматривала прибавление к номеру соответствующей литеры. Ну, к примеру: жена — № 186-А, дочь — № 186-Б, сын — № 186-В. И так далее. Но к лысому эта детализация отношения не имела, так как все близкие от него отказались, опубликовав открытое письмо в «Известиях».

— Хорошая сегодня погодка, не так ли? — не обращая внимания на Мишкин тон, с неестественной задумчивостью продолжил лысый.

— Хорошая, — буркнул Курылев, потянул на себя рычаг, кишка дернулась — и процесс пошел.

— А верно, что Стратонова застрелили в Нью-Йорке? — спросил приставучий изолянт.

— Передавали, что погиб при невыясненных обстоятельствах... — уклонился от ответа Курылев, хотя доподлинно знал: бывшего президента телекомпании «Останкино» искрошили автоматными очередями прямо в супермаркете, в рыбной секции, несмотря на его фальшивый паспорт и накладную бороду.

До прихода к власти адмирала Рыка сам лысый заведовал у Стратонова популярной программой «Результаты» и, появляясь на экране, врал до изнеможения.

— А ведь я его предупреждал! — почти удовлетворенно заметил изолянт. — «Не достанут, не достанут!» Достали.

— Возмездие народа неотвратимо, — подтвердил Мишка, предпочитая в подобных случаях отделяться фразами, которых вдоволь слушался, томясь на КПЗ (контрпропагандистские занятия).

Занятия обычно проводил майор из рижского филиала Всероссийского центра исследований политико-морального состояния личного состава (ВЦИ ПОЛМОРСОС). Рассказывал пол-

морсосовец и о лысом — матером агенте влияния, посаженном в Демгородок за подрыв государственного самосознания населения и злостную сионизацию эфира. Правда, по национальности он был всего-навсего армавирским греком, но, как справедливо заметил адмирал Рык в речи по случаю восстановления фонтана «Дружба народов» на ВДНХ, «национальность гражданина определяется его любовью к Родине, а не длиной его носа».

— Хотите морковку? — неожиданно предложил лысый.

— Нет, № 186, не хочу! — резко отказался Мишка: инструкция строго-настрого запрещала любые виды неформальных контактов с поселенцами.

— Извините...— поняв свою бестактность, смутился бывший сионизатор эфира.— Я просто хотел спросить вас, что вы думаете об амнистии? Ходят слухи...

— О чем? — обалдел Курылев.

— Об ам... Об амнистии. Ведь И. О.— великодушная личность...

— Не понял? — нахмурился Мишка.

— Простите, пожалуйста, я хотел сказать: ведь Избавитель Отечества — великодушный человек, и к свадьбе, надо полагать...

— Еще какой великодушный! А то бы вы уже давно червей сионизировали! — лихо сказанул Мишка и пожалел, что Ренат его не слышит.

— Ну зачем же вы так...— выронив морковку, пробормотал лысый.

Тем временем гармошчатая кишка зачмокала, как если бы великан попытался через соломинку добрать из гигантского стакана остатки коктейля с вишенками. Курылев выключил насос, глянул на часы, показывавшие 15.37, но в путевке-наряде почему-то записал 16.07. Потом, даже не попрощавшись с поникшим 186-м, он вырулил на Бродвей и медленно двинулся вдоль сетчатых заборов с металлическими калитками. При этом Мишка внимательно осматривал улицу, совершенно безлюдную, если не считать попавшегося навстречу изолянта, похожего на выросшего до необъяснимых размеров крота. Он с трудом волок две туго набитые полиэтиленовые сумки с надписью «Осинка», да еще под мышками нес длинную коробку спагетти и пивную упаковку о шести банках.

Поравнявшись с домиком № 55, Мишка сердито остановил машину, вылез из кабины, поднял капот и озабоченно уставился в прокопченные кишки «дерьмовоза». Разглядывал он их до тех пор, пока перегруженный человек-крот не скрылся на своем участке.

— Вот зараза! — воскликнул Курылев и повернул кепку козырьком к затылку.

Копавшаяся в грядках темноволосая девушка, одетая во все тот же олимпийский комплект, бросила тяпку, встала с колен и подошла к ограде. У нее была странная, запечатленная улыбка, какую иногда можно видеть на лице человека, старающегося по возможности весело рассказать о своем горе.

— Извините, № 55-Б,— произнес Мишка зло и отчетливо.— Можно, я наберу воды? Мотор перегрелся...

— Пожалуйста,— пожав худенькими плечами, ответила она.

Курылев достал из кабины грязное помятое ведро и, толкнув калитку, ступил на дорожку, ведущую прямо к крыльцу. Но сначала он снова внимательно огляделся — кругом не было ни души. «Мемуары строчат!» — подумал Мишка, имея в виду ЭКС-президента и экс-ПРЕЗИДЕНТА, живущих в соседних домиках.

Эту часть Демгородка изолянты между собой именовали «Кунцевом» — и действительно, самые крупные злодеи периода Демократической Смуты проживали именно здесь. Курылев посмотрел на возводимую возле президентских домов будку, похожую на те, что обычно стоят возле посольств. Там тоже никого не было — строители уже ушли. Будку назначили сюда совсем недавно, после того как неделю назад в окно ЭКС-президента влетел булыжник, по-гастрономному завернутый в письмо следующего содержания:

ГОТОВЬСЯ, ГАД, К СМЕРТИ!

Молодые львы демократии

На крыльце Мишка тщательно вытер ноги, а особенно плотно прилипшую лепешку грязи соскреб, поелозив подошвой по ступенькам.

— На кухню проходите,— громко подсказала девушка и сама пошла вперед.

На маленькой веранде стоял застеленный старой клеенкой стол, а на нем — трехлитровая банка с темно-алыми пионами. Опущенные в воду стебли были обметаны крошечными пузырьками воздуха. Упавшие на клеенку лепестки напоминали густые, чуть подсохшие капли крови. Курылев прошел в кухню, поставил ведро в раковину и включил воду.

— Ржавая,— предупредила девушка.

— Мне без разницы.

Она покачала головой и подошла к плите, где на маленьком огоньке кипела, чуть подрагивая крышкой, кастрюлька.

Срочную службу Мишка тянул в Душанбе (теперь это уже Афганистан) и как-то раз в магазинчике видел чудной ценник: «Набор: кастрюл, кастрюла, кастрюлчик — 10 р. 50 к.»

Девушка зачем-то приподняла пальцами крышку и тут же со звоном ее уронила.

— Обожглась? — спросил он.

— Чуть-чуть. Но так даже лучше...

— Почему?

— Не знаю. Боль успокаивает.

— Выдумщица ты, Ленка! Где отец-то?

— На пруду,— ответила она, подходя к нему,— рыбу ловит...

— А он не вернется?

— Нет, я сказала, что приду полоскать белье. Он будет ждать.

— Послушай, а он знает про меня?

— Конечно.

— Ну и что он говорит?

— Не переживай! Совсем не то, что Озия — Юдифь...— засмеялась Лена и обняла Курылева.

Ведро в раковине наполнилось, и вода полилась через край.

— Пахну я, наверное, черт те чем,— вздохнул Мишка.

— Дурачок ты! — снова засмеялась она и сильно потерлась щекой о его спецовку.

Мишка поцеловал ее в смеющиеся губы, поцеловал так, как целуют только близких, уже изведанных женщин. При этом он ухитрился глянуть в окно — между занавесками виднелись калитка и часть посыпанной красноватым песком дорожки.

— Ми-ишка, я так соскучилась! — вздохнула Лена.

— Я тоже...

— Ми-ишка, пойдем в спальню,— попросила она.

— Нельзя — могут подкрасться. Ты пойми!

— Ну, пожалуйста!

— Нельзя, Леночка! Мне тоже хочется по-людски, но нельзя!

— Я понимаю...

Она подошла к крану, выключила воду и медленно начала расстегивать металлические пуговицы, на которых был выдавлен все тот же орел с подружившимися головами.

— Я думала, мы вечером увидимся...

— Сегодня фильма не будет,— не сразу отозвался Мишка.

У него всегда перехватывало дыхание, когда он видел, как она, заведя руки за спину и изогнувшись, расстегивает лифчик.

- Почему? — спросила Лена.
- Подарок вам к празднику.
- К какому празднику?
- К дню рождения И. О.
- Аа-аа... Понятно.

Сняв с себя все, она обернулась к Курылеву и стояла перед ним, одной рукой стараясь прикрыть грудь, а другой темный ухаженный треугольничек.

— Похожа я на боттичеллиевскую Венеру? — с неловкой игривостью спросила она и покраснела.

— Есть немного...— ответил Мишка, подходя к ней вплотную.— Но у тебя фигура лучше!

Теперь, после шершавой казенной «джинсы», ее тело показалось Курылеву таким бесплотно-нежным и шелковистым, что даже пальцы занемели. Мишка обнял Лену сзади, бережно подтолкнул к окну и ласково заставил опереться руками о подоконник.

— Тебе сегодня можно? — шепотом спросил он.

— Конечно! — тоже шепотом ответила она и, оглянувшись, поцеловала его в шею.— Конечно, можно! Не думай об этом... Боже мой, Ми-ишка!..

— Тише! — Не отводя глаз от окна, Мишка закрыл ей рот ладонью.— Только тише!..

... Потом, уже сев в машину и положив еще не успокоившиеся руки на «баранку», Курылев заметил возле большого пальца два красных, вдавленных в кожу полукружья, следы от ее зубов, похожие на две скобочки. И он почему-то вспомнил, как по правилам школьной математики сначала нужно выполнить действия с числами, заключенными в скобки, а потом уже все остальное...

2

В четырех километрах от деревни Алешкино, если идти через лес, любознательный путник еще пяток лет назад мог обнаружить поросший березняками торфяник, который местные жители называли Змеиным болотом. Раньше там и в самом деле было болото, но потом его осушили, намереваясь отдать землю под садово-огородное товарищество Союзу советских писателей. Но когда начальствующие литераторы приехали осматривать место, то обнаружили почти на каждой кочке по свернувшейся кренделем гадюке. Оценив обстановку, они заявили, что им, кроме этого Змеиного болота, хватает и своих, во многом похожих, внутривисельских проблем. Тогда райис-

полком решил попрिдержать участок, чтобы со временем рвануть за него в городе у какой-нибудь более заинтересованной организации несколько приличных квартир. Так оно и случилось бы, но негоция, как это часто бывает, подзатянулась, а потом разразилась Демократическая Смута...

Через неделю после того, как адмирал Рык объявил по телевидению, что все, имевшие отношение к низвергнутому режиму врагоугодников и отчизнопродавцев, понесут неотвратимое наказание,— на Змеином болоте приземлился вертолет. Пригибаясь и придерживая руками головные уборы, из него вылезли человек в штатском, генерал и куча суетливых полковников.

— Сколько отсюда до ближайшего населенного пункта? — спросил штатский, внимательно ковыряя мыском ботинка торфяную почву, похожую на отработанный «экспрессом» кофейный жмых.

— Четыре километра, господарищ первый заместитель! — отчеканил совсем еще молоденький полковничек. В синих петлицах его шинели золотились маленькие двуглавые орлы, держащие в лапках щит и меч.

— Близковато,— покачал головой штатский.— А до станции?

— Тридцать один километр, господарищ первый заместитель! — доложил другой полковник.

— Далековато... А как называется это место?

— Змеиное болото, Петр Петрович,— усмехнувшись, сообщил генерал.

— Да ты, Калманов, смеешься надо мной!

— Ей-Богу, Петр Петрович!

— Ну, если и вправду Змеиное болото, тогда подойдет! — захохотал штатский.— Доложу И. О.— не поверит!..

... Вертолет поднялся в воздух и, чуть заваливаясь на бок, скрылся из виду. А через два часа целая колонна выкрашенных в защитный цвет КРАЗов привезла на торфяник военных строителей. Они разбили большие, похожие на шатры походные палатки и приступили к работе. Гадюк убивали саперными лопатками и подвешивали к ветвям большой березы, которая в конце концов стала походить на некое культовое дерево каких-нибудь там друидов.

Почти ежедневно на Змеином болоте появлялся уже знакомый нам генерал. Он хозяйственным шагом обходил строительную зону и придирчиво следил за тем, как солдатики размечают колышками территорию, как наскоро из широких бетонных плит мостится дорога, как экскаваторы начинают рыть траншею под фундамент.

— Господариш генерал, а не жирно им будет по шесть соток-то? — как-то раз обиженно спросил его по пояс вымазанный в торфяной жиже командир стройвзвода.

— По мне, поручик, для них и двух квадратов достаточно... Но это приказ адмирала Рыка!

Поначалу алешкинцы оторопело приглядывались к созидательному авралу, закипевшему рядом с их деревенькой. К тому же за годы Демократической Смуты от всяких видов строительства, за исключением трехэтажных особняков, принадлежавших новым хозяевам жизни, народ сильно поотвык. А тут такое дело! Но потом они сначала робко, а затем посмелей начали приставать к солдатам и офицерам с просьбами продать кирпич, цемент, доски, шифер и прочие строительные чудеса, столь необходимые в сельском домовладении. Однако служивые резко отказывались от заманчивых предложений и посылали алешкинцев назад, в деревню. Не удалось даже заманить экскаватор, дабы углубить и расширить придорожный кювет, прилично замусорившийся за последние двадцать лет. И это было уж совсем странно!

— Не положено! — только и отвечали строители.

— Ну а ежели мы поболе того положим? — осторожно приставали селяне.

— За расхищение материалов и нецелевое использование техники на территории спецобъекта — пятнадцать лет! — как по писаному отвечивали им.

— Какого такого спецобъекта?

— За разглашение информации о спецобъекте — исправительно-дезактивационные работы!

На следующий день по деревне поползли слухи, будто пресловутый спецобъект не что иное, как будущая тайная ставка Избавителя Отечества адмирала Рыка. Эта версия вызвала прилив гордой радости, так как жить вблизи столь важного места почетно да и бесполезно. Во всяком случае, снабжение сельмага со свиным названием «Товары первой необходимости» улучшится непременно! Ведь адмирал Рык — человек справедливый и наверняка захочет узнать, как тут в непосредственной близости от тайной ставки обитают простые русские люди. Рассказывали, что недавно он приказал остановить свой бронированный лимузин возле Елисеевского магазина на улице Солженицына и, не обнаружив в витринах никакого сыра, пожелал посетить подсобные помещения, где вышеупомянутый продукт лежал чуть ли не штабелями. «Сыр любишь?» — ласково спросил адмирал очугуневшего в ужасе директора и заставил его есть «голландский» вперемежку со «степным», пока торговый воруга не упал замертво. Теперь,

говорят, в московских магазинах сыр дают чуть ли не в нагрузку.

Наверное, на этих счастливых догадках селяне и успокоились бы, не вяжись в дело киномеханик Второв, единственный, но шумный и неотвязный аleshкинский демократ, собственноручно в свое время расколотивший молотком гипсовый бюст Ильича в клубе и разметавший ленинский уголок в сельсовете. Но особенно он злоупотребил односельчанами во время августовских событий 1991 года, которые, между прочим, адмирал Рык в одной из своих речей назвал «генеральной репетицией великого избавления». Пока конечные результаты «генеральной репетиции» были еще неочевидны, Второв, забаррикадировавшись, отсиживался в своей кинобудке, изредка через проекторные окошки посылая проклятья в адрес командно-административной системы. Но как только исход московских игр стал ясен, он разбаррикадировался и стал бегать по деревне, составляя списки тех, кто не протестовал против ГКЧП. Тогда ему просто-напросто набили морду и отобрали бумажку, куда он успел вцарапать, почитай, всю деревню, включая младенцев, не способных еще выговорить «ГКЧП». После той истории Второв надолго затаил свои демократические наклонности и, лишь когда началось строительство гайнственного спецобъекта, предпочел взять политический реванш.

Перед демонстрацией очередного американского боевика он вышел на сцену и объявил «господам зрителям», будто бы «спецобъект» на самом-то деле строительство аleshкинской атомной электростанции! Следовательно, через несколько месяцев все жители деревни превратятся в мутантов с непредсказуемым количеством конечностей, а мужчины вдобавок лишатся всех своих потенциальных возможностей.

Наутро человек двадцать аleshкинцев, в основном кормящие матери, пенсионеры и мужики, давно утратившие все мыслимые возможности в результате беспробудного пьянства, — загородили дорогу военным строителям. Над головами они держали несколько торопливо и орфографически небезукоризненно сработанных плакатов:

**НЕ ХОТИМ БЫТЬ МУТАНАМИ!
АЛЕШКИНО — БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА!
НА КОЙ БЕС НАМ АЭС?!**

Строители поколебались и на всякий случай вызвали по рации начальство — генерала Калманова. Он примчался часа через полтора на своем бронетранспортере, который был настолько обляпан грязью, что напоминал куриную ножку в соусе

«сациви». Вместе с ним приехали два здоровенных спецназгвардейца из дивизии «Россомон», вооруженные укороченными десантными автоматами.

— Значит, демонстрируете? — строго осведомился генерал.

— Да! И ляжем здесь под ваши проклятые экскаваторы! — задыхаясь от свободолюбия, крикнул Второв и махнул рукой. — АЭС не пройдет!

Поупражнявшиеся вечер в клубе, аleshкинцы довольно слаженно подхватили:

— АЭС не пройдет! АЭС не пройдет!

— У вас тут не то что АЭС, даже вездеход не пройдет, — хмуро отозвался генерал. — А при чем тут АЭС?

И тогда деревенские, перебивая и отталкивая друг друга, заголосили про мутантов с конечностями, про утрату самого заветного, про рентгены, реакторы, радиацию и многое другое, имеющее непосредственное отношение к атомной энергетике. Генерал поначалу слушал, играя желваками, потом посветлел лицом и наконец просто расхохотался:

— Да ведь мы у вас не АЭС строим!

— А что же в таком случае? — ядовито любопытствовал Второв.

— Демгородок.

— Что-о? — изумились демонстранты.

— Дем-го-ро-док.

— А сам-то ты кто будешь?

— Я генерал Калманов, комендант...

Толпа, заступившая путь атомной угрозе, колебнулась и чуть приопустила плакаты.

— Так бы сразу и объявили! Что ж людей зря заблуждать! — крикнула одна очень уважаемая деревенская старушка, вдова незапамятного колхозного председателя, скончавшегося в начале шестидесятых прямо на заседании бюро райкома партии.

— А у меня сестра замужем возле Академгородка живет! — подхватила иная старушка. — Люди там аккуратные, и снабжение хорошее!

— Господа, господа, не верьте — он нагло лжет! — вскричал Второв, но пал, сраженный оплеухой крепкого еще пенсионера, у которого он некогда всех внучат записал в гз-качеписты.

— В общем, расходитесь! — приказал генерал и, подумав, спросил: — А другой дорогой к станции проехать можно?

Демонстранты, все еще держа плакаты, но уже горячо симпатизируя коменданту, хором начали объяснять, что на первой развилке нужно повернуть налево, у бугра, где в войну

был немецкий ДОТ,— направо, а уж потом двигаться прямо и обход..

Генерал пожал плечами и указал пальцем на поднявшегося с земли Второва:

— Этот дорогу знает?

— А как же! — закивали алешкинцы.— Все время нам разную американскую дрянь из города возит! Никакого тебе русского кино не покажет.

— Знает — скажет,— молвил комендант и еле заметно дернул щекой, но приехавшие с ним спецназгвардейцы поняли эту мимическую судорогу как вполне конкретный приказ. Они схватили Второва, только и успевшего пискнуть «Про...», и, словно мешок с картошкой, метнули его внутрь бронетранспортера.

Весь оставшийся день сельчане гадали, что же имел в виду изъятый киномеханик: «Про...тестую!» или «Про...курора!» Но этот вопрос остался открытым, ибо Второв исчез надолго — и алешкинцы в течение трех месяцев, покуда не объявился новый кинокрут, обходились без фильмов.

Оставался еще, конечно, верный друг долгих сельских вечеров — телевизор. Однако, придя к власти, адмирал Рык строгонастрого запретил пускать в эфир всякую там западную и отечественную непотребщину. Одну сомнительную дикторшу мгновенно уволили лишь за необдуманно низкое декольте. По этому поводу видный сексовед в узком кругу заметил, что если так пойдет и дальше, то лет через двадцать в России женские ключицы станут таким же эротическим объектом, как, допустим, бюст. В целом же телепрограммы теперь были выдержаны в духе созидательной умеренности и гражданской ответственности, но в конце месяца, если сводки Статистического управления внушали оптимизм, по «ящику» показывали какой-нибудь достойный развлекательный фильм, чаще индийский или мексиканский.

А каждую субботу, вечером, перед народом выступал сам адмирал Рык. Он делился мыслями о текущей политике и экономике, рассказывал поучительные истории из своей морской жизни, а в заключение непременно сообщал об очередном понижении цен. Прежде чем принять какое-либо важное решение, он всегда советовался с людьми. Так и говорил, глядя с экрана в душу: «Давайте-ка, соотечественники, посоветуемся!» Однажды адмирал Рык сказал, что у капитализма и социализма есть свои сильные и слабые стороны, поэтому слабые стороны разумнее всего отбросить, а сильные, напротив, объединить и взять на вооружение. В связи с этим, для начала, Избавитель Отечества предложил отказаться в быту от слов «товарищ» и «господин», а обращаться друг к другу по-новому — «господарищ»,

что как-то больше соответствует тому особому пути, которым двинулась возрожденная Россия. «Вот, понимаете, хочу с вами посоветоваться. Согласны! Спасибо за поддержку!..» А рано утром продравшая глаза держава уже читала в воскресных газетах указ о новой обязательной форме обращения граждан друг к другу.

Появляясь на экране, адмирал был неизменно одет в глухой темно-синий китель с единственным украшением — значком в форме крошечной подводной лодки, а в руках обязательно держал маленькую серебряную подзорную трубу, каковую складывал и раздвигал в государственной задумчивости. Но особенно простым людям нравилось его отечественное лицо со следами житейских невзгод и некоторых излишеств. Частная жизнь Избавителя Отечества давно уже обросла мифами и легендами. В очередях можно было услышать рассказы о том, что адмирал способен не моргнув выпить литр «шила» — так на флоте называют спирт; о том, что у него сейчас крепкий романец с популярной исполнительницей народных песен Ксенией Кокошниковой, но жену свою, Галину, и сына-нахимовца он никогда не оставит, как и подобает настоящему мужчине!..

Тем временем Демгородок рос не по дням, а по часам. Всего за три месяца Змеиное болото превратилось в большущий поселок, обнесенный высокой бетонной стеной. И все-таки к сроку сдачи, указанному Избавителем Отечества, не поспевали и потому работали круглые сутки, ночью при свете прожекторов. По недостроенным объектам метался взмыленный генерал Калманов и кричал, что если они не успеют к завершению процесса, то он, Калманов, перед тем как застрелиться, сначала люто расправится со всеми лентяями и разгильдяями, срывающими дело государственной важности!

А к Демгородку все шли и шли груженные КАМАЗы. Теперь их кузова были плотно набиты яблонями-трехлетками, и машины издали напоминали огромных ежей.

— Сажать будут! — догадались алешкинцы, и как в воду глядели...

В субботу вместо традиционного обращения к российскому народу по телевизору показали пресс-конференцию адмирала Рыка, которую он давал отечественным и зарубежным корреспондентам по случаю окончания судебного процесса над «заправилами и пособниками псевдодемократического антинародного режима». Тогда-то он и заявил, что все эти врагоугодники и отчизнопродавцы будут изолированы от общества в специальных садово-огородных поселках.

— Вот те и на! — оторопели алешкинцы.

Были удивлены и представители печатных изданий.

Корреспондент журнала «Огонек». Многоуважаемый госпoдарищ адмирал, чем вызвана такая странная снисходительность к этим выродкам и агентам влияния?

Адмирал Рык. Хороший вопрос. Я вижу, «Огонек» перестал гореть желтым огнем! (Смех в зале.) Так вот, суд, как вы уже знаете, вынес всем смертные приговоры, но мы посоветовались и сочли возможным сохранить им жизнь, чтобы они своими глазами увидели возрожденную Россию. Это для них будет самым большим наказанием! (Аплодисменты.)

Корреспондент газеты «Московские новости». Прежде всего, госпoдарищ гвардии адмирал, я хочу от себя лично и от имени моих коллег поблагодарить вас за встречу и откровенный разговор! А теперь мой вопрос. Стало известно, что эти предатели Родины будут жить в собственных домиках и даже получают шесть соток для огородничества! И это в то время, когда честные труженики...

Адмирал Рык. Отставить! Вопрос понят. Мы посоветовались и решили: пусть в земле покопаются, пусть сначала хрен с редькой научатся выращивать! (Смех, одобрительные выкрики.) Деятели! Пусть поживут так, как простой народ жить заставляли! (Аплодисменты.)

Корреспондент газеты «Вашингтон пост». Госпoдин адмирал, каким образом вы хотите обходиться с родственниками узников?

Адмирал Рык. Близким родственникам изолянтов мы разрешим жить вместе с ними.

Корреспондент. Как это много?

Адмирал Рык. Мало. Большинство родных и близких не хотят иметь с этими выродками ничего общего. Пока к нам обратились всего несколько жен и дочь одного изолянта...

Корреспондент. О, тем не менее это будут новые декабристки! (Возмущение в зале.)

Пресс-секретарь адмирала. Мистер Ларднер, покиньте зал! Вы нарушили регламент. Мы договаривались только по одному вопросу!

Корреспондент газеты «Российский Крым». Скажите, ради Бога, возможен ли побег из мест поселения? Нас, крымчан, как известно, страшно пострадавших в годы демократического лихолетья, чрезвычайно волнует этот вопрос!

Адмирал Рык. Побег исключен.

Корреспондент газеты «День». Госпoдарищ адмирал флота, мондиалистские средства информации кричат о якобы массовом строительстве спецпоселений у нас в стране,

чуть ли не о возрождении ГУЛАГа. Что вы думаете по поводу этой клеветы?

Адмирал Рык. Врут и не краснеют. Построено два объекта, каждый примерно на тысячу посадочных мест, не считая членов семей. Узок круг этих негодяев... Ну, и так далее...

Корреспондент. А бывшие президенты? Где они будут отбывать наказание? Или на них помилование не распространяется?

Пресс-секретарь. Коллега, вы нарушаете регламент! Мы договаривались...

Адмирал Рык. Да ладно уж... Экс-президенты будут огородничать вместе со своими подручными. Земля и не таких засранцев исправляла... *(Смех, одобрительные аплодисменты.)*

...А на следующий день, когда алешкинцы бурно обсуждали итоги пресс-конференции и гадали, как отразится прояснившееся назначение Змеинового болота на ассортименте сельмага с подлым названием «Товары первой необходимости», к Демгородку подъехали две зарешеченные машины под охраной взвода спецнацгвардейцев из дивизии «Россомон». Из машины вылезли два экс-президента с супругами. Бывшие лидеры старательно, лишь бы не встретиться взглядами, озирались по сторонам, точно рассматривая одним им видимые фрески. После обоюдного рукоприкладства, случившегося во время очной ставки и показанной по распоряжению И. О. — простите, Избавителя Отечества! — по телевизору всему народу, они прекратили между собой всякое сообщение. И только жены чуть заметно кивнули друг другу — женщины всегда дальновиднее...

С лязгом отворились огромные бронированные ворота, и первые жители Демгородка ступили на свежеположенный, мягкий еще асфальт. Их следы можно и сегодня увидеть возле третьего КПП.

3

Мишка Курылев объявился в родной деревне после почти восьмилетнего отсутствия. Впрочем, нет — пять лет назад, будучи еще курсантом Таллинского (ныне Ревельского) военного училища, он приезжал в Алешкино на похороны матери, крепко запил с горя, но даже в таком беспросветном состоянии наотрез отказался продать отчий дом молодому зоотехнику, присланному из города. Правда, «отчим» этот дом называть не совсем правильно, так как сызмальства о своем отце Мишка не имел никакой информации, кроме, естественно, генетической.

Вернулся же на родину Курылев потому, что из армии его вычистили. О причинах такой немилости по алешкинским завалинкам бродили разные слухи. Поговаривали, что подпоручик Курылев, с мальчишеских лет отличавшийся перехватистостью, попался на спекуляции долларами и по этой причине за месяц до присвоения очередного звания был с позором выставлен из вооруженных сил. Однако эта версия сомнительна по двум причинам. Во-первых, с приходом к власти адмирала Рыка времена, когда офицерам, чтобы прокормить семью, приходилось рыть канавы и мыть витрины, безвозвратно закончились. Выступая по телевидению с сообщением о многократном увеличении жалования военнослужащим, Избавитель Отечества очень точно заметил: «У офицера после окончания служебного дня должна оставаться одна проблема — снять сапоги...»

Но даже если Мишку и обуюла совершенно необъяснимая в свете адмиральской щедрости алчность, то все равно оставалась вторая причина: за спекуляцию валютой давали пожизненное заключение, а могли отправить и на исправительно-дезактивационные работы. Всем еще памятен знаменитый случай, когда Избавитель Отечества объявил конкурс на новый государственный гимн и поручил сочинительство композитору, заранее приглянувшемуся ему своей песней «Нам родину вернул отважный адмирал!». Недруги и завистники, желая, конечно, скомпрометировать своего попавшего в случай коллегу, перед торжественным концертом тайком подкинули ему на пюпитр десятидолларовую купюру. В самый разгар кантаты, дирижируя и переворачивая страницы, композитор наткнулся на коварный «бакс» и умер на месте от разрыва сердца...

Мне кажется, ближе к истине вторая версия Мишкиного вылета из армии, витавшая в основном среди женской части Алешкино. Ведь еще будучи простым мальчишкой, Курылев, голубоглазый и настойчивый, бряцавший в школьном ансамбле на бас-гитаре, перепроставал почти ко всем пригожим алешкинским девчонкам. Став офицером, он — как подозревали — неуважительно спутался с дочкой какого-то там генерала и был за это сурово наказан. Косвенно эта гипотеза подтверждалась довольно-таки странным поведением воротившегося Мишки. Разумеется, как боеспособного мужчину, его сразу же захотели женить — и несколько заневестившихся односельчанок завязали с Курылевым целенаправленную дружбу. А одна, самая спытная, даже напросилась к нему на чай и дала себя попробовать, как на рынке дают попробовать тонко отрезанный кусочек соленого огурчика. Однако или Мишка не распробовал, или после своей служебной драмы вообще потерял охоту

к соленому, но жениться он не стал ни на опытной, ни на какой другой.

Более того, к изумлению односельчан, Мишка решил продать дом и поискать счастья на бескрайних российских просторах. Даже нашел покупателя — одного небезызвестного биллионщика, который, напротив, решил пересидеть трудные времена в тихой деревне, не высовываясь. В годы владычества врагоугодников и отчизнопродавцев этот богатей был очень популярен тем, что иной раз жертвовал тышчонку-другую то роющейся по помойкам бывшей стахановке, то обезвитаминенному математическому вундеркинду. Об этом много тогда писали, даже сняли о молодом щедром биллионщике документальный фильм «Феномен джинсового мальчика». Путь в бизнес он начал студентом с того, что попросту сдавал свои собственные фирменные джинсы напрокат товарищам по общежитию, отправляющимся на свиданку. Скопив денег, он расширил дело: подкупил джинсов и модных рубашек, затем открыл палатку вблизи университета, а позже — и магазинчик... Переворот адмирала Рыка застал его владельцем сети универмагов и фабрик молодежной одежды. Жил он теперь, конечно, не в общежитии, а в ближнем Подмоскovie, в роскошном особняке с зимним садом.

Придя к власти, Избавитель Отечества сразу же издал указ «О тщательной проверке законности нажитого имущества», и Особый комитет по расследованию экономических преступлений (ОКРЭП) заработал, как хороший снегоуборочный комбайн. У популярного биллионщика неприятности начались после того, как комитетчики обнаружили странный факт: те самые мемориально-стартовые джинсы, которые хранились на виду под стеклом в изысканном офисе удачливого молодого бизнесмена, оказались, во-первых, совсем не его размера, а во-вторых, и вовсе — женскими! Копнув, обнаружили, что свой начальный капитал «джинсовый мальчик» сколотил, сутенерствуя среди бедненьких иногородних студенток, а также снабжая товарищей по общежитию «травкой» и «ширевом».

Понятное дело, имущество его было моментально конфисковано, а сам он скрылся с последним — чемоданом денег. Вот почему его очень даже устраивало неброское Алешкино и невзрачный курылевский домишко, который во избегание огласки он покупал на подставное лицо. В общем, Мишка и подпольный богатей обо всем вроде договорились, даже раздавили бутылочку «адмираловки», но вдруг покупатель внезапно и бесследно исчез. Поговаривали, что его, как и многих, dokonала денежная реформа, без всякого предупреждения проведенная Избавителем Отечества. Адмирала страшно раздражала карамельная рас-

штета купюр, нашлепанных за годы Демократической Смуты. Потрясенный до основ, бывший миллиардер обложил себя несправедно нажитыми и теперь потерявшими всякое достоинство миллиардами и совершил акт самосожжения, оставив адмиралу Рыку развязное до кощунства письмо. Оно, кстати, тоже сгорело...

В итоге Мишка не уехал из Алешкино и даже подремонтировал родовую избушку, но не особенно, а ровно настолько, чтобы спать, не опасаясь быть разбуженным рухнувшей кровлей. К счастью, Курылев выучился по случаю обращаться с проекционной аппаратурой и потому смог устроиться кинемехаником в алешкинский клуб вместо без вести пропавшего Второва. Получал Мишка пятнадцать рублей в месяц, но этих смешных по прошлым временам средств — теперь, после реформы адмирала Рыка, сделавшего рубль самой твердой валютой в мире, хватало, чтобы скромно кормиться и даже позволять себе необременительные удовольствия.

Однако Курылеву этих денег показалось мало, и, когда в Демгородке завели выгребные ямы, он пошел на ассенизационную машину шофером-оператором за 35 целковых в месяц! Впрочем, легко сказать пошел, нет, сначала он получил информацию от соседа, уже устроившегося работать на демгородковскую водонапорку, потом с этой информацией упал в ноги той самой опытной девице, которая определилась поварихой в столовую спецнащвардейцев и даже завела шурымуры с заместителем начальника охраны. Потом с Курылевым подозрительно беседовали начальник гаража штабс-капитан Зотов и начальник финансово-учетного отдела подьесаул Папикян. Наконец Мишкины документы — жуткое количество анкет и тестов — прокрутили на каком-то гигантском компьютере, куда была всунута вся имеющаяся компроматуха на пособников антинародного режима, — и только после этого взяли на работу ассенизатором... Вся деревня, по-доброму болевшая за Курылева, собралась поглазеть, как он в первый раз на своем «дерьмовозе» въехал в бронированные ворота Демгородка. Не успел Мишка отработать и двух недель, как его вызвал к себе новый начальник отдела культуры и физкультуры подполковник Юрятин и предложил ему должность кинемеханика в демгородковском клубе. «Не ожидал?» — спросил он, пристально глядя Курылеву в глаза. «Не ожидал», — честно признался опешивший Мишка. «Думаю, справишься», — сказал подполковник. — Но от халтуры в Алешкино придется отказаться. Дело предстоит серьезное, поэтому надо сосредоточиться и не распляться!» За совместительство Курылеву набросили еще двадцатку, но если учесть потерю пятнадцати

рублей в алешкинском клубе, то прибыль оказался не такой уж и гигантский.

Поначалу изолянтам показывали только киножурнал «Российские новости», чтобы злодеи имели хоть какое-нибудь представление о том, как славно зажила страна, сбросив их со своего исстрадавшегося тела. Других ведь источников информации они не имели: любые виды радиоприборов были строго запрещены. Но ситуация резко изменилась, когда Государственная комиссия по изучению преступлений против народа закончила свою работу и положила стовосьмидесяти-семитомный отчет на стол адмиралу Рыку. Избавителя Отечества особенно потряс тот факт, что за годы господства антинародной клики количество проституток в стране возросло в 8 раз, гомосексуалистов — в 17, а скотоложцев — в 114! «Я всегда подозревал, что демократия — это всего лишь разновидность полового извращения!» — заметил адмирал по этому поводу.

Через неделю Мишке вместо обычных жестяных круглых коробок с новостями привезли еще два железных бочонка-яуфа с полнометражным двенадцатичастевым фильмом. Бросалась в глаза и еще одна странность: если до этого изолянты могли посещать киносеансы по своему усмотрению, то в тот памятный вечер поднятые по тревоге спецназгвардейцы согнали в клуб всех до единого поселенца, включая ходячих больных.

Сперва, как обычно, показали новости, посвященные третьей годовщине Дня национального избавления. Собственно, это были и не новости, а одна большая речь, произнесенная адмиралом Рыком на Красной площади перед несметными толпами ликующих людей, которых особенно воодушевило, что Избавитель Отечества впервые стоял не на каком-нибудь мавзолее, а на капитанском мостике исторической субмарины «Золотая рыбка». Мавзолей же был демонтирован и перенесен в Центральный парк культуры и отдыха имени Александра Проханова, убитого во время печально знаменитого разгрома редакции газеты «День» буквально накануне падения антинародного режима.

Ильичова усыпальница теперь стоит чуть правее популярного среди детворы аттракциона «В пещере вампира», и каждый желающий, бросив в турникет пять копеек, может зайти вовнутрь и осмотреть остатки вождя. Но детишки почему-то предпочитают вампирские кошмары этому тихо лежащему под стеклянным колпаком человеку с остренькой бородкой. Правда, одно время вокруг мавзолея закрутился ажиотаж, так как поползли слухи, будто, нуждаясь в деньгах, адмирал Рык продал

мумию Ленина одному греческому миллиардеру-марксисту в обмен на два танкера красного вина, которое бесплатно раздавалось общественности во вторую годовщину Дня национального избавления. Но лживость этих домыслов довольно скоро разъяснилась — и общественность снова потеряла к историческому телу всякий интерес. А для тех, кто изредка все-таки забредал в мавзолей, к стеклянному колпаку прикрепили две таблички:

**НЕ ЦЕЛОВАТЬ!
НЕ ПЛЕВАТЬ!**

Но вернемся к нашей истории. Едва закончились новости, Мишка включил второй проектор, куда уже была запровлена bobина с началом полнометражного фильма, а сам поставил чайничек и занялся перемоткой. Сначала он даже не обратил внимания на странный ропот, слышавшийся из зрительного зала. Но ропот становился все сильнее, все возмущеннее, тогда Курылев, опасаясь, не пережег ли он ленту, проверил аппарат и на всякий случай глянул в окошечко на экран. Глянул и обомлел: на экране происходило самое бесстыдное совокупление, какое только можно вообразить себе, между огромным негром и белотелой нимфоманкой.

— Прекратите! Позор! Дайте свет! — заголосили в зале.

Кое-кто даже рванулся к выходу, но был довольно грубо остановлен и возвращен на место спецнацгвардейцами. И тут Мишка увидел, как на сцену, тряся своим явно неуставным животом, выбежал подполковник Юрятин. На фоне безумствовавшей во весь экран парочки он был похож на лилипута, залезшего в постель к великанам.

— Курылев, свет! — махнув рукой, крикнул Юрятин.

Мишка выполнил приказ — негр тут же исчез, — только полувидимая нимфоманка продолжала одиноко извиваться на экране. А в зале тем временем забурлил праведный гнев оскорбленных сердец — все это очень напоминало первые, медовые дни российской демократии. ЭКС-президент даже вскочил на откидное кресло и, нелепо балансируя руками, закричал:

— Требую пресс-конференции с участием зарубежных корреспондентов!

— Не топчите мебель — она казенная, — довольно грубо перебил его начальник отдела культуры и физкультуры.

Тем временем экс-ПРЕЗИДЕНТ, с тупым сарказмом наблюдавший за кровным врагом, удовлетворенно ухмыльнулся и сказал что-то на ухо своему любимому пресс-секретарю. Тот картинно откинул голову, похлопал себя ладонями по ляжкам

и протяжно заржал. ЭКС-президент, неумело слезая с кресла, куда взлетел сгоряча, залился краской и глянул на обидчиков с беспомощным презрением. Зато его жена, фыркнув, обернулась к соседке, бывшему министру «социального презрения» (именно так назвал ее пост в одной из своих речей И. О.), и ядовито сказала:

— Боже мой, и этот тип управлял нашей страной!

Но соседка только жалко улынулась в ответ. Ее политическая карьера началась с того, что, выступая на всероссийском съезде демократических воспитателей детских садов, она разрыдалась от избытка чувств — и вызвала овацию в зале. Неожиданный взлет и сокрушительное падение превратили ее в бессловесное запуганное существо.

Наметившуюся и ставшую уже привычной перепалку между сторонниками двух бывших президентов в зародыше пресек подполковник Юртин. Он объявил, что теперь каждую субботу изолянты должны в обязательном порядке смотреть подобную кинопродукцию, чтобы на собственной шкуре ощутить тот непростительный разврат, в который они в годы своего самоуправления пытались ввергнуть Россию. Освобождение от воспитующего сеанса может дать только главврач Демгородка по согласованию с ним — начальником отдела культуры и физкультуры. Вопросы есть? Ответом ему было возмущенное молчание...

Любопытно, что сразу после демонстрации первого фильма распались две супружеские пары. Жена бывшего вице-преьера (№ 376-А) была поражена и оскорблена тем, с каким нескрываемым упоением ее муж смотрел сцены самого разнузданного соития. Заявив, что все мужчины — животные, она собрала вещи и переселилась к изолянтке № 154-А, вдове бывшего следователя по особо важным делам, занимавшегося исчезнувшими деньгами партии и при довольно-таки странных обстоятельствах утонувшего в демгородковском пруду. Но второй случай вышел как раз наоборот: изолянтка № 281-А (жена бывшего президента Ямало-Ненецкого округа) воскликнула: «Ах, вот как это бывает на самом деле!» — и ушла от него к поселенцу № 104 — крепенькому еще начальнику канцелярии ЭКС-президента.

Мишка свел знакомство с Леной тоже благодаря этим киносеансам. Однажды запустив ленту про двух братьев-некроманов, промышлявших на одном из центральных нью-йоркских кладбищ, он решил выкурить полученную от Рената заветную «шипку» на свежем воздухе, спустился вниз по шаткой металлической лестнице и присел на ступеньку. Было лето. Курьлев наслаждался теплым вечером и направленными струйками

дыма отгонял настырных комаров. Услышав всхлипывания, он поначалу решил, что это просто отзвук разворачивавшейся на экране некроманской жуты, но потом, оглядевшись, заметил девушку — она стояла у стены и плакала.

Это была, как вы уже, наверное, догадались, Лена, изолянтка № 55-Б, дочь довольно странного типа, пользовавшегося большим влиянием в администрациях всех президентов, не имея при этом никакой выдающейся должности... Полморсовский майор во время КПЗ уделил поселенцу № 55, между прочим, достаточно много внимания. Поначалу, когда шли первые аресты, про него как-то даже и забыли, как забыли про многих других. Напомнили сами арестованные демократы, которых со всех концов свозили на крытые теннисные корты спорткомплекса «Дружба». Каждый из вновь доставленных, скорбно поприветствовав знакомых, начинал довольно громко вопрошать: «А где такой-то? А этого почему здесь нет?» Спецнашгвардейцам оставалось только записывать фамилии, прояснить адреса и выезжать на задание.

Когда брали 55-го, заметили, что живет он довольно скромно, в отличие от своих сподвижников, совершенно погрязших в валтасаршине. В трехкомнатной квартире, выходявшей окнами на Новодевичий монастырь, ничего особенного не было, кроме двух занюханых «сислеев» и какого-то совсем не кондиционного, не внесенного даже в каталоги «кандинского». Группу захвата № 55 встретил на пороге по-простецки: он был в повязанном вокруг пожилых чресел цветастом кухонном передничке, а в руке держал шумовку. На грозный вопрос, есть ли кто-нибудь еще в доме, он печально ответил: «Никого. Жена умерла три года назад, а дочь учится в Кембридже, пишет диссертацию об Уайльде...»

Эта самая кембриджская уайльдовка в тот теплый вечер стояла возле стены и всхлипывала, закрывая лицо ладонями.

— Допекло? — злорадно поинтересовался Курылев.

— Я больше не могу, — сдавленно ответила девушка. — У папы после этого спазмы... Из-за меня...

— Раньше надо было думать, когда народ гноили!

— Мы не гноили, мы хотели как лучше...

— Верно, как для вас лучше!

— Это неправда!

— Правда. А кто вам вообще-то разрешил выйти из зала?

— Никто...

— Вы что ж, № 55-Б, по «коллективке» соскучились? — пригрозил Мишка, имея в виду принудительную работу на общественном картофельном поле.

— Нет... Я пойду...— испугалась девушка.

— Идите! И чтоб в последний раз! — вошел во вкус Курылев.

Она медленно, держась рукой за стену, дошла до двери, с трудом открыла ее и пропала в сладострастно чмокающей темноте кинозала.

— Строгий ты парень! — вдруг услышал Мишка ехидный голос за спиной.

Это был сержант Хузин.

— Ты ее выпустил? — догадался Мишка.

— Девушек надо жалеть!

— Она не девушка, а изолянтка...

— Послушай, Курылев, ты действительно такой верноподанный или придуриваешься?

— Я вольнонаемный,— отрезал Мишка, давая понять, что, если ему придется выбирать между жалостью и жалованьем, он колебаться не станет.

— Ладно, Кнут Гамсун, давай заказ! — поморщился Ренат.

Курылев протянул ему конвертик, а взамен получил довольно внушительный сверток. Это был бизнес: Мишка незаметно вырезал из фильмов самые забористые кадры и через сержанта Хузина переправлял их изнывающим от безделья спецнагвардейцам, а взамен получал сигареты и прочие достопримечательности боевого пайка.

— Придешь в воскресенье? — спросил Ренат, пряча конвертик в карман пятнистой куртки.

— Ну конечно! А ты меня опять на полполучки кинешь!

— Я буду только левой кидать...

— Я подумаю.

— А ты еще и думать умеешь! — засмеялся Ренат, побусурмански подвизгивая.

Каждое воскресенье проводились соревнования по «демгородкам». Эту игру Избавитель Отечества в одной из своих речей назвал «блестящей народной насмешкой над утешителями», но придумал ее на самом деле советник адмирала по творческим вопросам Николай Шорохов. От классических городков «демгородки» отличались лишь тем, что вместо обычных чурок фигуры складывались из деревянных болванчиков, изображающих всех главных злодеев смелого антинародного режима, и назывались «Президентский совет», «Парламент», «Конституционный суд» и так далее...

Ренат был абсолютным чемпионом среди спецнагвардейцев, а иногда играл и на деньги.

Сегодня во всем мире существует обширная литература, посвященная историческому перевороту адмирала Рыка. Исследователям был даже предложен новый термин «благоворот» — государственный переворот, совершенный во благо народу. Но поскольку этот термин в науке пока еще не прижился, я им пользоваться тоже не стану.

Первым на эпохальный рейд подводной лодки «Золотая рыбка» отреагировал общеизвестный русскоязычный шелкопер, проживавший, понятное дело, в США и оттуда, из-за океана, оплевывавший нашу Родину. Буквально в течение недели он сляпал на компьютере грязный пасквиль «Шантаж века». Анализировать это сочинение не имеет никакого познавательного смысла, тем более что сам автор был найден на дне своего собственного бассейна с подогретой морской водой.

Потому уже совсем иной подход к теме мы обнаруживаем в монографии британского исследователя Р. Праттлера «Атомная угроза как фактор исторического прогресса». Ученый пишет: «Адмирал Рык и его субмарина «Золотая рыбка», несшая на борту торпеды с ядерным зарядом, никогда бы не оказали заметного влияния на судьбу мировой цивилизации, если б не серьезные экономические и политические просчеты, допущенные администрациями всех трех российских президентов».

Схожие суждения можно найти и в большой статье видного немецкого политолога Г. Швецера «Смена курса». Он замечает: «Тот факт, что адмирал Рык изменил курс своей подводной лодки и оказался у берегов Японии, мог так и остаться рядовым недоразумением между двумя военными ведомствами, однако в дело, как это часто бывает в истории, вмешался третий фактор — обнищавший народ расчлененного СССР...»

В нашумевшей книжке французского журналиста М. Бавардера «Субмарины истории» мы видим, конечно, несколько беллетризованную, но в целом довольно правдивую картину тех судьбоносных дней: «...Россия сброшена к подножию геополитической пирамиды. Унижена и оскорблена. В обществе, терзаемом комплексом исторической неполноценности, зреет взрыв. Нужен лишь детонатор. И вот подводная лодка адмирала Рыка, этот троянский конь конца второго тысячелетия, появляется у берегов Японии. Появляется как раз в тот момент, когда очередной российский президент ведет там переговоры о продаже острова Сахалин. О, как быстро повернулся флюгер истории! Ультиматум... Тщетные попытки запеленговать сумасшедшую субмарину... Мир, затаивший дыхание в предчувствии атомной катастрофы... И наконец — компьютерная мудрость хозяина

Белого дома: «Российский президент мне друг, но Япония дороже!»

Однако, на наш взгляд, самую точную и по-восточному образную оценку случившемуся дал знаменитый китайский поэт и публицист Ван Дзе Вей в своем замечательном романе о бабушке великого Ду Фу. Он написал: «Лучший способ вылечить больного медведя — это попытаться снять с него шкуру».

Что же касается отечественной Рыкианы, то даже самый беглый ее обзор занял бы очень много места. Статьи, брошюры, полновесные монографии, тематические сборники, мемуары уже сегодня составляют целую библиотеку. Поэтому всех интересующихся я отсылаю к коллективному труду отечественных ученых «Легендарный рейд. Биобиблиографический указатель в 3 томах». Думаю, заинтересует читателей и выпущенная недавно в серии «Библиотека поэта» большая антология «Подвиг адмирала Рыка в российской поэзии».

В лживых парламентах до хрипоты
Драли мы глотки.
Путь указал нам из темноты —
Подвиг подлодки!

Эти строки недавнего концептуалиста и метаметафориста свидетельствуют о колоссальном сдвиге, происшедшем в сознании нашей творческой интеллигенции под влиянием событий, связанных с именем адмирала Рыка.

Большое видится на расстоянии! И сегодня, когда мы говорим о жизни и деятельности Избавителя Отечества, нам иногда кажется, будто мы знаем о нашем замечательном современнике практически все! Ну и в самом деле, кто же не знает, что Иван Петрович Рык появился на свет в подмосковном городе Люберцы в семье простого токаря-расточника? Рос вежливым, любознательным ребенком и с детства бредил морем... Однако лишь совсем недавно ученые установили, что родился будущий адмирал не в Люберцах, а в Москве, куда его матушка Антонина Марковна Рык (в девичестве Конотопова), будучи на сносях, поехала к подруге за выкройками. Вот, кстати, почему родильный дом № 7 носят теперь имя Избавителя Отечества, а не Грауэрмана, как прежде. И раз уж мы коснулись этой деликатесной темы, необходимо прояснить и отместить различные домыслы, блуждающие вокруг родословного древа адмирала. Своёобычная фамилия — Рык — не свидетельствует и не может свидетельствовать о принадлежности предков Избавителя Отечества к лицам русофобской национальности. А свидетельствует эта фамилия лишь о том, что отвага и верность идеалам — родовая черта Ивана Петровича!

Когда был осужден и расстрелян бывший предсовнаркома Рыков, сотни и тысячи встревоженных его однофамильцев метнулись в ЗАГСы: кто-то стал Ивановым, кто-то Петровым, кто-то вообще — Осоавиахимовым... И лишь дед адмирала, в душе хохоча над тиранами, попросил вычеркнуть только две последние буквы своей чреватой фамилии. Видный исследователь Фромма и Кафки Григорий Самоедов писал по этому поводу: «Прояви хотя бы каждый третий, каждый пятый, каждый десятый такое же несуетное мужество, какое проявил в то лихое время Кузьма Филиппович Рыков,— и сталинизм рухнул бы сам собой...»

Важнейшая проблема сегодняшней научной Рыкианы — строгое отделение зерен подлинных фактов от бесчисленных плевел вымысла и откровенных фальсификаций. Впрочем, тот же Г. Самоедов считает, что мы имеем дело с процессом фольклоризации образа Избавителя Отечества в народном сознании. Подобно тому как некогда многочисленные дружинники Вольги не могли вытащить из земли сошку Микулы Селяниновича, так на сегодняшний день зарегистрировано более 800 человек, деливших в свое время кубрик со старшиной второй статьи Иваном Рыком. А за одной партией с ним же, но уже курсантом военноморского училища имени Ленинского комсомола сидело, по разным источникам, от 189 до 216 однокашников. Что же касается людей, служивших вместе с будущим адмиралом сначала в Севастополе, а потом в поселке Тихоокеанском (в просторечии — Техас), то они просто-напросто не поддаются учету... Подписав указ о немедленном роспуске Всероссийского союза соратников Избавителя Отечества (ВССИО), Иван Петрович заметил в кругу близких: «Если бы у меня на самом деле было столько друзей и товарищей, я бы спился насмерть уже в Техасе, а может быть, еще и в Севастополе». Увы, многими неточностями, обильно встречающимися в популярной Рыкиане, мы обязаны занятой, но в научном смысле абсолютно несостоятельной книжке «Солнце над бездной», написанной неизвестным телеобозревателем Веткиным. Иногда приходится слышать вопросы, мол, а не родственник ли он тому самому Веткину, который скандально прославился своей оголтелой борьбой за передачу немцам исконно русской Кенигсбергской области? Нет, не родственник и даже не однофамилец. Это он самый и есть.

Свою книжку он сочинял, находясь под следствием как активный пособник антинародного режима, а закончив, направил рукопись Избавителю Отечества вместо прошения о помиловании. Адмирал Рык внимательно ознакомился с текстом и начертал резолюцию: «Эта вещь посильнее «Репортажа с пет-

лей на шею» Фучика. Человек, обладающий такими выдающимися хамелеоновскими способностями,— достояние нации. Сохранить и употребить!» Ныне Веткин трудится над новой книжкой «Ни пяди!».

Но вернемся к работам западных исследователей. Итальянский профессор из Милана Б. Кьяккерони в своей монографии «Разум истории, или История безумия» пишет: «Без сомнений, на обостренное восприятие адмиралом Рыком происходящих внутри страны процессов серьезное влияние оказали два субъективных момента: личная драма и знакомство с идеями прогрессивного русского зарубежья». Мне остается только расшифровать эти намеки на обстоятельства, пока не получившие должного освещения в отечественной исторической науке.

Нужно откровенно признаться, что накануне той всемирно-исторической «автономки» Иван Петрович поссорился и разъехался со своей многолетней и любимой женой Галиной, которая вместе с сыном отбыла к родителям в Севастополь. Супруга будущего Избавителя Отечества, урожденная Тищенко, имела в паспорте трезубец и запись, удостоверяющую ее безукоризненное украинство, и поэтому могла воротиться на жительство в город славы украинского оружия и даже поселиться в родительской квартире на бульваре Степана Бандеры. А вот капитану первого ранга Рыку, чистому русаку как по крови, так и по паспорту, никакой визы не дали, и он, бросившийся вслед жене, чтобы объяснить и восстановить целостность семьи, был грубо задержан на границе. Иван Петрович даже не мог как следует объяснить пограничникам в шелковых шароварах свои супружеские намерения, так как испытывал с украинской мовой определенные трудности.

Пограничники же понимать русский язык решительно отказывались, а английского, на котором шли переговоры, вообще никто не знал.

Очевидцы донесли до нас фразу, сказанную огорченным Иваном Петровичем возле шлагбаума: «Ну, вы, хлопцы, пожалуйте!» Как всегда, свое слово адмирал сдержал. Оба бывших президента Украины ныне проживают в Демгородке (не в описываемом нами, а в другом), и каждый раз, чтобы выйти за границу своих шести соток, например в магазин, они обращаются с письменным прошением в МИД и, как правило, в течение месяца получают визы.

Но вот что хотелось бы отместить в корне и сразу, так это нелепые выдумки о причинах размолвки между супругами, распространяемые наиболее оголтелыми антироссийскими изданиями.

Посудите сами, если б «нездоровое пристрастие к крепким напиткам» служило убедительным основанием для развода, в таком случае распалось бы до 70% военно-морских семей, чего в реальной жизни, как известно, не наблюдается. Таким образом, эти клеветнические измышления не выдерживают проверки даже элементарной логикой!

Причина семейной размолвки скорее всего таилась в том плановом кризисе, который, если верить специалистам, настигает практически каждую супружескую пару на одиннадцатом-двенадцатом году совместной жизни. Супруга Избавителя Отечества, будучи умной и дальновидной женщиной, достаточно быстро преодолела этот неизбежный кризис. Ее телеграмма-молния одной из первых легла на рабочий стол адмирала в Кремле: = ПРОСТИ ВАНЯ Я БЫЛА ДУРА ГАЛЯ =

Нельзя в связи со всей этой историей не вспомнить и трудную, переполненную различными препонами и рогатками флотскую долю Ивана Петровича, которого друзья — по исторической «автономке» — с горькой иронией называли за глаза «пятнадцатилетним капитаном». А все дело в том, что из Севастополя будущий Избавитель Отечества был переброшен «по широте» во Владивосток, точнее, в поселок Тихоокеанский, где ему обещали быстрый служебный рост. И вправду, очень скоро он стал самым молодым командиром подводной лодки на флоте. Но тут, как говорится, корабль застопорил ход.

Началось все с пустяков, если оценивать с точки зрения исторической перспективы. Намечалась плановая перешвартовка, а командир соединения, намеревавшийся присутствовать при сем важном мероприятии, запарился с какой-то комиссией из Москвы и не прибыл на борт к назначенному часу. Тогда Иван Петрович, привыкший брать ответственность на себя, перешвартовал лодку к другому пирсу самостоятельно. Скандал и выговор. Затем начальнику политотдела не понравился боевой листок, выпущенный на самовольной лодке во время учений: в нем усмотрели некую смутную сатиру на непосредственных командиров и начальников. Выговор и скандал. А потом вдруг фамилия «Рык» как-то сама собой исчезла из списков офицеров, рекомендованных в академию... И пошло. Сменялись комдивы и начполиты, но как наследство они бережно передавали друг другу стойкую неприязнь к командиру «Золотой рыбки», незаметно превратившемуся из самого молодого в самого опытного. Вот откуда это горькое прозвание «пятнадцатилетний капитан».

Но незлобив русский человек: ушла жена, тиранит начальство, а он лишь сожмет зубы и выполняет долг перед Отечеством.

И вдруг буквально за день до выхода в море будущий Избавитель Отечества узнал от верного человека в генштабе, что после похода подводная лодка «Золотая рыбка» будет ритуально уничтожена. Хоть сами моряки иногда в шутку и называют свои субмарины «железом», но мысль о том, что твой родной боевой корабль во исполнение какого-то гнусного параграфа некоего безумного договора разрежут на иголки, была непереносима! Более того, лишившись своего подводного корабля, каперанг Рык, известный своей негибаемостью перед начальством, наверняка был бы уволен в первобытное состояние и превращен в одного из бесчисленных безработных офицеров. О масштабах этой безработицы гласит красноречивый факт: в городе Кимры в то время на одно место капитана речного трамвайчика насчитывалось до 76 соискателей, а на платных стоянках Севастополя уволенные каперанги и полковники сторожили, чтоб пропитаться, «мерседесы» хозяев кооперативных палаток — новых хозяев жизни.

Наконец, для понимания героического поступка адмирала Рыка очень важен тот факт, что он не понаслышке был знаком с трудами нашего великого изгнанника-мыслителя Тимофея Соболевчанинова. Сам Избавитель Отечества вспоминал на встрече с выпускниками академии Генштаба, как на второй день «автономки» к нему подошел друг и заместитель по работе с личным составом капитан третьего ранга Петр Петрович Чуланов и протянул невеликую с виду брошюрку: «Читал?» — «Детектив, что ли?» — «Нет. Но читается, как детектив!»

Разумеется, друзья шутили. Имя Тимофея Соболевчанинова, чьего возвращения давно ждала истрадавшаяся Отчизна, было широко известно в армии и на флоте. Увы, замечательный изгнанник-мыслитель все откладывал и откладывал приезд на родное пепелище. В юности на Воробьевых горах он дал торжественную клятву писать не менее десяти страниц в день, и если ему, допустим, приходилось отрываться от стола, например для получения Гонкуровской премии, то, воротясь, он увеличивал суточную норму и наверстывал упущенное. Переезд в Россию, по его прикидкам, грозил невозполнимыми и ненастижимыми перерывами в работе. Но даже не это было главной причиной промедления: в глубине души он страшился, что, едва лишь его нога ступит на родную землю, ему настойчиво предложат сделаться чем-то вроде президента или регента, а это в ближайшие творческие планы не входило. Остается добавить: придя к власти, адмирал Рык убедительно попросил великого изгнанника вернуться на Роднну и поселил его в Горках Соболевчаниновских.

Однако это произошло позже, а тогда, ощущая сыновний долг перед изнывающей страной, мыслитель вместо себя прислал в Россию книжку под названием «Что же нам все-таки надо бы сделать?». Ее-то и дал почитать своему другу и командиру Петр Петрович Чуланов, который нынче, как все знают, является первым заместителем Избавителя Отечества по работе с народонаселением. Содержание этой книжки, изучаемой ныне в школе, тоже общеизвестно, поэтому напомним лишь моменты, имеющие касательство к нашему повествованию. Тимофей Соболевчанинов писал о том, что в России к тому времени имелись все предпосылки для возрождения и «вся искнутованная и оплеменная держава с занозливой болью в сердце ждала своего избавителя». А последняя глава так и называлась — «Мининым и Пожарским может стать каждый». Особенно, как позже выяснилось, в душу командира субмарины «Золотая рыбка» запали такие слова прозорливца: «Россию недруги обьярлычили «империей зла». Оставим эту лжу на совести вековых ее недобролюбцев. Но пробовал ли кто-нибудь постичь внутридушевно иное словосочленение — Империя Добра?!» Избавитель Отечества никогда не писал никаких мемуаров. Более того, однажды он заметил: политический деятель, строчащий книги о том, что еще совсем недавно было совершено им, напоминает сомнительного мужчину, который, отобладав женщиной, тут же, не вылезая из-под одеяла, начинает ей же рассказывать обо всем с ними только что приключившемся... Но, к счастью, сохранился стенографический отчет о юбилейной встрече выпускников военно-морского училища имени Ленинского комсомола. Выступая в узком кругу боевых однокашников, Иван Петрович припомнил, как на третий день исторической «автономки» ему приснился вещий сон — будто бы шагает он по Красной площади и останавливается у подножия памятника Минину и Пожарскому. Точнее, даже не у подножия, а возле какого-то торговца русофобской национальности, разложившего свой убогий товар: штампованные часы, зажигалки, брелоки, аляповатую бижутерию, колоды карт с голыми девицами, именуемыми в образованном обществе «нюшками». Собственно, одна из таких колод (во сне) и заинтересовала будущего Избавителя Отечества, так как на время «автономки» выпадал день рождения друга и заместителя П. П. Чуланова, а подарок без веселой шутки, сами понимаете, делать неинтересно. И вот когда Иван Петрович внимательно разглядывал подарочную колоду, ему вдруг послышался глухой, точно из неизъяснимой глубины идущий голос: «Ры-ы-ы-ык!»

Будущий адмирал огляделся, предполагая, естественно, что его окликнул знакомый, какового непременно встретишь,

забрел на Красную площадь. Ан нет — ни одного привычного лица вокруг не наблюдалось, и лишь тогда он догадался, глянуть вверх: позеленевшие от времени губы князя Пожарского медленно шевелились: «Ры-ы-ык, ты не туда смотришь, Ры-ык!» — «А куда же?» — от неожиданности выронив карты, прошептал потрясенный Иван Петрович. «Туда-а-а!» — ответил князь и, тяжело повернувшись всем своим античным телом, указал десницей на Кремль. А Косьма Минин медленно кивнул, подтверждая сказанное:..

Проснувшись в своей стальной каюте, каперанг Рык только подивился тому, какие невообразимые эпизоды рождаются в спящем человеке, когда он плывет на глубине в двести метров. И даже Петру Чуланову, с которым делился самым сокровенным, он не стал рассказывать этот странный сон, опасаясь дружеских насмешек и товарищеских обвинений в глубоко затаенной мании величия. Каково же было потрясение будущего Избавителя Отечества, когда шифровальщик положил ему на стол политинформацию о том, что на общеизвестном памятнике работы скульптора Мартоса обнаружены множественные трещины (особенно на фигуре Пожарского)! В связи с этим памятник снят с пьедестала и отправлен в центральные реставрационные мастерские. Но отдельные граждане восприняли этот «чисто искусствоведческий акт!», сообщало ИТАР-ТАСС, как целенаправленное кощунство, и по Москве прокатилась волна «квазипатриотических демонстраций». Днем позже пришла другая политинформация, повествующая о «чудовищном по своей циничности покушении на вдову академика Сахарова Елену Боннэр». В нее выстрелили из гранатомета, но промахнулись, взорвав здание средней школы, в котором по счастливой случайности никого не оказалось, кроме директора и двух завучей. В ответ верные правительству части разгромили редакции квазипатриотических изданий «Наш современник», «День», «Русский вестник»...

Все эти события, точнее, их зловещая тень, витавшая в скупых зашифрованных информациях, повергли Ивана Петровича в глубокую задумчивость, из которой его вывели торжества по случаю дня рождения друга и заместителя П. П. Чуланова. После праздничного концерта и вышибающего слезу прослушивания магнитофонных поздравлений от оставленных на берегу родных и близких проследовали на обед в кают-компанию, и будущий Избавитель Отечества в честь такого дня приказал вместо положенных 50 грамм «сухаря» всем налить по 100! Испанский исследователь Д. Абладор в своей популярной книге «Роль алкоголя в мировой истории» договорился даже до того, что якобы эти лишние 50 грамм и определили дальнейший ход

мохальных событий. Просто диву даешься, какое незнание этнических реалий и особенностей национального быта демонстрируют некоторые зарубежные ученые!

После обеда Иван Петрович пригласил старших офицеров к себе в каюту, чтоб угостить их коньяком, как и положено отцу-командиру. О чем у них там была речь, неизвестно. Достоверно выяснено лишь то, что помощник командира старший лейтенант Лопатов, сынок вице-адмирала и потомственный стукач, был тихо передислоцирован в первый отсек, в командирский гальюн, и там заперт. Потом, как вспоминают некоторые участники исторической «автономки», старпом перетащил в командирскую каюту алюминиевый бидон, где хранились остатки сэкономленного «шила», и разливал его боевым соратникам с помощью алюминиевого же черпака. Дальше, конечно, цели — тихо, чтоб не нарушить режим тишины.

Глубокой ночью в штурманской рубке заревел «каштан».

— Есть, командир! — отозвался сонный, но готовый к подвигу штурманенок.

— Ко мне «бычка» с прокладкой!

Когда штурман с навигационными картами появился на пороге капитанской каюты, некоторое время его просто не могли идентифицировать. Будущий Избавитель Отечества несколько минут смотрел на командира БЧ-1 с долгой мукой узнавания и наконец молвил: «М-менякус...» — «Простите, Иван Петрович, не расслышал...» — «М-меняем к-курс!» — озвучил приказ командира политрук П. П. Чуланов.

5

Мишка подогнал свой «дерьмовоз» к домику № 85, холодно кивнул радостно выбежавшему навстречу хозяину и великодушно позволил ему собственноручно засунуть гармошчатую кишку в выгребную яму. Включив насос, Курылев присел на ступеньку машины, закурил «шипку» и пригорюнился. Было от чего! Во-первых, его вызвал к себе начальник отдела культуры и физкультуры и наорал в том смысле, что, мол, когда он, Юрятин, брал его, Мишку, к себе на работу, то ожидал от него гораздо большего. «Не стараешься, Курылев, — хорошим голосом закончил разнос подполковник. — Ох, не стараешься!»

Во-вторых, с Леной по-настоящему Мишка не виделся уже почти две недели: все киносеансы отменили из-за этого идиотского спектакля. Курылев никак не мог въехать, зачем эту изолянтскую самодеятельность снимают на пленку, да еще по

личному приказу помощника И. О. по творческим вопросам Н. Шорохова. В Демгородок понаехали разные киношники, развязные, любопытные, всюду шныряющие: у изолянта № 241 (бывшего министра юстиции) они сожрали на огороде весь горох. Мало того, поселок перевели на спецрежим, а в съемочную группу подбавили еще несколько осветителей и помрежей, ничем не отличающихся от остальных, разве только глазами — безмятежно-запоминающими. И хотя Лена, получив в этом спектакле маленькую роль, постоянно присутствовала в клубе, даже поговорить с ней Мишка не решался, боясь чужих глаз и гнева подполковника Юрятина.

Наконец, слава Богу, съемки закончились, кинокодла во главе с режиссером Куросавовым и драматургом Вигвамовым уехала восвояси, следом за ними отбыли и дополнительные осветители-помрежи, но тут у Лены заболел отец — сердечный приступ. Ее освободили от посещения воспитующих киносеансов «по уходу», и долгожданная встреча в кинобудке снова отдалилась. В довершение всего Мишка даже не мог теперь остановиться возле ее палисадника и поговорить: спецбудку в «Кунцево» достроили, и там круглосуточно дежурили спецнацгвардейцы. Да еще злыдень Ренат сказал как бы между прочим, мол, художники пишут портреты своих любимых, портные шьют любимым самые красивые платья, а ассенизаторы... ну и так далее.

Сержант Хузин и был третьей причиной поганого Мишкиного настроения. Вел он себя не то чтобы странно — зашифрованно, а ключом от шифра как бы постоянно помахивал у Мишки перед носом и даже иногда щелкал по носу. Докладывать подполковнику Юрятину Курылев пока не решался, хотя давно сообразил, что Ренат не обычный спецнацгвардеец. Ведь именно он заставил Мишку познакомиться с Леной, да-да — заставил. Конечно, Курылев и сам рано или поздно сделал бы это, но сержант опередил... Вторая встреча произошла примерно через неделю после того, как Мишка увидел ее плачущей возле клубных дверей и, строго отчитав, отправил обратно в неприличный мрак кинозала...

— А это место, где негритянка с носорогом, принес? — спросил Ренат. — Ребята очень хотят!

— Принес! — успокоил Курылев и протянул конвертик с заветными кадриками.

— Ты когда-нибудь вяленых кальмаров ел?

— Нет.

— Попробуешь, — ухмыльнулся сержант. — Одному бойцу с Итурупа прислали. И слушай, Вонлярлярский, у меня к тебе просьба есть!

— Нет-нет... — замотал головой Мишка. — Больше отрезать не могу — заметят!

— Да я не об этом. Пусть у тебя эта № 55-Б посидит — жалко девчонку!

— А я потом где сидеть буду? — хмыкнул Мишка.

— Ладно, кому ты нужен? Тебя в будке никто не видит. Я больше рискую. Юрятин ее на улице заметит — заорет: «Где начальник патруля?» И не будет у меня очередного отпуска. Понял?

— А если Юрятин сюда поднимется?

— Не поднимется: он толстый.

Действительно, в проекторскую с улицы вела металлическая лестница, вроде пожарной, — длинная, узкая и скрипучая.

— А если поднимется? — не отступал Курылев.

— Пока он будет карабкаться, ты успеешь ее растлить, расчленишь и съешь! — ответил сержант и подмигнул.

— Ладно, пусть приходит, — засмеялся Мишка.

— Молодец! Смелый умирает один раз!

Ренат скрылся за углом и через минуту вернулся с той самой кембриджской уайльдовкой, она смотрела себе под ноги и зябко куталась в черную ажурчатую шаль, накинутую на плечи поверх джинсовой робы.

— Вот, леди, ваш сероглазый король! — сержант с галантной издевкой кивнул на Мишку. — Он спрячет вас в своем замке. А я, как верный вассал, буду ходить дозором и охранять вас от драконов...

— Спасибо, — еле слышно проговорила она.

Мишка, конечно, как всегда, напряжился, чтобы достойно парировать очередную подковырку, но, лихорадочно поскреба по сусекам, наскреб только что-то несмешное про «черноглазого хана» и предпочел оставить эту находку при себе. Ренат снисходительно подождал достойного ответа, а не дождавшись, победно махнул рукой и ушел на развод караула. Курылев, неловко улыбаясь, пригласил девушку подняться в кинобудку. Но пригласив, сразу мучительно засомневался, кто по правилам хорошего тона должен идти первым, а кто вторым. С одной стороны, он вроде бы хозяин и обязан показывать госте дорогу, а с другой стороны, еще в училище на занятиях по офицерской этике им твердили, что старших по званию и женщин нужно всегда пропускать вперед! А тут еще и крутая лестница... Пока он соображал, послышались голоса идущих с развода патрульных, и было уже не до церемоний...

В кинобудке Мишка усадил девушку на диванчик, который благодаря интендантской дальновидности можно было

разложить в обширную двухспальную кровать, если, конечно, отодвинуть в сторону ящик с песком. Потом достал электрический чайник, налил из крана воды и вставил штепсель в розетку.

— Чай будешь? — напрямки спросил он, полагая, что свинопасу обращаться к принцессе на «вы» как-то даже и неприлично.

— Буду, — кивнула она. — Спасибо вам...

Из зала доносились настолько разнузданные звуки, что даже думать о ситуации, в которой они издаются, не хотелось. Снимая отработанную бобину и ставя ее на перемотку, Мишка несколько раз исподтишка взглянул на гостью. Волосы у нее были не черные, как показалось вначале, а темно-каштановые, глаза зеленые, а нос тонкий, с еле заметной горбинкой. Мишка ни с того ни с сего вспомнил крылатую фразу адмирала Рыка: «Еврей может быть похож на русского, но русский не может быть похож на еврея».

— Похоже на гиперболоиды! — вдруг сказала она.

— Что? — оторопел Мишка. — Ему показалось, что изолента прочитала его мысли.

— Я говорю, — она кивнула на проекторы, — они очень похожи на гиперболоиды... Мне так кажется...

— Наверное, — согласился Курылев и с подозрением посмотрел на стрекочущий аппарат, действительно напоминающий лучевую пушку из какого-нибудь фантастического боевика. Мишка поменял бобины и заварил чай.

— Звать-то как? — спросил он девушку и снова почувствовал себя алешкинским подпаском в обществе благородной девицы.

— Пятьдесят пять-Б...

— Ну, это ясно... А на самом деле?

— Лена...

— Миша...

— Я знаю...

Не вставая с дивана, она дружески протянула ему узкую ладонь. Деликатно пожимая ее, он почувствовал, что кончики Лениных пальцев ну просто ледяные.

— Англичане говорят: холодные, как огурец! — улыбнулась она.

— А у нас говорят: руки холодные, зато сердце горячее! — Курылев ни с того ни с сего ляпнул эту дурацкую поговорку. Ее часто повторяла молоденькая малярша, на которой он чуть не женился, будучи курсантом.

— Может быть, и так, — погрузилась Лена. — Только теперь это ни к чему...

— А тебя сюда никто на аркане не тянул,— заметил Мишка, разливая чай по кружкам.

— У папы сердце... И спазмы мозговых сосудов...

— На черта же он с такими мозгами в политику поперся?

— Он хотел как лучше...

— Уже слышали,— усмехнулся Мишка и протянул Лене дымящуюся кружку.

— Я ведь не знала,— она подняла на Мишку грустные глаза.— Я в Англии жила. Я там в Кембридже училась...— Лена машинально выговорила «Кембридж» по-английски.

И это почему-то особенно возмутило Мишку.

— Ну, конечно, Новосибирский-то университет далеко! Кембридж поближе! — Он нарочно выговорил «Кембридж» так, будто произошел тот от слова «кембрик», а сам Курылев не офицер, а типичная отечественная пьянь-темень в исполнении сатирика-руссофоба.

— Я там писала диссертацию об Уайльде! — точно не замечая измывательства, ответила Лена и подула на чай.

— Ну ясное дело: Василий Иванович Белов для вас не фигура! Вас только голубые интересуют! — в сердцах саданул Мишка и понял, что хватил лишку.

— А почему вы так со мной разговариваете? — спросила Лена, холодно глянув на осведомленного ассенизатора.

— А как мне с вами разговаривать?

— Как с человеком!

— А вы думали с вашим папашей о том, что я человек, когда кусок колбасы штуку стоил? Когда мне лейтенантской зарплаты на три дня хватало, а потом хоть сапоги жри?! Вы думали, когда страну, как мацу, на куски ломали?!

— Спасибо за чай,— Лена поставила кружку на табурет и встала.

— Ух, елки зеленые! — спохватившись, Курылев метнулся к проектору, поменял бобины и коротко глянул через окошечко на экран.— Жуть кошмарская! Чай-то допей...

— Не хочу.

— Ну понятно: это же не «липтон», а всего-навсего «Цветок российской Аджарии»!

— Нет, не поэтому.

— А почему?

— Он горячий,— ответила Лена и заплакала.

Мишка пожал плечами, опустился перед табуретом на колени и подул в кружку, но не рассчитал.— несколько чайнок вместе с кипятком попали ему в глаз.

— Ух, е-е-елки, мота-алки!

— Что с вами? — испугалась она.

— У-у-ю... Вот ослепну теперь и выгонят меня с работы! — завыл Мишка, жмуря невезучий глаз.

— Подождите. Дайте я посмотрю. Я осторожно...

Вторым, оставшимся при исполнении оком он видел, как девушка достала из рукава платочек, быстро вытерла слезы и решительно направилась к нему. Внимательно сузив глаза и приблизив свое лицо к курылевскому, так что стало слышно ее дыхание, Лена сначала осторожно осмотрела возможные повреждения, а потом, теперь уже теплыми, а не холодными пальцами, легко стряхнула чайники с зажмуренного века!

— По-моему, ничего страшного. Можете открыть глаз.

— Боюсь!

— Не бойтесь!

— Свет! — воскликнул Мишка. — Вижу свет!

— Миша, вы мне нарочно разрешили прийти сюда, чтобы поиздеваться? — вдруг спросила Лена.

— Нет, не для этого.

— А для чего?

— Жалко мне тебя — вот для чего... — ответил Мишка и снова почувствовал себя свинопасом, повстречавшим на дороге босую, оборванную, попавшую в беду принцессу. — Рехнешься ты здесь со своим папашей!

— Я знала, на что шла! — гордо вскинулась она.

— Знала? — глумливо изумился Курылев.

— Да!

— Да-а?

— Нет, не знала... — тихо ответила Лена и снова заплакала.

...Мишка тяжело вздохнул, шелчком послал в кусты докуренную до полного ничтожества сигарету и поймал себя на том, что ощущает в душе и теле какую-то пустоту, или, если выражаться по-военному, некомплектность. Звучит, конечно, нелепо, но зато точно. Это ощущение теперь всегда появлялось у Курылева, когда он долго не виделся с Леной. «Похоже на любовь, — поднимаясь, чтобы выключить насос, подумал Мишка. — Юртин узнает — убьет!» Изолянт № 85, в прошлом знаменитый редактор популярного еженедельника, счастливо улыбаясь, бросился вытаскивать из ямы кишку.

— Господарищ оператор, — отдышавшись, предложил он, — свежую газетку посмотреть не желаете? Еще никто не видел...

— В дом заходить не положено! — строго ответил Курылев, чтобы только отвязаться.

— А я сюда принесу! Я мигом...

Дело в том, что на общем собрании обитателей Демгородка изолянт № 85 был почти единогласно избран главным редак-

гором стенной газеты «Голос свободы», которая после мягкого нажима генерала Калманова стала называться просто «Голос». Делалась газета с размахом — 1,5 м х 3,5 м. А оформлял ее, между прочим, один из самых высокооплачиваемых в мире художников, придумавший в свое время нашумевший стиль «посткоммунистической идеологии». Суть этого стиля, даже, точнее, метода, сводилась к тому, что художник привозил из подмосковного пионерского лагеря, скажем, гипсового пионера, вставлял ему в руки, скажем, переходящее знамя областного совета профсоюзов и называл все это, например, «Идологема 124/6X-9», а потом продавал за сумасшедшие деньги на аукционе Сотби. Так, его панно «Мир как представление» было продано в два раза дороже, чем знаменитая «Испуганная няя» Буше. А представляло из себя панно «Мир как представление» большую стационарную Доску почета завода «Красный шинник», но только вместо фотокарточек ударников производства на ней размещались портреты иного достоинства — Джона Кеннеди, Иосифа Сталина, Роберта Фишера, Мэрилин Монро, Фредди Меркури, Льва Троцкого, Григория Распутина, Исаака Бабеля и так далее...

Заработав кучу денег, знаменитый художник, конечно, уехал за океан и там очень успешно заполнял своими идологемами и панно Североамериканский континент, но тут черт его дернул отправиться в Москву: или по ностальгическим обстоятельствам, или просто похвастаться золотой кредитной карточкой перед дружками своей нищей творческой молодости. Переворот застал его в пятизвездочном московском отеле, и он, разумеется, мог спокойно уехать на свою новую родину, чтобы в достатке жить, украшая Соединенные Штаты. Но ему в голову забрела совершенно чудовищная идея. Взяли художника в тот самый момент, когда он в тайно нанятой мастерской — владелец сразу сообщил куда следует — заканчивал свою новую работу, призванную отразить его, абсолютно неверное, понимание происшедших в России перемен. Это была бронзовая статуя адмирала Нахимова, выкрашенная в красно-коричневый цвет и испещренная бесчисленными строчками, повторявшими на 24 языках одну-единственную фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Кстати, саму статую он задешево купил на Украине, где к тому времени уже заканчивалась замена москальского пантеона на свой, кровноприсущий. Но справедливости ради нужно сказать, не всегда вражьи статуи валяли с пьедесталов и ставили своих, иногда ограничивались переименованием: так, известный памятник гетману Хмельницкому в Киеве был в целях экономии объявлен памятником гетману Мазепе...

Когда адмиралу Рыку сообщили о творческом проступке знаменитого художника, он посмеялся, поиграл своей серебряной подзоркой и молвил: пусть, стало быть, у нас поживет, пока по-правдашнему рисовать не выучится, а то ведь чужое пако-стить — дело нехитрое.

Размышления Избавителя Отечества поняли впрямую и определили знаменитого идола в Демгородок, снабдив всем необходимым для прогрессирующего изобразительного мастерства. Раз в год, весной, его новые работы под неброским псевдонимом направлялись в приемную комиссию Академии художеств, но там ему неизменно ставили «неуд» — и мировая знаменитость продолжала томиться в огородном плену, со скуки и отчаяния оформляя «Голос»...

— Что я вам сейчас покажу, господарищ оператор! — Запыхавшийся № 85 попытался развернуть перед Мишкой здоровенный рулон ватмана.

— Может, не надо?

— Надо-надо! Подержите, пожалуйста, угол. Ага! — Счастливый редактор показал пальцем в центр листа: — Гвоздь номера!

Заметка называлась «Чем кумушек считать...» и была давно ожидаемым демгородковской общественностью ответом на появившуюся месяц назад статейку «И перси дев...». Оба материала были подписаны не существующими в природе номерами, но все прекрасно знали: это продолжение давней ожесточенной полемики между бывшими президентами. Ведь и тот и другой до события, вошедшего в историю под масонским названием «перестройка», были секретарями обкомов, а та их знаменитая драка во время очной ставки произошла из-за спора, чья область при покойном Брежневе шла впереди по объему продукции на душу населения. Заметка «Чем кумушек считать...» гневно отмела содержавшиеся в статейке «И перси дев...» намеки на то, что переходящее знамя за победу в соцсоревновании 1979 года область ЭКС-президента получила на самом-то деле за роскошный пикник с обнаженными комсомольскими активистками, устроенный для столичных бонз. Более того, заметка подводила читателей к тому, что переходящее знамя за победу в соцсоревновании 1981 года область экс-ПРЕЗИДЕНТА отхватила только благодаря грандиозной медвежьей охоте, в которой поучаствовал любимый зять генсека.

— Правда же, интересно? — гордясь сенсацией, спросил № 85.

— Безумно, — вяло отозвался Мишка, разглядывая лист, оформленный куриной лапкой, которую обмакивали в разные краски.

В рубрике «Огородные новости» сообщалось, что изолянты № 481 (бывший сопредседатель партии «Демократическая Россия») и № 168 (бывший мэр Санкт-Петербурга) включились в конкурс на самую большую тыкву, выращенную без применения химических удобрений. Информацию написал № 47 (бывший посол в США), и она была проникнута тонкой иронией профессионала, снисходительно наблюдающего несбыточный энтузиазм дилетантов. В прошлом году № 47 выкатил на суд общественности двенадцатикилограммового гиганта!

Раздел «Страницы истории» открывался фрагментами мемуаров изолянта № 177 (бывшего шефа внешней разведки). Довольно убедительно он доказывал, что приписываемые поселенцу № 180 (бывшему командующему стратегической авиацией) слова: «За демократию Кремль разбомблю!», якобы сказанные им в дни августовского (1991 г.) псевдопутча, есть не что иное, как выдумка безответственных и зловредных журналистов. Но Мишка-то сразу понял прицельный смысл этих самых мемуаров: участки обоих изолянтов располагались рядом, а над домиком бывшего стратегического летчика по личному распоряжению адмирала Рыка была подвешена на тонком тросике здоровенная авиационная бомба. И хотя все вокруг уверяли друг друга, что «она не заряжена», это были уже четвертые оправдательные мемуары, написанные соседями несчастного военлета, погорячившегося в далеком августе 1991 года...

— Ах, если б вы знали, господарищ оператор, что у нас в редакционном портфеле! — закатывая глаза, сообщил № 85.

— Мне без разницы, — буркнул Мишка и, повернувшись к редактору спиной, направился к машине.

— Я понимаю... Но зато все оригиналы тщательно хранятся! — семена рядом, информировал № 85. — Они от руки написаны...

— С меня хватает, что я ваше говно вожу, — отрубил Курылев, впрыгнул в кабину и захлопнул дверцу.

Но упорный изолянт все никак не отставал. Понимая, что сквозь рев заведенного мотора Мишка его не слышит, он делал пальцами такие движения, словно резал бумагу. Вероятно, он обещал показать заинтересованным лицам и те купюры, которые на правах главного редактора делал в статьях и заметках... Сбитый с толку этой назойливостью, Курылев сам не заметил, как оказался в «Кунцево», возле домика № 55. А ведь зарекался! Спецназгвардеец, дежуривший возле новенькой будки, завидев Мишку, блудливо заулыбался и махнул рукой. И хотя Курылев понимал, что парень фамильярничает совсем не из-за Лены, а из-за этих чертовых секс-кадриков, но все равно было неприятно и горько.

Лена в палисаднике возилась с клубникой, кажется, обрезала усы. Увидав знакомую машину, она поднялась с коленей и, упершись руками в бедра, выгнула затекшую спину. Но у Мишки от этого обыкновенного огородного телодвижения сердце налилось тяжелой истомой. А Лена тем временем сняла с головы косынку и поправила волосы, что на их языке жестов означало: сегодня они увидятся не смогут. Курылев в ответ приложил правую руку к левой стороне груди и, уже проехав участок № 55, еще раз глянул на Лену через боковое зеркало: она стояла, уронив руки, и печально глядела вслед машине. Мишка сразу подумал вот о чем — при первой же встрече нужно будет предостеречь ее от та к и х взглядов! Он даже мысленно хотел сформулировать, каких именно взглядов, чтобы потом доходчивей объяснить Лене, но не успел... Произошло то, чего Мишка никак не ожидал. Она вдруг торопливо повязала косынку вокруг шеи, наподобие пионерского галстука. А это на их секретном языке означало, что страслось нечто чрезвычайное — подробности в тайнике!

Тайник Мишка оборудовал на параллельной Пятой улице в щели между бордюрными камнями. Правда, если говорить честно, этим тайником они еще пока ни разу не пользовались. Да и разработанный Курылевым язык жестов тоже пока служил им в основном для нежных развлечений — ладонь, приложенная к сердцу, означала «Я тебя люблю!». «Ми-ишка! — Лена, помнится, от удовольствия захлопала в ладоши. — Ты настоящий конспиратор! А как будет «Я тебя очень люблю»? Курылев глубоко задумался, даже привстал с разложенного интендантского дивана, потом снова приложил ладонь к сердцу, а затем приставил перпендикулярно к горлу, как делают, если хотят показать, что уже совершенно сыты. «Ну и дурак!» — обиделась Лена...

Записку Мишка решил прочитать, только миновав третий КПП. В ней, как и договаривались, печатными буквами по школьным клеточкам было написано:

Я БЕРЕМЕННА.

6

Культурно-историческое общество имени матери адмирала Антонины Марковны Рык (в девичестве Конотоповой) выросло в Демгородке на базе легального кружка «Переосмысление», основанного изолянтром № 739 — бывшим столичным префектом. В свое время он печально прославился тем, что продал иностранцам набережную Москвы-реки от Крымского моста до высотки на Котельниках, причем левую сторону — голланд-

цам, а правую — южноафриканцам. Главной задачей кружка, а позже и общества являлось «переосмысление и суровая оценка своей антинародной деятельности, решительное самоперевоспитание и активный труд на благо возрождающейся России». Однако регистрационное удостоверение обществу генерал Калманов выдал лишь после того, как оно способствовало выявлению двух враждующих подпольных групп — «Истинных демократов» и «Подлинных демократов», замышлявших вернуть к власти соответственно каждая своего бывшего президента. Подпольщиков приговорили к трем месяцам принудительных работ на общественном картофельном поле с отсрочкой до начала огородного сезона.

Считалось, теперь никаких злокозненных организаций в Демгородке не осталось, за исключением легендарной террористической группы «Молодые львы демократии», точнее, одного из ее глубоко законспирированных ответвлений. Однако поговаривали, будто никаких подпольных львов в Демгородке не водится, а слухи о них специально распускаются по указанию коменданта Калманова, надеющегося таким образом выцганить у министра национальной безопасности несколько штатных единиц в особый отдел.

Едва учредившись, культурно-историческое общество имени А. М. Рык (Конотоповой) обратилось в инстанции с убедительной просьбой разрешить на сцене демгородковского клуба поставить какую-нибудь пьесу с активно-благонамеренным сюжетом. Узнав про затею огородных пленников, Избавитель Отечества поначалу только усмехнулся, а потом задумался и принял, как всегда, необыкновенное решение: он приказал специально для изолянтского драмкружка написать драматическое произведение, где популярно и образно излагалась бы история краха псевдодемократического антинародного режима. Более того, в будущем спектакле поселенцы должны играть не каких-нибудь воображаемых персонажей, а самих себя!

Что и говорить, задача ставилась нелегкая, ведь речь шла о совсем еще свежих, не улегшихся в прокрустово ложе исторической науки событиях. Объявили конкурс с большим премиальным фондом. К всеобщему изумлению, победил драматург Вигвамов, известный своими трагедиями из жизни Льва Троцкого, а в последние годы работавший ночным разносчиком пиццы в Филадельфии. Адмиралу Рыку, лично просматривавшему все присланные на конкурс рукописи, очень понравилось название «Всплытие» и то, что пьеса написана в стихах:

Ужель пришла пора возмездий и утрат?
Ужель пришел конец терзаниям бессонным?
Ужель народный гнев вот-вот поставит мат
Как сионистам, так и всем масонам?!

Дойдя до этих строк из монолога экс-ПРЕЗИДЕНТА, Иван Петрович хлопнул ладонью по машинописным страничкам и сказал: «Беру!» Все настойчивые уговоры помощника по творческим вопросам Н. Шорохова отдать пальму первенства проверенному писателю-патриоту оказались безрезультатны. «Ты, Коля, ничего не понимаешь! — отвечал Избавитель Отечества.— Это же самый смак, когда вороны друг другу глаза клюют!»

Поскольку никаких дипломатических отношений между Россией и США в ту пору не было, Вигвамов был обменян на американского эксперта по разоружению, которого в момент переворота обнаружили в Главном бункере: он пил виски со льдом, положив ноги на пульт с российской ядерной кнопкой. Прилетев на родину и поселившись в квартире бывшего вице-мэра Москвы, драматург энергично доработал пьесу согласно замечаниям и рекомендациям Избавителя Отечества и научного коллектива академического института истории национального избавления (АИ ИНИ).

Первое публичное чтение пьесы «Всплытие» состоялось в демгородковском клубе вместо очередного воспитующего фильма и вызвало возмущение даже больше, чем ненавистная порнуха. Подавляющее большинство изолянтов (за исключением активистов драмкружка) наотрез отказались исполнять роли, откровенно говоря, списанные с них самих, и пригрозили переправить коллективный протест в Международный Красный Крест! Толстый подполковник Юртин, задыхаясь, бегал по сцене и грозил ввести непрерывный показ порнографической кинопродукции. Бесплезно!

С докладом о возникших трудностях в Москву на вертолете вылетел генерал Калманов. Избавитель Отечества его принял, спокойно выслушал и, поигрывая серебряной подозрительной трубкой, подошел к заиндеветшему окну своего кремлевского кабинета. «А зима-то какая нынче,— молвил он.— Настоящая русская зима!»

После этого в Демгородке начались непрерывные перебои с углем, и центральная котельная в целях экономии была вынуждена снизить температуру в изолянтских домиках до критической: чай, конечно, в стакане не замерзал, но ложечка в него всовывалась уже с трудом. Повторная читка пьесы состоялась в хорошо натопленном клубе и прошла — извините за невольный каламбур — в гораздо более теплой атмосфере, нежели предыдущая.

Драматург Вигвамов, примечая в зале знакомые лица, приветливо кивал, охотно отвечал на вопросы, а в случае доказательных претензий шел на разумные уступки будущим

исполнителям. Так, например, изолянт № 21 (бывший вице-президент) запротестовал против того, что по ходу пьесы он должен поднять окурочек и швырнуть его в Президента. Разумеется, все прекрасно знали: вскоре после выборов отношения между двумя политиками не заладились, и Президент, пользуясь служебным положением, отстранил вице-президента от государственного кормила, поручив ему блюсти санитарно-гигиеническое состояние улиц. Каждое утро, отправляясь в Кремль, Президент останавливал свой кортеж и посылал любимого пресс-секретаря подобрать на тротуаре окурочек пообмусоленное. А приехав на работу, глава государства ногой распахивал дверь вице-президента, смотрел исподлобья и швырял на ковровую дорожку подлый чинарик.

Ясное дело: когда адмирал Рык в своей знаменитой шифрограмме потребовал немедленного отстранения от власти антинародного Президента, вице-президент сам вызвался встретить шефа в аэропорту и арестовать. Но увидав своего притеснителя, энергично спускающегося по трапу в окружении советников и охранников, он так разволновался, что машинально закурил и, сделав несколько глубоких затяжек, бросил сигарету себе под ноги. А Президент, вовсе даже не собиравшийся списывать себя в исторический архив и рассчитывавший смелым нахрапом повернуть события вспять, подошел к нему вплотную и процедил сквозь зубы: «А ну-ка подними!»

Вот в этом самом месте и разошлись взгляды драматурга Вигвамова и прототипа-исполнителя. В тексте пьесы вице-президент после мучительного раздумья поднимает окурочек и бросает его в лицо своему обидчику, что, собственно, и стало сигналом к аресту, который ловко и с удовольствием осуществила группа захвата при содействии личных телохранителей Президента. В возникшей бурной дискуссии драматург разъяснил неизбежность художественного вымысла в данной ситуации, так как историческую реальность выставить на всеобщее обозрение было никак нельзя, ведь в реальности вице-президент никаких окурочков не поднимал, а громко и крайне непечатно выругался и плюнул, что, собственно, и послужило сигналом к заламыванию рук.

После долгих споров сошлись на следующем художественном прочтении исторического факта: № 21 окурочка не поднимает, но энергично топчет его ногами, бормоча при этом невнятно-гневные слова. В свою очередь драматургу Вигвамову тоже пришлось пойти на уступки и вычеркнуть из пьесы сцену секретного совещания вице-президента и командующего бронетанковыми войсками, где они намечали тихо устранить Избавителя Отечества, пока тот раздольно празднует победу

и еще не приступил к исполнению государственных обязанностей. № 21 решительно заявил, что никакого секретного совещания в помине не было, что все это чудовищная клевета, в результате которой он — безвинно! — очутился в Демгородке. Проверить было невозможно, так как бронетанковый генерал сразу после разоблачения покончил с собой двумя выстрелами в затылок.

Ободренный уступчивостью драматурга, попытался добиться послабления и поселенец № 36 (один из многочисленных бывших премьер-министров). По ходу пьесы, узнав о восторженной встрече, оказанной адмиралу Рыку во Владивостоке, и его триумфальном шествии по Сибири, когда за увитым цветами поездом Избавителя Отечества с песнями бежали тысячи людей, смертельно испуганный премьер-министр говорит:

О субмарина, ты стрела судьбы!
Мечтал о славе, но обрел бесчестье!
Я ухажу без воли, без борьбы.
В отставку, в глушь, в Манчестер...

№ 36 возражал в том смысле, что никто в Манчестер его не звал, и он даже туда не собирался, так как кафедру ему предлагал Оксфорд, где он, будучи профессором, планировал прочесть курс лекций «Россия как этносоциально-политическая альтернатива мировому прогрессу». Однако Вигвамов назвал претензии бывшего премьера «мелкими цепляниями» и наотрез отказался менять Манчестер на Оксфорд. И это понятно: никогда нельзя путать художественную реальность с исторической!

К примеру, история возникновения титула «Избавитель Отечества» в пьесе подается так: на фоне задника, изображающего Кремль, народ (актив драмкружка) ликует и жжет чучела наиболее видных злодеятелей. Периодически раздаются громкие просьбы к адмиралу Рыку выйти к людям и выслушать слова их благодарности. Драматург Вигвамов в своей книге «Как я писал «Всплытие»» сознается, что идею этой ключевой сцены ему подсказали детские воспоминания о новогодних елках во Дворце съездов, где Дед Мороз с кудрявой синтетической бородой несколько раз громко умолял: «Раз-два-три, елочка, гори!» Но лампочки все не зажигались, пока дети хором не подсказывали Деду волшебное слово — «пожалуйста»... Так же и в пьесе: адмирал не показывается до тех пор, пока люди не начинают скандировать: «Из-ба-ви-гель О-те-чест-ва!» Тогда-то он и выходит к народу, точнее, массовка делает вид, что наконец-то его увидела, — и ликует. На самом же деле, по оригинальному авторскому замыслу, адмирал Рык как ни разу и не показывается на сцене. Не показываются перед зрителями и все

три бывших президента, мотивируя свой категорический отказ проблемами с дикцией. И верно, ни один из них за годы политической карьеры так и не научился выговаривать слово «Азербайджан». В спектакле президентов играют их пресс-секретари, два местных и один доставленный на вертолете из другого Демгородка. Но вернемся к истории появления титула «Избавитель Отечества». Его придумал помощник адмирала по творческим вопросам Николай Шорохов. Очень любопытна история их знакомства, убедительно доказывающая, что Иван Петрович щедро черпал себе сподвижников из самых пассионарных глубин родного народа.

Однажды, еще будучи молоденьким лейтенантом, он, направляясь после очередной «автономки» в крымский санаторий, оказался проездом в Москве. До отхода поезда у него оставалось несколько часов, а попасть в столичный ресторан по тем временам было не так уж и просто. Тогда Иван Петрович, всегда отличавшийся сметкой и предприимчивостью, решил под видом любителя поэзии проникнуть в Центральный дом литераторов. Понятно, его сразу же разоблачили, закричали «покиньте дом!» и хотели прогнать, но тут над обаятельным офицером в черной морской форме сжалился бородатый, небогато одетый поэт Николай Шорохов. Он не только провел своего нового знакомого внутрь, но и сердечно присоединил к столу, где бурно пировали его собратья по перу, отмечая смерть известного критика. Очнулся Иван Петрович в поезде, где-то под Курском. В кармане от приличной отпускной суммы оставалось всего несколько мятых треечек и пятерок, но зато имелась книжечка Николая Шорохова «Проруби» с теплой дарственной надписью...

Придя к власти, адмирал Рык приказал разыскать поэта, и после долгих попыток он был найден в одном из специфических профилакториев, куда его упрятали враги Отечества. Нынешняя жизнь Николая Шорохова у всех на виду: во дни торжеств на капитанском мостике исторической субмарины он стоит по левую руку от Избавителя Отечества.

Но чтобы глубже понять искренний восторг людей, дружно скандировавших под стенами древнего Кремля «Из-ба-ви-тель О-те-чест-ва!», нужно кое-что напомнить читателям. Несколькими днями раньше, выступая по телевидению, адмирал Рык вдруг побагровел — это случалось с ним всегда, если он думал об утеснениях простых людей, — и гневно рассказал о своем недавнем посещении нескольких частных магазинов, да и государственных тоже. В заключение он выразился в том смысле, что никак не может понять, почему народ так терпеливо сносит совершенно издевательские розничные цены.

На следующий день группа возмущенных единомышленников зашла в роскошный торговый дом «У Тенгизика», что на Кутузовском, и по возможности спокойно спросила, сколько стоят спички. «Сто рублей», — простодушно ответил продавец. Через полчаса извещенные о том, что никакого торгового дома у Тенгизика больше нет, владельцы других магазинов и шопов резко сбросили цены как на спички, так и на сопутствующие товары, включая автомобили. Но было поздно. Незатейливый вопросик: «Сколько стоят спички?» — стал боевым кличем народа, воспрянувшего от Бреста до Владивостока и от Мурманска до Бухары. Стихийный протест вылился в мощное движение, получившее впоследствии среди ученых название «восстание спичечников». О, это было удивительное время, когда бомжи упивались «наполеонами», а привокзальные кокетки щеголяли в нарядах от Пьера Кардена, когда на улицах городов стояли тысячи брошенных хозяевами иномарок: сознаться в обладании «мерседесом» или «вольво» было равносильно самоубийству, но могли отдубасить и за новенький «жигуль». Уничтоженные торговцы в ответ на страшный вопрос о стоимости спичек истерически выкрикивали давно похороненную в развалинах социализма цену — «копейка», но и это уже не помогало.

Положение спас сам Избавитель Отечества. Ровно через неделю он выступил по телевидению и сказал: «Ладно. Проучили и хватит. Пусть торгуют, но только совесть не продают!» С этого заявления многие специалисты отсчитывают начало процесса, в короткий срок сделавшего рубль самой твердокаменной валютой в мире! Тем более что спустившись вскоре в забой с шахтером, адмирал Рык сказал: «Ну вот, с экономикой вроде разобрались. Теперь под займемся территориальной целостностью...»

Разумеется, весь сложный путь Второго Собрания Российских земель (ВСРЗ) отразить в пьесе «Всплытие» было невозможно, но это и не требовалось, ведь в каждом конкретном случае Избавитель Отечества находил единственно верное решение, а таких случаев были десятки, если не сотни. Например, у Прибалтики оказалось достаточно потребовать возвращения России двух с половиной миллионов золотых ефимок, уплаченных за эти земли Швеции после окончания Северной войны. Причем от долларового эквивалента (10 миллиардов) адмирал наотрез отказался, желая получить только в ефимках. Американскому президенту, позвонившему по этому поводу в Кремль, Избавитель Отечества с чисто народной простотой посоветовал нос в чужие дела не совать, а то не ровен час Россия кинет Штатам их жалкие «гринны» и заберет

назад свою исконную Аляску. На сбивчивые угрозы опешившего хозяина Белого дома Иван Петрович ответил фразой, вошедшей ныне во все учебники дипломатического искусства: «Не испугаете, торпеду вам в задницу!» Американский президент был так шокирован, что впал в нервное расстройство и вскоре был отстранен от власти специальной комиссией конгресса.

С Украиной получилось потрудней. Дело чуть не дошло до войны! Даже объявили частичную мобилизацию... Но тут оказалось, что министр обороны России — украинец, а министр обороны Украины — русский; российская армия на 21% состоит из украинцев, а украинская на 38% из русских. Кроме того, восстал Крым и объявил себя независимым курортно-профилактическим государством, шахтеры Донбасса с месячным запасом сала и хлеба спустились в забой и объявили голодовку, наконец, в Одессе, где был запрещен русский язык, Дерибасовскую перегородили баррикадой из русско-украинских словарей и разговорников. А в довершение всего украинский президент имел неприятное объяснение со своей женой-кацапкой, а Иван Петрович бурно посоветовался со своей супругой-хохлушкой...

И вот когда два родных народа были готовы сцепиться в братоубийственном кровопролитии, раздалась спокойные и взвешенные слова Избавителя Отечества. Ради сохранения славянского единства он предложил переименовать Московскую область в Залесскую Украину, а Украину впредь считать Русью, как это и было при Рюриковичах. Более того, он предложил считать русский язык диалектом украинского, а Москву — старшей дочерью матери русских городов Киева. Николай Шорохов, привезший эти судьбоносные инициативы в украинский парламент, застал там полное смятение умов. Парламент заседал без перерыва восемнадцать часов, после чего выдал зачинщиков и постановил снова считать памятник гетману Мазепе памятником гетману Хмельницкому.

Однако мы далеки от лакировки действительности и идеализации объединительной деятельности Избавителя Отечества. К примеру, гордая Чеченская республика так и не вошла в состав возрожденной России, а только подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимном ненападении. Да ведь и дело-то не в общих границах, а в добросердечном отношении друг к другу: и сегодня в Гомеле, Харькове или Самаре можно часто повстречать дружелюбного чеченца в высокой каракулевой шапке и с «калашниковым» через плечо. Их конституция разрешает носить оружие в качестве этнографического украшения...

Но естественно, никаких мелочных подробностей в пьесе «Всплытие» вы не найдете, **ибо** теперь все эти детали — достояние историков. Поделенная на губернии, как встарь, Россия расцветала в полном национальном симбиозе и позабыла о горькой поре Второй политико-экономической раздробленности (ВПЭР). В пьесе же мы просто видим красочную костюмированную сцену, когда посланники всех народов (их играют бывшие национальные лидеры) слетелись в Москву, чтобы подписать трактат о вечном братстве. И лишь как легкое напоминание о трудностях и невзгодах ВСПЗ звучат слова белорусского посланца:

Лишь кровные братья умеют так ссориться крепко,
Лишь кровные братья мириться умеют навек!

Премьера спектакля на телевидении состоялась в День очередной годовщины Избавления Отечества, и, надо сказать, ведущие театральные критики довольно скептически оценили сцену подписания трактата, указывая на ее «художественную недотянутость». Зато единодушный восторг вызвала сцена так называемой «голой демонстрации». Придя к власти, адмирал Рык, упаси Бог, не запретил ни одной партии, которых к тому времени в стране насчитывалось более четырехсот. Нет, он просто издал указ: гражданин, состоящий в какой-либо политической организации, обязан уплачивать в фонд Возрождения Отечества 75% своего заработка. Вот почему под гомерический хохот на сцене появляется группа едва прикрытых людей, несущих транспарант: «Демократическая Россия» и «Коммунисты России». Как тут не вспомнить вешие слова Избавителя Отечества: «Народу, у которого соборность в крови, партии не нужны!»

Но Мишке Курылеву **во** всем этом спектакле была интересна лишь одна сцена, где появляется роскошно одетая Лена, изображающая аристократическую девицу. По мысли автора, эта якобы студентка Кембриджа на самом деле прожигала жизнь и бездумно транжирила деньги, уворованные ее коварным отцом у доверчивого народа. Появлялась Лена в сопровождении своры пьяных плейбоев (активистов драмкружка), и один из них, развязно приставая, спрашивал:

Откуда деньги у тебя, май бэби,
Когда народ ваш на воде и хлебе?

А Лена, оказавшаяся, **к** удивлению Курылева, очень талантливой актрисой, отвечала, мессалинисто хохоча:

Когда б вы знали, сколько в банках ваших
Хранится в тайне миллионов наших,
Вы б обалдели б...

— Только ты должен быть очень осторожным! — прошептала Лена.

— Почему? — глупо спросил Мишка.

— Потому что по-настоящему у меня никого еще не было... — ответила она и посмотрела на него так, точно призналась в какой-то неловкой, даже стыдной вещи.

— А Кембридж?

— При чем тут Кембридж, глупенький?.. — еле слышно засмеялась Лена и прижалась щекой к волосатой курылевской груди.

...Мишка запомнил на всю жизнь: в тот вечер, когда они наконец перешагнули черту, вдоль которой на ощупь бродили вот уже четыре месяца, он не чувствовал никакого вожделения, а только мучительную, испепеляющую нежность и даже на миг по-ребячески испугался, что эта неподъемная нежность вдруг сделает его плоть беспомощной и бессильной...

— Здорово, влюбленный андрогин! — на следующий день, увидав Курылева на третьем КПП, сказал, усмехаясь, Ренат.

— Привет, — отозвался Мишка, напуская на себя деловитую озабоченность.

— Ну, если ты теперь решил стать конспиратором, тогда не светись! — тихо, но зло посоветовал сержант.

Наверное, и в самом деле со стороны Курылев выглядел вызывающе счастливым, да он и сам чувствовал во всем теле головокружительную клубящуюся память о Лене. В конце концов, подавая машину назад, он снес забор у домика № 479, где проживал видный деятель коммунистического и рабочего движения, угодивший в Демгородок за то, что попытался оценить переворот адмирала Рыка с точки зрения теории классово́й борьбы.

Смотреть на поваленный забор сбежалось полпоселка. Пришел, борясь с одышкой, и № 55, Ленин отец. Он дождался, пока одуревшая от бессобытийного существования публика вдоволь наохает, и подошел к Курылеву, который, по своему обыкновению, сидел на подножке «дерьмовоза», покуривая «шипку».

— Здравствуйте, Миша! — сказал старик.

— Здравствуйте, № 55! — ответил Курылев, высунувшись из облака воспоминаний ровно настолько, чтобы прочитать номер на «джинсовке» приблизившегося изолянта с удочкой в руках.

— Меня зовут Борис Александрович, но это неважно... Я просто хочу поблагодарить вас за Лену! Спасибо...

...Потом, после всего, она попросила его не оборачиваться и пальцем начертила на влажной Мишкиной спине какое-то слово. Это было так приятно, что он сначала различил кожей всего лишь один восклицательный знак. «Понял?» — спросила она. «Нет, еще!» И она снова повела ноготком по вздрагивающим курылевским лопаткам. «Понял?» — «Нет, еще, еще!» — просил Мишка, хотя все уже давно понял. А она опять и опять писала пальцем по его дрожащей коже: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!»

— Вы знаете,— продолжал № 55,— если бы во время этих жутких сеансов вы не прятали Ленхен у себя, я бы определенно сошел с ума! Даже опытным людям нелегко, а она у меня ведь совсем несовременная девушка. Вы понимаете?

— Понимаю...

— Я бы пригласил вас к нам в дом,— не умолкал старик,— но я знаю — нельзя. Если б раньше! У нас была чудная казенная дача в Барвихе. Покойная жена разводила изумительные розы... Ленхен вся в нее. Прошлым летом вырастила такой прекрасный кабачок, а в конкурсе участвовать постеснялась...

— А раньше мы бы и не познакомились,— вставил Мишка.

— В самом деле... Извините,— вздохнул старик и переложил удочку на другое плечо.— Ленхен говорит, вам тоже нравится Уайльд?

— Местами...— отозвался Курылев и краем глаза проверил, не вызвала ли их подзатянувшаяся беседа постороннего интереса.

— Вы знаете, я так жалею, что она не закончила диссертацию! — дрожащим голосом воскликнул № 55.— Я так сожалею, что она приехала сюда! Я был категорически против, чтоб вы знали... Ведь ее отсюда не выпустят, даже если я умру...

— Ну что вы! — оптимистично возразил Мишка.

— Ах, бросьте! Еще приступ, от силы два — и конец... За все глупости, которые я совершил на своем веку, в следующем воплощении я буду в лучшем случае ослом! А может быть, ее все-таки отпустят, как вы думаете, Миша? — Старик спросил его с той жалобной пытливостью, с какой обращаются к санитару после того, как врач поставил смертельный диагноз.

— Вы, Борис Александрович, живите! Так для всех будет лучше...— ответил Курылев и, не попрощавшись, пошел включать насос.

С самого начала знакомства Лена просто замучила Мишку рассказами об Англии, о Кембридже, об Уайльде. Наверное, так ей было легче. «Ты знаешь,— восторженно говорила она.— Меня постоянно принимали за леди! Я даже однажды слышала, как меня за глаза называли «эта юная леди». Представляешь?

А один очень известный профессор-лингвист очень долго ко мне приглядывался и потом сознался, что никак не может определить по произношению, из какого я графства... Когда ему сказали, что я из России, он просто обалдел!.. Представляешь?» — «Представляю», — кивал Мишка. «А однажды меня пригласили на заседание Уайльдовского общества. Я делала там доклад о русских переводах «Баллады Редингской гюрьмы». Ну, сам понимаешь: Чуковский, Брюсов, Топоров...» — «Понимаю», — кивал Мишка. «Всем очень понравилось. Потом за ужином в готическом зале при свечах лорд Уиндерфильд сказал мне, что восхищен моим знанием Уайльда, но полагает, по-настоящему этого писателя может понять лишь тот, кто вкусил несвободу. А я сказала ему, что есть такая русская поговорка «от сумы и от тюрьмы...», и даже пошутила, что ради Уайльда готова посидеть немного в тюрьме. Он тоже засмеялся и предложил рекомендательное письмо своему близкому другу — начальнику образцовой Ливерпульской тюрьмы...»

— Ты, значит, из-за Уайльда в Демгородок приехала? — язвительно любопытствовал Курылев.

— Ну почему тебе так нравится меня обижать? Я же не спрашиваю, почему ты здесь служишь!

— А потому, что очень кушать хочется. Потому, что у меня дома на стенке висят «Мишки» из «Огонька», а не Сислей!..

— Ты даже это знаешь? — упавшим голосом спросила Лена.

— Информировать, чтоб знали, кого стережем...

Он довольно быстро сообразил, что принцесса в душе стесняется своей жизни с окнами на Новодевичий, своего школьного детства и юности на Британских островах, что «эта юная леди» совершенно искренне испытывает чувство вины перед теми, кому выпала не такая заманчивая судьба. А чувство вины очень опасное чувство, ибо на огне благородства в первую очередь сгорает вера в себя. Это было слабое место принцессы, а свинопас оказался догадливым малым.

— Ми-ша, только не злись! Иначе я больше не смогу принимать твой приглашения. Лучше давай я покажу, как здороваются масоны! Хочешь?

— Думаешь, понадобится? — хмуро улыбнулся Курылев.

— Как знать, как знать! — подхватила она, радуясь его отходчивости. — Вот смотри...

Лена осторожно взяла мозолистую курылевскую руку и согнула крючком его безымянный палец, потом то же самое проделала и со своим безымянным пальчиком, а затем вложила узкую ладошку в бугристую Мишкину ладонищу, но таким

образом, что их согнутые пальцы сцепились как бы в знак примирения. А со стороны все это выглядело так, будто два человека просто-напростожимают друг другу руки.

— На самом-то деле мы установили с тобой тайную братскую связь! — свистящим шепотом сказала Лена. — Правда, здорово?

— А твой отец действительно масон? — спросил Мишка.

— Господи ты Боже мой! — Она вырвала свою руку из этой вольнокаменщицкой сцепки. — Это же шутка! Вы ничего не поняли...

Только совсем недавно и с большим трудом Курылев склонил ее к тому, чтобы говорить друг другу «ты», вернее, чтобы она говорила ему «ты». И вот вдруг это ледяное «вы». Дело прошлое, в ту минуту Мишка перепугался.

— Я к вам больше никогда не приду! — пообещала она, вставая.

И действительно, некоторое время она не показывалась. А Мишка через проекторное окошечко выискивал в зале ее гордо поднятую темноволосую голову. Один раз он засек, как Лена исподтишка глянула в сторону кинобудки, но, заметив в отверстии курылевскую физиономию, сделала вид, будто просто праздно оглядывается. Через две недели она все-таки пришла и сказала: «Прости, я была не права...» — «Ага, — подумал Мишка. — Теперь осталось, чтобы принцесса поцеловала свинопаса!» И она поцеловала, но ждать пришлось три месяца. Именно ждать и ни в коем случае не торопиться, ибо это возникшее чувство вины перед ним, простым и трудно живущим парнем, по регулируемым законам природы само собой обязательно должно было перерасти в совершенно иное чувство! Гормон играет человеком...

— Послушай, а откуда ты знаешь, что Уайльд... ну-у... интересовался мужчинами? — как-то раз, потупившись, спросила она.

— В какой-то книжке читал... Там еще про Чайковского и про Шекспира...

— Все это совсем не доказано!

— Когда доказано — во Львов отправят, — отшутился Курылев, проклиная себя за длинный язык.

— Но ведь, в конце концов, каждый человек сам имеет право решать, кого ему любить! — горячо возразила Лена.

— Это конечно...

Мишка не стал с ней спорить, хотя в душе активно одобрял указ адмирала Рыка, согласно которому все лица, застуканные при реализации гомосексуальных влечений, ссылались на жительство во Львовскую губернию. Почему именно во Львовскую?

Вероятно, потому, что Львов до последнего отказывался признавать Второе Окончательное Воссоединение Украины с Россией (ВОВУР), за что и поплатился... Достаточно напомнить читателю о появлении в языке таких новых словечек, как «львовчик», «обльвовиться», «вывольвить» и других, вошедших нынче во все словари ненормативной лексики...

— Ты знаешь, я тоже очень много читала о физиологии любви,— задумчиво сказала Лена.— И я пришла к выводу, что опыту тела должен обязательно предшествовать опыт разума. Иногда мне даже казалось, я могу ограничиться только опытом разума. Понимаешь?

— Понимаю,— кивнул Мишка и осторожно погладил Лену по руке.

— ...Но однажды в Лондоне я пошла на лекцию очень известного сексолога. Я чуть не расхохоталась: зрелые женщины, даже старушки сидели и записывали в блокнотики совершенно элементарные рекомендации, про которые я сто раз читала. Там, на лекции, я познакомилась с одной цветной девушкой, и она спросила меня: «Ты ничего не записываешь. Неужели ты все это уже испытала?» Я ответила: «Нет, конечно, но зато я много про это читала...» — «О, это не одно и то же!» — засмеялась она. Правда смешно?

— Правда,— кивнул Мишка.

— А у тебя много было женщин? — спросила Лена, отнимая руку.

— Встречались...

— А вот скажи, когда ты вспоминаешь про них, что ты вспоминаешь — лицо, тело, волосы, глаза?.. Или... какие они были в постели?

Мишка ответил что-то уклончиво-неопределенное и, чтобы уйти от чреватой темы, перевел разговор на потрясший тогда весь Демгородок случай с молоденькой женой бывшего министра внешней торговли. Она очень хотела ребенка, но у них никак не получалось, видимо, потому, что супруг все силы отдавал делу преступной переброски за рубеж российских национальных богатств. И вдруг, уже в огородном плену, получилось! Несчастливая женщина долго скрывалась от медосмотров, но на пятом месяце ее разоблачили, увезли в областную больницу и там сделали так, что она уже при всем желании не смогла бы нарушить пункт 336 «Внутреннего распорядка спецпоселения ДГ-1».

— Господи! — прошептала Лена.— Я бы не пережила...

А первый поцелуй Мишка выиграл у нее в споре. Спорили, разумеется, по поводу «Розового купидона». Шумная эта история началась с того, что изолянт № 49 (бывший лидер Всерос-

сийской земледельческой партии) внезапно решил написать новейшую историю демократии в России. По образованию он был библиотекарем, но, выпущенный с работы за хищение книг из абонементного отдела, с головой ушел в политику. Рабочий класс и интеллигенция были тогда уже вроде при лидерах и он объявил себя главой несуществующей земледельческой партии, а в доказательство в Александровском саду, прямо возле кремлевской стены, разбил огород — с редисочкой, укропом, картошечкой...

Дважды ОМОН выгнывал его грядки и увозил земледельца в машине с пронзительной сиреной, на третий раз сердобольный народец отбил несчастного и, стихийно митингуя, проводил до дому. Об этом писали тогда все крупные западные газеты, а сам момент «отбивания» попал в хронику CNN. Через несколько дней неведомые доброжелатели сняли для земледельческой партии роскошный офис, который очень быстро стал наполняться присылаемой со всех концов света оргтехникой — компьютерами, ксероксами, телефаксами... Избыток техники пришлось выдано продать — и таким образом появилась партийная касса. Ну, а раз есть партийная касса — число членов партии стало стремительно расти...

После переворота лидер земледельцев был, конечно, арестован, но не за политику, а за то, что выделенную ему безвозмездно землю для организации Новгородской фермерской республики он втихаря продал за бешеные деньги. Впрочем, на поверку деньги оказались не такими уж бешеными — и довольно быстро улетучились в «Осинке». Тогда бывший земледельческий лидер попытался кормиться с огорода, но так как входы никто теперь не выгнывал, выяснилось, что дело это, в отличие от библиотечного, грязное и хлопотное: то редиска в стебель пойдет, то на лук нападет мучнистая роса, то картошку пожрет колорадский жук. И вот тогда он решил написать новейшую историю демократии в России, о чем и оповестил общественность через газету «Голос». Общественность, в особенности некоторые наигорчившие личности, забеспокоилась, как бы он что-нибудь там не перепутал, и стала довольно часто заглядывать в домик № 49 — подсказать, уточнить, прокомментировать, обозначить... А поскольку идти в гости с пустыми руками нелегко, то приносили кто домашних огурчиков, кто клубничного варенья, кто вообще замысловатую булочку из «Осинки». Осознав всю полезность историографии, сразу пять или шесть поселенцев тоже объявили себя активно функционирующими летописцами. Но общественность огнеслась к ним как к самозванцам, а профессиональным Нестором новейшей российской демократии продолжала твердо считать

бывшего земледельца, который весь отдался своему ответственному труду, а в огород теперь выходил лишь подышать свежим воздухом и обдумать особенно амбивалентную фразу. Более того, он получил от генерала Калманова разрешение проводить в клубе исторические среды, иными словами — читать заинтересованным лицам и просто любопытствующим фрагменты своего исследования.

Все шло очень пристойно и взаимовыгодно, пока летописец не дал маху, коснувшись истории знаменитого «Розового купидона», купленного ЭКС-президентшей в Нью-Йорке во время встречи на высшем уровне. Еще тогда это событие вызвало неподдельное изумление на Западе. В России же ему не придали особенного значения, возмущенно сосредоточившись на роскошной собольей шубе, в которой тогдашняя «первая кремлевская леди» щеголяла по Америке. Отвечая на вопросы потрясенных западных журналистов, ЭКС-президентша сообщила: муж, отправляясь на переговоры, посоветовал ей проехаться по магазинам и купить что понравится... Понравился «Розовый купидон», бриллиант, входящий в десятку самых крупных в мире камней. Кто же мог подумать, что несколько строк об этом злополучном бриллианте, давно уже конфискованном и подаренном известной исполнительнице народных песен Ксении Кокошниковой, вызовет такую бурю! Впрочем, поначалу бурю ничто не предвещало,— опасный кусок, прочитанный изолянтгом № 49 на очередных исторических средах, вызвал даже некоторое умиление былым размахом, но через два дня, прореживая морковку на своих соседствующих участках, бывшие президентши жутко поссорились. Впрочем, нет, поссориться они не могли, так как фактически не разговаривали, а лишь, находясь вблизи друг друга, произносили вслух фразы, наподобие того, как актер, выйдя на сцену, изображающую ночной сад, говорит перед полным залом: «Ночь! Ни души кругом!»

Так вот, через два дня, прореживая морковку, ЭКС-президентша заметила в пространство: «Надо же, еще только июль, а корнеплод уже такой крупный...» — «Прямо, как «Розовый купидон»,— вдруг добавила из-за забора экс-ПРЕЗИДЕНТША. Боже праведный, что тут началось!

Последующие дни весь Демгородок был занят проблемой, как и кем будет наказан злополучный историк, вытащивший из нафталина забвения такой опасный сюжет. Некоторые полагали, что вообще не будет наказан, так как на слезы и призывы к мести ЭКС-президент якобы ответил своей жене, что ее неодолимая тяга к неестественной роскоши чуть не стоила ему доброго имени в мировой политике. Другие же, наоборот, считали, что будет наказан, и жестоко, ибо, узнав об оскорблении, нанесенном его

супруге, ЭКС-президент якобы топал ногами и требовал пресс-конференции с участием зарубежных журналистов... Возник даже стихийный тотализатор, организованный изолянтотом № 617, в прошлом известным священником-депутатом, прославившимся тем, что в ходе нередких внутривластных потасовок он действовал наперсным крестом, как боевой цепью. Но участвовать в этом тотализаторе ни Лена, ни Мишка не стали (у нее не было «осиновых» талончиков, а Курылеву строго запрещалось), они просто поспорили на поцелуй. Наивная Лена считала, что ЭКС-президентша окажется выше всей этой житейской скверны, а многоопытный Курылев был уверен, что — гораздо ниже...

И вот после окончания очередного воспитующего киносеанса бывшая первая кремлевская леди решительно встала, резко подошла к земледельцу-историку и с оттяжкой врезала ему «по твари», как выразился бы обитатель Гомельской губернии. Впрочем, отважный летописец был готов ко всему — он ждал приближавшуюся к нему эрнию с мужественной улыбкой, какой обычно пациент встречает надвигающегося дантиста с зубодеркой. А после того как отзвенела пощечина, он произнес фразу, которую, наверное, обмозговывал всю предшествующую ночь: «Это пощечина для истории».

Отнаблюдав развязку и выждав, когда смолкнут возмущенные крики тех, кто выиграл и теперь безуспешно искал батюшку с кассой, Мишка повернулся к Лене и молча показал пальцем на свою щеку. Он был очень удивлен, когда она поцеловала его не в щеку, а в губы, поцеловала старательно, точно выводила ученические прописи. Курылев даже чуть не улыбнулся, подумав о том, что если бы она в этот момент не выполняла языком рекомендации известного английского сексолога, то наверняка от старания по-детски высунула бы кончик языка...

— Я смешная, да? — спросила она, переведя дыхание.

— Ну что ты! — успокоил Мишка и решил с этой глупенькой телепаткой быть поосторожнее даже в мыслях.

— А хочешь, я почитаю тебе стихи?

— Вообще-то, обычно парни читают девушкам стихи. Для обольщения...

— Значит, я самообольщаюсь, — ответила Лена и внимательно посмотрела в глаза Курылеву.

Для того чтобы она не смогла прочитать в его глазах ничего, кроме нежного простодушия, Мишке пришлось затратить столько же энергии, сколько ушло бы на разгрузку вагона боеприпасов.

— Прочитай.

Эти стихи в цепкой Мишкиной памяти остались навсегда:

Любимых убивают все —
За радость и позор,
За слишком сильную любовь,
За равнодушный взор,
Все убивают, но не всем
Выносят приговор...

...А через две недели они лежали на широко разложенном интендантском диване, и Лена, уткнув голову в волосатую курылевскую грудь, шептала:

— Ты очень красивый. У тебя очень красивое тело. Ты похож на античного полубога!

— Почему полубога? — спросил Мишка.

— Потому что боги снисходили к возлюбленным в виде золотого дождя или белоснежного лебедя, а потом исчезали... А полубоги оставались жить с любимыми на земле. Ты не исчезнешь?

— А ты?

— Я первая спросила!

— Нет...

— Не исчезай! Ты самый лучший в мире мужчина!

— Да уж... Тебе и сравнить-то не с чем...

— А зачем сравнивать, если ты все равно самый лучший в мире мужчина!

В тот миг Курылев постарался забыть, что любое пособие по гармоничному сексу рекомендует, особенно женщине, хвалить партнера как можно чаще и беззастенчивей. Он просто блаженно лежал рядом с Леной, гладил ее восхитительную кожу и думал про то, что, даже побывав в объятиях свинопаса, принцесса остается принцессой. Конечно, свинопас не становится после этого принцем, но свинопасом все-таки быть уже перестает... Хотя бы чуть-чуть... И еще он думал о том, что у него есть минуты полторы, потом нужно вскакивать и менять бобину с пленкой...

С тихим стрекотом работал кинопроектор. Конический луч, пробивающий темноту кинозала, напоминал опрокинутое набок воспоминание о пирамиде. Фильм назывался «Моя четвероногая подружка».

8

Утром, въезжая в Демгородок, Мишка был настолько рассеян, что чуть не отдал дежурному спецназгвардейцу вместо путевки-наряда записку, которую собирался заложить в тайник.

На тетрадном, четверо сложенном листке было по клеточкам выведено:

**НИКОМУ НЕ ГОВОРИ, Я ЧТО-НИБУДЬ ПРИДУМАЮ.
ПРИХОДИ СЕГОДНЯ В 17.00 К НАМ.**

Конечно, на это небезопасное свидание Мишка решил не сразу. Но он рассуждал так: уход Лены из дома едва ли вызовет подозрения у дежурного в будке. Мало ли куда она могла пойти: в медсанчасть — взять лекарства для больного отца, на пруд — прогуляться, в «Осинку» — поглазеть на головокружительную витрину. Кстати, ничего странного, если молодая изолянтка, у которой давно кончились талончики, полчаса стоит и рассматривает затейливую пирамиду, выстроенную из коробочек с французской косметикой. А тем временем Курылев должен выждать совершенно безлюдный момент и подать ей сигнал. Дверь будет заранее отперта, и Лене останется только одним духом взлететь по проклятой железной лестнице. Если кто-нибудь в этот миг все же появится, она сделает вид, что ветром у нее сорвало косынку и занесло аж сюда, на такую вот высоту. Один раз, в их ненасытный медовый месяц, они эту операцию проворачивали, и все прошло хорошо. Только притащившийся немного позже Ренат минут десять барабанил в дверь, но они затаились и, чтобы не расхохотаться, непрерывно целовались. От мысли, что они наконец-то снова останутся одни, у Мишки серебряными иголочками закололо все тело. «Юртин убьет!» — обреченно подумал он.

Без особых трудностей определив записку в тайник, Мишка сделал крюк и, проезжая через «Кунцево», опустил стекло, высунул руку и громко похлопал по внешней стороне дверцы. Это означало «срочно забери письмо из тайника». Лены в палисаднике не было, скорее всего, она сидела рядом с больным отцом, но Курылев знал, что, услышав звук подъезжающей машины, она подошла к окну и внимательно смотрит в щель между занавесками. Это точно! Пропустить или не обратить внимания она просто не могла: машины по демгородковским улицам разъезжали редко — разве что если кто-нибудь умирал...

В тот день Курылев работал ударно, к четырем уже освободился и огогнал «дерьмовоз» в гараж, где к нему ни с того ни с сего привязался как всегда пьяненький начальник гаража штабс-капитан Зотов. «Как технику содержишь?»,— орал он и смотрел на подчиненного с таким возмущением, словно Мишка возил на своей ассенизационной машине исключительно галантерейные товары. Чтоб отвязаться, он подарил Зотову значенную для экстренных случаев бутылку «адмираловки».

Душ пришлось принимать уже наскоро, и Курылев на всякий случай вылил на себя целый флакон пеномоющего средства «Морской волк».

Но когда без трех минут пять, демонстрируя трудно дающуюся неторопливость, Мишка подходил к киноторговому центру, то сразу почувствовал неладное. Так оно и оказалось: возле «Осинки» бушевала драка. Первым делом Курылев отыскал глазами Лену: прижавшись спиной к витрине, она с ужасом и презрением смотрела на происходящую разборку. Били изолянта № 62 — толстого человека, похожего на выросшего до ошеломительных размеров крота.

В тяжкие годы владычества врагоугодников и отчизнопродавцев он был членом координационного совета движения «Демократы в поддержку демократии» и председателем Всероссийского общества защиты детей-инвалидов имени возвращения академика Сахарова из горьковской ссылки. А как известно с давних пор, благотворительность — самый верный и короткий путь к благосостоянию. Вплоть до прихода к власти адмирала Рыка человек-крот проживал в старинной барской усадьбе, которую по дешевке откупил у разорившегося подмосковного колхоза и роскошно отреставрировал. Однажды к нему заехал с визитом старенький, совершенно офранцузившийся сын дореволюционного владельца усадьбы и был потрясен количеством кондиционеров в модернизированном родном дворянском гнезде. Уехал он в полном недоумении, за что же в таком случае его папа получил сабельный удар под Каховкой и до конца дней своих работал парижским таксером.

Арестовали человека-крота в международном аэропорту Шереметьево-2, когда он уже намылился лететь во главе команды мужественных спортсменов на V Международные соревнования детей-инвалидов по настольному теннису в Лиссабон. Металлические части и детали четырнадцати инвалидных колясок, как позже выяснилось, были изготовлены из золота и платины. Но даже лишившись всего этого, хитроныра-благотворитель оказался самым богатым обитателем Демгородка. Одно лишь упоминание его номера — 62 — вызывало у многих изолянтов приступы настоящей классовой ненависти.

Кстати, в ходе следствия по делу пособников антинародного режима, а также во время открытого суда, проходившего на малой арене Лужников, стало общеизвестным, что большинство арестованных имеют довольно крупные счета в западных банках. Жалко оправдываясь, они уверяли, будто эти средства обрели за книги, опубликованные за рубежом, и лекции, читанные там же. Однако абсолютно беспристрастная комиссия,

состоявшая в основном из морских офицеров и ткачих с «Трехгорки», подсчитав, пришла к выводу: чтобы заработать подобные суммы, каждый подсудимый должен был издать не менее 120 томов или прочитать около 21 тысячи лекций. А если учесть, что вся человеческая жизнь состоит примерно из 20 тысяч дней, то вздорность этого наглого лепета становится очевидной.

Кроме того, в процессе разбирательства выяснилось, что агентам антинародного правительства удалось-таки обнаружить спрятанные на Западе знаменитые деньги партии. И пока продажная демократическая пресса лила крокодиловы слезы по поводу исчезнувших сокровищ, они были надежно перепрятаны там же, на Западе. Несколько человек из окружения трех бывших президентов знали судьбу этих неуловимых денег, но вскоре после победного, усыпанного цветами въезда адмирала Рыка в Москву все они в соответствии с устойчивой российской традицией выпали каждый из своего окна.

«Худо!» — молвил Избавитель Отечества, выслушав эту неутешительную информацию. «Найдем, командир! — твердо пообещал П. П. Чуланов. — Обязательно найдем. Всех в окна не перевыбрасывают!...» — «А эти демократы, — поинтересовался Иван Петрович, — сдают валюту-то?» — «Жадятся, — покачал головой первый заместитель. — Может, попросить убедительно?» — И он сделал руками движение, словно бы выжимал белье. «Нет! — твердо ответил адмирал Рук. — Только лаской. Иначе народ не поймет. Да и Европа, мать ее так...»

Однако народ, по крайней мере в лице алешкинских обывателей, ничего не мог понять, когда прослышал об открытии в Демгородке валютного магазинчика, где объевропеившаяся личность могла удовлетворить все свои даже самые непростительные потребности. Откуда, недоумевали они, у изолянтов, одетых в казенные джинсовые робы, могла объявиться валюта?! Но в том-то и заключалось изящество плана, придуманного Избавителем Отечества: изолянт, желающий поживиться в магазинчике, должен был выписать доверенность на имя спецфинкурьера, который под надежной охраной тут же выезжал за границу в соответствующий банк и доставлял в страну краденную у народа валюту. За каждую сданную возрождающейся Отчизне тысячу изолянт получал на руки доллар, а точнее, бумажный талончик с треугольной печатью и подписью начальника финансово-учетного отдела Демгородка подьесаула Папикяна. После этого поселенец мог отправиться в магазинчик, прозванный «Осинкой», и приобрести там любые импортные товары, правда, по ценам, втрое превышающим среднеевропейские.

Поначалу изолянты захаживали в «Осинку», как в музей: просто поглазеть на прилавки, навевавшие острые воспоминания о более симпатичных временах. «Ах, мексиканская текилла! Помнишь, мы пили ее во время конференции по одностороннему разоружению?!» — «Ах, лобстеры! Помнишь, мы ели их во время переговоров о передаче Курил Японии?!» Ну, и так далее... Недели полторы все ограничивалось чисто мемориальными восторгами, и в Москву уже пошли тревожные рапорты коменданта Калманова, мол, жмутся дармеды!

Первым раскошелился бывший покровитель детей-инвалидов: он выписал доверенность на сто тысяч, получил кучу талончиков и побежал в «Осинку», где накупил пива, сигарет, французских сыров, фаршированных оливок и прочих дорогих удовольствий. Весть о том, что № 62 отоварился и с тяжеленными пакетами движется к своему домику, мгновенно облетела Демгородок. Вдоль всего пути следования собрались толпы поселенцев, они смотрели на волокущего покупку человека-крота с завистью и ненавистью одновременно.

— Это настоящий мужчина! — ядовито сказала изолянтка № 93-А своему супругу — бывшему министру иностранных дел. Тот все никак не мог решиться и купить своей жене набор французской косметики, без чего она отказывалась быть женщиной в буквальном смысле слова.

— А-а-а! Пропади все пропадом,— на безукоризненном английском с легким оксфордским заиканием крикнул № 93 и швырнул себе под ноги казенный джинсовый кепарь.

И тут началось! Обитатели Демгородка толпами бросились в «Осинку». Доверенности на умопомрачительные суммы подписывались с такой легкостью и нераздумчивостью, точно это были какие-то там смешные договоры о территориальных уступках, моратории на какие-то там позатырканные в шахтах ракеты, указы о приватизации МГУ или ГУМа... К вечеру валютный магазинчик стал похож на заурядное сельпо — кроме продавщиц и мух, ничего больше не было. Но вошедшие в раж изолянты уже вели списки, держали ночную очередь, жгли костры, чтоб не замерзнуть, рисовали на ладонях фиолетовые порядковые номера. А когда экс-ПРЕЗИДЕНТ на полночную перекличку прислал вместо себя пресс-секретаря, произошел форменный скандал с визгливыми выкриками, типа: «Самый умный, что ли?» или «Залил глаза-то!»

Генерал Калманов лично вылетел в Москву с докладом.

Вскоре между Демгородком и Большой землей начал курсировать военный вертолет. Он доставлял все новые и новые трупы товаров, мгновенно исчезающие в этом потребительском

самуме. Былое Змеиное болото стало напоминать нью-йоркские задворки: везде валялись иссякшие пивные банки, пустые коробки из-под сигарет, цветастые обертки и прочая импортная шелуха. Повсеместно возникали пирушки, переходящие в попойки и заканчивавшиеся обычно крутыми разборками по поводу того, кто был, а кто не был возле Белого дома 19 августа 1991 года.

К адмиралу Рыку уже пошли письма и рапорты, мол, очень даже странно, что государственным преступникам живется куда лучше, чем народу, титаническим трудом восполняющему урон, нанесенный стране жирующими ныне врагоугодниками и отчизнопродавцами. Но Избавитель Отечества только улыбался в усы и, поигрывая своей знаменитой серебряной подзорочкой, отвечал: «Это не всерьез и ненадолго...»

Торговый бум прекратился так же неожиданно, как и начался. Западные банки перестали оплачивать впопыхах выписанные доверенности, ибо разохотившиеся изолянты подзабыли, что все на свете, даже валюта, имеет печальную особенность — кончатся... День ото дня в «Осинку» заглядывало все меньше покупателей, территория Демгородка силами активистов общества имени А. М. Рык (Конотоповой) постепенно очищалась, а вертолет стал прилетать все реже и реже, пока окончательно не исчез.

Предпоследним сошел с дистанции изолянт № 57, в прошлом лидер сахатских сепаратистов и генеральный директор концерна «Якуталмаз». Лишь № 62 каждую неделю методически сдавал свою законную сотню тысяч долларов — а то и две! — получал соответствующее количество талончиков с треугольными штампами и отправлялся за покупками. Всеобщее возмущение вызвал факт приобретения им безумно дорогого японского телескопического спиннинга якобы для ужения рыбы в демгородковском пруду. Для сравнения: даже экс-ПРЕЗИДЕНТ, страстный рыболов, летавший по субботам на Великие Озера, довольствовался скромным удилищем, вырезанным из молодой коленчатой березки. «С жиру бесится!» — возмущались поселенцы. Правда, на несколько дней их вспаленное внимание переключилось на изолянта № 802 здорovenного малого с лицом начитанного хулигана. В своей загородной жизни он был знаменитым проповедником-экуменистом. У этого хулителя истинной веры ни с того ни с сего вдруг обнаружили заветные талончики, и он зачистил в «Осинку». Однако ситуация довольно быстро разъяснилась: талончики оказались умелой, но небезукоризненной подделкой, что и обнаружил своевременно учетно-финансовый отдел. Подъесаул Папикян собственноручно отхлестал мошенника по

никам, приговаривая в том смысле, что, мол, подделать пластмассовый документ — это тебе не экуменизм заместо православия впарить! А перед очередным воспитующим киносеансом был объявлен и приговор — три месяца принудработ на общественном картофельном поле с конфискацией несправедливо нажитого имущества.

После этого недоразумения всеобщее воспалившееся недовольство вновь уперлось в изолянта № 62. На совместном совещании самых разнообразных фракций — а их в Демгородке 27, включая гомодемократов, — неоднократно обсуждались факты вопиюще безнравственного поведения пресловутого благотворителя, бросающего позорную тень на самую идею народоправия. Более того, ходили слухи, что глубоко законспирированная подпольная организация «Молодые львы демократии» даже постановила на своей тайной сходке устранить ненасытного человека-крота физически, если в течение месяца валюта у него не кончится! Но она все не кончалась...

Теперь читателю будут вполне понятны предпосылки драки, случившейся в Демгородке тем памятным днем. Началось с того, что № 62, как обычно, вышел из «Осинки», сгибаясь под тяжестью полиэтиленовых пакетов, до отказа набитых разнообразным импортным товаром. Но тут ему заступил дорогу изолянт № 59, возглавлявший некогда самый настырный шахтерский стачечный комитет и даже однажды по этому поводу спустившийся в забой. Позже он руководил чрезвычайным госкомитетом по борьбе с забастовками и саботажем в угледобывающей промышленности. Собственных валютных сбережений ему хватило всего на месяц.

— Откуда же, сволочь, у тебя столько зелени? — нехорошо улыбаясь, обратился № 59 к № 62.

— Это неприлично — считать чужие деньги! — с едким миролюбием отозвался человек-крот и поспешил мимо.

— Может, пивком угостишь? — вновь преграждая ему путь, откровенно потребовал бывший шахтерец.

— Пить надо на свои! — прозвучал ответ, стоивший впоследствии очень дорого.

— Да где уж нам! — подключился к нарождающемуся конфликту оказавшийся тут как тут изолянт № 144, в недавнем прошлом видный экономист, автор программы перехода к рынку «Девять с половиной недель».

— Пока мы с тобой за демократию бились, этот упырь детей-инвалидов грабил! — вскричал ободренный поддержкой № 59.

— Знаем-знаем, как вы бились, — многозначительно буркнул № 62, пытаясь обойти нападающих.

— Что вы имеете в виду, мразь такая! — побледнел от негодования бывший экономист, действительно каким-то боком замешанный в одном оглушительном банковском скандале.

— Знаем-знаем... — затравленно озираясь, повторил человек-крот.

— Задушу-у-у! — вдруг страшно заголосил № 59, который, поначалу руководя борьбой шахтеров, а потом борьбой против шахтеров, ожесточился сердцем уже до чрезвычайности.

С этим боевым кличем он бросился к перепуганному человеку-кроту, но, вопреки декларированным угрозам, схватил его почему-то не за горло, а за тугой пакет, откуда торчало горлышко изысканной бутылки.

— Грабь награбленное! — в свою очередь выкрикнул автор программы «Девять с половиной недель» и выхватил у ошеломленного богатея вторую сумку. — Еще сопротивляется...

На шум из близлежащих домиков повыскакивали изолянты. Кто-то из них с ходу обозвал человека-крота свиньей и засветил ему в ухо, тем самым переводя конфликт на качественно новый уровень. Теперь уже каждый из прибежавших к месту экспроприации почитал своей священной обязанностью отвесить несчастному благодетелю хорошенькую плюху.

— Господа! Делить надо по справедливости! — напрасно зывала широкотелая дама, в свое время чуть не ставшая министром обороны, а потом работавшая советником Президента по вопросам охраны материнства и детства.

Но вот к месту беспорядков подоспели спецназгвардейцы во главе с сержантом Хузиным. Лихо врезавшись в толпу, они профессионально разорвали ее на несколько копошащихся клочков и, решительно работая дубинками, начали умиротворять разбушевавшихся изолянтов и прежде всего отбили у них плачущего и окровавленного человека-крота: он судорожно прижимал к груди единственное, что у него осталось, — бутылку «бордо» урожая 1974 года.

— В следующий раз вообще прибьем! — никак не мог уgomониться непоправимо опоздавший к торжеству социальной справедливости изолянт № 43, бывший вице-премьер и автор знаменитой теории «стимулирующей зависти». Сузь этой теории в том, что неимущие слои, видя, как растет уровень жизни слоев имущих, начинают страшно завидовать и потому трудиться гораздо интенсивнее, а в результате наступает повальное процветание!

Сержант Хузин, не глядя, схватился за «демократизатор» — и № 43 сразу же уgomонился.

— Расходитесь! — крикнул Ренат. — А то будем искать зачинщиков!

Но не тут-то было: в толпе уже начался непростой и противоречивый процесс перераспределения отнятых у богачей продуктов. В этот момент к киноторговому центру, визжа тормозами, примчалась вызванная по рации «санитарка», и 62-го силой стали укладывать на носилки. Он возражал, даже кусался, видимо опасаясь, что в медчасти у него отберут последнее. В суматохе никто не заметил, как из толпы занятых дележкой изолянтов вылетело несколько булжников, нацеленных, конечно, в человека-крота, но попавших почему-то в водителя «санитарки», который без звука повалился на землю.

Ренат принял молниеносное решение — он бросил вверенных ему спецназгвардейцев в атаку, и те, молотя «демократизаторами», мгновенно рассеяли толпу изолянтов, в ужасе порастерявшую свою добычу, которая досталась, естественно, победителям. Потом он приказал стряхнуть с носилок человека-крота и уложить на них потерявшего сознание шофера.

— Курылев, за руль! — приказал сержант Хузин.

Мишка с тоской посмотрел на Лену — она все так же стояла, испуганно прижавшись спиной к витрине. До последней минуты он надеялся, что все эти идиоты куда-нибудь провалятся и они наконец смогут укрыться в вожделенной и недосыгаемой кинобудке. Перед тем как сесть в машину, Курылев незаметно приложил ладонь к груди. Лена в ответ сделала то же самое.

— Давай, давай рули! — противным голосом приказал Ренат.

— Рулю! — огрызнулся Мишка, поворачивая ключ зажигания.

— Дуй в санчасть, Симплиссимус!

— Дую...

— А чего ты такой злой? Пива хочешь? — спросил сержант, кивнув на несколько помятых банок, катавшихся под ногами.

— Не хочу...

Они развернулись, и Мишка включил сирену.

— А как у вас будет «люблю до гроба»? — вдруг лениво-равнодушным голосом поинтересовался Хузин. — Вот так, да? — Он, томно закатывая глаза, приложил растопыренные пальцы к сердцу, а потом приставил указательный палец к виску и громко щелкнул большим и средним. — Вот так, да?

Мишка от неожиданности чуть не съехал в кювет...

Изолянт № 55 умер ночью от сердечного приступа.

Ренат лично заехал за Курылевым, разбудил и повез на «газике» в гараж, где стояла демгородковская санитарная машина. На ней и только на ней возили в городскую клинику тяжелых больных и покойников — в крематорий.

Но на самом-то деле проснулся Мишка чуть раньше — от стука калитки. А вот скрипа ступенек он не услышал, и это означало, что подутренный гость профессионально ступает на прибитые концы половых досок — тогда они не скрипят. Курылев чуть приоткрыл глаза и увидел Рената, тот стоял на пороге и внимательно оглядывал горницу. Не обнаружив ничего подозрительного, нарочито гремя коваными десантными ботинками, сержант подошел к кровати и сильно потрянул Мишку за плечо:

— Вставай, говновоз, тебя ждут великие дела!

— А? Кто это?! Что случилось? — точно спросонья вскинулся Курылев.

— № 55 при смерти... А может, уже и умер. В любом случае везти надо. Одевайся.

— На чем везти?

— На горбу. У санитарщика сотрясение. Путевку я на тебя оформил. Одевайся, тормоз!

Мишка включил ночник, щурясь от желтой рези в глазах, начал торопливо напяливать одежду и, конечно, фуфайку надел наизнанку.

— Будешь Битовым! — ухмыльнулся Ренат.

Но Мишке, запутавшемуся в шнурках, некогда было разгадывать тонкие сержантские каламбуры.

— А сколько времени? — спросил Курылев, хотя прямо у него над головой стучали облупившиеся ходики.

— Без трех минут четыре. Для сердечников самое время...

— Укол-то хоть сделали?

— А как же! Без укола никак нельзя...

На улице только-только развиднелось: контуры будущего дневного мира были уже различимы, но цвета его пока лишь угадывались в предрассветной серости. Мишка подумал, что это очень похоже на старый, выцветший фильм, вроде «Маугли». Неподалеку у соседей петух все никак не мог прохрипеться, чтобы наконец кукарекнуть.

Они сели в комендатурский «газик» и, прыгая на ухабах, помчались к демгородковскому автохозяйству. Конечно, это было нелепо: где-то хрипит умирающий, а сержант спецназгвардейцев везет шофера-ассенизатора, временно замещающего

правмированного водителя «санитарки», в гараж, вместо того чтобы давно уже на первых попавшихся колесах домчать больного старика в клинику. Но так, увы, не только в Демгородке — так везде. «И запрягаем долго, и ездим хрен знает как!» — антипатриотично вздохнул Мишка.

— Жалко Ленку! — неожиданно сказал Ренат. — Папаша померет — на тебе девчонка останется...

— Почему на мне?

— Сволочь ты голубоглазая! Думаешь, любовь — это только когда ты на ней?

— При чем тут любовь? — чтобы выиграть время, переспросил Курылев.

— Значит, ты девчонке жизнь просто так испакостил?

— Почему это испакостил?

— Ну, Курылев! Ну, почемучка с ручкой! Она уже три медосмотра пропустила... — Сержант так крутанул «баранку», что Мишка чуть не вылетел из машины.

— А ты что, следишь за нами?

— Слежу.

— Спецназдание?

Ренат даже оторвался от дороги и с интересом поглядел на Курылева, соображая: случайно тот ответил так удачно или просто раньше дурачком прикидывался.

— Если б задание, ты давно бы не ассенизатором, а дезактиватором работал! Понял?

— Понял, — без затей кивнул Мишка.

Они уже подъезжали к Демгородку, и на сторожевых вышках, стилизованных под теремки, можно было разглядеть часовых, топтавших возле крупнокалиберных пулеметов. Солнце еще не взошло, но над лесом облака светились изнутри рыжим огнем.

— Простить себе не могу, что тогда привел ее к тебе! — с искренней злостью сказал Хузин. — Если теперь ваш роман века всплывет — все загудим. Понял?

— А что делать? — спросил Мишка, опасливо косясь на сержанта.

— Думать.

— Уже все мозги сломал, думавши, — тяжело вздохнул Курылев.

— Было бы что ломать... Ты «Графа Монте-Кристо» читал?

— Кино смотрел...

— Тоже неплохо, — презрительно усмехнулся Хузин.

...«Санитарка» никак не хотела заводиться: аккумулятор крутил, а зажигание не схватывалось. Стали смотреть. Так

и есть: пользуясь отсутствием хозяина, водители вывернули хорошие свечи и вставили какое-то совершенно жуткое старье. Пришлось шарить по другим машинам и восстанавливать справедливость. Наконец выехали, но простояли еще на третьем КПП. Бестолковый сержант из новеньких куда-то звонил, потому что, понимаете ли, после угрожающего письма Президенту и мордобоя возле «Осинки» пропускной режим ужесточили. В довершение всего он еще стал догошно осматривать «газик».

— Львов ищешь? — презрительно спросил Хузин.

— Согласно приказа! — бодро ответил тот.

К домику № 55 подружили, когда солнце уже взошло и висело над лесом, точно новенькая медаль «За верность России». На крыльце стояли два спецназгвардейца с автоматами и дежурный санитар в белом халате. Они курили, ржали и жрали крупную клубнику, насыпанную в белую докторскую шапочку, которая в нескольких местах пропиталась кровавыми пятнами.

— С прибытием, господариш сержант! — поприветствовал спецназгвардеец.

— Ну, как он? — сурово глянул Ренат.

— Гогов.

— Острая сердечная недостаточность. — пояснительно добавил санитар.

— А где № 55-Б?

— Рыдает. Я хотел ее осмотреть, чтобы лишний раз в медпункт не гонять. Не далась гордая...

Спецназгвардейцы захохотали и игриво посмотрели на Курьева — источник их эротических откровений.

Ренат довольно грубо раздвинул плечом стоявших на крыльце и зашел в дом. Мишка — за ним следом, но машинально чуть не завернул с верандочки на кухню: в щель между шторами виднелись калитка и часть дорожки. В спальне пахло лекарствами, а под ногами хрустели стеклянные осколки. Зеркало было уже занавешено каким-то темно-коричневым покрывалом. Изолянт № 55, Борис Александрович, отец Лены, лежал вытянувшись на кровати и, казалось, просто спал с открытым ртом. Она сидела рядом, смотрела в пространство и держала обеими руками неживую ладонь отца.

— Жаль, что так получилось... — помолчав, выговорил Ренат.

Лена в ответ только пожала плечами.

— Он успел? — совсем уже по-другому, строго и тихо, спросил сержант.

Лена еле заметно наклонила голову.

— Ты запомнила?

Лена закрыла глаза — то ли подтверждая, то **ли** потому, что не могла **сдержать** слезы.

А что она должна запомнить? — **встрял Мишка**, с удивлением глядя на них.

— Не твое дело! — отрезал Ренат и выглянул в окно. — **Я** пойду с гробом разберусь, а ты поговори с этим Калибаном! Теперь все от него зависит. Времени мало, сейчас «похоронка» припрется! Ты меня поняла?

Поняла, — отозвалась Лена, и Мишка не узнал ее голоса.

«Похоронкой» в Демгородке называлась комиссия, состоявшая из начальника учетно-финансового отдела подьесаула Паникяна, главврача и представителя изолянтской общественности. Именно они акгировали усопшего, после чего покойника на «санитарке» под обязательной охраной спецнацвардейца везли в областной крематорий. Это была не лишняя предосторожность: время от времени случались нападения на машины «скорой помощи». Избавитель Отечества, несмотря на титанические усилия, пока не мог окончательно искоренить торговлю человеческими органами для пересадки бизнес, ядовитыми цветами распустившийся при демократах. Одного пойманного «почечного барона» адмирал Рык приказал самого с «потрохами» пустить на трансплантацию. При этом он сказал: «На Страшном суде ангелам придется потрудиться, выковыривая эту своточь из добрых христиан!» Поговаривали, что глубоко законспирированные «Молодые львы демократии» **тесно** связаны с «почечными баронами» и финансируются ими...

«Похоронка» была лишь малой **частью** траурного ритуала, сложившегося **за** период существования Демгородка. Обычно, как только весть о смерти облетала поселок, самой первой к месту грустного события спешила изолянтка № 524, в прошлом министр просвещения, а до этого — цирковая красотка, из тех, которые после того, как шеф-фокусник вынет из корючки полупудового гуся, забирает у него ошалевшую птицу и делает при этом невыразимый жест рукой — оп-ля! Следом за ней к дому скончавшегося подтягивались еще несколько женщин, в основном изолянтские жены. Они образовывали как бы группу плакальщиц. Нет, разумеется, эти в недавнем прошлом светские дамы не рыдали, а тем более **не** причитали, но вполголоса, со сдержанной скорбью говорили о том, какой замечательный человек **ушел из жизни**, как пострадало **от этого** дело международной демократии **и** как важно передать оставшиеся от него изумительные клубничные грядки в надежные руки... Это служило прологом к небольшому траурному митингу, на который собирались в основном близкие друзья и сподвижники

незабвенного. Вообще-то, по инструкции, утвержденной Москвой, все поминальные мероприятия дозволялись только после того, как покойник возвращался из областного крематория в виде горстки пепла, ссыпанной в пластмассовую урночку, напоминающую кубок школьной спартакиады. Тогда разрешались митинги, надгробные речи, поминки с умеренным количеством алкоголя.

Но демгородковская общественность настойчиво пыталась легализовать также и траурные собрания в день смерти, а для начала замыслила получить разрешение выносить тело из дома в открытом гробу. Тридцати метров от крыльца до «санитарки» достаточно для того, чтобы попрощаться и высказать свои чувства к ушедшему из жизни. Но генерал Калманов предупредил пришедших к нему на прием посетителей, что если они еще раз вякнут по этому поводу, то он прикажет отправлять покойников в крематорий вообще на вертолете. Общественность несколько дней гадала над смыслом этой угрозы и пришла к выводу: комендант прозрачно намекнул им на скандальную историю, когда за экс-ПРЕЗИДЕНТОМ, собравшимся поохотиться, в Кремль подали военный вертолет и пилот по неуклюжести срубил винтом крест на Благовещенском соборе. В конце концов общественность постановила, что генерал Калманов — зоологический антисемит, а траурные митинги в день смерти постановило проводить без тела...

— Миша! Помоги мне! — вдруг громко, почти истерично крикнула Лена.

Решив, что ей стало плохо, Курылев бросился к кровати и схватил Лену за плечи. Только тут он заметил, что вески у покойника сомкнуты неплотно — и поэтому кажется, будто он незаметно подсматривает за ними, как давеча сам Мишка подглядывал за Ренатом.

— Ми-иша! Ты должен мне помочь! — повторила она. — Я здесь больше не могу... Я боюсь... Они убьют нашего ребенка!

— Почему ты мне раньше ничего не сказала? Почему о нашем ребенке мне говорит Хузин? — с обидой спросил Курылев.

— Я боялась...

— Чего?

— Я всего боялась...

— И меня тоже?

— И тебя... Ты простишь?

— А Рената ты не боялась?

— Нет, он — друг...

Лена выпустила отцовскую ладонь, и Курылев, оторопев от подтвердившегося страшного предчувствия, увидел, что

безымянный палец мертвой руки согнут в масонский крючок. Мишка так уставился на этот коченеющий знак чужой тайны; что даже не заметил, как Лена встала с кровати и положила ему голову на плечо.

— Они убьют...— прошептала она.

— Кого? — очнулся Курылев.

— Сначала нашего ребенка. Потом нас...

— За что? В крайнем случае сделают тебе операцию...

— В крайнем случае...— горько передразнила Лена.— Я думала, ты сильный и смелый!

— Что ты от меня хочешь?

— Я хочу, чтобы ты увез меня отсюда! Меня и моего будущего ребенка...

— Нашего ребенка,— угрюмо поправил Мишка.

— Да... Конечно... Прости! Ми-ишка, я так хочу, чтобы мы с тобой отсюда уехали! Я люблю тебя...

— Лена! Ленхен! — Курылев обнял ее.— Что ты такое говоришь?! Ты же не девочка. Как я увезу тебя отсюда? Как? Я же не Бог... и не полубог...

— Ренат знает — как,— быстро ответила она и требовательно посмотрела Мишке в глаза.

— А кто он такой? Бог или полубог?

— Он друг, он все знает и все подготовил! — горячо зашептала Лена.— Мы уедем в Англию. Ми-ишка, ты даже не знаешь, как хорошо в Англии! Там везде газоны и лужайки! А травка такая нежная, как... как...— Она расстегнула его рубашку и провела пальцами по волосатой курылевской груди.

— Хорошо, уедем,— кивнул он.— Но сначала ты мне скажешь, кто такой Ренат?

— Я не могу.

— Я тоже не могу доверить тебя и маленького,— он положил ладонь ей на живот,— этому полугвардейцу.

Лена порывисто обняла Мишку и притянула к себе. Он думал, она просто хочет его поцеловать, но вместо поцелуя она прошептала ему на ухо три слова, которые решили все.

— Я согласен! — ответил Мишка и сам поцеловал Лену.— Я по тебе жутко соскучился!

— Ми-ишка...— чуть слышно ответила она.— Ми-ишка, у меня больше нет папы... Понимаешь, Ми-ишка, моего папы у меня больше нет...

Вломившаяся в комнату изолянтка № 524 выхватила плачущую Лену из курылевских объятий и велела ему немедленно убираться.

- Ишь, нашел время приставать! Лучше воду на огонь поставь! — распорядилась она и сделала рукой свое цирковое движение - оп-тя!

В кухне, ставя на огонь воду, Мишка, которому никогда не приходилось обмывать покойников, стал думать о том, что мертвым, собственно, все равно, какой водой их обмывают теплой или ледяной. Это живым не все равно, это им кажется, будто безответная плоть усопшего может от холодной воды покрыться «гусиной кожей» или застывшие пальцы сложатся вдруг в какой-нибудь тайносекретный знак... «Ладно, кончай мозгами вихлять! зло приказал себе Мишка. Надо быть спокойным. Надо быть абсолютно спокойным. А то вот и попадешься на этот самый крючок!»

У забора уже толпились изолянты, пришедшие на несанкционированный траурный митинг. Чуть в стороне стоял № 62 с пластыревыми наклейками на лице и с большой адидасовской сумкой в руке. Очевидно, он решил к открытию прошмыгнуть в «Осинку», но узнал о смерти 55-го и задержался. Мордочка у человека-крота была грустная и виноватая...

— Давайте-ка начнем, пожалуй! — предложил, поозиравшись, изолянт № 86, главный редактор «Голоса».

— Конечно, давайте начнем, — тихим скорбным хором согласились поселенцы. — Наверное, никто больше не придет...

— Господа! — произнес № 86 и сделал многозначительную паузу, — ... риши, нас привела к порогу этого дома тяжелая потеря. Ушел из жизни наш друг и соратник. Не выносимая утрата! — возвысил он голос, явно намекая на бурбонскую неуступчивость генерала Калманова. Слово представляется большому другу усопшего...

- Простите великодушно! перебил его вкрадчивым голосом изолянт № 102, в прошлом пресс-секретарь. Разрешите мне первому! Я олашу личное послание Президента! Понимаете, мне нужно домой — у меня кран течет... Я слесаря вызвал...

- Ну конечно! Какие проблемы! Пожалуйста! печально закивали собравшиеся, ибо каждый из них знал мелочную вредность демгородковского слесаря — бывшего министра печати.

Изолянт № 102 благодарно кивнул, машинально проверил рукой постепенно превращающийся в лысину пробор и, кашлянув, начал:

— «Потрясен, получив весть о безвременной кончине глубокоуважаемого Бориса Александровича! — Произнося имя-отчество и понимая, что нарушает внутренний устав, пресс-сек-

ретарь понизил голос.— Мы потеряли кристально честного человека, энциклопедически образованного ученого, владевшего пятью языками, наконец, подлинного борца за общечеловеческие ценности. Демократа по духу и по судьбе!..»

Поселенцы слушали, недовольно переглядываясь, так как личное послание Президента точь-в-точь повторяло текст полугодичной давности, составленный по поводу кончины бывшего директора московской студии радио «Свобода». Кстати, оттуда и приплыли «пять языков», которых нынешний покойник и знать не знал.

Тем временем спецназгвардейцы под командованием Рената притащили со склада большой гроб, обитый сатином цвета «хаки», точно хоронить собирались отставного прапорщика. Кстати, это был один из тех редких случаев, когда Избавитель Отечества не сдержал своего слова. Поначалу он обещал «демократов, сделавших погребение самым дорогим в жизни удовольствием, хоронить, как цыплят, в целлофане». Отходчив русский человек...

— Пр-р-ропустить ритуальные принадлежности! — раскатисто крикнул сержант Хузин. Два спецназгвардейца, расталкивая траурно митингующих, потащили гроб к дверям. За ними шагал третий и нес черный несвежий костюм и пару ботинок-мокасин. При виде всего этого изолянты окончательно отвлеклись от прощальных слов и начали перешептываться. Ходили упорные слухи, будто каждый раз демгородковских покойников в крематории раздевают, а одежду и гроб возвращают назад, дабы сэкономить народные деньги.

— Сбоку, сбоку посмотрите, — зашептал кто-то. — Я очки забыл. На правом ботинке должна быть царапина! Я в прошлый раз специально гвоздиком...

— «... И сегодня, когда колесо истории вращается вспять, — торопливо дочитывал № 102, — когда Россия снова уклонилась от столбовой дороги мировой цивилизации, мы верим, что наступит день...»

Мишка курил, сидя на траве, и потому сначала увидел только здоровенные десантные башмаки подошедшего к нему Хузина.

— Ну, Болдуин? — молвил Ренат, и в этом вопросе была вся Мишкина жизнь.

— Думаешь, запряг? — спросил Мишка, поднимая глаза на Рената.

— Давно уже. Осталось покататься. Поедешь?

— Поеду...

— Молодец, смелый ты парень! Проверь машину! С таким грузом мы заглохнуть не имеем права...

Поднимаясь с травы, Мишка подумал, что сержант здоров как бык да еще наверняка занимался каратэ или ильямуромкой — исконно славянской борьбой, введенной в армии по приказу Избавителя Отечества. Если что, один на один с Хузиным не справиться...

— ... Творец создал человека свободным. Он вдохнул в него душу, жаждущую равенства и братства, и поселил в райских кушах.— Теперь уже речь держал № 617, тот самый драчливый попик, растративший кассу.— Но змей тоталитаризма не дремал. Он был хитрее всех зверей полевых...

«В раю демократом быть легко»,— вздохнул Мишка.

На крыльцо вышла изолянтка № 524 и выплеснула остатки воды под куст пионов.

10

Из армии Курылева и вправду погнали по женскому поводу. Дело было так. К начальнику штаба полка из Санкт-Петербурга прибыла погостить племянница — выпускница колледжа с резко гуманитарным уклоном. Когда в первый же день она пошла прогуляться по гарнизону, то сразу сорвала строевой, смотр, так как солдатики перестали воспринимать команду «равняйся!», а равнялись исключительно на приезжую девчонку. Ничего удивительного в этом нет: еще в седьмом классе она тайком от родителей поучаствовала в конкурсе «Мисс Грудь», организованном еженедельником «Демократическая семья», и получила поощрительный приз «За перспективность» — классный двухкассетник. Родителям она, конечно, наврала, будто магнитофон ей дала послушать подружка. Наверное, все это так и осталось бы ее маленькой девичьей тайной, если б однажды во время чинного домашнего ужина при включенном телевизоре на экране не возникли наиболее выдающиеся участницы конкурса, включая и обладательницу поощрительного приза «За перспективность».

Разумеется, она ожидала чудовищной взбучки и отлучения от мороженого на невообразимо длительный период, однако взвинченным родителям было не до нее — они до хрипоты, до взаимных оскорблений спорили о том, кто из них в этой ситуации должен уволиться с работы и полностью посвятить себя дочери. Победила-таки мать и оперативно помогла дочке получить приглашение на конкурсы «Таллинская наядя» и «Сибирские ягодицы»...

Но тут как раз пришел к власти адмирал Рык, мгновенно запретивший конкурсы обнаженной красоты. Любопытная

деталь: арестованную в полном составе редакцию еженедельника «Демократическая семья» он приказал в назидание провести по бульварному кольцу, причем журналисток голыми по пояс, журналистов голыми до пояса, а главный редактор шел в совершенно натуральном виде. Короче, карьера на подиуме девчонке не удалась, и пришлось вернуться за парту...

Но почему эта захватывающая дух призерка, гостя у дяди, остановила свой выбор на скромном подпоручике Курылеве — остается загадкой природы. Сама она объяснила все очень просто: «Я когда, Майкл, тебя увидела, у меня там внутри все сжалось...» Молодой офицер, предчувствуя беду, сопротивлялся до последнего и отклонял настойчивые предложения — пойти погулять в пригарнизонную рощу или посидеть послушать музыку. Погубило Мишку тщеславие: уж очень хотелось внести в послужной список финалистку конкурса «Мисс Грудь», и он зашел в гости, чтобы починить «жующий ленту» магнитофон... В общем, их застучали, потому что начштаба с женой воротились в тот вечер очень рано, чтобы не пропустить 128-ю серию мексиканского цикла «Мать чужой дочери», которую показывали по ящику в связи с успешным выполнением контрольных заданий второго квартала. Воротись они домой ну хотя бы порознь — и дело, наверное, можно было замять: дело молодое, горячее... Но, став коллективными свидетелями пиршества юной плоти, дядя с тетей нестерпимо остро ощутили гнетущую бездарность своего наполовину уже отмотанного супружеского срока, а такое не прощают!

В результате Курылев был обвинен в совращении несовершеннолетней, ибо «Мисс Грудь» шел всего осьмнадцатый. И хотя она, рыдая, брала всю вину на себя, говорила, что она растлит кого угодно, даже порывалась убедить в этом суд офицерской чести — бесполезно. Под конвоем двух прапорщиков ее отослали к родителям в Санкт-Петербург.

Правда, поначалу суд чести колебался и предлагал ограничиться строжайшим выговором за «вызывающую разнузданность в личном быту», но вдруг откуда-то сверху пришло указание «гнать», и Мишку вычистили из армии зло и жестоко, за месяц до присвоения очередного звания поручика.

Военного человека, выставленного «на гражданку», можно, извините за прямоту, сравнить с верной собакой, привыкшей выполнять все команды хозяина и убежденной, что мясная похлебка в любимой миске появляется дважды в день сама собой. И вдруг — враждебная улица, чужие люди, у которых корки не выпросишь, тяжкая грызня за жизнь с другими бродячими псами... С большим трудом Мишка устроился грузчиком на станции Москва-Сортировочная и конечно же здорово запил.

Прежде всего — с горя, но еще и потому, что мужика, не шибящего за метр перегаром, настоящие грузчики просто не пустят в свою ватагу, как господина без фрака не пустят в фешенебельное казино.

Наверное, Мишка так бы и спился, попал под указ адмирала Рыка «О дисциплине употребления алкогольных напитков» и очутился в конце концов на какой-нибудь отдаленной стройке национального возрождения, если б не один жуткий случай, перевернувший его судьбу. Однажды, разгрузив сверхплановый вагон и получив живые деньги, Курылев отчаянно завелся и в привокзальной пивной познакомился с одним командированным — разговорчивым добродушным толстяком, тоже пострадавшим от людской несправедливости...

Сколько они выпили сообща, сказать невозможно, но очулся Мишка в КПЗ (не путать с контрпропагандистскими занятиями) одного из «попсов» с дикой головной болью и чувством неисправимой вины, точно бросил вчера гранату в детский садик. Суровый председатель «попсов» предъявил ему фотографии, на которых в разных ракурсах был запечатлен изуродованный труп случайного собутыльника, и заключение экспертизы, уверявшей, что пятна крови на Мишкиной одежде совпадают с группой крови убитого. Мало того, «попсари» уже успели связаться с бывшей курылевской частью и разнюхать, за что именно его уволили. Конечно, если б Курылев находился под обычным следствием, он объяснил бы, что по врожденному добродушию не только убить — ударить-то не может и что растленной им девице до совершеннолетия оставалось всего полтора месяца... Но Мишка попал в «попс».

На правительственном приеме в честь очередной годовщины Национального Избавления адмирал Рык откровенно наступил на ногу специальному посланнику ООН и картинно расцеловался с китайским послом, радикально изменив тем самым геополитическую ситуацию. Более того, он заявил: Россия возобновит отношения с Америкой лишь после того, как вместо приболевшего президента будет выбран индеец, в крайнем случае — негр. В результате там начались волнения на этнической почве, а несколько штатов объявили себя суверенными государствами...

Развязавшись таким образом с большой политикой, Избавитель Отечества решил заняться радикальным искоренением организованной преступности в России — тяжкого наследия демократического прошлого. По всей стране спешно были созданы пункты оперативного правосудия («попсы»), куда стали доставлять взятых на месте преступления, а также серьезно

подозреваемых. Опытные законники не мешкая разбирались в деле и выносили приговор, а дежурные спецназгвардейцы отправляли осужденного к месту заключения или уводили в звукоизолированное помещение, где и расстреливали. Но высшей мерой пользовались редко. Однажды, выступая по телевидению, адмирал Рык заметил, что самое тяжкое наказание для человека — лишиться Родины. С тех пор высшей мерой считалась высылка из страны, а к ней, повторю, прибегали неохотно и в совершенно особенных случаях. Очень скоро «попсы» резко снизили уровень преступности, простые люди смогли наконец спокойно спать или гулять по ночному городу, и если б не глубоко законспирированные «Молодые львы демократии» и неуловимые «почечные бароны», то задачу искоренения преступности можно было считать выполненной. Честно говоря, Мишка уже не надеялся выбраться живым, но тут случилось непредвиденное. Он даже сначала думал, будто один раз в жизни ему по-настоящему повезло! В ту пору в Москве гостила небезызвестная Джессика Синеусофф, очаровательная хозяйка ресторанички «Russian blin» из Торонто, и адмирал Рык, будучи настоящим рыцарем, во время ее визита приказал притормозить очистительную работу «попсов». Курылевское дело передали в обычное районное управление, а дальше случилось то, что случилось...

Идея пригласить Джессику в Москву и познакомить ее с Избавителем Отечества родилась не вдруг. Как известно, помощник адмирала по творческим вопросам Николай Шорохов был убежденным монархистом, никогда этого не скрывал и в давнишние годы чуть не вылетел из Союза писателей за то, что носил в кармане перстень с изображением гербового орла. Именно он посоветовал адмиралу Рыку прочитать знаменитую книгу Тимофея Соболячанинова «Без трона не строимся...», о которой сам И. О. впоследствии сказал: «Нечеловеческая книга...» Впрочем, Иван Петрович и сам по себе давненько задумывался об особом пути России, а все особые пути, как известно, ведут в Третий Рим...

Однажды во время дружеского ужина на террасе форосской дачи Избавитель Отечества, задумчиво поиграв серебряной подзорочкой, молвил, что Россия такая страна, где без самодержавия не разберешься... И тогда Николай Шорохов, дождавшись своего часа, решительно предложил адмиралу Рыку организовать прямые всенародные выборы монарха: «Харизмы у тебя достаточно, а легитимность сделаем!» Его горячо поддержал и первый заместитель П. П. Чуланов: «Петрович, и не сомневайся! Если они таких козлов президентами выбирали, то неужели такого орла, как ты, царем не проголосуют!»

Но Избавитель Отечества только покачал головой и вздохнул: «Европа засмеет...»

Николай Шорохов оказался вдумчивым и настойчивым советником. Поразмышляя, он решил пойти другим путем и предложил Ивану Петровичу для ради государства жениться на одной из потомниц венценосных Романовых. Эту идею от души поддержал и Тимофей Соболевчанинов, приславший из своих Горок факс следующего содержания: «У царя царствующих много царей. Народ согрешит — царь умолит, а царь согрешит — народ не умолит. Царь от Бога пристав». Это послание великого мыслителя, пожалуй, и сломило окончательно воинствующую скромность Избавителя Отечества.

Но тут возникла иная проблема: кто-то из отпрысков Дома Романовых не подходил по возрасту, кто-то уже был замужем, а кто-то попросту не нравился лицом, статью или мастью. В общем, ситуация снова зашла в тупик, и снова свою незаурядную находчивость проявил Николай Шорохов, заявивший, что на Романовых свет клином не сошелся, встречались в российской истории еще и Рюриковичи! Сказано — сделано. Были подняты на ноги все дипломатические службы, корпункты, резидентуры, даже спецподразделения «Россомон», занимавшиеся на территории иностранных государств обнаружением и ликвидацией тех злодеятелей, которые успели сбежать за рубеж. Правда, в последние месяцы у них было мало работы, так как после нескольких удачных терактов и показа по CNN спектакля «Всплытие» толпы врагоугодников и отчизнопродавцев осаждали российские посольства, умоляя пустить их назад и отправить на перевоспитание в любой Демгородок...

Один из россомоновцев, впоследствии награжденный Большой Золотой Субмариной, и разыскал в Торонто тридцатилетнюю хозяйку ресторанчика «Russian blin» Джессику Синеусофф. После тщательной проверки, проведенной совместно академическим институтом русской истории и главной генеалогической комиссией под председательством генерала Волоокова, было достоверно установлено, что Джессика — прямая потомка легендарного князя Синеуса, родного брата Рюрика. Когда же на стол кремлевского кабинета легла цветная фотография Рюриковны, сделанная на нудистском пляже все тем же удачливым россомоновцем, Избавитель Отечества уронил свою подзорную трубочку и молвил:

- Мать честная! А как же Галина?
- Она поймет,— успокоил Николай Шорохов.
- А Ксения?
- Ей объясним,— пообещал П. П. Чуланов.

Оставалось решить, под каким именно предложением пригласить Джессика в Россию, ведь западные средства информации описывали происходившие в стране перемены самым пугающим образом. Но и тут оригинальное решение было найдено: объявили международный конкурс эрудитов «Русский вопрос», а специально завербованный хозяин мясной лавки, где Джессика постоянно покупала парную телятину, убедил ее принять участие в конкурсе. И хотя она, слабо владея языком предков, насажала в своем письме кучу ошибок, да и ответила толком на один вопрос из 42, именно ее признали победительницей и наградили двухнедельным туром в Россию. Следуя тонким советам Николая Шорохова, Избавитель Отечества принял победительницу конкурса в Кремле, в своем кабинете, в парадном адмиральском мундире с кортиком на боку и имел с ней теплую продолжительную беседу, а вечером пригласил ее в Большой театр на «Лебединое озеро». После балета они ужинали в «Славянском базаре», где смогли спокойно пообщаться наедине, так как все прочие столики и кабинеты были заняты лучшими россомоновцами, поощренными таким вот способом за образцовую службу...

На следующий день в сопровождении верных людей Джессика отправилась в путешествие по просторам России, причем маршрут был составлен Николаем Шороховым, чтобы будущая царица смогла как можно полнее ознакомиться с жизнью и бытом своих будущих разноплеменных подданных. Больше всего ее поразили Кавказские горы, а также выражение «сходить на двор» с последующим отважным поступком, свидетельницей которого она стала в заснеженной сибирской деревне, куда ее спустили на вертолете — полюбоваться следами, оставленными в сугробе реликтовым гоминидом.

Улетала в Канаду Джессика через две недели, усталая, но очень довольная. Домой ее должен был доставить специально выделенный для нее аэробус, едва вместивший в себя щедрые дары гостеприимных россиян. Чего тут только не было: и бочка башкирского меда, и самаркандские ковры, и штабеля украинского сала, и груды прибалтийского янтаря, и грузинская чеканка, и даже шкура того самого неуловимого гоминида.

Кстати, именно здесь, у трапа самолета, воспользовавшись тем, что Николай Шорохов и П. П. Чуланов деликатно отошли в сторонку, Избавитель Отечества, смущаясь, как школьник, поведал Джессике о своих матримониально-монархических мечтах. Сначала она вежливо улыбнулась, решив, что из-за своего плохонького русского просто не разобрала, о чем идет речь. Но Иван Петрович медленно и членораздельно повторил свое предложение, тогда Джессика звонко рассмеялась и, поднеся

к лицу платочек, сказала: «Такая смешная шутка от большого политика — это фантастика!» Тут в дело вмешались прислушавшиеся к разговору Н. Шорохов и П. П. Чуланов и решительно подтвердили, что такими вещами не шутят, а речь идет о деле чрезвычайной государственной важности.

Джессика посерьезнела, поморщила носик и созналась: поездив по России, она пришла к выводу, что управлять этой страной, очевидно, не труднее, чем управляться с рестораничком «Russian blin» в условиях жесткой конкуренции и скрупулезного налогообложения, поэтому её тревожит не столько державная, сколько интимная сторона вопроса. У нее в жизни было несколько не очень удачных сексуальных эпизодов, и она боится снова ошибиться. Тем более что речь идет о законном браке, ведь изменять мужу недопустимо, значит, нужно выбрать такого мужа, чтобы в этом не было необходимости! Джессика снова поднесла платочек к лицу и предложила поступить так: разъехаться по домам, поддерживая телефонную связь, все хорошенько обдумать, а потом снова встретиться, узнать друг друга поближе и тогда уже принимать окончательное решение. На прощанье она протянула адмиралу руку и тонко глянула на его безымянный палец, на котором виднелся след от предусмотрительно снятого обручального кольца. А стоя на первой ступеньке трапа, Джессика вдруг прослезилась, поцеловала Избавителя Отечества в щеку, но тут же тщательно стерла платочком след от губной помады с адмиральской щеки.

— И про Галину разнюхала, и про Ксюху тоже... — пробормотал Иван Петрович, тоскливо глядя вслед обворожительной Рюриковне.

Вернувшись в Кремль, адмирал Рык одним росчерком пера изничтожил всех экстрасенсов, астрологов, колдунов, белых и черных магов, медиумов и прочих сверхъестественных проходимцев, необычайно расплодившихся в годы Демократической Смуты. Это было тем более удивительно, что раньше Избавитель Отечества относился к данной категории трудящихся с явной симпатией и даже пользовался их услугами. Особенно он благоволил к одному знаменитому психотерапевту, который два раза в неделю с экрана телевизора залезал своим целительным взглядом в самое народное нутро, а кроме того, изобрел знаменитый приворотный лосьон. Каждый желающий, переведя известную сумму на конкретный счет, мог получить по почте бумажку, смоченную чудесным лосьоном, и инструкцию по эксплуатации. В ней рекомендовалось сначала нормализовать свой вес, избавиться с помощью специалиста от нежелательных образований на коже, залечить зубы, освоить хорошие манеры, купить модную одежду, а потом уже, подвесив на грудь ладанку

со смоченной бумажкой, идти «приворачивать» объект неутоленной страсти. Конечно, для Избавителя Отечества в канун решительного объяснения с Джессикой доставили полную склянку приворотного лосьона, и адмирал пустил его в дело почти без остатка... Беспристрастный химический анализ показал, что в склянке содержался дешевый одеколон «Гвоздика», чрезвычайно эффективное средство для отпугивания комаров, и тогда стало понятно, почему предполагаемая царица, разговаривая с будущим самодержцем, постоянно морщила носик и подносила к лицу платочек.

В результате сам знаменитый психотерапевт, дававший установку всей стране, был отправлен в Демгородок, как Ихтиандр, в бочке, до краев наполненной злополучным эликсиром — от этого запаха он не может избавиться и по сей день. Остальных бойцов эзотерического фронта рассредоточили по стройкам национального возрождения. Правда, поначалу сгоряча замели и всех цирковых фокусников, но адмирал Рык в отличие от своих предшественников никогда не упорствовал в ошибках: через полгода иллюзионисты воротились к своим зрителям...

Вот, собственно, что происходило в Государстве Российском в тот исторический момент, когда Мишка Курылев сидел под заборчиком, курил «шипку» и дожидался, пока похоронная комиссия сактирует бездыханное тело изолянта № 55.

11

— Ну, Шпенглер, машину проверил? — спросил Ренат и каблучком с силой надавил на покрывку.

— Проверил, — буркнул Мишка, его все больше злила наглая загадочность сержанта.

— Уйдем, если что, от «почечных баронов»?

— Уйдем...

— Смелый ты парень! Ладно, пошли мортинто выносить...

— Кого? — не понял Курылев.

— Жмурика...

Тем временем с крыльца медленно спустилась «похоронка»: подъесаул Папикян в черной черкеске с пластмассовыми газырями, главврач в белом накрахмаленном халате и со стетоскопом на шее, вроде амулета. Последним брел, позевывая, представитель демгородковской общестственности изолянт № 339, в прошлом совершенно независимый и абсолютно безвредный народный депутат. Но с ним очень злую шутку сыграли

парламентские телерепортеры: они постоянно показывали его на экране и всегда в откровенно спящем виде. В результате именно № 339 крепче всех из депутатского корпуса запомнился адмиралу Рыку, и, придя к власти, он отправил беднягу в Демгородок — «досыпать»...

Митинг уже закончился, но у заборчика толпилось человек пятнадцать, ожидая выноса тела. Подъесаул Папикян сурово велел им расходиться, потом огляделся и пальцем поманил к себе Рената.

— Ты, что ли, сопровождаешь? — спросил он, ткнув нагайкой в грудь Хузину.

— Так точно, господариш подъесаул! — дурашливо отпартовал сержант.

— Вещи обратно по описи примешь. Понял? В прошлый раз носки не вернули... Не дай Бог, опять что-нибудь пропадет — выпорю!

— Так точно...

— Водиле на обратном пути халтурить не разрешай! Узнаю — выпорю обоих! Выноси спецтару!

— Есть, господариш подъесаул!

... Войдя в дом следом за Ренатом, Мишка после яркого утреннего света не сразу заметил перемены. Борис Александрович был уже в гробу, установленном на разложенном точно для гостей столе. Его голова, как и водится, была чуть наклонена вперед, и казалось, что он старается разглядеть ту самую пресловутую царापину на казенных мокасинах. Лена ничком лежала на кровати и устало плакала.

— А я говорю, спасибо надо сказать, — легкая смерть! — встретила их на пороге деловитая № 624. — Вы только на личико посмотрите — спит! Сердечники всегда так. А вот раковые — страшная вещь! Ночью приснятся...

— Покиньте помещение! — гаркнул Ренат.

— Может, я лучше с ней побуду? — предложила обмывальщица. — Леночке сейчас одной не рекомендуется...

— Покиньте помещение, № 624.

Изобразив свой цирковой жест, в данном случае означющий недоумение, смешанное с негодованием, она ушла. Хузин закрыл за ней дверь, накинул крючок, потом прошел вдоль окон, задергивая занавески.

— Вставай! — приказал он.

Лена медленно села на кровати — у нее были потухшие глаза, красное от слез лицо и растрепанные волосы. Увидев Мишку, она машинально начала поправлять прическу, потом передумала и хотела повязать голову косынкой, но вдруг как-то обреченно вздохнула и застыла, уронив руки.

— Я не могу,— чуть слышно сказала она.

— Почему? — спросил Ренат.

— Потому что я не могу... Мне очень плохо.

— Но ты же сказала, если он согласится,— Хузин презрительно кивнул в Мишкину сторону,— ты тоже согласишься. Он согласится. Давай, Акутагава, скажи громко: я согласен.

— Я согласен! — громко сказал Курылев.

— Вот видишь!

— Вижу...— ответила Лена, вставая с кровати.— А как-нибудь по-другому нельзя?

— Нет,— отрезал Ренат и, повернувшись к Мишке, приказал.— Бери за ноги...

В курсантские годы Курылев каждые каникулы, чтобы подхалтурить к нищенской стипендии, вербовался в разные горячие точки. Однажды под Сухуми их отряд здорово потрепали, и они драпали, попеременно таща на самодельных носилках одного парня, подстреленного снайпером. Может, от страшной усталости, а может быть, просто по молодости, но тогда Мишке труп того щуплого курсантика показался неподъемно тяжелым. Однако Борис Александрович оказался на удивление легким. Во всяком случае, гораздо легче тех мешков с мукой, разгружая которые выпихнутый из армии Курылев зарабатывал себе на жизнь. К тому же углы мешков были очень короткие и все время норовили выскочить из рук, а за худушие щиколотки покойника держать было удобно...

— Заноси! — скомандовал Ренат.— А ты отойди!

Лена покорно отошла в сторону. Они вынули тело из гроба и плюхнули на матрац. Потом Хузин оглядел получившийся натюрморт вдумчивым дизайнерским взглядом, перевернул покойника на бок и, отобрав у Лены косынку, обвязал ею голову усопшего. В довершение он накрыл труп одеялом так, чтобы виден был лишь кончик этой черной косынки. После всего сделанного Ренат отошел к двери и оттуда придиричиво оценил результаты своего труда.

— Нормально,— сказал он.— А теперь ты ложись!

— Я не могу! — прошептала Лена и попятилась.

— Тогда все ляжем, и по-настоящему!

Она закусила губу и медленно подошла к гробу, встала ногами на стул, а затем начала неловко укладываться в эту, как выразился подъесаул, «спецтару». Там, внутри, прямо посредине проходил грубый шов, соединявший два куска прапорщицкого сатина. Казалось, стоит только улечься — шов разойдется и человек навсегда провалится в черную свистящую пустоту...

— Я не могу,— повторила Лена, уже улегшись внутрь, точно говорящая кукла в огромную коробку.

— Ни о чем не думай — и все будет хорошо, — успокоил сержант.

— Я не могу...

— Послушай, Хузин!.. — не выдержал Мишка.

— А ты, монархист, заткнись! — оборвал сержант.

Потом он, сузив глаза, еще раз внимательно осмотрел кровать: из-под одеяла высовывался мокасин с очевидной царапиной на боку. Сначала Ренат попросту хотел натянуть на предательскую обувь одеяло, но, прикинув, стащил ботинки с покойного и надел их на босые Ленины ступни.

— Пожалуйста, не надо... — всхлинула она.

— Выносим! — скомандовал Ренат и накрыл гроб крышкой.

В открытую дверь тут же ворвалась изолянтка № 624. Увидав укутанное одеялом тело и торчащий кончик черной косынки, она заголосила:

— Что с ней? Бедная девочка...

— Успокоительного выпила, — объяснил сержант. — Покиньте помещение!

— Давайте я лучше с ней побуду!

— На «картошке» ты побудешь! — вдруг заорал Курылев и заслужил одобрителный кивок Рената.

На крыльце им хотели помочь вытаскивать гроб спецнашвардейцы, но Хузин, багровея от натуги, приказал им встать возле двери и никого не пускать, а самому здоровому ефрейтору он приказал отволочь орущую циркачку в изолятор и там запереть. Наконец гроб поставили на ролики и закатили в «санитарку». Они уселись в машину, и Ренат, пробормотав странную фразу «С нею погибнет Приам и народ — гробonosец Приама», приказал трогаться... Но тут — черт его принес — объявился совершенно сломленный похмельем штабс-капитан Зотов. Завидев его, Хузин расторопно выскочил из машины, подошел к начгару картинным строевым шагом и отпортовал:

— Господарищ начальник гаража, труп сактирован, обмыт и уложен в «спецтару». Есть распоряжение «похоронной комиссии» доставить в областной крематорий и сдать под расписку. Старший сопровождающий — сержант Хузин. Водитель — вольнонаемный Курылев...

Штабс-капитан пытался слушать рапорт только до слова «обмыт», после чего сник до неузнаваемости и начал медленно обходить «санитарку» вокруг, как это обычно делают гаишники, если придраться вроде бы не к чему, а поживиться хочется. Окончание доклада пришлось уже в согбенную спину начгара.

— Такого водителя загубили! — горестно вспомнил Зотов про выбывшего из строя по ранению шофера «санитарки», всегда выручавшего в трудные минуты медицинским спиртом.

Наконец, идя по кругу, он доковылял до Мишки, некоторое время разглядывал его с потусторонним любопытством, а потом спросил:

— В кино-то не опоздаешь?

— Кино завтра, господарищ штабс-капитан! — отчеканил Курылев.

— Запаску проверил?

— Так точно.

— Дыхни!

Мишка чуть не расхохотался от неожиданности: в данный текущий момент Зотов не отличил бы ведро керосина от ведра водки. Но, понимая рискованность ситуации, Мишка сдержался и уважительно подышал в лицо начальству, а штабс-капитан, не получив даже в аэрозольном виде молимого организмом алкоголя, совсем скуксился. И в этот самый момент Ренат наклонился к нему и доверительно шепнул:

— Сергей Михайлович, пивка из города прихватить?

— И пивка тоже! — очень живо отреагировал начгар и энергично взмахнул рукой. — Скорей! Чтоб я вас здесь не видел!..

Ренат плюхнулся на сиденье рядом с Мишкой и положил на колени свой коротенький автомат. Курылев же так резко взял с места, что щбенка брызнула из-под колес.

— Не спеши, Лознгрин, — поморщился сержант и глянул на часы.

— По инструкции... — начал оправдываться Курылев.

— Ты теперь живешь по моей инструкции!

Они медленно ехали по Демгородку. Изолянты, отрываясь от грядок, подходили к ограде и смотрели вслед «санитарке». В их взглядах была тоска — они провожали умершего, но и зависть — они провожали уезжавшего на свободу. Возле киноторгового центра Мишка заметил человека-крота, терпеливо дожидавшегося открытия «Осинки». Первые два КПП прошли без осложнений — там дежурили свои парни. Ренат перешучивался с ними, кивал на Курылева и обещал им совсем уж фантастические кадры из фильма «Космический фаллос». Спецнацгвардейцы хохотали и смотрели на Курылева с надеждой. На третьем КПП начались неприятности — утренний зануда-сержант из свежего призыва еще не сменился. Он копался в предьявленных бумагах, все время переспрашивал, словно страдал беспамятством, доставал из кармана устав караульной

службы и заглядывал туда. Потом, подозрительно осмотрев машину, приказал Курылеву выйти и открыть заднюю дверь. Ренат, поначалу наблюдавший все это, как бывалый сторожевой пес наблюдает щенячью возню, не выдержал:

— Может, тебе и «спецтару» открыть?

— Нет, не надо... — поколебавшись, ответил новичок.

Забрав все документы, он ушел в караулку. Мишка глянул на Хузина — тот сидел в безмятежной позе, бесцельно улыбался и даже напевал что-то, но совершенно белый от напряжения палец лежал на спусковом крючке автомата. Неожиданно бронированные ворота начали раскрываться, и появившийся сержант-новичок, протянув Ренату проштампованные бумаги, попросил:

— А знаешь, ты гроб все-таки открой!

— Ты некроман, что ли? — изумился Ренат.

— Согласно приказа...

— Ну, тогда смотри... — Ренат, не выпуская автомата, повернулся и, дотянувшись до узкой части гроба, чуть сдвинул крышку: показались мыски казенных мокасин.

Мишке все это почему-то напомнило детские переводные картинки, когда вот так же осторожно нужно было сдвинуть плотную бумажную основу — и тогда перед тобой открывался влажно-яркий неведомый рисунок...

— Еще? — спросил Хузин.

— Еще! — ответил зануда-сержант.

— Значит, смерти не боишься?

— Согласно приказа...

Ренат еще буквально на сантиметр сдвинул крышку и коротко глянул на Курылева. Глаза у Хузина были веселые и абсолютно сумасшедшие. Мишка неприметным движением отжал сцепление, включил скорость и был готов по первому знаку рвануть в открытые ворота. И тут громыхнуло! В глубине поселка, над киноторговым центром поднялся черный с красными подпалинами столб дыма, а спустя мгновение на третий КПП обрушился странный град из пивных банок и плодов киви.

— Что это? — испугался сержант-новичок, смахивая с погон ключья пены и какие-то зеленые ошметки.

— Может, салют? — пожал плечами Ренат. — Беги звонить в комендатуру... «Согласно приказа»...

Отъехав от поселка километра два, Мишка глянул в зеркало заднего обзора и увидел над Демгородком большую темную тучу, похожую на грозовую, но только не синюю, а бурую.

— Львы? — спросил он.

- Догадливый ты, Шпет!
- А зачем вам Лена?
- Не бойся, дендрофил, не для того, зачем тебе.
- Мы поженимся,— совсем некстати сообщил Курылев.
- Конечно, весь Кембридж на свадьбе гулять будет...
- Значит, мы теперь в Англию?
- Мелкими перебежками...— хмыкнул Ренат.

Возле немецкого дота, похожего на огромный бетонный кубик, вдавившийся под собственной тяжестью в землю, Хузин приказал свернуть на еле приметную лесную дорогу, заросшую зверобоем и одуванчиками. Потом он постучал костяшками пальцев по крышке гроба:

— Воскресай, дочь Иаирова!

Крышка откинулась, и Лена села в гробу, точно гоголевская панночка,— бледная и трясущаяся. Ее тело билось в жестокой, но совершенно беззвучной истерике.

— Успокойся! — приказал Ренат.— Он обещал на тебе жениться...

Прыгая на кочках и проваливаясь в рытвины, рискуя сломать передний мост, Мишка гнал «санитарку» по лесу, пока не уперся в здоровенную копну свежего сена. Навстречу им из-за кустов тут же выскочили два крепких парня в кожаных куртках — черной и коричневой.

— Без шума нельзя было? — раздраженно спросил тот, что был в черной куртке.

— Нельзя! — ответил Ренат, вылезая из машины.— Разъезжаемся — времени нет...

Он помог Лене выбраться из «санитарки», а парни начали быстро разбрасывать копну — под сеном была спрятана небольшая машина-рефрижератор с надписью «мясо». Ренат открыл дверцу холодильника и с галантным поклоном предложил Лене забраться внутрь, сострив что-то по поводу улучшения жилищных условий. Она беспомощно оглянулась на Курылева и жалобно спросила:

— А он?

— Что ты сидишь, как засватанный! — крикнул Ренат.— Иди к нам!

Мишка стал поспешно вылезать из кабины, но парень в коричневой куртке неожиданно заломил ему руку и бросил лицом на капот.

— От меня ему еще добавь! — засмеялся Хузин.

Парень с готовностью саданул Курылева в бок.

— Только печенку не отбей! Печенка мне скоро понадобится — я за бугром много пить буду! От ностальгии...— Говоря это, Ренат смеялся и легко удерживал отчаянно вырывающуюся Лену.

— Отложим для тебя! — пообещал парень в черной куртке, застегивая на Мишкиных запястьях наручники.

— А мозги никому не продавайте — они у него бараньи! — предупредил Ренат.

Парни заржали. Курылев увидел перед самым своим носом красный гляцевый баллончик и почувствовал нестерпимую резь в глазах. Перед тем как раствориться в отвратительной стрекочущей пустоте, он успел понять, что его засовывают в гроб. И еще он услышал отчаянный вопль Лены:

— Ты же мне обещал! Ты же обещал...

12

Первый россомоновец, разбив вдребезги оконную раму, влетел в операционную именно в тот момент, когда преступный хирург прицеливался, как половчей вскрыть беззащитное курылевское тело. Но Мишка, конечно, ничего этого знать не мог: его бесприютное сознание, не помня себя, витало в черном космосе, а мимо, точно хвостатые кометы, пронеслись пронзительно-красные, истошно-зеленые, душераздирающе-желтые Ленины крики: «Ты же мне обещал... обещал... обещал...»

Другие россомоновцы молниеносно уложили двух стоявших на стреме парней, сначала того, что в черной куртке, а потом того, что в коричневой, и, сорвав с петель дверь, тоже вломились в операционную. Один из них в азарте отстрелил трансплантатору кисть с зажатым в ней скальпелем. Но Мишка, разумеется, не подозревал о своем внезапном спасении: его обезумевшая душа металась по черной пустоте, тщась догнать одну комету или пусть даже только коснуться ее хвоста, горячего и нежного, как любящее Ленино тело.

В себя Курылев пришел только на следующий день, но ядовитый наркоз еще не выветрился — и поэтому прошлое все никак не складывалось в мозгу в законопослушный узор, а скорее напоминало разбросанные по комнате детские кубики с фрагментами до боли знакомой картинки...

— Где я? — спросил Мишка.

— В кремлевской больнице, — объяснил, наклонясь над ним, подполковник Юртин.

Нет, он не шутил: тайная база неуловимых «почечных баронов», которую накрыли, следя за увозившей Курылева машиной, оказалась там, где и вообразить-то трудно, — в спецклинике на улице Грановского! А самым главным «бароном», как выяснилось, был неприметный санитариска-гар-

деробщик, за пяточок помогавший не только надеть пальто, но и стряхивавший специальной щеточкой перхоть с плеч посетителя...

— Ну, как себя чувствуешь, Мишель? — сочувственно спросил Юртин.

— Я тебя не убивал, — ответил Мишка.

...В операции под кодовым названием «Принцесса и свинопас» Курылев согласился участвовать без колебаний. Еще бы! Ему твердо пообещали не только замять зверское убийство случайного собутыльника, но даже, если все пройдет успешно, восстановить в должности и присвоить очередное звание. Расположенный труп добродушного командированного контрразведчиков из «Россомона» не смущал, а штатный психиатр даже успокаивал Мишку, объясняя, что таким радикальным способом он начисто избавился от переполюнявивших его отрицательных эмоций и стал теперь в подсознательном смысле как новенький.

Прямо из камеры Курылева переправили в Переделкино, в специальный учебный центр, замаскированный под детский пульманологический санаторий. Там довольно торопливо и не очень-то основательно его научили вести слежку и уходить от «хвостов», составлять шифрованные донесения и закладывать их в заранее оборудованные тайники, работать с передатчиком и кинопроекционной аппаратурой... Показали Мишке и несколько силовых приемов, с помощью которых можно в секунду отправить на тот свет практически здорового человека, но посоветовали все-таки действовать больше головой и до рукоприкладства не доводить, ибо потенциальный противник может владеть теми же приемами, и даже гораздо лучше. Основательно и настойчиво Мишку учили двум вещам. Во-первых, тренировали память и слух, чтобы он мог услышать и запомнить шестизначное число, произнесенное по-русски, по-английски, по-французски или по-немецки. Во-вторых, ежедневно по четыре часа (два — теория, два — практика) с ним занимался известный сексовед, автор нашумевшей книги «Как делать любовь?».

Окончив ускоренные курсы, Курылев успешно сдал экзамены: запомнил и повторил число, которое, предварительно вынув зубные протезы, прошамкал чекист-пенсионер, сидящий за рулем промчавшей мимо машины. Кроме того, Мишка за три дня обольстил молоденькую искусствоведочку из Эрмитажа, собиравшуюся замуж за преуспевающего дипломата и даже заказавшую уже себе свадебное платье...

Экзамены у него принимал знаменитый россомоновец по прозвищу Кротолов, прославившийся, в частности, тем, что

выследил-таки матерого злодеятеля Стратонова и порешил его прямо в рыбной секции супермаркета, несмотря на фальшивый паспорт и накладную бороду. Кротолов и передал Мишке приказ начальства приступить к первому этапу операции «Принцесса и свинопас», а именно — вернуться в Алешкино, устроиться киномехаником на место изъятого Второва, натурализоваться и ждать связного. «А когда?» — полюбопытствовал Курылев. «Может, и никогда. Твое дело быть готовым в любую минуту! — ответил Кротолов и коротким тычком в живот послал Мишку в глубокий нокдаун.— Пресс подкачай!...»

Курылев все сделал, как приказали, и ждал так долго, что в душу начали закрадываться сомнения: а может, в его услугах уже не нуждаются и самое лучшее в такой бессвязной ситуации потихоньку продать домишко и затеряться в бескрайних просторах России, которая после присоединения еще и Сербии занимала даже больше чем $\frac{1}{6}$ часть суши.

Но не тут-то было: найденный Мишкой покупатель-биллионщик, как мы знаем, сгорел на этом деле в буквальном смысле слова, а через три дня в Алешкино босиком по снегу забрел последователь и популяризатор учения Порфирия Иванова. Собрав селян в клубе и призвав их окончательно слиться с природой, он потихоньку сунул Курылеву шифрованную инструкцию, где было приказано «отставить самодеятельность и постараться устроиться вольнонаемным ассенизатором в Демгородок». «А если не возьмут? — засомневался Мишка.— Желających во-он сколько!» — «Будь ближе к природе!» — посоветовал связной и растер ему морду пригоршней крупнозернистого снега...

Приступив к исполнению ассенизаторских обязанностей, Курылев поначалу тихо радовался заработку и спокойной жизни, но потом стал нервничать, потому что никак не мог сообразить, каким образом челночные рейсы его «дерьмовоза» связаны со строго засекреченной операцией «Принцесса и свинопас». Это томление духа продолжалось до тех пор, пока его не вызвал к себе только-только прибывший в Демгородок новый начальник отдела культуры и физкультуры. Войдя в кабинетик, украшенный большим портретом И. О. и забракованными академией художеств этюдами знаменитого «идолога», Мишка прямо-таки остолбенел: за столом, улыбаясь, сидел живехонький командированный, которого он в свое время зверски зарезал черенком бутылки.

— Не ожидал? — пристально глядя Мишке в глаза, спросил воскресший.

— Не ожидал... Так, значит, я...

— Ну конечно... Моя фамилия Юрятин. Мне поручено руководить операцией на месте. А убить ты не то что кадрового россомоновца, щенка не сможешь...

— А зачем же тогда?..

— Никогда не задавай вопросов, ответы на которые знаешь.

— Но почему именно я?

— Нам нужен был человек из Алешкино. Ты был обречен.

— А «мисс Бюст»?

— Это был тест — и ты его успешно прошел.

— Выходит, из армии меня...

— Ну конечно! Это называется социально-психологическая деинтеграция объекта вербовки. Но ты не переживай! Если операция пройдет успешно, вернешься с повышением к себе в часть. Или у нас останешься. Посмотрим... Ну чего скучился?

— Я не буду с вами сотрудничать ни сейчас, ни потом! — решительно объявил обманутый Мишка.

— Будешь, — усмехнулся Юрятин и выложил на стол свеженький плакатик «Обезвредить опасного преступника», где красовалась Мишкина физиономия и подробно перечислялись все его приметы. — Понял?

— Понял...

— Еще заявления или вопросы имеются?

— А почему операция называется «Принцесса и свинопас»?

— Ну, это уж совсем просто! — улыбнулся Юрятин и рядом с плакатиком положил большую цветную фотографию.

На ней была изображена стройная темноволосая девушка в короткой теннисной юбочке и с безумно дорогой ракеткой в руке. Девушка смотрела со снимка темными печальными глазами и улыбалась странной, запечатленной улыбкой, какая бывает у человека, пытающегося по возможности весело поведать о своих несчастьях.

— Теперь все ясно? — спросил Юрятин.

— Теперь все...

— От халтуры в Алешкино придется отказаться. Дело предстоит серьезное, поэтому надо сосредоточиться и не расплытаться. Кобелиную самодеятельность в деревне прекратить! А вот с этим внимательно ознакомиться!

Подполковник выложил перед Курылевым пухлую папку и какую-то книгу. Это было подробнейшее досье на Лену и избранные сочинения Оскара Уайльда. «Избранное» Мишка прочитал без особого восторга, больше всего понравился

рассказ про кентервильское привидение, но он уже видел об этом мультфильм по телевизору. Но зато досье!.. Вся жизнь Лены была подшита в эту папку: свидетельство о рождении, аттестат зрелости, переснятые странички отроческого дневника с трогательными подробностями пробуждающейся девичьей души, письма к подругам и приятелям... фотографии. Правда, ничего пикантного, если не считать один снимок: Лена лежит на кровати абсолютно голая и хохочет. Ей года полтора...

Мишка обратил внимание на донесение агента, сообщавшего, будто, узнав об аресте отца и решив вернуться в Россию, она две недели провела в клинике доктора Подопригоринштейна, где кроме общеукрепляющих и успокоительных процедур делались также операции по восстановлению девственности, если вдруг какой-нибудь богатой невесте въедет в голову этакая ретро-блажь. Конечно, Курьлев знал, что «Принцесса и свинопас» — сложнейшая многоходовая операция, в которой задействовано более полутора тысяч опытейших сотрудников, включая резидентов, а курирует ее лично помощник Избавителя Отечества по национальной безопасности — «помнацбес». Иногда у Мишки возникало чувство нереальности происходящего: неужели вся эта высококвалифицированная орава уродуется лишь для того, чтобы он, вышибленный из армии подпоручик, мог благополучно завлечь на предусмотрительно раскладывающийся диван эту трогательную кембриджскую уайльдовку и в обстановке страстной неги выведать у нее тайный счет, на котором ее хитроумный папаша хранит денежки, уворованные у доверчивого русского народа!

Порой, после бутылочки «адмираловки», выпитой втихаря (Юрятин строго запрещал!), у Мишки возникала своего рода мания величия: мол, наверное, не случайно из всего многообразия мужчин для выполнения задания общегосударственной важности выбрали его — простого алешкинского парня, а не какого-нибудь ризеншнауцера, окончившего два университета и говорящего на пяти языках! Потом, на трезвую голову, Мишка, конечно, опять начинал робеть, сомневаться и даже однажды спросил подполковника Юрятина: «А нет ли другого, более надежного способа завладеть тайной золотого счетчика? Ну-у, гипноз какой-нибудь, таблеточки или укольчик...» — «Нет!» — строго ответил начальник отдела культуры и физкультуры и объяснил, что, во-первых, самый короткий путь к сердцу женщины лежит через гениталии, а во-вторых, мало узнать номер счета и название банка, нужно еще завладеть полным доверием девушки, владеющей доверенностью на получение денежек. «А вы думаете, у нее есть доверенность?» — «Думают в сортире. В «Россомоне» знают!»

Впоследствии Мишка узнал: не очень-то надеясь на него и подстраховываясь, Лене в «Осинке» (а была она там всего два раза ввиду смехотворности валютных сбережений) подсунули специальные конфетки, повышающие потребность женского организма в любви и делающие беременность почти неизбежной...

Группа аналитиков, интеллектуально обеспечивающих операцию «Принцесса и свинопас», допускала, что к моменту начала операции изолянтка № 55-Б могла и не знать главной тайны своего отца, всегда отличавшегося патологической скрытностью и никогда не рассказывавшего близким о том, какие поручения он получал от всевозможных президентов и их подельщиков. Однако аналитики полагали, что, оказавшись в пограничном состоянии, он непременно посвятит единственного близкого человека — дочь — в свои секреты и объявит, что та становится обладательницей самого большого в мире состояния!

Не соглашался с этой точкой зрения только один молоденький психолог-практикант. Он доказывал, что окажись сам на месте изолянта № 55, то постарался бы избавиться от этих опасных денег, уже стоивших жизни нескольким десяткам людей, а уж родную дочь и подавно не стал бы впутывать в это рискованное дело! Его обозвали «мальчишкой» и объявили выговор за систематические опоздания на работу. А для контроля за событиями заготовили специальный препарат, вызывающий симптомы, очень похожие на сердечную недостаточность, и одновременно ввергающий человека в состояние неудержимой откровенности. Инъекцию планировали под видом прививки сделать в тот момент, когда отношения Курьева и изолянтки № 55-Б окончательно трансформируются в необратимо интимную привязанность, в просторечии именуемую любовью.

Итак, все шло в соответствии с планом, разработанным подполковником Юрятиным и утвержденным «помнацбесом». Мишка вошел в первый контакт с «объектом», был с ней — по настоянию психологов — неумолимо суров и отправил в кинозал досматривать порнографические кошмары. И вдруг выяснилось, что изолянткой № 55-Б интересуется не только спецотдел «Россомон», но еще и лично сержант спецназгвардейцев Ренат Хузин! После тщательной проверки, стоившей жизни двум опытным агентам, удалось установить: проявляющий повышенный интерес к «принцессе» сержант есть не кто иной, как член президиума исполкома «Молодых львов демократии» Мансур Белляутдинов, он же Марк Сидоров, он же Иван Кауфман... Оказалось, еще два года назад он получил от своей

организации сверхсекретное задание отыскать перепрятанные демократами деньги партии, столь необходимые для успешного продолжения преступной борьбы с адмиралом Рыком. Может возникнуть резонный вопрос: «Как же так? Сами злодеи не знают, куда деньги запрятали!» Но чтобы все встало на свои места, достаточно вспомнить по-народному меткое высказывание Избавителя Отечества, в трех словах охарактеризовавшего суть режима врагоугодников и отчизнопродавцев: «Заврались, зарвались, заворовались...»

Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, план было решено изменить таким образом, чтобы в ходе операции не только вернуть народные деньги, но и, «ведя» лжесержанта Лже-Хузина, навсегда покончить с осточертевшими «львами», которые незадолго до этого безжалостно взорвали новое здание Третьяковской галереи. Избавитель Отечества, посетивший скорбную выставку «Уцелевшие шедевры», уронил скупую моряцкую слезу возле обгоревшего холста, на котором чудом сохранилась не лучшая часть Добрыни Никитича, единственного оставшегося из «Трех богатырей». Покидая экспозицию, он твердо приказал: «Чтобы про этих животных я больше никогда не слышал!»

Аналитическая группа не спала ночей и пришла к выводу, что Курылев в этой ситуации должен полностью уступить инициативу Ренату и прикинуться простачком, готовым на все ради «принцессы», поразившей его свинопасское сердце! «Любовь-то изобразить сможешь?» — поинтересовался подполковник Юрятин. «Постараюсь», — пообещал Мишка. «Постарайся! А на самом деле втюришься — убью», — пригрозил начальник отдела культуры и физкультуры. Теперь все шло по видоизмененному плану, но специалистов немного беспокоила агрессивная неадекватность сержанта Хузина по отношению к Курылеву. Однако практикант-психолог, обработав на компьютере прозвища, которые Ренат постоянно давал Мишке, даже заявил, будто, по его мнению, террорист сам влюбился в изолянтку № 55-Б и страдает из-за того, что вынужден в интересах своей организации буквально подкладывать Лену дураковатому ассенизатору. Юного психолога обозвали «молокососом» и пообещали поставить за практику «неуд»...

Для окончательного уточнения деталей операции «Принцесса и свинопас» в Демгородок под видом помрежей и осветителей во время съемок «Всплытия» приезжали совершенно заоблачные чины, перед которыми подполковник Юрятин тянулся так, что его вызывающая полнота была почти незаметна. «Все готово?» — сурово спрашивали они. «Абсолютно все!» — радостно отвечал начальник отдела культуры и физкультуры.

«Накладок не будет?» — «Никак нет!» — «Ну-с, тогда с Богом...»

В действительности все обстояло не так-то просто. Конечно, никто не сомневался, что Лже-Хузин готовит побег изолянтке № 55-Б и хочет использовать с этой целью Курылева, которого благодаря умелой дезинформации считает законченным болваном, понравившимся «принцессе» по странной игре женского воображения. Но зачем же тогда Ренат подбросил через своих людей в окно ЭКС-президенту угрожающую записку? На всякий случай было решено подыграть террористу — и в «Кунцево» спешно была воздвигнута караульная будка, якобы для охраны, а на самом деле, чтобы вынужденными редкими встречами с возлюбленной замотивировать Мишкину уступчивость.

Записка о беременности, разумеется, была воспринята как свидетельство скорого побега. Но опять вставал вопрос: составлена она под диктовку Рената, или же Лена действовала самостоятельно? К тому же аналитики были крайне удивлены, поняв, что Хузин решил отказаться от своего первоначального намерения использовать для побега «дерьмовоз», из-за чего, собственно, он и вошел в контакт с Курылевым. Его новый план выглядел гораздо сложнее и опаснее: воспользоваться очередным сердечным приступом у изолянта № 55, а вместо него вывезти на «санитарке» за пределы Демгородка Лену. В принципе это было возможно, если только водитель и сопровождающий находятся в предварительном сговоре. Вот для чего была устроена драка возле «Осинки», в результате которой выбыл из строя штатный шофер санитарной машины!

«Ну конечно! — заявил настырный психолог-практикант. — Это только подтверждает мою версию о влюбленности сержанта Хузина. Он не решился засовывать любимую женщину в мерзкую ассенизационную бочку и пошел на корректировку первоначального плана!» Практиканту посоветовали меньше глядеть по «видаку» запрещенные американские «мыльные оперы» и откомандировали в областную больницу, где как раз zaseкли подпольную ячейку «Молодых львов демократии».

И снова действительность мощно взломала сухую схему: изолянт № 55 вопреки планам не заболел, а просто умер. Вскрытие показало, что ему вместо одной требуемой инъекции было сделано две. Очевидно, террористы для своих гнусных целей воспользовались тем же самым препаратом! «Плагиаторы недоделанные! — возмутился начальник отдела культуры и физкультуры. — Передайте в Центр — побег переносится...» Собственно, эта шифрограмма и стоила подполковнику Юрятину генеральских субмарин на погонах.

Разбуженный Ренатом в то памятное утро, Мишка совсем даже не прикидывался: он действительно растерялся, ведь никаких дополнительных инструкций на этот счет никто не давал. И, поразмышляв, Курылев решил руководствоваться предыдущими указаниями: во всем следовать приказам сержанта Хузина. А увидав на 3-м КПП своего экзаменатора Кротолова, виртуозно изображающего неопытного бестолкового спецназгвардейца, Мишка совсем повеселел и расслабился — и чуть не принял из-за этого лютую смерть от руки трансплантатора.

Блестяще продуманная операция «Принцесса и свинопас» в результате неожиданного вмешательства «почечных баронов» и недалёковидности подполковника Юрятина дала сбой: Ренат вместе с Леной скрылся в неведомом направлении. Обнаружить их нигде не удавалось, хотя в течение нескольких дней было разгромлено более двухсот явок и арестовано свыше 6 тысяч «молодых львов», включая председателя исполкома этой тайной организации режиссера Куросавова. Последний факт, правда, пришлось скрыть от широкой публики, учитывая чрезвычайную популярность его телеспектакля «Всплытие». Оказалось, приезжая в Демгородок на съемки, он обсуждал с сержантом Хузиным, как лучше распорядиться будущими деньгами в целях скорейшего освобождения России от «кровавой диктатуры пьяницы-адмирала». Но про то, где в настоящую минуту находятся Ренат и Лена, он ничего не знал...

Нашли их совершенно случайно: сухумский милиционер на базаре заметил широкоплечего парня, покупавшего огромный букет совершенно изумительных и безумно дорогих роз. Воротившись после дежурства в отделение, он глянул на присланную из Москвы ориентировку и понял, что повстречал на базаре легендарного «льва» Хузина-Белляутдинова-Сидорова-Кауфмана. Остальное было делом техники: очень быстро установили, что преступная парочка скрывается на заброшенной вилле «Глория». Фелюгу, на которой они намеревались уйти в Турцию, удалось перехватить. Похудевший от переживаний подполковник Юрятин буквально вбежал в палату, где лежал почти уже оправившийся Курылев.

— Мишель, радость-то какая!

— Нашли? — вскинулся Мишка и почувствовал в сердце какой-то мягкий и совершенно излишний толчок.

— Нашли! Теперь на тебя вся надежда...

— В каком смысле?

— Хузин взял «принцессу» заложницей. Без тебя ни с кем разговаривать не хочет. Обещает застрелить сначала ее, а потом и себя, скотина... Выручай, свинопасик ты наш голубоглазенький!

Мишка стоял возле мандаринового деревца и с изумлением разглядывал малюсенькие, величиной с крыжовник плоды. Он никогда раньше не видел, как растут мандарины, и у него вдруг мелькнула странная мысль: если Ренат его здесь все-таки убьет, то по крайней мере перед смертью ему удалось посмотреть на этих зеленокожих детенышей, а это не так уж и мало...

Вилла «Глория» стояла прямо на берегу моря, и, наверное, зимой пенистые волны докатывались прямо до высокой, сложенной из плоских камней стены, скрывавшей от посторонних глаз фонтан и большую лужайку перед домом. Вилла выглядела заброшенной: ее счастливого обладателя, предприимчивого генерала, приторговывавшего ядерными боеголовками, два года назад расстреляли по личному приказу Избавителя Отечества.

Но тишина и запустение были на редкость обманчивы, потому что за каждым деревом, за каждой беседкой, за каждым выступом, за каждым камнем притаились лучшие россомоновские снайперы, да еще три группы захвата, прятавшиеся за забором, в гараже и в бане-сауне, только и ждали сигнала, чтобы штурмом взять дом. Сигналом должны были стать слова Курылева: «Ренат, не делай этого!» А для надежности, чтобы сигнал слышали наверняка, в верхнюю пуговку Мишкиной сорочки вмонтировали микрофон. Но стрелять на поражение россомоновцы могли только в Хузина, за жизнь Лены все участники операции отвечали головой, потому-то был предусмотрен еще один условный знак, сообщающий, что с террористом дело удастся уладить миром. В этом случае Мишка должен был просто произнести: «Ренат, ты не прав!»

— Здорово, Макиавелли! — сказал Ренат, кривясь своей невыносимой восточной улыбочкой.

Курылев даже не заметил, как он появился на пороге виллы. Точнее, как о н и появились, потому что Хузин, словно щитом, заслонялся Леной, выставив из-под ее локтя ствол автомата.

— Я без оружия! — приветливо отозвался Мишка и похлопал себя по бокам.

— А зачем тебе оружие? Ты и стрелять-то толком не научился... Свинопас...

— Нет, ты меня не понял... Я просто хочу, чтобы ты ничего не боялся и говорил спокойно!

— Я?! Ты, Лористон, какую-то хреновину городишь!

И Мишка понял, что глупее и неудачнее начать переговоры было просто невозможно. С боков Хузина прикрывали мощные

мавританские колонны, какие только и могли родиться в забродившем мозгу внезапно разбогатевшего хапуги, сверху — козырек крыши, выложенной андерсеновской черепицей, а спереди — Лена... Она стояла, закрыв глаза, в каком-то расслабленном оцепенении. Курылев даже не сразу сообразил, что он уже однажды видел такое оцепенение — в демгородковском клубе, когда благоухающий экстрасенс показывал свое мастерство и с разрешения подполковника Юрятина загнипотизировал несколько человек. Впрочем, ничего путного из этого не получилось, так как изолянт № 16, в прошлом один из отцов «перестройки», внезапно зарыдал и признался, что на самом деле с раннего детства он монархист, а всех демократов, будь его воля, он расстреливал бы в скверике перед Большим театром...

— Можно, я с ней поговорю? — попросил Мишка, кивнув на безучастную Лену.

— Еще наговоритесь. Мне нужен вертолет!

— Я уполномочен предложить... — Курылев начал выдавать заранее выученный текст.

— Кем?

— В каком смысле? — растерялся Мишка.

— Если ты пришел тянуть время, то я тебя сейчас просто шлепну! — Ренат шевельнул автоматным стволом.

Лена, точно внезапно очнувшись от оцепенения, широко открыла глаза и без всякого выражения посмотрела на Курылева.

— Ренат... не де... — начал было Курылев.

— Он уполномочен мной! Мной — подполковником Юрятиным! — раздался из-за кустов усиленный мегафоном торопливый голос начальника отдела культуры и физкультуры.

— А-а-а! И ты, свинья в фуражке, тоже здесь! — громко крикнул Хузин. — А я думал, тебя выперли за провал операции! Сам-то ты кем уполномочен?

— Помощником по национальной безопасности! — раздался торжественный ответ.

— Ага, помнацбесом... Так вот, передай ему, что если с нами хоть что-нибудь случится, то мисс Синеусофф до вашего морского кобеля не долетит! Люди у нас еще остались!

Повисла пауза. Было только слышно, как в мегафон сыпало и тяжело дышал схоронившийся в кустах подполковник Юрятин.

В Лениных глазах появилась боль — она узнала Мишку.

— Ну, что ты, боров в португее, сопишь? — крикнул Хузин. — Запрашивай Центр — мне нужен вертолет! Через пятнадцать минут.

— Это невозможно... Вертолетный полк в ста километрах отсюда!

— Юрятин, не надо лгать по мегафону! Вертолет у тебя за ближайшей горой спрятан. Кому ты врешь?

Снова повисла пауза. Было слышно, как потрескивает включенный громкоговоритель. Казалось, это трещат от напряжения подполковничьи мозги. Мишка снова поглядел на Лену, и они встретились глазами. Курылев вдруг по-настоящему понял всю чудовищность происходящего. Он и она стоят друг против друга. Она прикрывает своим телом Рената вместе с его друзьями-потрошителями, а он — толстого лгуна Юрятина вместе с его оравой россомоновцев. Но самое страшное в том, что все эти страшно чужие люди всегда клубились за их спинами, даже тогда, когда Мишка и Лена, сжав друг друга в объятиях, были счастливы общим сокровенным счастьем и чувствовали себя бессмертными. Да! Все разговоры о половом инстинкте — чепуха... Господь Бог придумал кое-что похитрее: в объятиях любимого существа человек хоть на мгновение, хоть на долю мгновения чувствует себя бессмертным, вечным, неуничтожимым — и ради этого упоительного заблуждения готов на все.

— Ми-ишка... — прошептала Лена. — Неужели ты все это делал только ради моих денег?

— А ты?

— Я?.. Сначала — да, а потом — нет...

— И я тоже: сначала — да, а потом — нет... — отозвался Курылев.

— Ми-ишка, послушай Рената... Он не обманет...

— Я не верю. Он уже один раз мою печень заказывал!

— Я передумал! — захохотал Хузин. — Твоя печень испорчена гарнизонными щами. Но кое-что из твоих органов...

— Ренат! — взмолилась Лена. — Не надо... Ты же обещал!

— Ладно, поворкуй со своим Абеляром... — желчно разрешил Хузин и стал внимательно озираться по сторонам.

Мишка вдруг подумал о том, что сержант и Лена сейчас, когда они стоят, плотно прижавшись друг к другу, чем-то напоминают сиамских близнецов, для которых разделение означает смерть. И наверное, если к одному из близнецов приходит на свидание возлюбленный, то второй, чтобы создать им интимную обстановку, просто отворачивается или делает вид, будто оглядывается по сторонам...

— Мы согласны! — послышался металлизированный мегафоном голос подполковника Юрятина.

— А куда ж ты денешься, хряк с околышем! — крикнул в ответ Ренат. — Снайперов только убери! Пусть ребята

перекурят и оправятся... А то ведь у меня нервная система подорвана экзистенциализмом. Могу записывать и шлепнуть твоего свинопаса с принцессой вместе...

— Ренат, ты не прав! — громко сказал Мишка.

Снова стало тихо. Потом, как по команде, отовсюду, точно материализуясь в пространстве, начали появляться парни в пятнистых комбинезонах и с оптическими винтовками в руках. Все они смотрели на Хузина с ненавистью, точно он не дал им довести до конца любимое дело.

— А в клумбе у тебя дежурный остался? — любопытно спросил Ренат.

Из георгиновых зарослей вылез еще один снайпер. Он поплелся вслед за остальными с таким понурым видом, что Лена даже сочувственно улыбнулась.

— С ним все в порядке? — спросил Мишка, и по тому, как он это спросил, стало ясно — речь идет о ребенке.

— А что с ним может случиться, если его вообще никогда не было! — вместо потупившейся Лены ответил Ренат.

— Как не было?! — оторопел Мишка. — Лена! Как это так не было? Ты же все медосмотры пропускала!

— Для того и пропускала, — усмехнулся сержант.

— Ты врешь, гад! Лена, он врет? Ведь правда?

— Нет, он не врет... — отозвалась она, с трудом разомкнув запекшиеся губы.

— Зачем же ты меня обманывала? — закричал Мишка.

— Ты меня тоже обманывал...

— Но я же тебя не так обманывал, совсем по-другому...

— Какая разница — как...

— Меня заставили! — сказал Курылев.

— И меня тоже...

В небе послышался стрекот, и вертолет на большой высоте прошел над виллой. Ренат проследил за ним глазами, потом сочувственно глянул на Мишку и спросил:

— Обидно быть свинопасом?

— Обидно... — кивнул тот.

— Не тоскуй! Это еще не самая большая фрустрация в твоей жизни...

— Чего? — не понял Мишка.

— Тварь ты неначитанная! Фрустрация — это когда хочешь, а хрен получишь... Запоминай, пока я жив...

— А ты... Ты, начитанная тварь, — взорвался Мишка. — Где это ты вычитал, что можно вот так прикрыться девчонкой и обзывать? Где? У Сен-Жон Перса?...

— Ух ты! — обрадовался Ренат. — Значит, в тебе все-таки что-то есть! Значит, не хреном единым... А еще?

Мишка молчал. Вертолет прошел над лужайкой еще раз, теперь уже так низко, что на миг стало сумеречно от его тени.

— Отчего люди не летают! — вздохнул сержант, провожая вертолет взглядом.

— Слушай, Хузин, — дерзко спросил Мишка, — у тебя цитаты в башке на ходу не стучат?

— Тоже ничего, — кивнул Хузин. — Но словесная магия уже не та. Как ты, Лен, думаешь? Может, он все-таки небезнадежен и ты воспитаешь из него джентльмена, с которым не стыдно будет показаться в Уайльдковском обществе?

— Ренат, — взмолилась Лена, — ты же обещал.

Вертолет тем временем завис над лужайкой, и вниз, разворачиваясь на лету, упала лестница.

— Послушай, Аконтий, — раздумчиво проговорил сержант. Может, тебе со своей дамой в Турцию проветриться? Как думаешь?

— В каком смысле?.. — опешил Курылев.

— В прямом! — оскалился Ренат. — Лезь в кабину, а то пристрелю!

И Мишка полез. Сверху он увидел распластавшегося за кустами подполковника Юрятина — тот с кем-то нервно разговаривал по рации. Чуть дальше стояло несколько машин, включая санитарную, а вокруг топтались праздносономовцы. В ветвях росшего на отшибе эвкалипта Курылев подметил одного снайпера, но оставшихся внизу Лену и Рената закрывала мавританская колонна, и он был не опасен...

Хузин дождался, пока Мишка забрался в кабину, потом, резко повернув Лену к себе лицом, крепко поцеловал в губы и довольно грубо толкнул ее по направлению к раскачивающейся лестнице. Поток воздуха подхватил подол платья и обнажил стройные, молочно-белые ноги принцессы... Ренат захохотал, показал большой палец и с вызывающей беспечностью начал медленно спускаться по ступенькам крыльца.

— Ренат, ты не прав! — заорал Мишка.

Но тот ничего не услышал из-за шума вращающихся винтов. Лена уже почти докарабкалась до кабины, Мишка протянул ей руку. Снайпер в ветвях эвкалипта прилежно прицелился.

— Ренат, ты не прав! — снова закричал Курылев.

Но снайпер, совершенно не реагируя на эти сигнальные вопли, наверняка звучащие в его наушниках, продолжал держать Рената на мушке. И тогда Мишка, одной рукой втаскивая в кабину Лену, другой нашарил и отстегнул спрятанный на шиколотке под брючиной пистолет...

Услышав выстрел, Ренат посмотрел вверх. Заметив в Мишкиной руке ствол, сержант улыбнулся с каким-то болезненным удовлетворением и вскинул автомат...

— Ренат, не делай этого! — срываясь на хрип, закричала Лена и рванулась к Курылеву, закрывая его собой. Снайпер в ветвях чуть отшатнулся — сержант Хузин упал навзничь...

Мишка приказал пилоту посадить машину, вынес Лену из кабины и положил на землю. Она лежала, крепко прижав руку к левой груди, а из-под пальцев, пульсируя, бил кровавый родничок.

— Ми-ишка... — шептала она.

— Я здесь... Здесь...

— Ми-ишка... Ми-ишка... Там везде травка и газоны... Ми-ишка... Эдинбург, VCCA, 123007... Ми-ишка, не исчезай!

— Я здесь...

Подбежал бледный и потный подполковник Юрятин:

— Жива?

Курылев кивнул.

— Скорее! Если умрет — все пропало! Где врач?

Прибежали офицер медслужбы и два рослых фельдшера. Они уложили Лену на носилки и стали затаскивать в вертолет.

— The loveless lips with wich men kiss in Hell... — в беспамятстве шептала она.

— Что она говорит? — насторожился подполковник Юрятин.

— Бредит, — успокоил медик:

Вертолет, взвихрив с земли мелкий сор, поднялся в воздух и улетел. Проводив его взглядом, Юрятин повернулся к Мишке, который в это время тупо рассматривал свои руки, перепачканные в подсыхающей Лениной крови.

— Сказала?

— Да...

— Запомнил?

— Как учили...

— Диктуй!

— Эдинбург, VCCA, 123007...

Юрятин записал в блокнотик и побежал к рации — докладывать в Центр. А Курылев медленно подошел к Ренату: сержант лежал на спине, раскинув руки, во лбу у него чернело пятнышко, как у индусок, а затылка вообще не было, отчего лицо его напоминало гипсовую маску, наподобие тех, что вешают на стену в рисовальной зале...

Вернулся лиловый от огорчения начальник культуры и физкультуры.

— Ты, Мишель, ничего не перепутал? — с надеждой на невозможное спросил он.

— Обижаете, начальник... А в чем дело?

— Значит, пуштышку тянули...— промолвил Юрятин, и его подбородок предательски задрожал.— Это ведь счет, с которого брал 62-й... Там ничего не осталось... И от него самого ползадницы осталось — не спросишь...

— М-да, фрустрация...— покачал головой Курылев.

Спустившийся с эвкалипта щуплый снайперишко приблизился к мертвому Ренату и, как живописец удачный мазок, с пытливым удовлетворением разглядывал пулевое отверстие...

14

Когда Избавителю Отечества доложили подробности операции «Принцесса и свинопас», он смеялся до слез.

— Значит, говорите, этот ваш педолоб весь тайный счет в «Осинке» профинтил? Ой, не могу!.. Ну, прощелыги, ну, демокрады...

Но особенно ему приглянулось, что простой русский офицер сумел влюбить в себя выпускницу Кембриджа, настоящую принцессу.

— Покажете мне как-нибудь этого «свинопаса»? — распорядился адмирал.

— Слушаюсь! — вытянулся докладывавший «помнадбес». — А как быть с арестованными «львами»?

— На запчасти! — махнул рукой Избавитель Отечества.— Почку за почку! И потом, стране нужна валюта. У этих-то, изолянтов, ведь ничего не осталось?

— Ничего, господарищ адмирал, одни убытки...

— Ну и пошли они к чертовой матери!

— Понял, Иван Петрович!

На самом деле «помнадбес» ничегошеньки не понял и за разъяснениями обратился к осведомленному Николаю Шорохову. Тот объяснил, что, оказывается, каждый вечер адмиралу звонит очаровательная Джессика и ведет с ним долгие разговоры о любви к ближнему и христианской морали, а также советуется, стоит ли ей в своем ресторанчике готовить котлеты по-киевски и не будет ли это восприниматься как намек на знаменитую субмарину «Золотая рыбка».

Приехав в Торонто, мисс Синеусофф сразу сделалась любимицей западной прессы, ее портреты обошли обложки всех престижных журналов, редкий день обходился без статьи типа «Ее выбрал русский монстр» или «Самая сексуальная русская царица со времен Екатерины Великой». Хорошенькую Рюрикoвну сразу пригласили на телевидение вести передачу «Мы ждем

гостей», где она рассказывала, как лучше сервировать стол для званого ужина. А ее ресторанчик «Russian blin» просто ломился от посетителей, посмотреть на невесту «кровожадного морского волка» приезжали со всего мира, а одно предприимчивое туристическое агентство даже организовало спецтур «На крыльях любви — к Джессике».

Но несмотря на невиданный наплыв клиентов, мисс Синусофф почти не успевала заниматься своим процветающим заведением, так как к ней нескончаемым потоком шли делегации от различных гуманитарных фондов и религиозных обществ с просьбами повлиять на крутой нрав адмирала и, таким образом, смягчить тяжкую долю узников совести, томящихся в застенках. Один из этих пилигримов человеколюбия, активный член общины «Юго-восточного храма», так тронул доброе сердце Джессики, что она оставила этого рослого молодого симпатягу у себя. Он подсказывал ей темы телефонных бесед с адмиралом, даже набрасывал конспекты, а потом они репетировали разговор с русским монстром, причем для достоверности симпатяга привязывал Джессику специальными ремешками к кровати.

Во время своих ежевечерних телефонных разговоров с Избителем Отечества лукавая Рюрикевна умудрялась избегать темы приезда и не называла никаких конкретных сроков, зато постоянно повторяла, что хотела бы вернуться в страну, где нет политических заключенных, и соединить свою судьбу с мужчиной, который стал гарантом прав человека в России. В свою очередь Иван Петрович с решительной неопределенностью обещал «всех разогнуть» и, смущаясь, как школьник, говорил о своем тоскливом мужском одиночестве. Если б он только знал, что активный член общины «Юго-восточного храма» не только слушает его излияния по параллельному телефону, но еще мерзко закатывает глаза и строит его невесте Рюрикевне эротические рожицы!

А ведь Ивану Петровичу и без этого жилось несладко: супруга Галина и сын-нахимовец, прознав про матримониально-монархические планы своего мужа и отца, были удивлены до крайности. Мало того, знаменитая Ксения Кокошникова тоже подбавила масла в огонь, спев на телевидении в прямом эфире частушку:

Я надену кофту рябу,
Рябую-прерябую...
Кто полюбит мово Ваньку —
Морду раскорябую...

Именно из-за этого, а не по какой-нибудь политической причине — о чем вопят западные масс-медиа — теперь все

передачи идут в эфир только в записи и только после тщательного отбора. И в последнем вечернем разговоре Джессика очень расстроила Избавителя Отечества, заявив, что никогда не выйдет замуж за человека, попирающего свободу слова!

Растолковав «помнацбесу» хитросплетения текущей политической ситуации, Н. Шорохов посоветовал ему выждать, снова вернуться к проблеме Демгородка и постараться получить более вразумительные указания. Но «помнацбесу» просто не везло — повторно он завел речь о судьбе изолянтов как раз в тот день, когда на стол адмиралу положили донесение спецаргента, достоверно подтвердившего, что у Джессики появился неотлучный советник. Его фотография, сделанная на том же самом нудистском пляже, прилагалась.

— А пошли они все! — закричал Избавитель Отечества и хватил своей знаменитой подзорочкой о наборный кремлевский паркет.

Демгородковская общественность была очень удивлена, когда киномеханик Второв, присланный вместо исчезнувшего Курылёва и поселенный в домике № 984, вместо очередной некроманской жути вдруг показал «Белое солнце пустыни». Этот факт долго и горячо обсуждался. Постепенно пришли к выводу, что это — недосмотр, недоразумение или провокация, последнее вероятнее всего. Но в следующий раз, открыв металлическую коробку, Второв обнаружил там «Я шагаю по Москве», а это было уже совершенно подозрительно. Более того, в один прекрасный день, проснувшись, изолянты увидели страшную и необъяснимую картину: вся охрана исчезла, вышки опустели, комендатура и котельная обезлюдели, даже бронированные ворота непроходимого 3-го КПП оказались распахнутыми настежь.

Однако в течение нескольких дней, опасаясь смертоносного подвоха, никто не решался выйти за пределы Демгородка. Прошелестел даже слухок, будто видимое освобождение на самом-то деле — всего лишь новое бесчеловечное изобретение опричников адмирала Рыка, и все подступы к поселку заминированы теми самыми адскими машинами, одной из которых была взорвана «Осинка» вместе с человеком-кротом, но его-то как раз не жалко!

Споры о том, как поступить в этой ситуации вызывающей бесхозности и коварной безнадзорности, разделили всех изолянтов на две большие враждующие партии — «оставанцев» и «покиданцев». Первые считали, что надежней остаться за забором и ждать социальных гарантий, вторые же кричали, что ждать никак нельзя, а нужно срочно покинуть Демгородок, иначе

в Москве спохватятся и будет поздно. «Оставанцев» возглавил ЭКС-президент, а «покиданцев» — экс-ПРЕЗИДЕНТ.

Поначалу политическое противостояние ограничивалось альтернативными митингами, а ставшая ежедневной газета «Голос» печатала репортажи, «круглые столы», полемические статьи и памфлеты, даже сообщила, будто на общественном картофельном поле собралось более полутора тысяч человек, чего, конечно, быть не могло, ибо все население Демгородка чуть больше тысячи... Потом борьба обострилась. Началось битье окон и вытаптывание грядок у политических противников. В довершение всего был зверски избит любимый пресс-секретарь и наперсник экс-ПРЕЗИДЕНТА, после чего глава партии «покиданцев» принял неожиданное и радикальное решение — покинуть поселок навсегда. Однако в последний момент за ним последовала лишь небольшая группа смельчаков...

И вот около полусотни «ультрапокиданцев», опасливо маршируя, вышли за ворота Демгородка, готовые в любое мгновение за свои идеалы взлететь на воздух или пасть, срезанные пулеметной очередью. Они все дальше уходили в лес, но никто не напоролся на мину и не наскочил на кинжальный огонь замаскированных россомоновцев. Пели птички, летали бабочки, замечательно пахло утренним дождем... Миновав вросший в землю немецкий дот, «покиданцы» поняли, что адмирал Рык пренебрег дешевым политическим убийством и приготовил для них более изощренную месть!

Когда колонна во главе с экс-ПРЕЗИДЕНТОМ шла через Алешкино, сельчане по неискоренимой русской традиции выносили острожникам хлебушек, сальце, молочко, яйца, купленные в магазинчике с неистребимым названием «Товары первой необходимости», а экс-ПРЕЗИДЕНТУ на расписном подносе поднесли стакан самогонки и домашний соленый огурчик. В ответ «ультрапокиданцы» устроили стихийный митинг, который вел киномеханик Второв, набравший к тому времени большой политический вес. Рубя рукой воздух, он призвал своих земляков-алешкинцев крепиться и терпеливо ждать неизбежного торжества общечеловеческих ценностей!

— Стало быть, нашелся кинокрут-то! — качали головой деревенские.

— Не все из нас доживут до дня свободы, но ради этого не жаль и умереть, — роняя слезы, говорил Второв.

— А в сельпо-то опять хреновато стало! — крикнули из толпы.

— Вот и бастуйте! — призвал киномеханик.

— А так и вообще ни хрена не станет! — засомневались алешкинцы.

— Вот и хорошо! Начнем с нуля! На ровном месте строить здание будущего удобнее! — сказал Второв, довольный тем, что вернул такое народное словечко.

— Кругом один обман и дезинформация! — вздохнула уважаемая вдова председателя. — Обещали академгородок построить... А что выстроили?

По окончании митинга колонна двинулась к станции и загрузилась в полупустую дневную электричку. Изголодавшиеся по впечатлениям, демгородковцы прилипли к окнам и жадно ловили проносившиеся мимо пейзажи новой жизни. Подъезжая к платформе «Зеленоградская», они заприметили развалины гигантского каменного особняка, а среди обломков зимнего сада ревился отряд юных адмиральчат, одетых в форменные тельняшки.

— Боже мой, что они сделали с Россией! — сквозь слезы пробормотал экс-ПРЕЗИДЕНТ.

На Ярославском вокзале «покиданцы» обнялись и простились.

Через неделю все они снова встретились в Демгородке.

А куда деваться? Квартиры их оказались заняты новыми жильцами — в основном бравыми морскими отставниками, назначенными адмиралом Рыком на самые трудные и ответственные посты. Родственники шарахались от изолянтов, словно они прибыли из какого-нибудь эпидемического края и представляют серьезную угрозу для здоровья. А те, кто посмелей, егозя глазами, тихо советовали не светиться, потому что сейчас из-за амурных неудач И. О. шибко не в духе и всех проходивших по делу «молодых львов» пустил на «запчасти» — т. е. запродавал западным трансплантаторам за валюту, о чем, естественно, молчок-волчок как в российской, так и в зарубежной прессе...

Некоторых наиболее известных изолянтов признали на улице и маленько потрепали. Но больше всего не повезло экс-ПРЕЗИДЕНТУ: большой любитель спорта, он забрел на Центральный стадион имени Александра II Освободителя, чтобы поглазеть на соревнования по демгородкам. И там один участник по ошибке, обознавшись, запустил биту не в фигуру «Президентский совет», а точно в голову бывшего главы государства. Вследствие черепно-мозговой травмы тот утратил большую часть своих воспоминаний и с тех пор стал ощущать себя секретарем первичной комсомольской организации арматурного цеха, с чего, собственно, и начиналась его политическая карьера. Выписавшись из больницы, он, христорадничая вместе с женой, добрел до Демгородка, но о былом влиянии, конечно, речи быть уже не могло, и на всеобщих

выборах поселкового мэра подавляющее большинство голосов набрал ЭКС-президент. А через неделю мэрская жена заявила, что живущий за забором сосед, вообразивший себя юным арматурщиком, страшно матерится, и потребовала выселения его из «Кунцево» куда подальше... Что и было сделано, а дом его занял киномеханик Второв.

Но тут в полный рост встала проблема пропитания. То небольшое, что оставалось на складе, подъели очень быстро. Картофельное поле вытоптали еще во время альтернативных митингов, а приусадебные участки потравили во время непримиримой борьбы между «покиданцами» и «оставанцами». А подвоз продуктов был полностью прекращен, точно в Демгородке не осталось ни одной живой души! Было решено направить представительную делегацию к помощнику по работе с народонаселением П. П. Чуланову. Однако просителей не пустили даже на порог, указав при этом на табличку:

Прием трудящихся по личным вопросам
с 12.00 до 18.30
по четвергам

Делегированные изолянты были крайне удивлены — ведь приехали они именно в четверг, а часы как раз показывали четверть первого. Но им разъяснили, что дело совсем не во времени визита, а в слове «трудящихся», к которым явившиеся не имеют вообще никакого отношения... Вторая попытка была успешнее. На этот раз не стали отправлять представительной делегации, а послали всего лишь знаменитого экстрасенса: люди его до сих пор помнили и любили за обаятельную наглость. К тому же исходивший от него крепкий запах «Гвоздики» вызвал во всем многоэтажном госучреждении такое сексуальное возбуждение, что П. П. Чуланов в целях укрепления трудовой дисциплины был вынужден принять посетителя.

Сошлись на том, что дармоеды возрождающемуся Отечеству не нужны, но в течение трех месяцев, пока демгородковцы откроют собственное, приносящее доход дело, их будут снабжать гуманитарной помощью — консервированной свиной с горохом. Она была запасена для войск, участвовавших в боях у озера Хасан, потом затерялась в складских помещениях и вот недавно была обнаружена в ходе месячника «Защита Родины».

Но на одной свинине с горохом не проживешь, и демгородковцы вздумали подкармливаться с огородов простодушных аleshкинцев. Только те же самые сельские, встречавшие прежде изолянтов хлебом-солью, теперь встречали их исключительно солью — из двустолок. Не просто было и с грибами-ягодами.

Изгнанные со Змеиного болота гадюки расползлись по окрестным лесам, размножились и сделали, таким образом, собирательство опаснейшим промыслом. И вот тогда-то возникла замечательная идея — превратить Демгородок в общенациональный центр росписи по дереву, вроде Хохломы! Продали на слом караульные вышки, пару пустующих домиков и на вырученные деньги купили токарный станок, еще кое-какое оборудование, краски, лак, кисточки... Избрали художественно-производственный совет артели во главе с мэром. Но тут снова изолянтов попутал бес плюрализма: начались споры о том, какие сюжеты и орнаменты использовать в росписи. Оформилось несколько партий: фигуристы, герметисты, левантисты, славянофилы, западники, концептуалисты, «ваньки», идеологи и так далее...

Самая упорная борьба развернулась между либеральными фигуристами и ортодоксальными славянофилами. Первые считали, что изображать на подносах и чарках нужно красочные эпизоды из истории демократии, а ко дню бракосочетания адмирала Рыка послать ему кувшин, расписанный в духе решительного аллегорического неприятия диктаторского режима. Вторые же, наоборот, полагали использовать традиционные народные сюжеты, а Избавителю Отечества к коронации преподнести роскошную братину, расписанную в духе безусловной поддержки исконной соборно-монархической формы правления в России. Одно из заседаний художественно-производственного совета проходило столь бурно, что после него пришлось искать деньги на новый токарный станок и кисточки.

Чем закончилась эта борьба (и закончилась ли) неизвестно, но ни одной ложки-плошки, расписанной демгородковскими умельцами, в продаже покуда не появлялось...

15

Сначала Мишку чуть было не посадили за срыв задания государственной важности. Мол, именно он, Курылев, все напутал, в результате чего возникла совершенно никчемушная перестрелка, да и вообще только идиот не догадался бы, что 62-й гребет валюту с секретного счета, ради которого и заварили всю эту кашу. В результате, как обычно, виноватыми оказались не полторы тысячи опытных сотрудников, включая резидентов, не руководители операции «Принцесса и свинопас», а простой парень Мишка Курылев, отовсюду выгнанный и всеми охаянный...

И вдруг лично подполковник Юрятин, до этого грозивший упрятать Мишку в самую глубокую дезактивационную задницу, притащил «свинопасику» новенький китель с погонями поручика (!) и даже внимательно следил за тем, как парикмахер приводит Курылева в соответствие. При этом начальник отдела культуры и физкультуры пространно рассуждал о том, что доброе слово о непосредственном начальнике, вовремя сказанное начальнику вышестоящему, — главное условие успешного роста подчиненного!

Потом Мишку доставили к КПП у Спасской башни. Офицер кремлевского полка морской пехоты тщательно проверил документы и пропустил. Возле царь-пушки Курылева поставили по стойке «смирно» и приказали ждать. Избавитель Отечества появился минут через пятнадцать: в сопровождении «помнацбеса» он прогуливался после обеда. Росту адмирал оказался невысокого, лицо имел красное и сердитое, а глаза — добрые и усталые. Завидев Мишку, «помнацбес» наклонился и прошептал что-то на ухо шефу, тот сразу оживился и решительно, сменив курс, направился к Курылеву.

— Ну-ка, дай я на тебя погляжу, «свинопас»! — воскликнул Избавитель Отечества и хлопнул оробевшего парня по плечу. — Ловок! Как ты умудрился аж «принцессу» охмурить? Поделись опытом! Вот ведь моя-то чучундра все не едет никак...

— Да я что... Это все подполковник Юрятин...

— Из «Россомона», — шепотом подсказал «помнацбес». — Очень толковый офицер...

— Ну и что ты... — начал адмирал.

— Михаил... — шепотом подсказал «помнацбес».

— Ну и что ты, Михаил, за свою службу хочешь? Полцарства не обещаю: земля и недра принадлежат народу. Дочери у меня нет — только сын-нахимовец, да и с ним мы сейчас поцапались маленько. А так — проси, чего хочешь!

Курылев беспомощно глянул на одобрительно кивающего «помнацбеса», потом вдруг подумал о том, что сложенные пирамидой ядра царь-пушки чем-то напоминают тысячекратно увеличенный овечий помет, и неожиданно для себя сказнул:

— Мне бы избушку поправить...

— И все? — изумился Избавитель Отечества.

— И... и чтоб войны не было... — добавил Курылев.

«Помнацбес» чуть заметно покачал головой и осуждающе закатил глаза.

— Войны не будет! — успокоил адмирал. — Им сейчас не до нас: у них самих Калифорния отделяется... А на избушку

с курьей ножкой тебе выдадут. Даже на свадьбу останется! Только когда детишек будешь строгать, старайся через одного: принцесса свинопас, принц свинарка... Так оно для государства полезнее. Договорились?

Она умерла... - тихо промолвил Мишка.

Да? Не знал... Извини, парень... Мне не докладывали... Как же так вышло?

Ее один... из «молодых львов» застрелил, шепотом подсказал «помнацбес».

- Вот звери! побагровел Избавитель Отечества. «Запчасти» уже все отправили?

Завтра последнюю партию вывозим, господарищ адмирал! громко доложил «помнацбес».

...Через неделю подполковник Юрятин был назначен начальником отдела № 13/Д — и только посвященные знали, что в задачу этого отдела входит оперативное обеспечение брака Избавителя Отечества и Джессики Синеусофф. Юрятин взялся за дело энергично, и через неделю после того, как закрывшийся под негра Кротолов спустился по трапу в аэропорту города Торонто, счастливый член общины «Юго-восточного храма», торопясь в ресторанчик «Russian blin», на своем «ягуаре» попал в жуткую автомобильную катастрофу и получил необратимую травму первичных половых признаков..

Курылев в отделе 13/Д работать отказался, да его туда особенно и не звали. Гораздо удивительнее то, что он решительно отказался от возвращения в армию, от внеочередного звания и приличной должности, а попросил сохранить за ним место ассенизатора-киномеханика в Демидовке. И хотя поселок уже был спят с бюджета, Мишке пошли навстречу и специальным распоряжением И. О. ему были выделены две ставки.

На полученную от щедрот адмирала тысячу «субмаринок» Курылев полностью перестроил дом, заведя всевозможные горючие удобства, купил новенький «москвич» и сыграл шумную свадьбу с той самой опытной односельчанкой, которая все-таки не напрасно дала себя попробовать, как на базаре дают попробовать горько отрезанный соленый огурчик.

Когда порой Мишка со своей ассенизационной машиной оказывается неподалеку от разрастающейся демидовской кладбища, он, запустив насос, пробирается к небольшому серому камню с надписью:

№ 55

№ 55-Б

Зимой камень почти заметен снегом, летом почти не виден в зарослях разнотравья. Прижав ладонь к левой стороне груди. Мишка стоит, сколько можно, а потом сломя голову бежит на призывное чмоканье своего прожорливого агрегата.

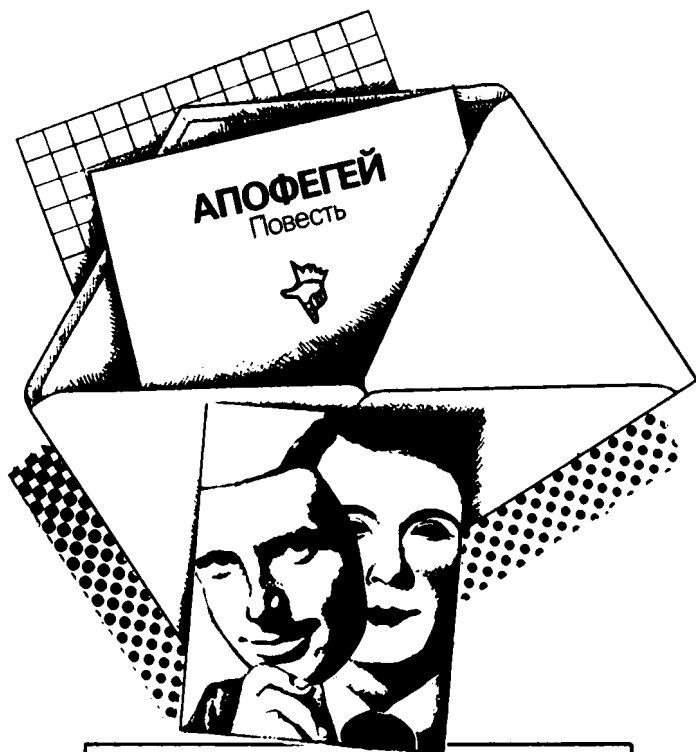
Дома Курылев замкнут и неразговорчив. С женой старается не спорить, отчего она совершенно распустилась, ест его по-едом, а иногда даже сварливо удивляется, как это такой пентюх мог понравиться принцессе? Мишка обычно отмалчивается, но где-то раз в квартал не выдерживает и умиротворяет потерявшую чувство реальности супругу крепким ударом, отработанным еще во времена буйных курсантских «самоволок».

Газет он не читает, только программу на неделю, но зато очень внимательно: боится пропустить объявление о том, что по многочисленным заявкам зрителей снова повторяется телеспектакль «Всплытие». Весь день Мишка ходит в болезненно-сладком ожидании, а перед началом надевает специально выпи-санные для такого дела очки, хотя со зрением все у него вроде нормально. Спектакль он смотрит лишь до того места, когда на сцене в окружении пьяных плейбоев появляется роскошно одетая Лена и, замечательно хохоча, говорит:

Когда б вы знали, сколько в банках ваших
Хранится в тайне миллионов наших,
Вы б обалдели б...

После этого Мишка всегда выключает телевизор и закуривает «шипку». Но жена, пронзительно ругаясь, выгоняет его на крыльцо, потому что от табачного дыма желтеет постельное белье.

Август 1991 — сентябрь 1993



*Источник твой да будет благословен,
и утешайся женою юности твоей,
любознатою ланью и прекрасною серною:
грудь ее да утешит тебя во всякое время,
любовью ее наслаждайся постоянно.
Глиша притый Соломоновыа.*

... Когда, сурово улыбнувшись, БМП закончил свое вступительное слово и, переждав аплодисменты, предложил считать научно-практическую конференцию открытой, в этот самый момент откуда-то из глубины переполненного зала вынырнула записка и поплыла в сторону президиума.

К сведению: Бусыгин Михаил Петрович, прозванный БМП за неуклонность, стал первым секретарем Краснопролетарского райкома партии полгода назад, сменив на этом посту бывшего лидера Владимира Сергеевича Ковалевского, как известно, катапультированного на пенсию вследствие невыполнения правительственного постановления об улучшении снабжения населения растительным маслом. Воцарение БМП, показавшееся кое-кому случайным, в действительности было глубоко закономерным, ибо некогда выпало Бусыгину учиться в Высшей партийной школе одновременно с нынешним городским руководством, которое, сколачивая собственную команду, вспомнило-таки про давнего однокашника и вытащило его из медвежьего подмосковного угла в столичный райком.

...Когда БМП со значением пригласил на трибуну основного докладчика — секретаря парткома пединститута профессора Желябьева, а равнодушный официант принес стакан теплого чая, записка, мелькая, словно чайка на волнах, достигла середины зала.

Между прочим, научно-практическая конференция (в афишах почему-то значилось «научно-теоретическая») «Возрастание духовных запросов советских людей и задачи коммунистов района в деле повышения уровня культурно-массовой работы среди населения» проводилась в канун важнейшего отчета, с которым БМП готовился выступить через два дня на бюро горкома партии. По задумке Бусыгина, конференция должна была продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами. На оперативном совещании секретарей первичек Бусыгин пообещал ответить на любые, даже непарламентские вопросы участников конференции, слух об этом прокатился по району, и обычно пустой до туплости ДК «Знамя» заполнился настолько, что сидели даже в проходах.

...Когда телевизионщики, вдруг слетевшиеся на заурядное районное мероприятие, вырубили «юпитеры», приберегая пленку для обещанных ответов на вопросы, а сам БМП вернулся в президиум и, кривовато усмехаясь, стал одним ухом слушать одобрителный шепот заведующего отделом горкома Юрия Семеновича Иванушкина, а другим — просторный, как песнь ашуга, основной доклад профессора Желябьева, записку, наконец, прибило к празднично оформленной сцене. Инструктор Голованов, за тем и посаженный в первый ряд, принял вчетверо сложенную тетрадочную страничку, оглядел ее и с вдумчивой деловитостью, хорошо заметной из президиума, опустил бумажку в специальный полированный ящичек, стоявший между двумя сооружениями из цветов, которые, между прочим, воздвигла знаменитая икебанщица. Она всерьез уверяла, что ее композиция в художественной совокупности символизирует свежий ветер обновления и поистине революционные преобразования, случившиеся за последнее время в стране в целом и в районе в частности.

Увидав поступившую записку, Бусыгин и Иванушкин значительно переглянулись: мол, конференция еще, считай, не началась, а контакт с аудиторией уже установлен, что, несомненно, свидетельствует о возросшей политической зрелости и гражданской заинтересованности районного актива. А ведь еще совсем недавно на подобные массовые отсидки людей просто-напросто загоняли или же заманивали, суля в перерывах торговлю съестными и книжными дефицитами. В том, как они глянули друг на друга, был и еще один, особенный, оттенок: дескать, что ни говори, а от первого лица мно-огое зависит!

Пока Бусыгин и Иванушкин переглядывались, из-за кулис, где помещался столик стенографисток, заманчивой походкой манекенщицы вышла сотрудница сектора учета райкома партии Аллочка Ашукина, которую неизменно отмобилизовывали для работы с записками на сцене, и еще безвременно ушедший на пенсию Ковалевский, проводя планерку перед очередным массовым мероприятием, задумчиво говаривал: «А записочки пусть носит эта... хорошенькая». И грустно улыбался, вспоминая, наверное, о том, что, кроме сводок по плану, жилищной проблемы, выше- и нижестоящих товарищей, есть, оказывается, еще и молодые, цветущие женщины с тонкими, как у песочных часов, талиями. Ковалевский был руководителем старой за-кваски, скромным, непритязательным человеком, беззаветно преданным партии за ту безграничную власть над людьми, каковую она дает своим избранникам. Если б ему вдруг предложили: Владимир Сергеевич, выбирай — черная машина у подъезда, чудесная квартира в центре Москвы, еженедельная

неподъемная «авоська», спецдача, спецмедобслуживание, спецма ранкомандировки, с одной стороны, или обыкновенный, цвета слоновой кости телефон с маленьким золотеньким гербомержавы на диске,— он, Ковалевский, сказал бы, не задумываясь: «Телефон!»

БМП, с маху поменявший в райкоме почти все, что пахло духом предшественника, поменявший так твердо и жестоко, что один из вышвырнутых аппаратчиков застрелился у себя на даче,— Ашукину почему-то оставил при исполнении привычных для нее обязанностей... И вот Аллочка обольстительно подошла к полированному ящичку, изящно наклонилась, так что из низкого выреза блузки выскользнул и закачался на цепочке кулон-сердечко, потом плавно распрямилась и понесла записку прямо в президиум, а не на сортировку в секретариат, как бывало раньше. Не подымая тщательно подведенных глаз, она положила ее перед Бусыгиным, который уже не раз заявлял, что между руководителем и массой не должно быть посредников.

Отметим: как только Ашукина начала свое движение к столу президиума, Юрий Семенович Иванушкин внезапно озабочился, оглянулся назад и стал призывно озирать кулисы. Буквально тут же к нему подскочил инструктор горкома. Иванушкин, взяв его за пуговицу, начал давать какие-то срочные поручения и давал их до тех самых пор, пока Аллочка не вернулась к столу стенографисток. Лет десять назад, когда Ашукина работала еще в секторе учета райкома комсомола, а Юрий Семенович трудился инструктором райкома партии, у них была некая история, чуть не стоившая Иванушкину карьеры. Кстати, фамилия его и внешность необычайно соответствовали друг другу: русые кудри, конопушки и добрые синие, чуть грустные глаза. В молодости, будучи аспирантом кафедры фольклористики пединститута, он получил забавное прозвище: «Убивец»... Но об этом позже.

Пока Иванушкин общался со своим инструктором, Бусыгин взял записку, повертел в руках и прочитал: «Тов. Чистякову В. П. (лично)». БМП удивленно поднял правую бровь, сложил тонкие губы в трубочку и, подавшись вперед, глянул на притулившегося с краю президиумного стола секретаря райкома партии по идеологии Валерия Павловича Чистякова, который как раз наливал себе минеральной воды, с трудом сохраняя выражение профессиональной доброжелательности на усталом лице. Во взгляде Бусыгина не было ни ехидства, ни раздражения, а только некое недоброе любопытство, отчего Чистяков, один из последних людей Ковалевского оставшийся в аппарате и даже, как поговаривали, его любимец и несостоявшийся приемник,

похолодел, отставил стакан с минеральной водой и принялся делать неотложные пометки в еженедельнике.

Записка по рукам двинулась к Валерию Павловичу, и каждый, кто брал ее и передавал дальше, старался в меру своих способностей воспроизвести на физиономии то самое выражение, какое мелькнуло только что у первого секретаря. Получив сложенный листочек, Чистяков не стал его разворачивать, а небрежно бросил перед собой и как бы сразу забыл о нем, увлеченный докладом профессора Желябьева, метавшего политически выверенные молнии в рок-музыку, которая, словно раковая опухоль, разъедает внутренний мир советской молодежи, сбивая ее с активной жизненной позиции на кривую дорожку социальной апатии...

Рядышком с Чистяковым сидел зампред райисполкома Василий Иванович Мушковец — тоже один из обломков мощной команды Ковалевского, рассеянной порывом номенклатурной бури. В президиумах Мушковец обычно подремывал, заслонившись от мира привезенными из Италии дымчатыми очками с нарисованными на стеклах широко раскрытыми вдумчивыми глазами, или же многоцветной японской авторучкой рисовал исключительно кузнечиков, которые получались у него настолько правдоподобно, что, казалось, вот-вот какая-нибудь из тварей шелкнет с листа и защекочет за шиворотом.

Василий Иванович состоял другом дома и даже дальним родственником Чистякова по линии жены, в зампредах сидел давно, лет пятнадцать, и в районе у него, как сам он любил выражаться, все было схвачено и задушено. До прихода БМП, разумеется. Валерий Павлович и Василий Иванович много лет вместе ездили рыбачить на потаенный водоем, который чудом обошло всеобщее рыбное оскудение, посещали по субботам четвертое автохозяйство с его замечательной баней, о существовании которой шоферы и не ведали, а иногда, в редкое свободное воскресенье, они сходились семьями и расписывали «пульку». До недавнего времени и в президиумах родственники садились рядом, перешептывались, сплетничали, решали мелкие проблемки. Но вот однажды Бусыгин приподнял правую бровь и совершенно серьезно пошутил насчет «неразлучной парочки заговорщиков». С тех пор они зареклись появляться вместе, и только сегодня, задержавшись на заседании жилищной комиссии, Мушковец вынужден был сесть на единственный свободный стул рядом с Чистяковым.

Василий Иванович задумчиво дорисовал у очередного кузнечика длинные усики и, чуть наклонившись к Валерию Павловичу, тихо спросил:

— От кого?

— Не знаю,— отозвался Чистяков, лениво взял записку, развернул и прочитал:

Уважаемый Валерий Павлович!

Прошу простить за беспокойство, но мне необходимо с Вами поговорить по вопросу исключительной важности. Прошу Вас во время перерыва подойти к стенду «Досуг в районе». Буду ждать.

Н. А. Печерникова

Все это было написано четким и ровным учительским почерком, без помарок, и только в слове «Вами» строчная буква «в» была аккуратно исправлена на прописную.

— Печерникова...— встревожился Мушковец, ознакомившись с запиской через плечо секретаря райкома.— Печерникова... Кто это?

— Не знаю,— пожал плечами Чистяков и провел ладонью по своим рано и красиво поседевшим волосам.

— Только не надо из меня барбоса делать! — тихо возмутился Василий Иванович.— Не надо мне свистеть, что это очередная жертва перестройки к тебе, Валера, за правдой прорывается! Чего она хочет? Сейчас все опасно! Ты посмотри на БМП, это же не человек, это машина для отрывания голов...

Мушковец шептал страстно, но замерев лицом и не разжимая губ, точно чревовещатель, а Чистяков в ответ размеренно кивал головой, будто бы речь шла о чем-то идеологически важном и непосредственно связанном с сегодняшней конференцией.

— Печерникова... Печерникова...— тужился вспомнить Мушковец.— По жилью она у меня не проходит. Кто такая?

— Понятия не имею,— спокойно ответил Валерий Павлович и положил записку в карман.

* * *

Двенадцать лет назад Надя Печерникова и Валера Чистяков чуть-чуть не поженились. Он в ту пору был аспирантом кафедры истории СССР, собирал материалы для диссертации об аграрной политике социалистов-революционеров, жил в общежитии в одной комнате с Юркой Иванушкиным, последними словами кастерил администраторов и пустолобов от науки, тормозивших утверждение темы, и если бы кто-нибудь в ту пору нагадал ему судьбу удачливого партийного кадра, то Чистяков только бы рассмеялся и посоветовал предсказателю больше не похмеляться техническими спиртовыми растворами.

Надя Печерникова поступила в аспирантуру годом позже. Она, как и Валера, сначала поработала учителем старших

классов и школьную программу по истории называла не иначе, как «Сказки тетушки КПСС», с чем будущий секретарь райкома партии по идеологии был полностью согласен. Надя собиралась писать о реформах Столыпина, имела о знаменитом премьер-министре и его заслугах перед Отечеством свое собственное, отличное от общепринятого, мнение, менять его не собиралась, на компромиссы идти не желала, из-за чего, собственно, и не задалась впоследствии ее научная карьера. О таких людях, как Печерникова, Василий Иванович Мушковец говорил: «По белой нитке ходит!»

До сих пор Чистяков отлично помнил первое появление Нади. Осенью 76-го, после каникул, собрали заседание кафедры, совершенно уникальное по занудству и тягостности, где обсуждали проект плана работы на новый учебный год, скучно спорили по каждому пункту, и Желябьев, тогда еще доцент и секретарь партийного бюро факультета, в сердцах даже надерзил заведующему кафедрой профессору Заславскому, хотя, впрочем, все отлично понимали: как только план утвердят, сначала про него на несколько месяцев просто забудут, а потом приторможенная лаборантка Люся потеряет все до единого экземпляры.

Надя вошла в комнату в тот самый момент, когда доцент Желябьев хорошо поставленным лекторским голосом доказывал, что неумение планировать исследования — бич советской науки. Все оглянулись на застывшую в дверях девушку, одетую в тугие вельветовые джинсы и свободную кофточку, волосы у нее были перехвачены обычной аптекарской резинкой, а через плечо болталась замшевая сумка с какой-то совершенно индейской бахромой. Доцент капризно сморщил ухоженное личико и по-кошачьи махнул лапкой: мол, закройте, милочка, дверь с той стороны...

Однако бравый профессор Заславский неожиданно вскочил со своего председательского места, галантно приблизился к девушке, взял ее за руку и вывел на середину комнаты, как в театре выводят на авансцену якобы засмушавшуюся приму.

«Это наша новая аспирантка Надежда Александровна Печерникова!» — представил он. «Извините... Я очень долго ждала троллейбуса...» — смущенно проговорила Надя.

Кафедральные старички тут же со знанием дела оглядели и оценили гостью. О старая профессорско-преподавательская гвардия! В тридцатые — пятидесятые они не пропускали мимо ни одной смазливой аспиранточки, влюблялись с размахом и безоглядно, щедро оставляя бывшим женам квартиры на улице Горького со всем антикварным хламом, унося в новую жизнь только маленькие чемоданчики с бельем да связочки

любимых книг. Это они, они воздвигли в столице первые кооперативные квартиры! Теперь таких застройщиков давно уже нет, так как профессорского жалованья с трудом хватает и на одну семью...

Потом, все еще держа новую аспирантку за руку, профессор Заславский сообщил, что писать сия отважная девица собирается о Петре Аркадьевиче Столыпине. Кафедральные старички с пониманием переглянулись: в молодости они тоже мечтали стать честными летописцами эпохи, но хотелось бы знать, что понаписал бы тот же Нестор, когда б у него за спиной дежурил сержант НКВД с наганом. А доцент Желябьев покачал головой и с нежной грустью поглядел на симпатичную дурочку, которая наивно полагает, что историки пишут чепуху исключительно по причине незнания истории...

Наконец профессор Заславский усадил Надю рядом с Чистяковым, по-мужски подмигнул Валере и предложил продолжить обсуждение плана. Надя достала из сумки новенькую общую тетрадь, с треском раскрыла ее и ровным учительским почерком вывела: «Заседание кафедры», подчеркнула написанное двумя линиями и поставила знак вопроса, а потом, подумав немного, обвела все это узорчатой рамочкой.

Тем временем профессор Заславский, распушив хвост, начал рассказывать про то, как некогда ездил во Владимир к знаменитому монархисту Шульгину. «Неужели умный человек может быть монархистом?!» — перебил заведующего кафедрой доцент Желябьев. «Почему бы нет, если умный человек может быть сталинистом!» — покосившись на Надю, парировал Заславский, в свое время чуть было не загремевший по делу космополитов и низкопоклонников.

Но Чистяков не вслушивался в завязавшийся спор, он, рискуя нажать косоглазие, старался получше разглядеть новую аспирантку: у нее было смуглое лицо, нос с горбинкой и странная манера прикусывать нижнюю губу, для того чтобы скрыть ненужную улыбку.

Надя тем временем изобразила на страничке запутанный лабиринт со множеством коридоров и одним-единственным выходом. Чистяков настолько увлекся этим рисунком, что забылся и совсем уж неприлично уставился в ее тетрадь. «Вас как зовут? — спросила она и повернула тетрадь так, чтобы ему удобнее было разглядеть рисунок. «Валерий Павлович...» — ответил Чистяков, уже отравленный академическими церемониями. Надя почтительно посмотрела на него, прикусила губу и объяснила: «Это тест. Нужно выбраться из лабиринта...» «Зачем?» — тупея от непонятого волнения, спросил он. «А это, Валерий Павлович, я вам потом объясню...»

Чистяков немного подумал и твердо проложил авторучкой путь к единственному выходу, только возле одной развилки он малость замялся и двинулся, ожидая подвоха, не короткой дорогой, а наоборот — самой длинной. «М-да,— нахмурилась Надя, что-то прикидывая.— Значит, так: вас, Валерий Павлович, ждет блестящая научная карьера, но в личной жизни, боюсь, не повезет». «А если бы я пошел другим путем?» — заволновался Чистяков. «Ну-у, тогда бы у вас была роскошная личная жизнь и большие трудности в науке! — сообщила Надя и добавила: — Но первое слово дороже второго!..»

Услышав это трогательное детское присловье, он, наконец, решился и посмотрел ей прямо в глаза — большие, светлогриые и абсолютно несерьезные.

«...А вы знаете, что говорил мне Шульгин на прощанье? — вдруг возвысил голос профессор Заславский и ревниво обратился к новой аспирантке: — Вы, голубушка Надежда Александровна, тоже послушайте! Он сказал мне, что во избежание будущих смутных времен нужно в СССР ввести наследование политической власти. Династию!..» «Мифологическое мышление!» — усмехнулся Желябьев. «Мышление!» — со значением ответил профессор Заславский. «Мышление...— вполголоса согласился доцент.— Мышление старого склеротика...» Поскольку направленность этих слов, как выражаются ученые, была амбивалентна, вся кафедра тревожно замерла, ожидая взрыва...

«Апофегей», — наклонившись к Чистякову, доверительно прошептала Надя. «Что?» — не понял Валера. «Я говорю, у вас здесь всегда так?» — «Почти всегда...» — «Полный апофегей!»

Томительное беспокойство, поселившееся в душе после того памятного заседания, Чистяков, полагавший себя достаточно опытным мужчиной, квалифицировал как легкое влечение к новой хорошенькой аспирантке. Это была ошибка: он жестоко влюбился.

Потом почти полгода они встречались на лекциях, заседаниях кафедры, в институтской столовой, которую называли «тошнеловкой», в Исторической библиотеке... Входя в большой читальный зал № 1, Валера почти сразу отыскивал среди десятков склонившихся над книгами голов ее перетянутый аптечной резинкой хвостик, усаживался поближе, как бы невзначай встречался с ней глазами, потом они вместе шли в буфет или курилку и разговаривали — обо всем: о полном маразме профессорско-преподавательского состава, о явных переменах в интимной жизни студентов (на последней лекции они сидели не в той комбинации, как прежде), о стрельбе по-македонски, об уморительной оговорке, которой порадовал общественность на недавнем пленуме державный бровеносец... Надя ко всему на свете,

включая собственные неприятности, относилась иронически. «Надо быть большим пакостником, – говорила она, имея в виду Бога, чтобы в конце до слез забавной жизни поставить такую несмешную штуку, как смерть... А может быть, это тоже юмор, только черный?!»

Аспирантам второго года обучения родина иногда доверяла ведение семинарских занятий. Однажды, когда Чистяков, изнемогая от чувства собственной значимости, выяснял, что же осталось от лекций в головах студентов третьего курса, доцент Желябьев зачем-то привел в аудиторию нескольких аспирантов и среди них Надию. Потом, в «исторической» курилке, она как бы между прочим сообщила, что, по ее наблюдениям, на Валерия Павловича «запала» студентка Кугенова, дочка крупного партийного босса. Надя настоятельно советовала воспользоваться ситуацией и прорваться поближе к кормушке, которую в 17-м отняли у помещиков и капиталистов, но потом как-то забыли передать рабочим и крестьянам.

С грустью и бессилием наблюдал Чистяков, как его отношения с Надеей приобретают оттенок необратимого товарищества.

В те баснословные года во дни торжеств народных на кафедре устраивались праздничные посиделки: сдвигались столы, из шкапа извлекалась зеленая скатерть, та самая, что использовалась и во время защит. Кафедральные мужчины доставали из портфелей водочку и коньячок, женщины – пирожки, огурчики, банки с салатами собственного приготовления. Во главе стола садился профессор Заславский, он и провозглашал первый тост за советскую историческую науку и ее подвижников – надо понимать, всех присутствующих. Правда, в конце гулянья, неизменно набравшись, он впадал в черную меланхолию и бормотал, что нет у нас никакой исторической науки – одна лишь лакейская мифология. Эта фраза служила общеизвестным сигналом – и самый молоденький аспирант мчался ловить такси, потом происходил торжественный вынос профессорского тела и бережная укладка оногo в автомобиль. А посиделки продолжались до тех пор, пока не вваливался комендант здания, отставной подполковник, и заявлял, что пора, дескать, и честь знать, что даже кафедра научного коммунизма уже по домам разошлась; ему наливали стакан, он выпивал, давал еще полчаса на «помывку посуды и приборку помещения», после чего грозился опечатать кафедру со всеми ее согрудниками.

Тогда, в апреле, все произошло по этой, раз и навсегда укоренившейся традиции. Сначала коллектив кафедры, дружно вышедший на субботник, жег прошлогоднюю листву и разбирал завалы мусора, оставленные строителями, которые осенью всего-навсего подкрасили фасад флигеля, где располагался

исторический факультет. Потом появилась зеленая скатерть-самопьяника, как называла ее Надя, и профессор Заславский поднял первый тост... После того как комендант пообещал опечатать помещение и еще почему-то вызвать милицию, доцент Желябьев предложил Печерниковой и Чистякову поехать к нему в гости, «на холостяцкое пепелище...» и продолжить праздник!

Доцент поймал частного, по пути они заскочили в детский сад, там, оказывается, тоже был субботник, и прихватили с собой юную воспитательницу. В недавнем прошлом супругой Желябьева состояла самая молодая в республике докторша наук, ушедшая от него к члену-корреспонденту, выступавшему оппонентом на ее защите. С тех пор, по мнению Нади, доцент получил какой-то чисто фрейдистский комплекс и теперь мог общаться исключительно с женщинами элементарных профессий. Воспитательница, ее имя Чистяков давно забыл, смотрела своему ученому другу в рот и громко прыскала в ответ на каждую его шуточку или даже обычно сказанное слово.

Трехкомнатное «холостяцкое пепелище» располагалось в большом сером доме на проспекте Мира. Валера, до окончания школы теснившийся вместе с родителями и сестрой в пятнадцатиметровой комнате заводского общежития, где, дабы поутру попасть в уборную, нужно было потоптаться в очереди, потом два года живший в казарме, затем пять лет занимавший койку в четырехместном номере студенческой общаги, а теперь вот сибаритствовавший в аспирантском общежитии, имея под боком всего одного соседа, попадая на такую необъятную, по его представлениям, жилплощадь, начинал мучиться страшной завистью и самой настоящей классовой неприязнью.

Желябьев происходил из потомственной профессорской семьи; в комнатах стояла хорошая красная мебель с завитушками, на стенах висели картины в золоченых багетах и старинные фотографии в деревянных рамочках, а над бескрайней гостиной нависала огромная люстра, хрустальная, почти такая же, как и в актовом зале их родного педагогического института, где до революции располагался пансион благородных девиц.

«Это — Мурильо! — кивнул Желябьев на одну из картин, изображавшую мадонну с озорничавшим богочеловеком.— А это — мой дед, приват-доцент Московского университета.— «Какого? — съязвила Надя.— В Москве было два университета...» «Имени Патриса Лумумбы,— меланхолично пошутил доцент и по-кошачьи махнул ручкой. Потом он открыл бар, внутри которого тут же зажглась лампочка и заиграла музыка.— Расширим сосуды и сдвинем их разом!»

Болтали о кафедральных делах, травили анекдоты, Желябьев рассказал смешную историю о том, как во время защиты его бывшей жены комендант привел в актовый зал команду тараканоотравителей в белых халатах, марлевых повязках и с опрыскивателями в руках. Кто-то что-то перепутал. Слабенькая воспитательница внимательно слушала, хихикала и безуспешно старалась подцепить с тарелки скользкий маринованный гриб, после очередной неудачи она удивленно подносила к глазам и недоверчиво рассматривала вилку.

Потом доцент, писавший докторскую о гражданской войне на Украине, ни с того ни с сего сообщил, что, по его глубокому убеждению, Нестор Иванович Махно напрасно повернул танки против Советской власти, осерчав на нехорошее отношение комиссаров к крестьянам. Если б не этот глупый шаг, батька так и остался бы легендарным героем, вроде Чапая, кавалером ордена Красного Знамени, а Гуляй-поле вполне могло называться сегодня Махновском. «А тамошние дети,— подхватила Надя,— вступая в пионеры, клялись бы: «Мы, юные махновцы...»

Отсмеявшись, Желябьев посерьезнел и сообщил, что все это, конечно, так, но время для подобной информации еще не пришло и вообще народное сознание не сможет переварить всей правды о гражданской войне. «Во-первых,— без тени улыбки возразила Надя,— народное сознание — не желудок, а вторых, не нужно делать из народа дебила, который не в состоянии осмыслить то, что сам же и пережил!» Доцент в ответ только покачал головой и выразил серьезные опасения по поводу научных перспектив аспирантки Печерниковой. Потом с галантностью потомственного интеллигента он предложил совершенно одуревшей от алкоголя и светского обхождения воспитательнице пройти в другую комнату и взглянуть на уникальное издание Энгельса с восхитительными бранными пометками князя Кропоткина. Они удалились в библиотеку.

Надя, прикусив губу, разглядывала фамильный серебряный нож с ручкой в виде русалки, а Чистяков, потев от вожделения и смущения, вдруг придвинулся к ней и неловко обнял за плечи. «Мне не холодно»,— спокойно ответила она, удивленно глянула на Валеру и высвободилась. Они посидели молча. В библиотеке что-то тяжело упало на пол. «Полный апофегей!» — вздохнула Надя. «Что?» «Это я сама придумала,— объяснила она.— Гибрид «апофеоза» и «апогея». Получается: а-по-фе-гей...» «Ну и что этот гибрид означает?» — спросил Чистяков, непоправимо тупевший в присутствии Печерниковой. «Ничего. Просто — апофегей...» «Междометие, что ли?» — назло себе же настаивал Валера. «До чего же доводит людей кандидатский

минимум!» — вздохнула Надя и пригорюнилась. Чистяков почувствовал, как по всему телу разливается сладкая обида. В соседней комнате разбили что-то стеклянное.

«Ты думаешь, я не умею врать?! — вдруг горячо заговорила Надя.— Умею! Знаешь, как роскошно я врала в детстве? Меня почти никогда не наказывали — всегда отвиралась. Однажды я была на дне рождения у подружки и сперла американскую куклу, такую потрясающую блондинку, с грудью, попкой — не то, что эти наши пластмассовые гермафродиты. А когда меня застучали, я снова отовралась: сказала, будто бы кукла сама напросилась ко мне в гости... Теперь-то я понимаю, родители боролись за сохранение семьи и я была их знаменем в этой борьбе. А как выпорешь знамя? Но ведь так вели себя родители по отношению ко мне, глупой соплячке. А когда то же самое делается по отношению к взрослым, серьезным людям! Ты что-нибудь понимаешь?» «Не понимаю», — сказал Чистяков и положил на ее колено свою ладонь. Надя терпеливо сняла неугомонную руку, определила ее на собственное чистяковское колено, потом, покосившись на дверь, из-за которой доносились теперь голубиные стоны, сообщила, что у Валерия Павловича нездоровое чувство коллективизма.

Вернулись сладострастники. Воспитательница озиралась расширенными глазами и неверными движениями поправляла растрепавшуюся прическу, а у Желябьева был вид человека, очередной раз проигравшего в лотерею.

Глубокой ночью Валера провожал Надю домой. Шли пешком по проспекту Мира. Ночные светофоры мигали желтыми огнями, и казалось, они передают по цепочке некое срешное донесение, может быть, о том, как аспирантка Печерникова поставила на место неизвестно что себе вообразившего аспиранта Чистякова.

По дороге Надя рассказывала, что живет в Свиблово, в однокомнатной «хрущобе», вместе с мамульком (почему-то именно так она называла свою мать). Отец, нынче директор здорового НИИ, ушел от них очень давно, мамулек многие лета изображала из себя эдакую свибловскую Сольвейг, но теперь у нее, наконец-то, начался ренессанс личной жизни, кватроченто... В этой связи планы у Нади такие: выдать мамулька замуж за образовавшегося поклонника, а уж потом и самой заарканить какого-нибудь потомственного доцента, вроде Желябьева, и обеспечить себе человеческую жизнь в этом идиотском обществе, которое рождено, чтоб Кафку сделать былью; подарить мужу наследника, а затем уж заняться настоящей личной жизнью — изменять с каждым стройным, загорелым мужиком, катающимся на горных лыжах или, на худой конец, играющим в большой теннис...

Чистяков слушал Надину болтовню и чувствовал в сердце холодную оторопь. Он-то, за свои двадцать семь лет знавший девиц и жен без числа, прекрасно понимает: весь этот легкомысленный попутный щебет — на самом деле вполне серьезное признание в дружбе и одновременно объяснение в нелюбви...

В сентябре, как обычно, поехали «на картошку» в Раменский район, студенты — работать, аспиранты и молодые преподаватели — надзирать за ними. Жили в типовых щелястых домиках, построенных специально для сезонников и прозванных почему-то «бунгало». Каждое утро, в восемь часов, после завтрака, о котором можно было сказать только то, что он горячий, полгораста студентов под предводительством десятка бригадиров-аспирантов плелись на совхозное поле, чтобы выковыривать из земли и сортировать «корнеплод морковь» — именно так значилось в парядах. Чистякову поручили руководить ватой грузчиков — крепких парней-первокурсников, поступивших в институт сразу после армии. Они развезжали по полю на полуторке и втаскивали в кузов гигантские «авоськи», набитые «корнеплодом морковь», вызывавшим почему-то у греющихся на солнышке спозаранку пьяных совхозных аборигенов исключительно фаллические ассоциации.

А вечером собирались на ступеньках какого-нибудь «бунгало» и пели под гитару замечательные песни, от которых наворачивались сладкие слезы и жизнь обретала на мновения грустный и прекрасный смысл.

Чистяков умел играть на гитаре. Давным-давно, когда Валера учился в школе, к ним в класс заявился мужичок с балалайкой. Он исполнил русскую народную песню «Светит месяц, светит ясный» и призвал записываться в кружок струнных инструментов, организованный при Доме пионеров. Валера записался, ходил на занятия около года и немного выучился играть на балалайке-секунде, а когда через пару лет началось повальное увлечение гитарами, успешно применил свои балалаечные знания к шестиструнке. Правда, собственного инструмента выпанить у родителей так и не удалось, но сосед по заводскому общежитию имел бренькающее изделие Мытищинского завода цинковых инструментов, при помощи которого они разучивали и исполняли разные песни:

В белом платье с по-яе-ко-ом
Я запомнил образ тво-ой...

Потом, на первом курсе педагогического института, Валера посещал театральное отделение факультета общественных профессий, руководимое каким-то отовсюду выпантым, но очень самолюбивым деятелем. Этот режиссер-расстрига бесконечно ставил «Трех сестер» и постоянно грозился сделать такой

спектакль, что «все эти творческие импотенты из разных там мхатов сдохнут от зависти». Чистяков должен был играть Соленого, а Соленый, в свою очередь, должен был появляться с гитарой, напевая жестокий романс. Соленого Валера так и не сыграл, потому что режиссера погнали за освященное многовековой традицией, но не уважаемое законом влечение к юношам. Зато жестокие романсы петь выучился.

Там, «на картошке», Чистяков не уступал одетым в штормовки, бородатым и хрипатым под Высоцкого первокурсникам. «Валерпалыча на сцену! — кричала студентка Кутепова. — Валерпалыч, миленький, — «Проходит жизнь!» Ну, пожалуйста!» Чистяков обреченно вздыхал, поднимался на крыльцо «бунгало»; брал гитару с еще теплым от чужих рук грифом, пробовал струны, хмурился, качал головой, начинал было настраивать инструмент, а потом вдруг — несколько резких аккордов, и:

Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи,
Проходит явь, проходит сон,
Любовь проходит, проходит все...
Но я люблю. Я люблю. Я люблю...

А для аспирантки Печерниковой, совершенно не отличавшейся от студенток в своем длинном, почти до колен свитере и модном, по-селянски повязанном платке, Валера каждый божий вечер пел ее любимую вещь:

Молода еще девица я была,
Наша армия в поход куда-то шла,
Вечерело. Я стояла у ворот —
А по улице все конница идет...

«Потрясающая точность деталей! — совершенно серьезно, без обычной иронии восхищалась Надя. — Огромная русская армия, растянувшись, ползет через маленький уездный городишко. Вечер, а еще не кончился даже конный авангард! Роскошно, правда?»

В черном холодном небе плыла луна, воздух пах ошеломляющей осенней прелью, и Чистяков пел, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а душа томится предчувствием единой для всех людей счастливой и безысходной доли:

Вот недавно — я вдовой уже была,
Четверых уж дочек замуж отдала —
К нам заехал на квартиру генерал,
Весь простреленный, так жалобно стонал...

«Четырех уж девок замуж отдала! Какая потрясающая точность деталей!...» — передразнивала ехидная студентка Кутепова.

В одиннадцать вечера студентов гнали спать, они, естественно, ерепенились, заявляли, что, будучи взрослыми, дееспособными людьми, сами могут решать, когда им ложиться спать, с кем, и ложиться ли вообще, что дома они именно так и поступают. Им, разумеется, отвечали, что они не дома, что из-за их ослиного упрямства и ребячества страдает производительность труда, не высыпаются бригадиры и что за нарушение производственной дисциплины можно запросто вылететь из вуза, куда они только-только с таким трудом поступили.

Потом нужно было с фонарями досматривать «бунгало», высвечивать каждую кровать, чтобы в девичьих помещениях не было парней,— и наоборот. Студентка Кутепова, целомудренно закрывшись одеялом до подбородка, во время каждого такого обхода плаксиво объявляла, будто дома не засыпает вообще, пока папа не поцелует ее в лобик, и требовала, чтобы именно Валерпалыч был ей «заместо отца родного». Под общий хохот Чистяков целовал ее в пахнувший пудрой лоб, и она тут же прикидывалась спящей.

Уложив студентов, аспиранты и преподаватели собирались в штабном «бунгало», пили чай и вино, валяли дурака, хохотали, а то вдруг начинали до хрипоты спорить о том, например, что означает фраза Чаадаева «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его враги». Или же разговор уходил в совершенно другую сторону, и аспирант кафедры фольклористики, «сокамерник» Чистякова по общежитию, Юра Иванушкин, старательно акая или окая, рассказывал срамные сказки Афанасьева, пел остросексуальные частушки и однажды уморил общественность, сообщив исконно народную классификацию достоинств мужского имущества: «щекогун» — «запридух» — «подсердечник» — «убивец». С тех пор Иванушкина так и прозвали — Убивец. Он тогда канал под пейзажника и показательно презирал всех, имеющих московскую прописку. «Вам-то, столичным,— причитал Убивец полудурашливо-полусерьезно,— все само в рот лезет. Опять-таки ЦПКиО имени Горького, гастроном имени Елисеева, метро имени Кагановича... А попробуйте-ка в школу за десять верст по первопутку побегать... В страну знаний! Волки: у-у-у!» Валера, ходивший в школу через дорогу, в самом деле начинал себя чувствовать тажравшимся барчуком или, как выражаются в армии, человеком Московской области, сокращенно — ЧМО.

Только потом, через год-два, совсем случайно, подмахивая характеристику, он узнал: жил Убивец в приличном районном центре, родитель его работал ни много ни мало директором крупного мясо-молочного комплекса, а мать начальствовала во Дворце культуры. Элита, правда, уездная...

Спать расходились обычно часа в два-три, а в семь уже вскакивали, умывались ледяной водой и, вибрируя от утреннего холода, расталкивали невменяемо-сонных студентов, которые втихаря тоже колобродили всю ночь. И ведь ничего: завтракали и, как выражалась Надя, бодренько отходили в поля, трудились, а вечером все начиналось сначала. А теперь вот поспишь вместо положенных восьми часов, скажем, шесть, и целый день скрипишь так, словно тебя палками отвалтузили.

На правах сокафедренника каждую ночь Чистяков провожал Надю до «бунгало», раскланивался и с протокольной учтивостью пожимал на прощанье ее прохладную руку. Мысль о том, что она снова может одним недоуменным движением освободиться от его вахлацких объятий, заранее вгоняла Валеру в краску и парализовывала все желания. Наде в ту пору нравилось изображать увиденную в каком-то идиотском фильме молодую революционную женщину, до беспамятства влюбленную в слово «товарищ». «До свидания, товарищ! — говорила она на прощание понурому Чистякову. — Товарищ, выше голову! Скоро восстанет пролетариат Германии, товарищ!..» Этим все и заканчивалось.

Однажды, кажется, за неделю до окончания сельхозработ, в поле случилось ЧП — внезапно кончилась тара, те самые гигантские «авоськи», только теперь для «кочанной культуры капусты». Материально ответственный начальник совхозного склада запил, жена выгнала его из дому, и он исчез вместе со связкой ключей от сарая, где хранилась тара. Работа встала, студенты разбрелись кто куда, и тогда Чистякова отправили ходоком к начальству в центральную усадьбу, поручив заодно купить аспирину и еще чего-нибудь для простудившейся Наденьки Печерниковой.

Валера на попутке добрался до дирекции, устроил там бурю, пообещал поснимать с должностей и все спрашивал, где у них тут телефон, чтобы позвонить в обком партии, хотя, честно говоря, в те времена имел смутное представление о том, что это такое, если не считать Надиного выраженьица: «Обком звонит в колокол». Встревоженные буйным аспирантом, всеупоминающим священную аббревиатуру, совхозные начальники стали названивать в свое неблагополучное подразделение, подняли всех на ноги — и кладовщик был найден: он спал в том самом сарае на тех самых «авоськах» за дверьми, запертыми снаружи на большой амбарный замок, причем связка ключей мистически оказалась в кармане его телогрейки.

Уладив производственный конфликт, Чистяков заглянул в аптеку, добыл аспирин и горчичников, в сельпо ему «свешали» полкило засахарившегося, похожего на топленое масло

меду, а в книжном магазине рядом с автобусной остановкой в свалке произведений писателей-гертруд (так Надя называла Героев Социалистического Труда) он нашел книжечку своего любимого Бунина с несколькими рассказами из «Темных аллей».

В лагере было пустынно, только с кухни слышался смех и запах подгоревшей гречки: кашеварили первокурсники, которые и яичницу-то толком пожарить не умели. У забора два упитанных серых кота, сблизив морды, зловеще гундели, но не решались начать драку.

Надя, очень серьезная, лежала в постели и читала с карандашом в руке, на ней был свитер, она была бледнее, чем обычно, губы запеклись. Чистяков с больничными предосторожностями скорбно присел на край кровати, положил на тумбочку лекарства, мед и проговорил: «Бедная Надежда Александровна!» «Ничего, товарищ! Я вернусь в строй, товарищ!» — улыбнувшись, отозвалась она охрипшим голосом. «Может, еще чего принести?» — спросил Валера. «Большое вам спасибо, товарищ!» — вымолвила Надя и закашляла. «Пожалуйста», — ответил Чистяков и машинально, проверяя температуру, приложил ладонь к ее лбу, и вдруг ему почудилось, что Надя не отстранилась, а, наоборот, чуть-чуть даже подалась навстречу его руке. «Тридцать восемь, — пробормотал он и, словно убеждаясь, провел пальцами по ее щеке. — Определенно тридцать восемь...» И тогда Надя, повернув голову, коснулась шершавыми губами его ладони. Чистяков почувствовал в теле какую-то глупую невесомость и наклонился к Наде, но она отрицательно замотала головой, отчего ее не скрепленные обычной аптекарской резинкой волосы разметались по подушке: «Нельзя, товарищ... Инфлюэнца!» Даже в такую минуту она дурачилась. Валера ладонями сжал ее лицо и поцеловал прямо в сухие губы. «Не надо же... Войдут!» — прошептала она. Чистяков на ватных ногах прошагал к двери, набросил крючок и вернулся. Под свитером кожа у нее была горячая и потрясающе нежная. «Занавески, товарищ!» — обреченно приказала Надя, и Валера пляшущими руками задернул шторы с изображением слонов, перетаскивающих бревна. «Товарищ, что вы делаете, товарищ! — шептала она, обнимая его. — Боже мой, в антисанитарных условиях!» Старая панцирная сетка, совершенно не рассчитанная на задыхающегося от счастья Чистякова, гремела, казалось, на весь лагерь. А в то мгновение, когда они стали «едина плоть», Надя прерывисто вздохнула и тихонько застонала...

Через несколько дней, возвращаясь на автобусах в Москву, делали в дороге вынужденную остановку: мальчики — налево, девочки — направо. Рядом с Чистяковым пристроился Убийвец.

«А ты, Чистюля, шустрый мужик!» — сказал он. «Не понял», — отозвался Валера. «Вестимо, — согласился Иванушкин. — Перетрудил головку-то...» Застегнулся и пошел к автобусу.

После этого разговора счастливые обладатели друг друга посовещались и решили вести себя так, чтобы никто не догадывался об их отношениях, и не потому, что боялись, а просто не хотелось ловить на себе любопытствующие взгляды одряхлевших сексуальных террористов тридцатых годов и слушать их туманные рассуждения про то, что последнюю кафедральную свадьбу играли в 59-м. «Конспирация, конспирация и еще раз конспирация!» — с исторической картавинкой повторяла Надя.

Печерникова и Чистяков церемонно раскланивались, встречаясь возле дверей факультета, на заседаниях кафедры садились в разных углах комнаты, обедали порознь, даже старались на людях реже приближаться друг к другу, ибо в сущности были очень похожи на два металлических шара из школьного опыта: сдвинь их чуть поближе — и грянет молния...

Валера, наверное, совсем потерял бы голову, но ему приходилось постоянно ломать ее над вечным вопросом влюбленного советского человека: «Где?» Очень редко, когда Убивец уезжал в свой Волчиховостск к родителям подхарчиться, просачивались в аспирантское общежитие, но Иванушкин имел пакостную привычку приезжать совсем не в тот день, в какой обещал заранее, поэтому следовало быть начеку, а это, как известно, не способствует. Воротясь с большой спортивной сумкой, полной жратвы, Убивец щедро угощал Чистякова и, глядя, как тот ест, задумчиво рассуждал о том, что научные работницы, должно быть, очень темпераментны: потому что ведут сидячий образ жизни и кровь у них застаивается в малом тазу. Валера, уминая чудную колбасу, которая, по словам Убивца, прямо с папашиного комплекса шла на стол членам Политбюро, не моргнув глазом отвечал, что по этой теории самыми сексуальными являются сотрудницы сберегательных касс. «Почему?» — удивлялся Иванушкин. «Потому что деньги вообще возбуждают», — отвечал Чистяков. «Вестимо», — соглашался Убивец и, нагнувшись, подбирал с пола оброненную Надину шпильку.

Иногда Бог посылал ключи от чьей-то временно пустующей квартиры, и Валере нравилось, как тщательно всякий раз Надя прибирается перед возвращением хозяев, стирая малейшие следы их великой и простой дружбы, точно сами хозяева и не догадываются, зачем оставляют ключи двум молодым влюбленным пингвинам. И только в самых исключительных случаях, когда молния готова была жхнуть среди бела дня в многолюд-

ном месте, они ехали в Надину «хрущобу» и полноценно использовали те два часа, которые мамулек проводила со своим новым спутником жизни в синемаатографе. Это у них называлось «скоротечный огневой контакт», как у Богомолова в «Августе сорок четвертого».

Надя очень любила всему, в том числе и самому-самому, придумывать смешные прозвища и названия, из чего постепенно и складывался их альковный язык: нельзя же размножаться, как винтики, молчаливой штамповкой! Так, например, осязаемое вожделение Чистякова именовалось — «Голосую за мир». Упоительное совпадение самых замечательных ощущений получило название «Небывалое единение всех слоев советского общества», сокращенно «Небывалое единение». Последующая физическая усталость — «Головокружение от успехов», регулярные женские неприятности — «Временные трудности», а различного рода любовные изыски — «Введение в языкознание».

Однажды мамулек вкупе с другом жизни на целый день уехала в Загорск — приобщаться к благодетельности истинной веры. Наши героини-любовники, естественно, решили воспользоваться такой редкой возможностью и с комфортом разучить доставшийся им на два дня индийский трактат «Цветок персика» в красочном штатовском издании с картинками и установочными рекомендациями. Но вот в момент «небывалого единения» внезапно раздался звук отпираемой двери и послышались голоса в прихожей. «Опять что-нибудь забыли! — простонала Надя и, набрасывая халат, распорядилась: — Будешь знакомиться! Я их задержу...»

Торопливо и бестолково одеваясь, Чистяков слышал, как за дверью мамулек повествует о том, что на Ярославском вокзале случилась совершенно непонятная трехчасовая пауза между электричками и что в Загорск они решили поехать на будущей неделе, а сегодня посидеть просто дома. Надя пыталась внушить им, что существует еще, например, Коломенское, куда можно добраться на метро, работающем бесперебойно... Держать мамулька и ее друга жизни в прихожей было неприлично, дверь начала медленно приоткрываться, одевшийся Валера зарнеее изобразил на лице радость знакомства с родственниками левушки, за которой имеет счастье ухаживать, а в руки, чтобы скрыть дрожь и волнение, машинально взял «Цветок персика». На супере красовалась цветная фотография юной индийской шри, заплетенной в некий непонятный сладострастный узел. «А это — мой коллега Валерий Павло... — светски начала Надя, увидев обложку, осеклась и, давась от хохота, смогла добавить только одно слово: — Апофегей!»

Профессор Желябьев добил воображаемого идейного противника большой ленинской цитатой и под ровный аплодисмент зала сошел с трибуны.

— Спасибо, Игорь Феликсович! — державно улыбнувшись, сказал Бусыгин и несколько раз энергично ударил в ладоши, показывая залу, как нужно благодарить докладчика за интересное выступление.

«Ковалевский, конечно, тоже воздал бы должное докладчику, но сначала глянул в программу сверить имя-отчество, а этот на память шпарит, душегуб!» — подумал Чистяков, мгновенно возвращаясь из Надиной «хрущобы» в большой зал ДК.

«Я очищу район от всей коррумпированной дряни! — Эти слова БМП произнес сразу после своего прихода, на первом же бюро райкома партии. — Кто не хочет работать по-новому, пусть уходит сам. Сам! Когда за дело возьмусь я, будет поздно...» Чистякова коробила даже не показательная жестокость нового шефа, странная для нынешнего поколения аппаратчиков, а святая уверенность Бусыгина в своем праве определять тех, кто нужен, и карать тех, кто не нужен. Слово БМП не из подмосковского городишка, где, извините, та же Советская власть со всеми ее достопримечательностями, а из некоего образцового царства-государства, эдакого Беловодья, которое сам создал и которое дает ему право учить прогнивших столичных функционеров уму-разуму...

«А может быть, — размышлял Валерий Павлович, — нас просто всех порешили убрать, вроде того как меняют поколения компьютеров или телевизоров? Такое уже было... А для удобства прислали эту, как точно выразился дядя Мушковец, машину для отрывания голов. Но почему же тогда просачиваются слухи, будто у БМП напряглись отношения с благодетелем и однокашником, посадившим его в райком? Что это? Надерзил по врожденной хамовитости или приобрел слишком большую популярность? Народу ведь нравится, когда летят головы, люди и бокс-то любят за то, что на ринге кого-то лупят по морде, кого-то, а не тебя... Или совсем другое: Бусыгин сам запускает дэзу, чтобы расшевелить и выявить прикинувшихся друзьями врагов?.. Впрочем, нет, для него это слишком тонко...»

— Проснись и послушай! — Мушковец толкнул Чистякова в бок. Валерий Павлович очнулся и напряг слух.

— Вот поэтому-то, — вещал БМП, — я и попросил профессора Желябьева написать свой доклад так, как подсказывает ему партийная совесть, и не показывать никому, даже

секретарю райкома. А то, знаете, начеркают, насоветуют, люди потом слушают и ничего не понимают...

Зал захлопал. И докладчик пробирался на свое место в президиуме сквозь бесчисленные поздравительные рукопожатия. Желябьев всегда отличался нервической интеллигентской дисциплинированностью: приказывали — бегал согласовывать каждое слово, приказали быть самостоятельным — выполнил. Только откуда знать Бусыгину, что вчера вечером Игорь Феликсович тайно звонил Чистякову и слезно умолял просмотреть докладец хотя бы по диагонали, так, на всякий случай...

— Итак, — продолжал БМП, — научная база для серьезного разговора у нас имеется. Хорошая база. Без науки мы сегодня никуда. Но и без живого практического опыта тоже никуда. А носитель опыта — человек, конкретный человек! Вот давайте людей и послушаем. Разучились мы, по-моему, за последние годы людей-то слушать!..

Зал снова заплодировал. Начались прения. Первым выступил директор Дворца культуры завода имени Цюрупы. У них там в актовом зале недавно вдребезги грохнулась большая хрустальная люстра, висевшая с прошлого века. Так вот, оратор сравнил падение культурных запросов трудящихся с падением этой самой люстры. Всем очень понравилось, и Бусыгин, пошептавшись с Иванушкиным, сделал какую-то пометку в блокноте. Хмурый официант, похожий на огромного стрижа, менял стаканы с теплым чаем, менялись на трибуне и люди.

Наконец объявили перерыв, и участники конференции метнулись к буфетным стойкам и лоткам книготорга, а президиум проследовал в комнату за сценой. Там в отличие от недавних времен не было севрюжно-икорного разврата, но имелись бутерброды с югославской ветчиной и крепкий чай. Бусыгин нехорошо обвел взглядом стены, обшитые темным деревом, мягкую финскую мебель, задержался на авторской копии известной картины «Караул устал», усмехнулся и бросил:

— Прямо-таки апартаменты...

— Стараемся, Михаил Петрович, — по-китайски закивал головой директор ДК.

— Оно и видно, — не по-доброму согласился БМП, надломив правую бровь. — Умеет столица жировать! Всю страну прожрет и не заметит...

Сказав это, Бусыгин подошел к столу, положил в чай единственный кусочек сахара и стал прихлебывать, не притронувшись к бутербродам. Остальные последовали его примеру. Мушковец постарался очутиться вблизи первого секретаря и, воспользовавшись случаем, завел разговор о задуманной вместе с Чистяковым серии мероприятий под условным названием

«День рождения дома». В двух словах: молодые ребята из неформального объединения «Феникс» по субботам и воскресеньям восстанавливают ветхий жилфонд, имеющий историко-культурную ценность, а потом вокруг как бы возрожденного из пепла здания устраиваются народные гуляния с выступлением фольклорных и роковых ансамблей, лекциями краеведов, продажей прохладительных напитков и выпечки. БМП кивал, но лицо его было непроницаемо.

— Понимаете, Михаил Петрович,— канючил Мушковец,— на каждом таком доме теперь будут две мраморные таблички. Обычная: построен... архитектор... охраняется государством... И наша, особенная: дом восстановлен тогда-то, такими-то ребятами...

Не дослушав Василия Ивановича и даже ничего не сказав, Бусыгин вдруг широко распахнул объятия, дружественно заулыбался и пошел навстречу шупленькому пареньку — «афганцу», который наконец-то решился съесть бутерброд и от неожиданности уронил его на скатерть. Стакан чая из рук первого секретаря ловко перехватили, он крепко обнял «афганца», хлопал по спине и начал расспрашивать, когда тот воевал, ранен ли, за что получил «Красную Звезду», как идет жизнь, нет ли проблем? Проблемы были: парень недавно женился, обзавелся ребенком, а жить негде...

БМП оглянулся на Мушковца и со словами: «Ну-ка, птица Феникс, лети сюда!» — поманил его пальцем.

Когда через минуту-другую Василия Ивановича отослали прочь и он обреченно подошел к Чистякову, лицо зампреда исполкома было покрыто сиреневыми пятнами.

— Все понял? — тихо спросил он и начал нервно поедать бутерброды.

— Понял,— кивнул Валерий Павлович, отлично знавший, что в районе десятки неустроенных «афганцев» и что проблема эта не решится, даже если Мушковца прилюдно расстреляют в скверике перед райкомом партии.

— Надо катапультироваться! — проямлил набитым ртом Василий Иванович.— Теперь пора — по белой нитке ходим!

— Нашел что-нибудь?

— Да так... Тебе тоже советую. Не слушал дядю Базиля. Сейчас бы шнырк на кафедру и отсиделся в науке!

Уже много лет опытный Мушковец твердил Чистякову, что тот делает огромную ошибку, не работая над докторской диссертацией, ибо кандидатов нынче столько развелось, плюнь за окно — попадешь в кандидата. Но легко сказать: защищайся! А если к концу рабочего дня в голове полумертвая мешанина да одно-единственное желание — доползти домой и смыть скорей

с лица это изматывающее выражение доброжелательной заинтересованности и государственной озабоченности. И если вместо того, чтобы выпить свои законные двести граммов, без чего Чистяков уже много лет не засыпает, а потом расслабиться у камина или телевизора, каждый божий вечер садиться за книги, то однажды тебя выведут из Исторички тупо улыбающимся и завернутым в смирительную рубашку. Кстати, о камине... Это была совершенно идиотская, застойная выходка: в городской квартире! со спецдымоходом!! в счет капремонта!!! И ведь Чистяков как чувствовал, до последнего отнекивался, мол, и с батареями не мерзну, а Мушковец стыдил, настаивал, других приводил в пример. БМП наверняка уже все знает, но помалкивает, потому что погреться у живого огонька захотелось не только Валерию Павловичу, и пока его теплолюбивые соседи будут сидеть на своих должностях, все будет тихо...

— Пойду прогуляюсь в фойе,— сообщил Чистяков и поставил стакан.

— К этой? Не ходи! — взмолился Василий Иванович.— Валера, я тебя прошу!..

Направляясь к двери, Чистяков лицом к лицу столкнулся с профессором Желябьевым, который даже поперхнулся чаем, сообразив, что вот сейчас прямо на глазах Бусыгина опальный секретарь может по старой дружбе обнять основного докладчика или в лучшем случае шумно поздравить его с прекрасным выступлением. И, как бы подтверждая эти опасения, Валерий Павлович немного замедлил шаг, но, увидев на потомственном профессорском личике смертельный испуг, презрительно усмехнулся и прошел мимо.

В фойе люди разминались перед новым двухчасовым сидением. Одни с недоумением разглядывали товар, только что сгоряча схваченный в околотилажной толчее, другие, собравшись группками, обсуждали ход конференции и очень хвалили Бусыгина.

Сквозь толпу активистов Чистяков продвигался медленно, многие знали его в лицо, бросались навстречу, тискали руку, он допускал, но любые попытки на ходу решить какой-нибудь горящий вопросик пресекал в корне: иначе до заветного стенда не добраться никогда. «Не-ет, люди меня знают, уважают! — думал секретарь райкома, чуть морщась от очередного крепкого рукопожатия.— Не-ет, мы еще поборемся!» Впрочем, краем глаза Чистяков заметил, что некоторые вхожие в райком низовые деятели, еще недавно кидавшиеся к нему с сыновней преданностью во взоре, подходить и здороваться не стали... «Вот она — желябьевщина!» — вздохнул Валерий Павлович и с гордостью припомнил, как сам он все-таки зашел в кабинет

к «освобожденному» Ковалевскому проститься. Правда, зашел поздно вечером, когда в райкоме, кроме дежурного милиционера и шоферов, никого не осталось...

Надя Печерникова стояла возле стенда и, казалось, внимательно рассматривала диаграмму роста количества культурных учреждений в районе с 1917 года по настоящее время. С абсолютного нуля кривая взмывала вверх, потому что еще совсем недавно на месте Краснопролетарского района стояли там и сям деревеньки, а божьи храмы диаграммой не учитывались.

Чистяков не видел Надю больше десяти лет, с того самого вечера, когда они на квартире Желябьева отмечали защиту чистяковской диссертации. Валерий Павлович почему-то готовился увидеть поблекшую, ярко накрашенную даму, которая, гримасничая увядшим лицом, будет намекать на их прошлые отношения, а потом что-нибудь обязательно попросит. Друзья молодости к нему просто так давно уже не ходят. И еще ему представлялось почему-то, что Печерникова непременно растолстела, оплыла и приобрела тот наступательный вид, какой замечаешь у людей, хорошо поработавших в школе или правоохранительных органах.

Но Надя почти не изменилась. Только вместо стянутого аптечной резинкой хвостика была модная короткая стрижка, а вместо затертых вельветовых джинсов — хороший темно-серый костюм, вроде тех, что были недавно в райкоме на выездной торговле: юбка, жакет и тонко подобранный легкий шарфик. Присмотревшись повнимательнее, Чистяков отметил, что она похудела, научилась интересно пользоваться косметикой, а глаза ее, прежде вызывающе несерьезные, погрустнели... И еще в ней появилась та очевидная замужняя строгость и недоступность, которая делает совершенно нелепыми и даже кощунственными воспоминания о том, будто некогда эта же самая женщина без сил лежала рядом с тобой на влажных от любви простынях и шептала тебе на ухо какую-то нежность и счастливую чепуху...

— Здравствуй, товарищ! — неожиданно для себя заговорил Чистяков. — Сколько же лет мы не виделись?

— Здравствуйте, Валерий Павлович, — тихо ответила Надя и протянула руку — пальцы у нее были такие же хрупкие и прохладные.

— А я записку получил и все тебя в зале высматриваю... — смутился Чистяков, чувствуя, что по привычке заговорил так, как если бы оказался в заводском цеху или на строительной площадке во время плановой встречи с рабочим классом.

— Мы сидим на балконе, — объяснила Надя.

— Понял. Как жизнь? В школе работаешь — сеешь разумное, доброе, вечное?

— Доброе...

— Как супруг? Олег... Правильно? — энергично спрашивал Чистяков, злясь на себя за то, что теперь впал в стиль вечера встречи выпускников.

— Правильно. У мужа вышла книга. В прошлом году...

— Молодец — настырный мужик! А вот ты, товарищ, науку зря забросила. На кафедре долго не могли поверить, что Печерникова сбежала! Заславский все твердил, что ты самая талантливая его аспирантка. А Заславский, царствие ему небесное, как Собакевич, мало кого хвалил...— Чистяков все говорил, а сам ждал, когда же она, наконец, ободренная этими теплыми воспоминаниями о давних временах, решится и выложит свою просьбу. «Очень интересно, что она попросит. Просто очень интересно!» — думал Валерий Павлович, а вслух продолжал: — И Желябьев, основной наш докладчик, тоже тебя недавно вспоминал. Надумаешь вернуться в большую науку — поможем...

— Не до науки, Валерий Павлович,— ответила Надя.

— Дети? — понимающе улыбнулся Чистяков и почувствовал внезапно горькую обиду, которую сам себе объяснил так: как кошки, понародят ораву на двадцати метрах, а потом решай им жилищный вопрос — «афганцев» селить некуда!

Надя кивнула и прикусила губу, но не так, как раньше, чтобы скрыть ненужную улыбку, а совсем по-другому...

— Сколько же вы с Олегом настрогали? — усмехнулся Валерий Павлович.

— Сын...— вымолвила Надя, и по ее щекам покатились слезы.— Один. У него ХПН в терминальной стадии... И он совершенно не переносит гемодиализа...

— Не понял... Что? — оторопел Чистяков.

Оказалось, у Надиного сына хроническая почечная недостаточность в практически безнадежной стадии. Спасение одно — гемодиализ, регулярная перегонка, очищение крови через специальные фильтры. Но ребенок неизвестно почему от этих процедур просто чахнет на глазах, кости стали такие хрупкие, что за последний год трижды ходил в гипсе. Врачи в один голос говорят: трансплантация! А очередь на пересадку в Нефроцентре, который находится в Краснопролетарском районе, расписана на полтора года вперед и, главное, почти не движется из-за отсутствия донорских почек.

— Сочувствую... Надо подумать... Ну, не плачь, пожалуйста...— бормотал Чистяков, а сам горько жалел, что не пришла она к нему полгода назад, при Ковалевском, когда Валерий Павлович решил бы этот пустячный вопрос одним звонком в партком Нефроцентра, да еще с прибауточками, с аппаратным матерком.— Где же ты раньше была, товарищ?

— Мы добивались... Мы писали... А там все без очереди идут. Если он умрет, я сойду с ума...

— Прекрати! — твердо приказал Чистяков. — Нерешаемых вопросов не бывает. Давай встретимся в следующем перерыве здесь же. Выше голову, товарищ!

— Правда? — переспросила Надя и посмотрела на него почти так же, как в тот давний день, когда он принес ей в «бунгало» лекарства и мед. А может, ему и показалось.

...После перерыва первым выступал ветеран труда, потомственный хлебопек, и очень жаловался, что поэты и композиторы до сих пор не написали ни одной песни о людях, регулярно доставляющих к нашему столу свежий душистый хлеб.

— Что же это получается — хлеб есть, а песен нет? — улыбнувшись, поинтересовался Бусыгин и шутливо погрозил пальцем сидевшему в первых рядах и представлявшему на конференции творческую интеллигенцию известному композитору, а тот в ответ многообещающе закивал: мол, сделаем!

— По белой нитке ходишь, Валера! — наклонившись, проговорил Мушковец. После перерыва он не стал отсаживаться от Чистякова, видимо, рассчитав, что в таком случае факт их временного соседства станет еще заметнее. — Чего она от тебя хочет?

— Мы вместе учились в аспирантуре, — ответил Валерий Павлович.

— Тер ее, небось, по молодому делу? — осклабился Василий Иванович.

— Пошел к черту! — рассердился Чистяков. — Пацан у нее умирает. Почки. Пересадка нужна...

— Так я и знал, — поскуцнел Мушковец. — БМП Нефроцентр лично на контроле держит. Доворовались, мазурики!

Чистякову не нужно было объяснять, насколько трудно, невозможно выполнить сегодня Надину просьбу. Состоялось специальное заседание бюро райкома партии, на котором поперли из рядов заместителя директора и вклеили строгача секретарю парткома Нефроцентра за нарушение порядка госпитализации и очередности оперирования больных. Директор Нефроцентра своевременно перешел на другую работу, прислали нового — принципиального до тупости. Думали, этим кончится, так нет: по просьбам трудящихся пригнали жуткую комиссию, начали копать глубже, и всплыли факты чудовищных взяток (не последний человек в этом мире, Валерий Павлович даже не представлял себе, что бывают такие деньги!) — в общем, для нескольких граждан в белых халатах дело запахло совершенно иной спецодеждой.

Еще на том, разоблачительном бюро Бусыгин сказал, что берет под личный контроль «этот опозорившийся Нефроцентр»

и будет зорко следить за тем, чтобы исключения, без которых, увы, наша жизнь пока еще невозможна, делались действительно в исключительных случаях. Обратиться к БМП с нижежайшей просьбой посодействовать госпитализации сына одной знакомой — значило тут же, на ковре, получить оскорбительный, грубый отказ, а такого в своем нынешнем положении позволить себе Чистяков не имел права, ведь отказ — очень удобный способ проверить, твердо ли стоит на ногах тот, кто просит. Сумеет настоять, надавить, решить через голову — значит, твердо и с ним нужно считаться. Не сумеет...

* * *

Профессору Заславскому позвонили из толстого журнала и попросили порекомендовать кого-нибудь, кто мог бы написать развернутый отклик на «Малую землю», и он порекомендовал аспиранта Чистякова. Валера начал было отнекиваться, но ему ясно дали понять, что это — задание кафедры. Отклик сочиняли вместе с Надей, лежа в постели, в паузах между небывалыми единениями, благо Убивец отъехал за харчами. Пили сухое вино и хохотали как сумасшедшие, потому что текст наговаривали, подражая заплетающейся брежневской дикции. Надя придумала гениальную концовку: «Если в сердце твоём поселились сомнения, если душа ослабела в творческом полете, а тело устало в созидательном труде, — поезжай на эту опаленную огнем великую «Малую землю», где сражался отважный политрук. А не можешь поехать, сними с полки эту небольшую книгу, которая — лучше и не скажешь — «томов премногих тяжелей».

Отклик напечатали за подписью Чистякова, заменив слово «сомнения» на слово «уныние», и выплатили гонорар шестьдесят четыре рубля 37 копеек. Надя сказала, что деньги эти подхалимские и что у них есть единственный способ загладить свою вину перед историей — гонорар срочно пропить! Сначала они роскошествовали в ресторане «Узбекистан», потом перебрались в кафе-мороженое, а в завершение, купив на сдачу бутылку шампанского, поехали к хорошим знакомым, где их давно уже воспринимали как законную пару, — и там куролесили до глубокой ночи.

Наконец им постелили на кухоньке: головами они касались теплой батареи, а ногами — холодной эмали холодильника, шумно вздрагивавшего через равные промежутки времени. Хмельной и размякший, Валера страстным шепотом клялся Наде в любви и описывал свои чувства с такой бесовственной восточной цветистостью, что «единственная и судьбой посланная» смеялась, предлагала даже разбудить хозяев, чтобы были

свидетели, но сама при этом гладила Валеру по волосам и прижимала его голову к своей груди. «Надя! — вдруг сказал Чистяков.— Давай поженимся!» Но в этот самый момент холодильник прямо-таки подпрыгнул на месте и завибрировал с необыкновенным грохотом...

Мамулёк с другом жизни уехала в дом отдыха по бесплатным профкомовским путевкам, и наши любострастники, ставшие, как выразилась Надя, счастливыми обладателями однокомнатной явочной квартиры, довели себя до полного головокружения от успехов. На очередном заседании кафедры профессор Заславский долго разглядывал совершенно одинаковые круги под глазами у двух сидящих в разных концах комнаты и почти не разговаривающих между собой аспирантов. «Надежда Александровна, голубушка,— наконец с укором спросил он.— О чем вы все время мечтаете?» «Что?» — встрепетнулась Надя. «Понятно...» — вздохнул профессор.

Однажды на явочной квартире они лежали в состоянии глубокого энергетического кризиса, и Чистяков с расслабленным недоумением сообщил Наде, что его срочно вызывают в партком. Она пропустила эту информацию мимо ушей, потому что вообще относилась к руководящей силе общества с вызывающим пренебрежением. А Валера-то не однажды наблюдал, как увенчанные сединами и почетными званиями мастодонты науки, ворочающие в уме целыми историческими эпохами, на худой конец — периодами, входя в аудиторию, где назначено партсоборание, сразу превращались в кучку нашкодивших соискателей, которых может учить жизни любой взгромоздившийся на трибуну инструкторишка, еще год-два назад с трепетом протягивавший им — мастодонтам — свою зачетную книжку, униженно клянча «удик». Но вся штука заключается в том, что он, инструкторишка, уже прочитал проект готовящегося постановления бюро райкома партии, чего мастодонты не читали. А кто знает, что там, в этом постановлении? Может быть, решили подкрутить гайки и проверить политическую зрелость профессорско-преподавательского состава кафедры истории СССР педагогического института?! Но что есть политическая зрелость? Сегодня, скажем, договорились считать политически зрелыми блондинов, завтра, наоборот, брюнетов, послезавтра рыжих... А вот этот самый инструкторишка, он-то как раз и знает еще не выпавшую, грядущую масть!

«Ну что ты ворочаешься? — рассердилась Надя.— В суд тебя, что ли, вызывают?» «Лучше бы в суд... — вздохнул Чистяков.— Меня Желябьев на факультетском собрании за безынициативность критиковал...» «Твой Желябьев — сексуальный маньяк, а ты...» «Что я?» «Ты... Послушай, Валера,— вдруг совер-

шенно серьезно проговорила Надя,— может, ты свой партбилет потерял? Ты давно его последний раз видел?» «Позавчера. Я взносы платил...» — посерел Чистяков и метнулся к пиджаку, повешенному на спинку стула. Билет с вложенной в него аккуратной промокашечкой был на месте. «Ты, Чистяков, станешь большим человеком,— грустно предсказала Надя.— У нас любят пуганых...»

Разобидевшийся Валера вскочил и стал одеваться. «Это разрыв?» — тоскливо спросила Надя, но он ничего не ответил, а только засопел в ответ. «Все кончено, меж нами связи нет!» — трагически продекламировала она.— Валера, если это разрыв, то можно обратиться к тебе с последней просьбой?» «Можно»,— сквозь зубы ответил Чистяков. «Валера, переодень, пожалуйста, трусы! Они у тебя наизнанку...» Чистяков захохотал первым, но обида осталась.

В партию Валера вступил в армии, потому что служил нормально, свою специальность вычислителя освоил, офицерам не хамил, в праздники со сцены полкового клуба пел под гитару песни военных лет или декламировал стихотворение «Коммунисты, вперед!»:

Есть в военном уставе такие слова,
На которые только в тяжелом бою,
Да и то не всегда, получает права
Командир, подымающий роту свою...

Однажды после развода секретарь полкового парткома майор Мищенко вызвал Валеру из курилки, приказал застегнуть воротник, поправить ремень, критически посмотрел на его ефрейторскую лычку, а также значок классного специалиста и спросил, не думает ли Чистяков о вступлении в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Мищенко нажал почему-то именно на слово «коммунистической», словно был еще какой-то выбор. Валера с врожденным тактом запел, что о такой чести даже и не помышлял. Майор с удовлетворением выслушал и в свою очередь подчеркнул: партийный билет не только большая честь, но прежде всего огромная ответственность. Одно дело — читать стишки со сцены, и совсем другое дело — быть впереди в ратном труде. Валера покорно кивал и понимал, что отказаться нельзя — просто не поймут, согласишься — весь оставшийся год, когда «старичку» надо бы отдохнуть и со вкусом подготовиться к «дембелю», пробегаешь, как последний салабон, оправдывая высокое доверие. Мищенко приказал Чистякову прибыть в партком и заполнить фиолетовыми чернилами все необходимые формы «согласно вывешенных образцов». И еще он приказал начиная с завтрашнего дня читать «Правду» от корки до корки.

Вместе с Валерой кандидатом в члены вступал молоденький лейтенант, недавно пришедший из училища: видимо, Мищенко получил разрядку на солдата и офицера. Правда, лейтенантик отсаялся на дивизионной парткомиссии — не смог ответить, что произошло давеча на Багамских островах. Он начал было что-то крутить о борьбе национально-освободительных сил Багам с засильем транснациональных монополий, выступающих в союзе с местной феодальной знатью и крупной буржуазией, но его резко оборвали: «Правду», товарищ лейтенант, нужно читать!» Оказывается, на Багамских островах произошло извержение вулкана, в результате чего погибли несколько рыбаков и американский военнослужащий.

Получив кандидатскую карточку, Чистяков был вскоре произведен в младшие сержанты, потом в сержанты и до увольнения в запас неизменно избирался в президиумы на комсомольских собраниях роты. А вместо лейтенантика приняли в партию тихого сверхсрочника Кулика из города Николаева, куда майор Мищенко два отпуска подряд выезжал на отдых со всей семьей и гостил в большом доме Куликовых родителей.

Еще до армии, сразу после десятого класса, Валера поступал на истфак пединститута. На экзамене по специальности ему повезло: он вынул билет, который знал так, что от зубов отскакивало. Но экзаменаторы слушали его вдохновенный рассказ о походе Разина за зипунами с брезгливым равнодушием и в результате поставили гибельную четверку, заметив: «Бойко, но поверхностно». Глубоким, видимо, оказался ответ сдававшего перед Валерой расфуфыренного дебила, тот спотыкался на каждом слове и все время забывал, на какой вопрос отвечал, но получил «отлично». В общем, как в анекдоте: выходит ректор к возмущенным абитуриентам и говорит: «Товарищи, экзаменов не будет!» Ему орут: «Почему?!» А он отвечает: «Потому что все билеты проданы!»

Когда же сразу после армии Чистяков прибыл на собеседование в приемную комиссию того же самого пединститута, к нему отнесли, просмотрев анкету, совершенно по-другому. «Современной школе,— сказали,— очень нужны мужчины, тем более молодые коммунисты!» И поставили на анкете какую-то закорючку. Экзамены Валера сдал, сам не заметил как. Его не только зачислили в институт, но, учитывая стесненные жилищные условия в семье, в порядке исключения дали место в общежитии, предупредив, между прочим, что на него имеются дальние виды в смысле общественной работы.

Но тут-то и произошел сбой. В общежитии проживал некто Шуленин, как это ни странно, студент филологического факультета, у которого была странная привычка в минуты дурного

настроения вламываться в первую попавшуюся комнату и бить морду любому подвернувшемуся под руку собрату по альма матер. Про эту особинку Шуленина каждому вновь прибывшему на жительство первокурснику рассказывали с той эпической обстоятельностью, с какой осведомляют о местоположении туалета, графике работы душевых комнат и буфета...

И вот однажды начинающий историк Чистяков, воспользовавшись отсутствием троих своих соседей, гудевших на четвертом этаже у девочек, сидел, склонившись над столом, и с горделивым прилежанием, улетучивающимся обычно сразу после первой сессии, готовился к семинару по пропедевтическому курсу. Вдруг с грохотом распахнулась дверь, и на пороге, словно в фильме ужасов, возник страшный в своем беспричинном гневе Шуленин. Теперь, пожив и понаблюдав людей, Чистяков мог с определенностью сказать, что у налетчика было какое-то нервное заболевание, выражавшееся прежде всего в буйной реакции на самые незначительные дозы алкоголя. Шуленин подошел к столу, сбросил на пол настольную лампу и, kloкоча от ненависти, спросил: «Учишься, гадина?» «Учусь», — миролюбиво ответил Валера, встал и сбил психического гостя с ног ударом в челюсть. Для грозы общежития все это было очень неожиданно, потому что обыкновенно его жалобно просили уйти, не брать греха на душу, и, нападаая, он, по сути не готовился к настоящей схватке. Но сказалось еще и то, что в армии, особенно на первом году, Валере приходилось драться почти каждый день, и он приобрел некоторые доведенные до автоматизма навыки. Когда же, рыча и отплевываясь, Шуленин начал подниматься с пола, Чистяков размахнулся, точно молотобоец с первого советского полтинника, и «ахнул» неприятеля по загривку сложенными вместе кулаками. Оставалось только перегрузить бесчувственное тело за порог и закрыть дверь.

Но, как говорится, «кумир поверженный — все бог!». Слух про то, что ужасного Шуленина отделал какой-то сопливый первокурсник с истфака, оказавшийся просто монстром рукоприкладства, пошел гулять по этажам и комнатам, дошел до совета общежития, рассматривался на очередном заседании, оттуда перекочевал в деканат и комитет комсомола института, там сидели люди, которым, вероятно, ни разу в жизни не приходилось получать в глаз без всякой на то причины. Они постановили, что Чистяков превысил необходимые меры самобороны, зарекомендовал себя драчуном, а с такой репутацией о серьезной общественной работе и думать нечего. В результате членом институтского комитета комсомола стал Юра Ивamuшкин, принявший незадолго до этого две чудовищные шуленинские затрещины с подлинно христианским смирением.

Но с Убивцем Валера близко познакомился много позже, когда они оказались соседями в аспирантском общежитии.

Судьба Шуленина тоже любопытна. Он не то чтобы попри-тих, но комнату, где жил Чистяков, обходил стороной, а на майские праздники выпал из окна четвертого этажа и грохнулся в цветочную клумбу. В больнице, очевидно, потрясенный полетом, он начал писать стихи, тонкие, нежные, по-хорошему чудноватые, перевелся в Литературный институт, и недавно Валерий Павлович видел в книжном магазине его новый сборничек — «Прогулки по дну бездны».

Разминувшись с большой общественной карьерой и очень этим довольный, Чистяков трудился в факультетском научно-студенческом обществе, являясь при этом заместителем командира добровольной народной дружины, и однажды лично задержал бежавшего из мест заключения опасного рецидивиста, который напился и уснул на лавочке возле детского кино-театра.

Что еще? На втором курсе Валера влюбился в шикарную девушку по имени Лиза Рудичева, одевавшуюся так, что, увидев ее, дамы-преподавательницы поджимали губы и отводили глаза. Чистяков, все еще ходивший в своем единственном сереньком костюмчике, купленном к школьному выпускному вечеру, а в качестве альтернативного варианта имевший синие брюки, пошитые из офицерского отреза, и зеленый свитер, связанный матерью по модели из журнала «Крестьянка», шикарных женщин робел и чурался. Пока он собирался с духом и средствами, подрабатывая на почте, за Лизой стал ухаживать хлыщеватый мгимошник, подкатывавший к разваливающемуся флигелю истфака на темно-кофейной «трешке». Лиза выходила к нему, царственно садилась в машину, подставляла щеку для ленивого приветственного поцелуя и черным пристяжным ремнем перечеркивала все Валерины надежды. Весенне-летнюю сессию Рудичева сдавала под другой, мужниной, фамилией и, затрудняясь с ответом на вопрос, не строила уже преподавателям глазки, но скорбно опускала их на выпиравшее под платьем плодоносное чрево.

Нельзя, конечно, сказать, что Чистяков влюбился в Лизу, будучи совершенным будденброком в сексе. В общежитии, как выразился один преподаватель на разборе очередной аморалки, царили «раблезианские» нравы, имелась компания общедоступных девиц (в основном почему-то с инфака и факультета физкультуры), которые слетались по первому зову, сами приносили выпивку да еще норовили остаться ночевать, совсем не смущаясь того, что на остальных трех койках храпят соседи. Была одна вообще странная «лялька» по прозвищу «Карусель», любившая пропутешествовать за ночь по всем четырем кроватям.

После окончания инфака она стала профессиональной путанкой, пользовалась ошеломительным успехом, особенно у посланцев третьего мира, а совсем недавно заявила к Чистякову на прием и просила помочь с жильем: детей у нее трое, и все разного цвета...

Это «раблезнанство» Валере быстро наскучило: надоело по утрам выгонять из комнаты капризничающих помятых девиц, осточертело являться в институт ко второй паре, лелея в туманной голове единственную мечту о кружке пива, утомили ночные студенческие споры до хрипоты, в которых иногда удавалось с блеском доказать, что твой оппонент еще больший дурак и невежа, нежели ты сам. Валера решил учиться, учиться и учиться, потом поступить в аспирантуру и стать научным работником, даже доцентом. Осуществлением своего плана он занялся серьезно и с настырностью паренька из заводского общежития. Чистяков смутно чувствовал: тот факт, что смолу ему приходилось стоять в очереди в уборную, дает ему некие, еще самому не понятные преимущества в борьбе за существование.

На пятом курсе Чистяков считался готовым аспирантом, написал работу, занявшую второе место на республиканском конкурсе, успешно руководил факультетским научным студенческим обществом. Однокурсники женились, разводились, уходили в академические отпуска, мучились смыслом своей двадцатидвухлетней жизни, запивали горькую или, разинув рты, сидели на диссидентских сходках, а Валера, прозванный Чистюлей, гнул свою прямую линию. Однажды по какой-то методической надобности его пригласила к себе домой замудливая преподавательница философии и познакомила со своей дочкой, очень начитанной и трогательной гусыней, которая сразу же посмотрела на Валеру такими глазами, будто хотела сказать: «Ну зачем это нужно, я же все равно вам не понравлюсь...» Без пяти минут аспирант, понимая, что становится перспективным женихом, спел маме и дочке под гитару парочку жестоких романсов, выпил коньяку из каких-то лабораторно-крошечных рюмок, откланялся и от дальнейших приглашений уклонился. Большая наука могла соседствовать в его душе только с большой любовью!

В аспирантуру Чистяков не поступил, точнее, его не приняли из-за отсутствия мест, которые проданы, кажется, не были, но предназначались так называемым «целевикам», а тем по странному стечению обстоятельств оказались исключительно детьми разных крупных боссов, включая и племянницу ректора института. Со своим красным дипломом и восторженной рекомендацией ученого совета Валера бодро вошел

в класс и сказал: «Здравствуйте, дети, я ваш новый учитель истории».

В аспирантуру он попал на следующий год: у больших начальников случилась какая-то демографическая ниша, недобор по части детей и внуков, а может быть, Валере выпала счастливая карта своим рабоче-крестьянским происхождением олицетворять равные возможности всех категорий советской молодежи или же снова сработала партийность?.. Неизвестно, но директриса школы в голос рыдала, отпуская в большую науку единственного своего педагога-мужчину.

Любопытно, что Наде Печерниковой с аспирантурой помог отец, в молодости друживший с ректором, чего она не скрывала, но когда однажды Валера не то чтобы упрекнул ее, а как-то слишком настойчиво намекнул на то, как трудно торить себе путь без всякой поддержки, Надя со свойственной ей прямоотой посоветовала своему любимому вытатуировать на заднице слова: «Я сын трудового народа» и предъявлять их обществу в качестве последнего довода. Таким образом, размова, случившаяся между ними в связи с вызовом Чистякова в партком, не была ни первой, ни последней. Валера даже привык к Надиной резкости и, чем сильнее обижался на нее, тем больше вожделем. Согласитесь, в обладании умной и язвительной женщиной есть особая острота...

Секретарем партийного комитета пединститута в ту пору был доцент Семеренко Алексей Андрианович. Во времена борьбы с Зошенко он защитил кандидатскую диссертацию о созидательной функции советской сатиры, затем работал в горкоме партии, потом во главе комиссии прибыл в опальный педвуз, разогнал, искоренил (времена были крутые!) половину профессорско-преподавательского состава и оздоровил идеологическую обстановку настолько, что на бюро горкома рассматривали вопрос о фактах неоправданного избения кадров высшей школы. Институт нужно было возрождать, и на это важное дело послали снова Алексея Андриановича. Лет десять он проработал ректором, потом его с тихим почетом передвинули в секретари парткома, а ректором поставили заслуженного специалиста в области сельскохозяйственной химии. Но без Семеренко все равно ни один вопрос в институте не решался: ректор, если ему на подпись приносили документы, к которым не была подколота скрепкой бумажка с резолюцией «Я — за. А. С.», начинал жалобно браниться и отсылал просителя в партком.

Увидав на пороге смущенного Чистякова, Алексей Андрианович сделал ход конем — вышел из-за стола и двинулся навстречу Валере, крепко пожал руку и постучал твердой

идонью по спине: «Читал, читал: «Если в сердце твоём поселилась усталость...». Молодец! И таких гвардейцев маринуют! Вот мелкобуржуазное болото!..»

Семеренко прямо-таки лучился, на столе у него лежал раскрытый толстый журнал; рецензия, доставившая Валере и Наде столько веселых минут, была совершенно серьезно отчеркнута красными чернилами и испещрена плюсами и восклицательными знаками. До Чистякова постепенно начало доходить, что гвардеец — это он сам, а мелкобуржуазное болото — это партийная организация факультета. «Будем тебя, парень, выдвигать! Хватит им чужой век заедать! Молодежь у нас талантливая, хорошая у нас молодежь!» Все это Семеренко говорил, широко улыбаясь, а улыбка у него была зубастая.

Потом секретарша принесла два стакана чаю, и Алексей Андрианович стал расспрашивать о житье-бытье, о детстве, о родителях, в кого Валера удался такой темный и кучерявый, трудно ли было служить в Забайкалье, понравилось ли работать в школе. По вопросам было ясно: личное дело Чистякова Семеренко проштудировал досконально. «Происхождение, парень, это великая вещь!» говорил Алексей Андрианович и наклонялся так близко, что Чистяков чувствовал тяжелое табачное дыхание секретаря парткома. Они побеседовали почти два часа, Валера в основном слушал и кивал, мало что понимая.

А происходило вот что: цепкая и твердая рука Семеренко всем в институте порядочно надоела, и составилась заговор, о котором, вероятно, знал и ректор, тоже тихо томившийся диктатурой Алексея Андриановича. Путчисты (в основном это были члены парткома) понимали: просто так горком своего человека в обиду не даст, а на общем собрании Семеренко свергать нельзя — сегодня спихнули институтского секретаря, завтра — еще кого-нибудь, повыше... Тогда разработали хитрый план: как ни в чем не бывало, на хорошем уровне провести отчетно-выборную кампанию, переизбрать на новый срок партийный комитет, пребывавший в одном и том же составе, если не считать естественной убыли членов, уже лет десять, а вот на первом, организационном заседании парткома спокойно и уверенно избрать секретарем не Семеренко, а профессора Елисеева, физика-акустика, которому за риск обещали выделить дополнительное помещение для лаборатории.

Но мятежники не учли главного: Алексей Андрианович во время войны руководил особым отделом партизанского соединения. И пока на вопрос председателя отчетно-выборного собрания, какие будут предложения по новому составу партийного комитета, один из заговорщиков разевал рот и шарил по карманам в поисках отпечатанного на машинке списка,

на трибуну твердым шагом вышел доцент Желябьев и железным голосом зачитал такой составчик, что все ахнули: из прежних там осталось только три человека — ректор, Семеренко и профессор Елисейев. Из молодежи в новый список попали Чистяков и Убиец. Выступая с разъяснениями, инструктор горкома строго заметил, что членство в парткоме — не потомственное дворянство, что с белой костью мы покончили еще в 17-м году и что обновление выборных органов — ленинская норма жизни. Собрание возликовало...

На первом, организационном, заседании Валера, к своему изумлению, стал заместителем по идеологической работе, а вот профессор Елисейев наотрез отказался от портфеля зама по оргвопросам и просил ограничить нагрузку разовыми поручениями, так как нужно ремонтировать и оборудовать выделенные дополнительные помещения для акустической лаборатории. Заом по оргработе стал Убиец. Ректор, присутствовавший при всем этом, прямо-таки светился от радости и приговаривал: «Ну, Алексей Андрианович, ну, молоток! С таким боевым парткомом мы теперь горы сдвинем!» Но сдвинули самого ректора, через полгода он ушел в министерство не то чтобы с понижением, но и без особого повышения, а институт возглавил профессор Елисейев, которого, кроме акустики, больше ничто не интересовало.

«Полный апофегей!» — воскликнула Надя, узнав о том, что приключилось с ее другом, и поинтересовалась: зачем Чистякову все эти игры во главе с бывшим начальником особого отдела? «Нужно», — насушил Валера. «А больше тебе ничего не нужно?» — «Нужно оформить наши отношения...» Надя в ответ захохотала и сообщила, что еще недостаточно политически грамотна и морально устойчива, чтобы стать женой такого большого человека и коммуниста. Чистяков обиделся и заявил ей, что она вообще никогда не понимала его по-настоящему, но очень надеется, что, наконец, поймет, когда ему все-таки утвердят «эсеров», а ей окончательно завернут ее любимого Столыпина. Поймет, что разумный компромисс — признак ума, а глупое упрямство — свидетельство ограниченности и что, как известно, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно! «Спиши слова», — попросила Надя.

В общежития решили: негоже двум членам парткома тесниться в одном помещении — и выделили Чистякову и Убиецу по отдельной комнате. Валере досталась на третьем этаже, с окнами в садик, а комендант лично проследил, чтобы комнату обставили новой, только полученной со склада и еще пахнувшей фабрикой мебелью, занавески же подобрали под цвет обивки, чего еще никогда в общежитии не случалось. Вахтерша теперь

звала Чистякова к телефону не с руганью и попреками, мол, нечего казенную линию посторонней болтовней занимать, но приглашала «к трубочке», величая по имени-отчеству, а буфетчица обслуживала вежливо и накладывала порции побольше. Изменилось и его положение на кафедре: профессор Заславский, поздоровавшись, стал заводить с Валерой вежливые разговоры и бессмысленно льстил, а доцент Желябьев несколько раз аккуратно выпытывал, сильно ли осерчал аспирант Чистяков на ту давнюю товарищескую критику во время факультетского партсобрания. В довершение Валере неожиданно предложили прочитать пропедевтический курс, и это благотворно сказалось на его финансовом положении.

Когда во Дворце бракосочетания подавали заявление, Надя совершенно серьезно спросила у неприветливой тетки: если, например, за те три месяца, которые нужно ждать ритуала, она найдет себе другого жениха или, скажем, Чистяков найдет себе другую невесту, сохраняется ли тогда назначенный день регистрации? А может быть, очередь нужно занимать снова?.. Тетка что-то невнятно пробурчала и с сочувствием поглядела на Валеру. В институте решили пока ничего никому не рассказывать.

Однажды Валера обсуждал в парткоме с Семеренко перспективный план занятий в системе партийного просвещения: тогда как раз входил в моду единый политдень, который Надя называла прививками от задумчивости. Алексей Андрианович вслух обдумывал кандидатуры докладчиков, темы рефератов и прочее, и вдруг ни с того ни с сего спросил, какого черта молодой партийный активист общеинститутского масштаба занимается разными паршивыми эсерами, начисто сметенными с лица земли народным гневом? Чистяков покраснел и осторожно ответил, что, мол, мы обязаны знать идейное оружие и внутривнутрипартийную практику наших, пусть и побежденных, недругов... Семеренко серьезно похвалил за умный ответ и сообщил, что посоветовался и подобрал Валере новую замечательную тему — «Уральское казачество в боях за Советскую власть. На материале боевого пути Первого Красного казачьего полка имени Степана Разина». Валера заблеял, что он-де уже много поработал, что его интересуют именно эсеры как политический феномен... Алексей Андрианович успокоил: эсеров на Урале было до хреновой матери, поэтому поработанный материал не пропадет, зато тема диссертательная, глубокая, в самый раз! В следующем году — шестидесятилетие славного полка, а его легендарного командира Николая Томина, слава богу, басмачи в 24-м шлепнули, а не свои в 37-м... Нужно срочно съездить в командировку: Челябинск — Верхнеуральск — Свердловск,

посидеть в архивах, потом — рука к перу, перо к бумаге... Освободим от всего, кроме политпросвета! А через годик, пожалуйста: «Уважаемые члены ученого совета!». ВАК, где защищенную диссертацию могли продержать до матрениных заговений, Семеренко тоже брал на себя: месяц-два, не больше!

Чистяков попытался раскрыть рот, но Алексей Андрианович не дал: «Благодарить потом будешь! У меня на тебя, парень, большие виды. Я не вечный, моторчик последнее время барахлит, в случае чего вверенное мне хозяйство должен в надежные руки передать. Иванушкин — хлопец активный, но, чую, были у него в роду кулаки или еще какие-нибудь мироеды. А ты, Валера,— наш, рабочая кость, и за то, что в эсеровском дерьме копать будешь, спасибо никто не скажет... Даже если тему утвердят...»

Когда Чистяков, чуть не плача, рассказал Наде о своей новой теме, она вздохнула, погладила его по щеке и успокоила, мол, гражданская война на Урале, если писать честно, тоже интересный, почти не тронутый по-настоящему материал. Между прочим, с недавнего времени они стали реже встречаться, а «дружить», одно из Надиных словечек,— и того реже. То ли потому, что Чистяков сделался страшно занятым и метался между кафедрой и парткомом, то ли потому, что друг жизни мамульку достался квелый, постоянно бюллетенил, и даже «скоротечный огневой контакт» на явочной квартире стал практически невозможен, а в общежитие к Чистякову, пусть даже в отдельную комнату, Надя приходит мягко отказывалась, объясняя, что она теперь невеста и должна к свадьбе нагулять хоть немножко невинности.

Как-то раз в комнату к Валере заглянул бывший «сокамерник», а ныне «партайгеноссе» Иванушкин. Он уже потихонечку защитился, женился и получил московскую прописку, но из общежития покуда не съезжал, так как затягивалось строительство кооперативной квартиры, на которую дал ему деньги отец. «Бояре, а мы к вам пришли!» — с порога пропел он и достал из полиэтиленового пакета бутылку водки. Сначала поговорили о благополучной защите Убивца: всего три черных шара и те наверняка в отместку за активную жизненную позицию, потом долго ругали ВАК за то, что по году тянут оформление кандидатского диплома, затем перешли на первокурсниц, в нынешнем году на удивление прыщавых и худосочных... Наконец, когда уровень в бутылке опустился ниже этикетки, Иванушкин издалека начал про то, что Семеренко, конечно,— прекрасный мужик, настоящий боевой батя, но время его, увы, прошло, особистские методы работы вызывают изжогу не только в институте, но и в райкоме партии; до недавней поры он держался

благодаря своему фронтовому другу, окопавшемуся в гор-
коме, но того неделю назад выперли на пенсию, и скоро полетит наш Алексей Андрианович, как фанерка над Парижем! Возможно, все решится в ближайший месяц, тогда возникнет вопрос о преемнике, им традиционно становится заместитель по оргвопросам, но все-таки желательно, чтобы эта плодотворная идея родилась в недрах парткома, а в райкоме, слава богу, есть кому поддержать. «А ты будешь моим первым замом! — пообещал Убивец. — Мы должны держаться вместе, поодиночке нас просто сожрут!» Разумеется, спохватился Иванушкин, все это он говорит на тот случай, если батю будут задвигать, так сказать, на печальную перспективу, а сам всей душой желает Алексею Андриановичу долгих лет жизни и плодотворной руководящей работы.

Судя по тому, как Убивец лихо делил портфели, о планах Семеренко и его видах на Чистякова он ничего не знал. И Валера ответил так: оба они очень обязаны Алексею Андриановичу, батя их заметил и вытащил, поэтому пусть все идет своим чередом. Если Семеренко решит сам уйти на покой — тогда и надо будет думать, а пока, честно говоря, его, Чистякова, больше волнует история красного казачества на Урале. Такая, например, проблема: почему главком Иван Каширин порешил верного ленинца, члена партии с 1898 года Павла Точисского? «А кто он был, Каширин?» — спросил Убивец. «В каком смысле?» — не понял Валера. «В политическом». «Понимаешь, в источниках путаница, но есть сведения, что поначалу был анархистом...» «Так что тебе не понятно?» — удивился Иванушкин.

А потом было свадебное путешествие до свадьбы, та злополучная поездка в ГДР на конференцию молодых историков братских стран. Руководителем назначили Чистякова, и он высунув язык мотался между институтом, министерством, райкомом и ОВИРОм, согласовывал темы рефератов, утрясал состав делегации, оформлял документы и получал инструкции — такие строгие, словно готовилась не делегация научной советской молодежи, а спецформирование для тайной засылки за рубеж и совершения теракта.

За неделю до отъезда слегла с аппендицитом аспирантка кафедры истории КПСС, и Валере удалось скоренько вткнуть в список Надю Печерникову. «Как там у нее с морально-политическим обликом?» — полюбопытствовал, просматривая выездные документы, Семеренко. «Устойчива», — улыбнулся Чистяков. А Надя потом сказала, что в свадебные путешествия — она просто убеждена — нужно ездить до свадьбы!

Как только поезд «Москва — Берлин» миновал окружную дорогу, выпили по первой, пролетая Здравницу, маханули по второй, закусили и начали спорить. Обо всем. Но как-то незаметно уперлись в Сталина. Надя, горячась, стала доказывать, что Сосо панически боялся перемещения центра коммунистического движения в Европу, на родину этого самого марксизма, именно поэтому он и стравливал Тельмана с социал-демократами до тех пор, пока фашисты не пришли к власти. Почему? Да потому, что ему не нужна была Германия победившего социализма, ему была нужна Германия, побежденная социализмом, то есть побежденная им, Сталиным. Гитлера же он просто хотел перехитрить. Очухался наш кот-игрун летом сорок первого, сидел, гад, ждал: вот сейчас войдут, наган к лобешнику и мозги на стенку. Но некому было войти, боевых ребят он еще с двадцатых годов начал замачивать: Камо шарохнул единственный в Тифлисе автомобиль, Котовского пристрелил взревновавший муж-рогоносец, Фрунзе на хирургическом столе прирезали... Ну, и так далее... Но к нему все-таки вошли, вползли: спаси, отец! И тогда он понял, что теперь с этим народом можно делать все, хоть дустом посыпать, ибо уже в минуту зачатия будущий человек заражается страхом перед властью! Вы никогда не задумывались о том, что сумасшедший героизм наших на войне — это кровавый способ хоть как-то возместить свою рабскую униженность в собственном Отечестве?..

Чистяков, как руководитель группы, во время дорожных споров соблюдавший немногословное достоинство, тут уж не вытерпел и упрекнул коллегу Печерникову в передержках и, повторяя слышанные инструкции, строго-настрого приказал, чтобы после Бреста подобных разговоров не было. Надя ответила, что приказ командира — закон для подчиненного.

А ночью, когда все уснули, они прошли в другой вагон, стояли в тамбуре, смотрели на убегающие ночные огоньки и целовались. Чистяков нежно упрекал ее за доверчивость и неосторожность, а она смеялась и говорила, что только в одном деле, которым они редко стали заниматься в последнее время, неосторожность может принести женщине неприятности. Валера, смеясь, твердо пообещал при первом же удобном случае изловчиться и сделать Надю матерью, а себя самого — отцом. «Да? — изумилась она. — Вот с этого места, пожалуйста, подробнее!» Дело в том, что ребенка-то пока не хотел именно Чистяков. Ну, подумайте сами, куда он повезет его из роддома? В однокомнатную «хрущобу», где томятся семейным счастьем мамулечки и спутник жизни? Или, может быть, в аспирантскую общагу, чтобы первыми жизненными впечатлениями детеныша стали длинный грязный коридор, вонючая кухня и коммунальный сортир?!

И будут они блаженствовать втроем на двенадцати квадратных метрах среди казенной мебели и развешанных пеленок. Но ведь живут же так другие люди, в том же аспирантском общежитии!.. Ну и пусть себе живут... А он, Чистяков, понял, слава богу, что плохо жить – унижительно, а человек не имеет права унижаться!

Обнимая Валеру, Надя никогда не думала о последствиях, и все предосторожности Чистяков добровольно брал на себя, называлось это у них «бдеть». Обычно Надя из последних сил приподнималась на локте, целовала Валеру в щеку и говорила: «Спасибо за бдительность, товарищ!»

В Берлине Чистякова поразили две вещи: во-первых, естественно, стена. Он шел по какой-то улице, параллельной Унтерлен-линден, и уткнулся. Стена была довольно высокая, белоголубоватая, с мягко закругленным верхом. Валера попытался себе представить, что такая же стена разделяет нашу Москву, рассекает, например, так, что высотка на площади Восстания наша, а вот здание МИДа на Смоленке уже за граница. Или наоборот... Попытался представить и не смог. Во-вторых, его удивило, что в городе есть дома, точнее, останки домов, еще не восстановленных со времен войны. Нет, не мемориальные развалины, так сказать, в назидание себе и другим, а просто обыкновенные руины, на которые не хватает ни рук, ни денег. «Ну, и нечего было лезть к нам!» — твердил он себе, стараясь освободиться от этого неудобного впечатления.

Началась конференция молодых историков братских стран: доклады, сообщения, дискуссии... Все это было похоже на встречу добрых родственников, разговаривающих о погоде, здоровье детей, планах на отпуск и старающихся не касаться ни своих, ни чужих семейных неприятностей. Чистяков, как глава делегации томившийся в президиуме между носатым чехом и улыбчивым вьетнамцем, внезапно получил записку из зала, надписанную по-немецки: «Genosse Tschistjakov». Он с внутренним холодком развернул листок и прочитал по-русски: «Чистюля, не спи замерзнешь! Н. П.».

Последний день в Берлине был у них свободный, только вечером планировался банкет по случаю закрытия конференции, и поэтому Чистяков отпустил молодых ученых отоваривать валюту. Надя растратила свои деньги очень быстро накупила в дорогом магазине тряпок и косметики себе и мамульку. Она выходила из примерочной кабинки, завлекательно поводила плечами и спрашивала у ничего не понимавшего в женских нарядах Валеры: «Ну как, правда, роскошно?» Он шачительно кивал, а приветливые немецкие продавщицы перешептывались и говорили: «Schön! Sehr schön!». Чистяков хотел

было и на свой обмен купить что-нибудь для Нади, но она совершенно серьезно заявила, что совместного хозяйства они еще пока не ведут, а брать деньги, тем более валюту, за роскошь человеческого общения, как это делают некоторые прагматические женщины, она не приучена. И тогда Валера без лишних мучений вложил весь обмен в сервис «Мадонна» со сценами из пейзажной жизни. Такой же, даже победней, он видел у Желябьева.

Потом они на последние марки набрали замечательного пива и соленого печенья, поднялись в чистяковский полулюкс (остальные члены делегации жили по двое) и прекрасно провели время. Надя отправилась в ванную, но через минуту выглянула оттуда и сказала Валере, засовывавшему бутылки в морозилку: «Иди лучше ко мне! Хочешь, я тебя помою, как маленького?» А вечером руководитель делегации стоял в холле гостиницы и памятливым взглядом встречал запыхавшихся, увешанных свертками молодых ученых-историков, опоздавших к урочному времени.

Прощальный банкет хозяева организовали в большом рыцарском зале, в центре которого стояла бочка халаявного пива, да еще официанты обносили гостей вином и шнапсом. На шведском столе теснилось совершенно безобразное изобилие закусок. Воспитанный в гастрономическом аскетизме, Чистяков даже и не предполагал, что существует столько сортов колбасы.

Начались тосты и спичи. Сначала говорили хозяева и с немецкой основательностью благодарили гостей за прекрасное участие в семинаре. Потом, как выразилась Надя, в порядке «алаверды», гости славили хозяев за организацию замечательного симпозиума. Дали слово и Чистякову, он к тому времени хватанул уже две кружки пива, дупелек шнапса и бокал шампанского, поэтому вдохновенно и раскованно — знай наших! — заговорил о великой исторической науке, которая не только познает минувшее, связывая воедино прошлое с настоящим, но и сближает людей и народы, разрушая все стены и преграды меж ними... Выступление Валеры понравилось, ему хлопали, но два самых главных немца удивленно пошептались и пытливо поглядели на Чистякова. Надя, когда он с победой вернулся к шведскому столу, сжала его локоть и прошептала: «Здорово ты им про стену впарил! Полный апофегей! Я тебя уважаю!..» «Про какую стену?» — не понял Валера и, пожав плечамн, стал слушать, как шуплый кореец славит гиганта исторической мысли великого вождя и полководца Ким Ир Сена.

После той поездки Чистяков потом много раз бывал за рубежом, но до сих пор помнит, как мучительно медленно полз

поезд последние сто километров, как они, собравшись в одном купе, пели «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», как кричали «ура», пересекая окружную дорогу, как вышли с чемоданами на площадь Белорусского вокзала и с ностальгическим умилением прочитали огромный плакат «Экономика должна быть экономной». А хмурый таксист, наотрез отказавшись везти Надю в Свиблово, так тот просто оказался родным человеком.

Готовясь к отчету о поездке в ГДР, Валера вручил всем членам парткома по сувениру — брелочку в виде маленькой пивной кружки, а Алексею Андриановичу персонально — подарочно оформленный спиртометр. Отчитался Чистяков быстро и складно: доклады членов делегации были сделаны на высоком идейно-теоретическом уровне и хорошо прозвучали, в дискуссии твердо отстаивали четкий историко-материалистический метод, на который, впрочем, никто и не покушался, разве что немножко югославы. Один реферат отмечен дипломом, какой и прилагается к письменному рапорту. Семеренко благостно покивал и предложил было запротokolировать положительную оценку работы делегации молодых историков на берлинском симпозиуме, но тут неожиданно для всех слово попросил Убиец. Он встал и, поигрывая подаренным брелочком, спросил, глядя Валере прямо в глаза. Первое. Правда ли, что во время зарубежной поездки велись разговоры, порочащие роль партии в советской истории? Второе. Правда ли, что уважаемый Валерий Павлович, воспользовавшись своим руководящим положением, включил в состав делегации собственную любовницу — аспирантку Печерникову и во время поездки они даже не скрывали своих интимных отношений? Третье. Правда ли, что заместитель секретаря парткома по идеологии, выступая на закрытии симпозиума, призвал разрушить Берлинскую стену, защищающую первое немецкое социалистическое государство от посягательств НАТО? Члены парткома посмотрели на Валеру так, как смотрят на ошметки человека, попавшего под экспресс.

Чистяков почувствовал, что лицо его стало багровым, а между лопаток потекла щекочущая струйка пота. Он до дурноты четко ощущал, как непоправимо затягивается пауза, и наконец мысленно выстроил фразу о том, что споры о неоднозначной роли Сталина в становлении социализма не есть очернение партии, что его слова об исторической науке, ломающей преграды между народами, ничего общего не имеют с призывом разрушить Берлинскую стену, обладающую, без сомнения, важным военно-политическим значением, и что его отношения с аспиранткой Печерниковой никого не касаются, что они подали заявление и скоро поженятся... Скажи тогда

Валера эту длинную, продуманную фразу — и жизнь его пошла бы совсем по-другому: он никогда бы не стал секретарем райкома, он бы женился на Наде и у их ребенка, в это Чистяков твердо верил, были бы самые здоровые почки.

Но тогда, одиннадцать лет назад, прежде чем раскрыть рот, Валера глянул на Семеренко, а тот, сурово нахмурившись, в упор смотрел на своего любимца и медленно шевелил губами, точно жевал что-то. И Чистякову показалось, что эти беззвучно шевелящиеся губы произносят одно-единственное — «клевета». «Клевета! — твердо повторил Валера. — Клевета от начала и до конца!» «Откуда, парень, у тебя такая информация?» — тяжело спросил Семеренко у Иванушкина. «Был сигнал. Я разговаривал с членами делегации. В райкоме партии уже знают», — четко ответил Убивец. «А вот не надо, парень, меня райкомом пугать! — осерчал Алексей Андрианович. — Ладно, учитывая серьезность выдвинутых обвинений, составим комиссию. Председателем буду я. Возражений нет? Свободны...»

После того как все ушли, Чистяков остался сидеть за длинным столом. Несколько минут Семеренко расхаживал по кабинету и матерился, почти до дна исчерпав бездонные ресурсы меткого народного слова. «Но ведь не так было!» — пытался оправдываться Валера. «Но ведь было?» «Было...»

«А не должно быть! Ничего! — крикнул Алексей Андрианович. — По-твоему, Иванушкин сам допер? Не-ет, подсказали! Ты думаешь, парень, они тебя сожрать хотят? Не-ет! Я ж тебя, раздолбая, в кадровый резерв записал, документы в райком заслал. Ты — мой тыл, поэтому по тебе ударили. И время как удачно выбрали — прикрыть теперь некому. А ты, сопляк, дал повод! Так что, извини, накажу я тебя. В мои времена за такие дела в порошок стирали и по ветру развеивали, а я тебя даже из партии не погоню, дам строгача с прицепом. В аспирантуре останешься, защитишься, но из парткома я тебя шугану так, что они там в райкоме надолго заткнутся. А жаль... Хороший из тебя, парень, комиссар мог получиться! — Семеренко с досады хватил ладонью по столу, потом достал из маленькой пробирочки крупинку нитроглицерина и болезненно улыбнувшись, спросил: — Девка-то хоть стоящая?..»

В институтской раздевалке гардеробщик, дедуля с купеческим пробором, выдал Валере его плащ, помог надеть и даже смахнул со спины и плеч перхоть специальной щеточкой. До избрания в партком он просто кидал чистяковскую одежду на барьер и отворачивался. «Ничего, скоро снова начнет швырять!» — подумал Валера, и грядущее пренебрежение этого несчастного подавальщика показалось ему самым обидным во всей этой унижительной истории.

На кафедре Чистякову сказали, что все давно разошлись, дольше всех сидела Печерникова, но и она ушла полчаса назад. Валера вспомнил, что у нее сегодня примерка. Надя поначалу хотела просто купить свадебное платье в комиссионке, но мамулек обозвала ее душой и собственноручно отвела в агелье.

Сам не зная зачем, Валера поехал к родителям. Они недавно получили в том же общежитии комнату побольше, метров восемнадцать, чем отец несказанно гордился. Надя однажды заметила: если у человека сначала отобрать все, а потом кидать ему крошки, то он будет благодарить и лобызать кидающую руку, не вспоминая даже, что она, эта рука, некогда все и отобрала.

Чистяков-старший работал токарем-расточником на заводе «Старт», уходил из дому затемно, в шесть утра, и с детства Валера запомнил: во время завтрака на столе неизменно стояла еще не вымытая матерью глубокая тарелка, словно покрытая изнутри бордовой плесенью. По утрам отец всегда ел первое, обычно борщ. Возвращался он с работы тоже рано, выпивал свою четвертинку, ужинал и дремал возле врубленного телевизора, но стоило выключить ящик или просто убавить звук — сразу просыпался. В десять отец окончательно укладывался спать и очень злился, когда Валера продолжал читать при свете ночника, ругался, обзывал всех дармоедами, вставал и выключал лампочку. Тогда сообразительный сын на деньги, сэкономленные от завтраков, купил себе фонарик и стал читать под одеялом, но суровый родитель обнаружил это и разбил фонарь об пол... Одним словом, путь к знаниям у Чистякова был такой же крутой, как у Горького. И только совсем недавно, лежа, уткнувшись лицом в теплое Надино плечо, он ни с того ни с сего догадался, что своим дурацким чтением в двенадцатиметровой комнатухе просто-напросто мешал родителям любить друг друга. Ну конечно! Поэтому-то минут через пятнадцать после того, как гасили свет, мать спрашивала: «Валерик, ты не спишь?» А еще через некоторое время вставала и подходила к сыну, якобы поправить постель... Сестра-то была совсем маленькой и засыпала сразу после того, как ее напоят сладкой водой из соски. И еще Валера заметил: возвращаясь из пионерлагеря, он находил родителей веселыми и дружными. Как, оказывается, все просто!

Отец в майке сидел перед включенным телевизором и ужинал, а сестра за письменным столом делала уроки, по многолетней привычке совершенно не обращая внимания на шум. Передавали футбол. Папаня при каждом остром моменте подсказывал и орал: «Ну!» Под это «ну!» и прошло детство Чистякова.

Он вынул из портфеля бутылку коньяка и поставил рядом с наполовину пустой законной четвертинкой. «Коньяк?» — разочарованно спросил отец и полез в сервант за второй рюмкой. Валера подошел к сестре, дернул ее за косу, а когда она сердито обернулась, протянул ей плитку шоколада. Сестра взяла и пробурчала: «Лучше бы «Сюрприз» купил. Стоит столько же, а в десять раз больше!» «Ты и так толстая», — ответил он и пальцем показал ей грамматическую ошибку в тетради.

Отец принялся рассказывать последние новости: постепенно семьи из общежития разъезжались в отдельные квартиры, на их место заселяли лимитчиков, а те — хоть убей — отказывались выполнять коммунальные обязанности по уборке общественной кухни и туалета; пришлось одному умнику морду набить, теперь коридор как миленький подметает... «А ты-то чего пришел? — вдруг спросил отец. — Неприятности, что ли?» «Почему неприятности?» — удивился Валера. «Потому... Между прочим, вырастил тебя, дармоеда, и знаю как облупленного!»

Чистяков не удержался и скупово поведал, что партийной работой больше заниматься не будет, весь уйдет в науку. Отец покачал головой, поцокал и рассказал, как у них на заводе секретарь парткома получил новую квартиру третьим — после директора и главного инженера. Когда уговорили коньяк, из бельевого отсека желтого гардероба, который Чистяков помнил почти всю жизнь, на свет явилась бутылка портвейна «777» — тайные запасы. Вскоре Валера не выдержал и в подробностях рассказал о поездке, о происках Убивца, о решении, принятом Семеренко. Отец слушал все это, качая головой, между делом поинтересовался, правда ли наше пиво по сравнению с немецким моча, а потом заявил, что, мол, Надья твоя тоже дура — нечего было ехать... Разоткровенничавшись, он даже рассказал один случай из своей жизни, очень похожий. Хотели его однажды сделать бригадиром, вместо Пашехонова, а тот пронюхал, что отца в конце смены хочет начальник цеха на беседу вызвать, и уговорил в обеденный перерыв выпить сухого винца. Руководство сразу почувствовало запах и уже больше никогда не обращало на отца кадрового внимания, но Пашехонова все равно из бригадиров погнали...

Валера так и не дождался, когда с вечерней смены вернется мать. С помощью сестры он уложил отца спать, поставив на всякий случай рядом тазик... «Куда будешь поступать после восьмого?» — нетвердо спросил Валера сестру, путаясь в рукавах пальто. «В кулинарный техникум!» — зло ответила она.

Из уличного автомата Чистяков позвонил Наде и попросил ее срочно приехать в общежитие, потому что произошли страшные неприятности. Через полчаса она сидела у него в комнате.

и он снова, уже с каким-то пьяным остервенением, рассказывал о случившемся. «И всего-то,— пожалала Надя плечами.— Стоило из-за такой ерунды напиваться!» Она усадила Валеру на кровать, устроилась рядом, положила его голову себе на колени и, поглаживая ему волосы, принялась успокаивать, мол, все к лучшему в этом лучшем из миров, и теперь он не будет тратить драгоценное время на разную ерунду, а займется наукой, он же талантливый, а все эти партигры — для посредственностей, которым, к сожалению, в нашей непонятной стране живется привольнее всех, и даже удивительно, что основоположники этого перевернутого общества сами были людьми недюжинными... «Но откуда, откуда он все узнал?!» — вдруг всхлипнул Чистяков. «Ты еще зарыдай! — рассердилась Надя, но тут же спохватилась: — Валера, разве можно так распускаться? Какой же ты после этого грозный муж? Послушай, платье будет роскошное...» «Откуда он узнал!» — повторил Чистяков. И Надя стала терпеливо объяснять, что про их отношения давно уже знает весь институт, поэтому не нужно иметь особо извращенное воображение, чтобы догадаться, чем занимались они на немецкой земле. «А разговоры в купе?» — не унимался Валера. Ну, это совсем просто, отвечала она, симпозиум был занудный, и кто-нибудь из делегации мог рассказать Иванушкину, что в поезде споры были намного интереснее. «А про стену!» — застонал Чистяков. «Только ты не сердись,— попросила она,— про стену я ему сама рассказала... В шутку! Я же не знала, что он подлец...» «Ты?! В шутку?!!» — заорал Валера, вскочил с кровати и затрясся. «Не кричи, я же нечаянно...» «Нечаянно?» — передразнил он, гримасничая. «Если хочешь, считай, я сделала это нарочно, чтобы испортить тебе карьеру. Генсеком ты уже не будешь!» Чистяков размахнулся и ударил Надю так, что голова ее мотнулась в сторону и стукнулась о стену. Она закрылась ладонями и сидела неподвижно, пока кровь, просочившись между пальцев, не начала капать на джинсы. Тогда Надя достала платок, намочила его водой из графина, вытерлась, потом откинулась на подушку и прижала влажный платок к переносице.

Чистяков ходил по комнате и твердил себе, что поступил совершенно правильно, что она продала его Убивцу и теперь заслуживает ненависти и презрения. Надя дождалась, пока перестанет идти из носа кровь, припудрилась перед зеркалом и ушла, так ничего и не сказав.

Чистяков лег спать, ничуть не раскаиваясь в содеянном, а ночью, часа в три, вскочил от ужаса. Такое с ним случалось в детстве, он просыпался от внезапного страха смерти и начинал беззвучно, чтобы не разбудить родителей, плакать. Нет, это

была не та горькая, но привычная осведомленность о конечности нашего существования, а какое-то утробное, безысходное предчувствие своего будущего отсутствия в мире, делавшее вдруг жестоко бессмысленным сам факт пребывания на этой земле. В такие минуты он очень жалел, что не верит в бога. На этот раз Валера проснулся не от страха смерти — от ужаса, что он потерял Надю...

Когда на следующий день Чистяков, с трудом проведя семинар и отпустив студентов, принялся туповато проставлять оценки в свой кондуит, к нему подошла Ляля Кутепова. «Валер-палыч,— сказала она.— Я давно хотела вас попросить, не нужно завязывать галстук таким широким узлом, это не комильфо...» «Что?» — оторопел он. «Да не переживайте вы так! Ничего они вам не сделают, стукачи проклятые!..» А когда Валера, тяжело неся похмельную голову, вышел за ворота института, то увидел Надю: она смотрела на него с обычной усмешкой, и только плотный слой пудры придавал ее лицу странное выражение. «Надо поговорить!» — начала Надя, и сердце Чистякова на радостях споткнулось и пропустило положенный удар. Они дошли до набережной и побрели вдоль Язуы. Оказалось, Печерникову вызывали в партком, допрашивал лично Семеренко в присутствии Убивца и еще какого-то гладкомордого мужика из райкома. «Я пыталась объяснить им, как все было на самом деле, но, по-моему, их больше интересовало то, что у меня под джинсами...» «Спасибо...— Валера невольно улыбнулся и попытался взять ее за руку.— Ты знаешь, я вчера...» «Да ты что, Чистяков! — Она даже отпрянула.— Наш роман закончился. Совсем. Все кончено, меж нами связи нет...» «А платье?» — как полный debil, спросил Валера. «Пригодится...» Но обиднее всего было то, что он никак не мог вспомнить, откуда Надя взяла эту строчку: «Все кончено, меж нами связи нет!»

На очередном заседании парткома, к всеобщему изумлению, Семеренко зачитал письмо отсутствующего по болезни Иванушкина, который, ссылаясь на недобросовестность своих источников, брал назад все обвинения в адрес Чистякова и слезно просил прощения, объясняя свою трагическую ошибку самыми лучшими побуждениями. Убивца, так после этого ни разу и не показавшегося в институте, вскоре забрали инструктором в отдел пропаганды Краснопролетарского РК КПСС. А Валере в конце концов объявили благодарность за высокий профессиональный и политический уровень, проявленный во время заграникомандировки. «Ну, ты, парень, даешь! — потрепал его Алексей Андрианович, задержав после парткома.— Как же ты, хитрован, на Кутепова вышел?»

Через неделю Ляля, подкараулив Чистякова у дверей факультета, поздравила Валерпалыча с благополучным окончанием всех неприятностей и пригласила отобедать у них в ближайшую субботу.

Жили Кутеповы в замечательном доме, сложенном из бежевой «кремлевки», недалеко от стеклянных уступов проспекта Калинина, в трехкомнатной квартире с огромным холлом, двумя туалетами, большой розовой ванной и специальным темным помещением для собаки. В общегае, где Валера провел детство, в таком помещении существовала целая семья. Квартира была обставлена и оснащена добротными, но недорогими и потому особенно дефицитными вещами, исключение, пожалуй, составлял японский видеомэгнитофон, воспринимавшийся в те годы как домашний синхрофазотрон. Стены холла от пола до потолка были скрыты стеллажами, полными книг: подписка к подписке, серия к серии, корешок к корешку...

Николай Поликарпович Кутепов встретил Чистякова дружелюбно, но с церемониями, а пожимая руку, смотрел в глаза с какой-то излишней твердостью. Кутепов носил чуть притемненные очки в интеллигентной оправе, имел высокую, зачесанную назад шевелюру с интересной, словно специально вытравленной, седой прядью и был одет в строгий костюм, белую рубашку, и только чуть распушенный галстук свидетельствовал о том, что крупный партийный руководитель пребывает в состоянии домашней расслабленности.

«Лялюшонок, иди помоги маме!» — распорядился он, и Ляля, демонстрируя дочернюю покорность, ушла на кухню. Кутепов пригласил Валеру к журнальному столику, на котором стояли обметанная золотыми медалями бутылка и серебряное блюдечко с тонко нарезанным лимоном. Повинуясь приглашающему жесту, Чистяков провалился в велюровое кресло, такое мягкое и податливое, что возникло опасение удариться зцом об пол.

Прихлебывая, точно щупая губами коньяк, Николай Поликарпович расспрашивал об институтских делах своей дочери, заметил вскользь и про Семеренко: мол, испытанный боец, но время его прошло; потом ни с того ни с сего похвалил Валеру за мудро избранную тему диссертации и высказал соображение, что для профессионального партийного работника историческое образование, а тем паче кандидатская степень — в самый раз. Сегодня ведь науку матерком на открытия не подвигнешь, изнутри нужно знать проблемы, изнутри! Говорил Кутепов медленно, выстраивая законченные и выверенные предложения, хорошо держал паузу и только иногда — очень редко — простонародно путал ударения.

С пирогом из кухни появилась мама — Людмила Антонова, полная, даже расплывшаяся женщина с красным и потным, наверное, от духовки, лицом. Перед тем как протянуть Валере ладонь, она тщательно вытерла ее о передник, а потом поинтересовалась, не озорничает ли ее Лялюшонок на занятиях.

Стол был хорош и напоминал выставку продуктов, давно уже исчезнувших из торговой сети. Нет, вы поймите правильно, по отдельности, если постараться, севрюгу, например, или греческие маслины, крабов, допустим, или судачка раздобыть и поесть можно, но так, чтобы все это непринужденно сошлось на одном столе во время рядового субботнего обеда,— такого Валере еще видеть не приходилось.

Застольная беседа состояла из деловитых вопросов Николая Поликарповича, вежливых ответов Чистякова, Лялиных хихиканий и причитаний Людмилы Антоновны по поводу якобы плохого аппетита у гостя, хотя Валера лично сгваздал добрую треть пирога с начинкой из белых грибов. Кутепов снова завел речь о диссертации, расспрашивал о гражданской войне на Урале и очень удивился, узнав, что Советскую власть там поддерживали всего три процента казачества. «Как чувствовали!» — засмеялась Ляля. А Николай Поликарпович очень серьезно заметил: «Когда бранят Сталина за жестокость, забывают про то, как трудно брали власть!»

К вечеру подъехал еще один гость — зампред Краснопролетарского райисполкома Василий Иванович Мушковец, земляк или дальний родственник Людмилы Антоновны, которую он почему-то звал «Людша», а Ляля в свою очередь величала его «дядя Базиль».

Дядя Базиль с ходу предложил выпить за тылы, за любимых жен, без которых мужчины, как партия без народа. Николай Поликарпович, становившийся от спиртного только рассудительнее и государственнее, согласился с этим тостом и добавил, что в женщине, как и в военной технике, главное не красота, а надежность. «Не скажи,— заспорил Мушковец,— одно другому не мешает. Людшу-то небось не за одну надежность брал! А Ляльку свою и вообще шахерезадой вырастил». Лялька хмыкнула и ушла на кухню помогать матери мыть посуду. «Дочь — молодчага!» — проводив ее взглядом, директивно отметил Кутепов и нежно улыбнулся. «А ты, значит, тот самый барбос, который хотел Берлинскую стену развалить!» — вдруг захохотал дядя Базиль и с такой силой заколотил Валеру по спине, словно хотел выбить смертельно застрявшую кость. «Клевета!» — автоматически ответил Чистяков. «Райком в игры играет,— заступился Николай Поликарпович,— а хорошие ребята страдают. Мы товарищей поправили...» «Вот ведь

кошкодавы! — посуровел Мушковец и предложил почему-то на английский манер: — Давайте уыпьем уиски!»

Потом смотрели по видеоманитофону «Белое солнце пустыни», и, когда Верещагин-Луспекаев произнес свое знаменитое «За державу обидно!» — дядя Базиль всплакнул, а Кутепов, подумав, сообщил, что теперь понимает, почему космонавты так любят именно этот фильм. Вскоре из кухни вернулась Ляля и решительно изъяла захмелевшего Чистякова из общества Николая Поликарповича и Василия Ивановича, уже готовых запеть и шумно обсуждавших, с какой песни начать.

Она повела Валеру в свою комнату, все еще чем-то похожую на детскую, и показала толстенный каталог, недавно привезенный из Нью-Йорка. Эта книжища наверняка издавалась и засылалась к нам исключительно с подрывными целями, ибо в действительности такого обилия и разнообразия промтоваров не может быть, потому что не может быть никогда! Когда они, трогательно сблизив головы, листали многостраничный раздел дамских бюстгальтеров, в дверь тихонько заглянула Людмила Антоновна и, умильно вздохнув, скрылась.

Расходились поздно, после того, как Николай Поликарпович, поддавшись долгим уговорам дяди Базиля, поиграл на баяне. Оказалось, еще один такой же инструмент хранился у него в горкоме в комнатке для отдыха рядом с кабинетом; в трудные минуты он запирался, брал баян в руки и отдыхал душой. «Поиграю минут десять — и давление в норме!» — улыбнулся Кутепов. Провожая Валеру до двери, он задержал его руку в своей и, медленно подбирая слова, потребовал, чтобы начиная с сегодняшнего дня на правах доброго знакомого Чистяков поблажки Ляльке не давал, а спрашивал с нее «по всей строгости и даже еще строже». Людмила Антоновна мигала добрыми глазами и приглашала заходить запросто.

На воздух вышли вместе с Мушковцом. У подъезда ждала черная «Волга», которую вызвал Кутепов, водитель спал, надвинув на лицо ондатровую шапку. Дядя Базиль заботливо решил подвезти ослабевшего Валеру и всю дорогу шумел о том, что окружающая гнусная жизнь просто кишит кошкодавами и такие изумительные мужики, как Николай Поликарпович, встречаются один на миллион, а таких замечательных девушек, как Ляля, попросту не бывает! Когда машина остановилась возле подъезда с освещенной вывеской «Общежитие педагогического института», Мушковец удивленно помотал головой, словно отгоняя наваждение, и тихо сказал: «Заходи как-нибудь, порешаем твой жилищный вопрос...»

Ночью Валере приснился сон, будто бы он снова пришел к заболевшей Наде в «бунгало», принес мед и лекарства, но она

почему-то накрылась с головой, лежала неподвижно и не отзывалась. «Гюльчетай, покажи личико!» — попросил он и стал стаскивать с нее одеяло, а когда стащил, увидел не Надю — Лялю, она улыбалась и показывала ярко-малиновый язык.

Честно говоря, до того самого дня, когда они должны были идти во Дворец бракосочетания расписываться, Чистяков надеялся на примирение, он втайне думал, что Надя просто воспитывает его, дабы никогда больше в их грядущей семейной жизни не смел он поднимать на нее руку! Валера несколько раз пытался объяснить, но она смеялась в ответ или называла его занудой — человеком, которому проще отдалиться, чем втолковать свое нежелание это делать. Чистяков позвонил даже мамульку, та всхлипывала в трубку и спрашивала, из-за чего они поссорились. Объяснять он не стал.

Миновал день их несостоявшейся свадьбы, наступила весна, и однажды возле факультета он увидел Надю в компании тощего и неряшливо одетого очкастого малого, очень похожего на тех, что в довоенных фильмах изображали до идиотизма рассеянных талантливых молодых ученых. «Это — Олег! — представила Надя.— Он пишет прозу...» «Про заек?» — скаламбурил остроумный Валера. «Прозаик,— кивнула Печерникова.— А это Валерий Павлович Чистяков — заместитель секретаря парткома по идеологии!» — сказала она это с той интонацией, с какой объявляют гостям любимца семьи, юного дауна с грушевидной головой и ясными бессмысленными глазами. Малый с усмешечкой кивнул, и Чистяков понял: неизвестно, как там у них в койке, но на предмет руководящей роли партии в обществе они поладили. Прощаясь, Валера пристально посмотрел на свою бывшую невесту, давая понять, мол, если так уж замуж невтерпеж, могла бы найти преемника и получше, чем этот засушенный богомол! Надя же ответила ему улыбкой, полной превосходства и тайной женской греховности.

Через несколько дней Ляля днем после лекции затащила Валерпалыча к себе, чтобы показать по «видику» новый, атасный штатовский фильм. Дома никого не было, оказывается, Людмила Антоновна, идентифицированная им как домохозяйка, тоже работала — преподавала античную литературу в Полиграфическом институте. Ляля поставила кассету и, пока тянулся нудный американский пролог с длинными разговорами и страдальчески наморщенными лбами, переделась в обалденное черное кимоно, сварила кофе и приготовила тосты с сыром. А когда на экране началась эротическая сцена со стонами и непонятным мельканием многочисленных конечностей, провела коготками по его груди и подставила губы для поцелуя.

Обмирая от смущения и прислушиваясь к шорохам в прихожей, Чистяков с педагогической сдержанностью поцеловал ее и почувствовал себя чуть ли не растлителем. Не давая опомниться, Ляля повлекла его руку под кимоно: там оказалось совершенно голое тело и крепкие, как бицепсы, груди. Кожа была покрыта твердыми пупырышками и напоминала книжку для слепых. А в самый проникновенный момент, задышавшись, Ляля прошептала: «Ну, милый, здравствуй!»

Кто ее выучил этому странному приветствию, неизвестно. Возможно, выудила из какого-нибудь видеофильма. Между прочим, несколько позже Чистяков все-таки поинтересовался приблизительным количеством своих предшественников, с которыми она здоровалась подобным образом. Спросил не из ревности, из любопытства. Ляля не моргнув глазом заявила, что в девятом классе у них образовалась дружная шведская семейка, но что с тех пор она поумнела и поняла преимущество индивидуального секса перед групповым; и, глядя на поглупевшее от неожиданности лицо Валерпалыча, студентка Кутепова долго и радостно хохотала.

Через полгода Чистяков защитился — ни одного «черного шара», а в выступлениях оппонентов — прямое указание: половина докторской диссертации уже есть, только работай! Поздравляя новоиспеченного кандидата наук, профессор Заславский тонко заметил, что в лице Валерия Павловича счастливо соединен талант исторического исследователя и общественного деятеля... «Поэтому не повторяй ошибки тех дураков, которые руководили нами до тебя! — сказал от себя сидевший рядом Желябьев и озабоченно добавил: — Пятнадцати может не хватить...»

Поясним: только-только вышло постановление, запрещающее устраивать официальные банкеты по случаю защиты диссертаций, и застолья, естественно, переместились из ресторанов и актовых залов институтов в квартиры. Желябьев еще за месяц предложил Валере в полное распоряжение свою квартиру, сообщив, что у него имеется для таких случаев девочка из заводской столовой, которая режет салаты с капиталистической скоростью, и что от Чистякова потребуется только «горючее» — бутылку пятнадцать. О предстоящем товарищеском ужине знала, конечно, вся кафедра, предвкушала, и, когда после объявления итогов тайного голосования Надя тепло поздравила Чистякова и хотела уйти, доцент Желябьев занервничал и сказал, что своим поведением аспирантка Печерникова ставит в неудобное положение их всех, ибо постановления власти нужно или нарушать всем вместе, или вообще не нарушать. Надя покорилась.

Первый тост подняли за историческую науку, второй — за свеженького кандидата, третий — за научного руководителя, четвертый — за южноуральских казаков и их славного командира Николая Томина, счастливо павшего от басмаческой пули и не харкавшего кровью в подвалах Лубянки, к которой даже Железный Феликс стоит сегодня спиной... Потом профессор Заславский стал горько корить Надю за то, что она, умница, написала прекрасную, но совершенно непроходимую первую главу и отказывается, скверная девчонка, исправить хоть одно слово. «Столыпин — великий государственный деятель! Но, голубушка, Надежда Александровна, время этой аксиомы еще не пришло. Только не надо тонко улыбаться и считать меня старым олухом... Под видом критики можно тоже сделать немало. Немало! Вспомните, милая, средневековых богословов...» И в подтверждение своего тезиса профессор Заславский стал рассказывать про осточертевшую всем встречу с монархистом Шульгиным. Вскоре заведующего кафедрой вынесли и уложили в такси.

В тот вечер Валера рюмок не считал и был в ударе. Оглушительный успех имела история, которую сам Чистяков слышал от одного специалиста по казачеству. Однажды Буденному к очередному юбилею решили поднести его портрет, конный. Живописец, получивший этот почетный заказ, стал просматривать старые фотографии, чтобы получше подобрать прототип для маршальского скакуна, благо с иконографией самого Семена Михайловича было все в порядке. И вот очень уж понравился художнику скакун под наркомом Ворошиловым, когда тот принимал один из парадов на Красной площади. На полотне благородное животное выглядело, как живое, хорош был и маршал, особенно усы! Автор уже просверлил дырочку для лауреатского значка. Повезли портрет Буденному, показали, а он как заревет: «Так-вас-распротак! Меня, Буденного, на Климкиной кобыле нарисовать! Вон отсюда!...» «Вранье, конечно, но очень смешно!» — похвалил, вытирая слезы, доцент Желябьев.

Между прочим, все были уверены, что именно в этот торжественный день Валера и Надя — а про их ссору знала вся кафедра — обязательно помирятся. Весь вечер Чистяков ловил на себе ободряющие взгляды доброжелателей, мол, давай-давай, другого случая не будет... И он чувствовал себя мальчишской-школьником, написавшим девочке записку, про которую вдруг узнал весь класс. Помогая Наде тащить грязную посуду на кухню, где орудовала неутомимая девушка из заводской столовой, Чистяков заплетающимся языком, но гордо сообщал, что строчка «Все кончено, меж нами связи нет» — это, кажется, из Брюсова! Печерникова улыбнулась и сказала, что теперь видит перед собой настоящего кандидата наук...

Отключился Валера на оттоманке под Мурильо. Проснувшись среди ночи, он почувствовал во рту пресную сухость, а язык ворочался с каким-то наждачным скрежетом. В ванной комнате Чистяков включил почему-то душевой смеситель и стал пить, припоминая, что однажды уже пил так, в детстве, в пионерском лагере,— из садовой лейки, и привкус воды был такой же металлический... Возвращаясь назад к оттоманке, Валера заблудился: в спальней дрыхли Желябьев и повариха, она так странно закинула на доцента голую ногу, словно хотела перебраться через него; в библиотеке на кожаном диване, застеленном простыней, под клетчатым пледом лежала Надя, наверное, она допоздна помогала наводить в квартире порядок после кафедрального разгула и осталась ночевать.

Чистяков тихо подошел к дивану, встал на колени и заплакал по своей утраченной любви. Темнота за окном начинала приобретать предрассветный серебристый оттенок. Возможно, Надя не спала, а может быть, ее разбудили рыдания несчастного диссертанта, она выпростала из-под пледа руку, погладила Валеру по мокрой щеке и прошептала: «Все было так хорошо, а ты все так испортил».

Утром Чистяков очнулся на кожаном диване, раздетый и заботливо укрытый пледом. Рядом никого не было, но подушка пахла Надиными волосами, на белой простыне чернел загадочный иероглиф потерянной шпильки, а в больной голове крутилась странная фраза: «А раньше ты был бдительным, товарищ!»

...На свадьбу по предложению остроумного Желябьева Наде подарили набор индийского постельного белья и двухтомник Шолохова «Поднятая целина». Секретарша Люся, представлявшая на торжестве кафедру и вручавшая общественные подарки, рассказывала потом, что на Печерниковой было восхитительное платье, что жених по имени Олег произвел занюханное впечатление, что на свадьбе было много поэтов и они замучили всех своими стихами.

Вскоре Надя ушла из аспирантуры и стала работать в школе. С тех пор Валера ее не видел.

Алексей Андрианович сдержал свое слово: в ВАКе диссертация пролежала два с половиной месяца. Получение кандидатского диплома, ужасно нескладного, коричневого, с дурацким розовым бумажным вкладышем, праздновали у Кутеповых, в семейном кругу. Между тушеной парной бараниной и десертом Чистяков сделал официальное предложение Ляле. Николай Поликарпович задумчиво сообщил, что, по его мнению, прочная семья — единственный залог жизненных удач и успешного служения обществу, а присутствовавший при сем

дядя Базиль заявил, что у двух таких замечательных барбосов, каковыми являются Валера и Ляля, будут очаровательные барбосики. Людмила Антоновна в этот исторический момент находилась на кухне и вынимала из духовки торт, а когда обо всем узнала, то прочитала жениху и невесте стихотворение Степана Щипачева «Любовь — не вздохи на скамейке»...

Свадьбу играли в хорошем загородном ресторане. Медовый месяц провели в Болгарии на Золотых Песках: путевки в конверте преподнес дядя Базиль. Ляля водила Валеру на нудистский пляж, и он имел возможность удостовериться, что у его юной супруги отличная фигура, особенно на фоне обвислых западных теток, которые, вставив фарфоровые зубы, полагают, очевидно, будто у них помолодело и все остальное. Жили молодые в великолепном двухкомнатном люксе с видом на море и акробатически-широкой кроватью. «Ну, милый, здравствуй!»

Воротившись в Москву, Чистяков узнал о скоропостижной смерти Семеренко: в вестибюле института висел выполненный на ватмане черной тушью некролог. Алексея Андриановича, оказывается, пригласили в Белоруссию на слет старых партизан, он поехал, повидался с боевыми друзьями, побродил по местам, где пришлось воевать, поспорил с некоторыми горлопанами, недооценивающими значение особых отделов во время войны, выпил за Победу... Прибыл назад бодрый, на одном дыхании провел партком, посвященный итогам сессии, и умер ночью во сне, как умирают любимые богом люди.

Новым секретарем парткома, разумеется, стал Валерий Павлович Чистяков.

* * *

Во время второго перерыва снова пили чай с бутербродами, и Бусыгин рассказывал о том, как организовано детское питание в том районе, где БМП первосекретарил, пока его не призвали в столицу искоренять коррумпированных перерожденцев. Мушковец слушал с притворным интересом и дотошно уточнял систему бесперебойного снабжения школ горячими завтраками. В течение этого разговора Чистяков изо всех сил старался сохранить на лице гримасу почтительного внимания, а сам все ждал хоть сколько-нибудь приличной паузы, чтобы броситься к стенду «Досуг в районе», где его ждала Надя.

Однако БМП без всякого перехода вдруг заговорил о своей недавней поездке в Америку и, кривя тонкие губы, рассказал о том, как в клозете редакции «Вашингтон пост», куда их привели на экскурсию, он, Бусыгин, лично попользовался туалетной бумагой с изображением улыбающегося вице-президента

и даже оторвал на память несколько метров, чтобы в Москве показывать недоверчивым друзьям; он пообещал на следующее бюро захватить кусочек и продемонстрировать всем.

Воспользовавшись тем, что члены президиума, забыв про чай, стали шумно обсуждать этот своеобразный факт заокеанской демократии, решительно не находя ему достойного применения в советской действительности, Чистяков бочком двинулся к служебному входу и, уже притворяя за собой дверь, перехватил удивленный взгляд БМП, как бы говоривший: «А тебе, значит, неинтересно? Ну-ну...»

Надя стояла на том же месте.

— А как тебе конференция? — зачем-то спросил Валерий Павлович, подходя к ней.

— Ты же знаешь, как я отношусь ко всему этому...

— Знаю... Зачем же тогда пришла?

— Я пришла к тебе.

— А иначе бы не пришла?

— Пришла бы... На школу прислали разрядку: два учителя старших классов и один начальных.

— Какую разрядку? — оторопел Чистяков, лично проводивший организационное совещание, где три раза повторил: «Никакой обязаловки! Это требование товарища Бусыгина!» — Какую такую разрядку?!

— Обыкновенную, — усмехнулась Надя. — По-другому не умеете.

— Научимся!

— Не научитесь! — с былой, насмешливой непримиримостью отозвалась она, потом словно спохватилась и уже другим, жалобным голосом спросила: — Валера, ты нам поможешь? Ты должен...

— Должен! — перебил он. — Я всегда всем что-то должен!

— Ты сам выбрал себе такую жизнь, — тихо сказала Надя.

— А ты какую выбрала?

— А я вот такую... Валера...

— Подожди! — снова оборвал ее Чистяков. — У меня иногда такое ощущение, что я кручусь в огромном хороводе. Если хочешь что-нибудь сделать, нужно сначала высвободить руки, но тогда ты сразу выпадаешь из круга и твое место тут же занимает другой...

— Я тебя об этом когда-то предупреждала.

— А почему ты только предупреждала? — так громко, что на них оглянулись, спросил Валерий Павлович. — Ты могла же делать со мной все...

— Нет, не все...

— А я говорю: все! Ты просто не хотела!

— Валера, в той жизни, какую ты выбрал, тебе нужна была другая женщина,— спокойно ответила Надя.

— Откуда ты могла знать, какая мне была нужна женщина?! — почти крикнул Чистяков. Он настырно возвращался к одной и той же теме, чувствовал, что Наде это неприятно, но она терпит и будет терпеть, так как в его руках жизнь ее ребенка...

— Валера, ты нам поможешь?..— опустив глаза, повторила она.

— Не знаю,— ответил он и ощутил ужаснувшее его удовольствие от того, что может по отношению к Наде быть таким же несправедливым, как и она по отношению к нему самому.— Нет, не помогу. В Нефроцентре новый директор, работает комиссия, госпитализируют по центральному списку. Будь это даже мой ребенок, я ничего не смог бы сделать...

— Валера, это твой ребенок,— сказала Надя.

Тут раздалась мелодичные удары гонга, и следом — приятный мужской голос, похожий на тот, что в метро предупреждает о закрывающихся дверях. Это было одно из нововведений директора ДК «Знамя», он решительно в связи с перестройкой поменял старый, дребезжащий звонок на мелодичное «бом-бом-бом» и проникновенные призывы диктора: «Уважаемые товарищи, перерыв окончен. Просим не опаздывать в зал! Уважаемые товарищи...»

Надя молча достала из сумочки цветной снимок с надписью в узорной рамочке: «1-е сентября 1986 г.». На фотографии был изображен маленький Валера Чистяков, но не с козлиным чубчиком по моде 60-х годов, а с полноценной современной шевелюрой, к тому же на нем был надет не тот давешний мешковатый школьный костюм цвета использованной промокашки, а нынешний, темно-синий, приталенный, с блестящими пуговицами; наконец, в руках этот мальчик-двойник держал не здоровенный нескладный портфель из коричневого псевдокрокодила, а маленький разноцветный ранец с картинкой из «Ну, погоди!».

В фойе несколько раз зажгли и погасили свет, но очередь возле прозрачной буфетной витрины продолжала стоять даже после того, как толстая продавщица с каким-то общепитовским кокошником на голове вышла из-за прилавка и, костеря настырного покупателя, принялась шумно собирать со столиков пустые бутылки и грязную посуду. Мимо просеменил вертлявый комсомольский инструктор, назначенный дежурить в холле, и удивленно поглядел на районного партийного полубога, болтающего с земной женщиной в то время, когда районный партийный бог вот-вот начнет отвечать на вопросы актива...

— После конференции никуда не уходи! — приказал Чистяков и нехотя отдал Наде фотографию.— Никуда не уходи, поняла?!

Когда Валерий Павлович вышел из-за кулис и, виновато улыбаясь, сел на свое место, Бусыгин уже взошел на трибуну и, как пасьянс, разложил перед собой многочисленные записки. Мушковец посмотрел на Чистякова с безмолвным упреком.

— Не волнуйтесь, товарищи! — задорно сказал БМП.— Пока не отвечу на все ваши вопросы, не уйду!

— А если до ночи будем спрашивать? — кто-то весело крикнул из зала.

— Нам, функционерам, по ночам работать — дело привычное! — ответил Бусыгин.

Слово «функционер» очень понравилось активу, и зал одобритительно зашумел.

— Я тут рассортировал ваши записки,— продолжал БМП.— Встречаются две крайности. Одних интересуют глобальные вопросы, например, возможна ли перестройка при однопартийной системе? Других беспокоят чисто бытовые проблемы, например будет ли в магазинах мясо? Так с чего начнем — с многопартийности или с мяса?

— С мяса! — крикнули из зала.

— Проголодались, видно! — усмехнулся Бусыгин, и актив взорвался хохотом и аплодисментами. Инструктор Голованов встал, подошел к полированному ящичку и высыпал целую пригоршню новых записок. Аллочка, скучавшая возле столика стенографисток, встепенулась и с плавностью в движениях, сводящей с ума мужиков, двинулась на сцену. Телевизионщики врубили свои «юпитеры» на полную мощь, и зал сразу превратился в переговаривающуюся, смеющуюся, хлопающую темень...

— Ты где ходишь, барбос? — сердито прошептал Мушковец, как только Чистяков сел рядом.

— Это мой ребенок! — ответил Валерий Павлович.

— Какой ребенок?

— С больными почками...

Я так и знал! А больше тебе эта аферистка ничего не напела? Внуков с простатитом у тебя случайно нет?

— Это мой ребенок,— твердо повторил Чистяков.

— Точно? — погрузнел дядя Базиль.

— Точно.

Ну, ты и кошкодав! Лялька ничего не знает?

— Нет. Это было до свадьбы... — ответил Валерий Павлович и добавил: — Я завтра пойду к Бусыгину.

— Обязательно! — зло подхватил Мушковец. — Иди и скажи: у меня вчера неожиданно появился ребенок с больными почками и другой фамилией. Нужно положить в Нефроцентр...

— Не юродствуй!

— Это ты не юродствуй! Он же только ждет повода. Кому ты будешь нужен, когда тебе голову оторвут, Валера?!

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Не знаю... Я пробовал месяц назад засунуть туда знакомого мужика. Так новый директор членом его по корреспонденту — сразу БМП накапал. Завернули. А мне по шее...

В зале снова раздались аплодисменты. Бусыгин отложил отработанную записку и взял другую.

— Жилье. Вопрос, товарищи, сложный, больной вопрос. Все, что можно, делаем: каленым железом выжигаем кумовство и взяточничество, ставим на место тех, кто привык хапать в обход очередников. Тут в записке спрашивают, какая у меня самого квартира. Бусыгин пристально поглядел в зал и усмехнулся, — секрета никакого нет. В Подмоскowie, где я раньше работал, была трехкомнатная. Теперь двухкомнатная...

— Правильно, двухкомнатная на двоих, — прошептал осведомленный дядя Базиль, кухня четырнадцать с половиной метров и холл двадцать два. Мне бы такую двухкомнатную!

— Я с вашего позволения, товарищи, продолжу свою мысль, — холодно сказал БМП и долгим взглядом посмотрел в темный зал. — На особом контроле у нас воины-интернационалисты, им будем помогать при первой возможности! Подробнее о перспективах жилищного строительства в районе, если пожелаете, расскажет зампред исполкома товарищ Мушковец. Вон тот, что так оживленно беседует со своим соседом. Мы его специально позвали. Не волнуйтесь, Василий Иванович, мы дадим вам слово! Позже.

Дядя Базиль мгновенно замолк и только как-то странно шелкнул зубами, точно хотел поймать пролетающую мимо муху.

* * *

Вернувшись с Золотых Песков, молодые поселились в квартире Кутеповых, в Лялиной комнате. На стенах висели многочисленные фотографии, в совокупности дававшие некоторое представление о том, как из глазастого младенца с погремушкой в пухлой ручонке постепенно получилась та самая юная женщина, которая теперь носит твою фамилию и просыпается по утрам рядом с тобой. Кстати, в первое же утро Чистяков встретился с тестем возле ванной: оба в сатиновых трусах,

вздохмаченные, с помятыми после сна лицами. Вечером того же дня тонкая Ляля подарила отцу и мужу по роскошному адидасовскому спортивному костюму, купленному в «Березке»: Валере — красный, а Николаю Поликарповичу — синий. Так они с тех пор и завтракали, точно флаг Российской Федерации. Костюм, между прочим, хорошо послужил Валере, особенно когда он начал заниматься большим теннисом, чтобы подтянуть полезный животик и завести полезные знакомства, потом, постепенно износившись, превратился в спецовку для хозработ на тестевой даче, там он и остался, после того как насмерть перепуганный новыми временами и бесчисленными отставками Николай Поликарпович сдуру сдал дачу в пользу инвалидов с детства, но это уже не помогло...

И еще одна неловкость, запомнившаяся с тех приймацких времен: Ляля имела обыкновение любить в полный голос, и хотя их комната располагалась на отшибе бескрайней квартиры, временами Валера просто холодел от мысли, что Николай Поликарпович и Людмила Антоновна, готовясь к незатейливому пожилому сну, слышат доченькины вопли и недоуменно переглядываются. Чистяков умолял молодую жену быть подержаннее, она обещала, крепилась, но внезапно забывалась, и тогда у нее вырывался такой пронзительный крик, что казалось: вот сейчас его подхватят и разнесут по городу заоконные собаки. Постепенно Лялька сублимировала вопли в зубовой скрежет, да так и осталось. Сегодня в их большой бездетной квартире, где при желании можно оборотиться, она в минуты довольно-таки редких объятий только громко скрипит зубами, отчего у Чистякова пробегает по спине озноб...

Через год институт дал своему партийному секретарю приличную двухкомнатную квартиру в Орехово-Борисове. Не выезжая даже, Валера с помощью дяди Базиля поменял ее на другую — со спецпланировкой, возле метро «Новокузнецкая». Ступив на свежоотлакированный паркет и оглядев чудовищные фиолетовые обои холла, Чистяков начал излагать свою долговременную, рассчитанную на много лет вперед программу благоустройства семейного гнезда, сообщив с гордостью, что мать обещала одолжить деньги. «Не бери в голову!» — ответила Ляля.

Вскоре Людмила Антоновна привезла цветной каталог импортной мебели (такие бывают!) и долго спорила с Лялькой. Валера только слышал непонятные названия «Мираж», «Слава», «Раттенов», «Жича», «Сабина»... Потом теща ползала по полу и мерила портняжьим метром длину стен, расстояние от батареи и дверных косяков до углов. Потом снова спорить.

Валера уехал на курсы повышения квалификации секретарей парткомов педагогических вузов страны в Ригу, а когда через две недели вернулся, то обнаружил свою квартиру обставленной, даже шторы были подобраны в тон нежной заморской обивке. В маленькой комнате встал чудный финский спальный гарнитур с широченной кроватью — «сексодромом», по Лялькиному выражению. Большая комната была оборудована под библиотеку-кабинет, и в центре на ворсистом ковре стоял сработанный под ампир письменный стол, причем в одной тумбе был ящик для бумаг, а во второй — музыкальный бар. Застекленные шкафы на гнутых ножках точно присели под тяжестью книг: подарок тестя. Николай Поликарпович в течение многих лет покупал издательскую продукцию по специнформсписку, но читать ему, собственно, было и некогда, а для душевного отдыха у него, как мы уже знаем, имелся баян.

В большом холле теща и Лялька поставили мягкую мебель, золотисто-велюровую, с изысканно-бесформенными очертаниями. На журнальном столике помещалась необыкновенная лампа: матерчатый абажур на гигантской бутылке из-под квянти. Кухня была похожа на операционную.

Непонятно, почему Чистякову так крепко запало в память то давнее возвращение в свою преображенную квартиру? Он потрясенно ходил следом за серьезной, словно экскурсовод в Музее революции, Людмилой Антоновой и даже забыл поставить на пол чемоданчик.

Однажды Валерина мать решила купить новый шифоньер — трехстворчатый, полированный, взамен желтого, обшарпанного, с ободранной местами фанеровкой. Сначала ей пришлось долго уговаривать отца, потом, сломив его сопротивление, она начала копить деньги, далее около месяца ходила по утрам под магазин отмечаться в каких-то списках, наконец, неделю караулила момент, когда привезут контейнеры с мебелью... Но так и не уследила, шифоньеры ушли к участникам другой, альтернативной очереди, деньги постепенно разошлись; у них так и остался тот желтый гардероб, который Валера помнил всю жизнь.

Первым, кого Чистяков пригласил в гости, был доцент Желябьев.

В парткоме педагогического института Валерий Павлович профункционалировал четыре года. Если нормальный человек двенадцать месяцев прожитой жизни называет прошлым годом, то Чистяков называл их отчетным периодом.

Когда большевики вышли из подполья и обрели политическую власть, они вдруг с удивлением увидели, что строить социализм людям мешает масса глупых и мелких проблем,

связанных с добыванием хлеба насущного, устройством жилья, плотской любовью, деторождением, наконец, смертью... Даже ошарашенный совершенно палеозойским сталинским террором, народ все равно больше интересовался своими бытовыми заморочками, нежели воплощением великой идеи. Тогда-то и был найден компромисс: любой партийный работник, в том числе и Чистяков, похож на двуликого Януса, одно лицо обращено в светлое будущее — соцсоревнования, торжественные заседания, митинги, лозунги, демонстрации, призывы, другое — повернуто к конкретному человеку: бесконечные конфликты, в которых принимают участие деканаты, кафедры, преподаватели и даже студенты, квартирные свары, семейные скандалы, аморалка, а в последнее время с ростом льгот фронтовикам прибавились еще разборы с ветеранами — воевал ли, где и сколько...

Особенно дорого Валерию Павловичу досталась история старшего преподавателя Белогривова, носившего на груди целую коллекцию орденов и медалей. Его хотел вывести на чистую воду еще покойный Семеренко и даже откомандировал за институтский счет надежного человека по местам боевой славы липового ветерана. Выяснилось, что Белогривов никакой не командир взвода бронейщиков, а тыловик, начпродсклада, к тому же чуть не отданный под трибунал за воровство. Выручила Белогривова его тогдашняя подружка, служившая в полевой парикмахерской и упробившая одного генерала, любившего у нее побриться и освежиться, спасти непутевого интенданта. Получив такой роскошный компромат, Семеренко собрался провести партком и стереть в порошок проходимца, но тут раздался звонок с такого заоблачного уровня, что Семеренко помертвел лицом и гаркнул: «Так точно!» Паршивец остался целехонек, только перестал открывать торжественный ежегодный митинг возле мраморной доски с именами преподавателей и студентов, павших на фронте. Рассказывали, у себя на складе Белогривов устраивал веселые вечеринки с девочками, на огонек к нему заглядывали и те, о ком нынче без **верноподданнической** дрожи в голосе и говорить-то не принято!

Дело Белогривова снова всплыло наружу уже при Чистякове, поводом послужило составление списков для награждения очередной красивой юбилейной медалью, а подлинной причиной — тот факт, что бывший интендант отхватил единственную выделенную на институт «Волгу». Деньги у него водились: он составлял бесконечные сборники воспоминаний фронтовиков. Чистяков, дай ему волю, своими собственными руками удавил бы этого прохвоста с лоснящейся сутенерской рожей и серебрищейся академической бородкой, тем более что институтская

масса яростно вопила: «Распни!» Но с заоблачных высот тем временем доносился усталый, но властный голос: «Не трожь!» Валера попал в ту очень характерную для аппаратчика ситуацию, когда он горел в любом случае. Спас тесть. Он нашел Белогривову место в солидной конторе, занимавшейся укреплением дружбы с народами зарубежных стран: хороший оклад, лечебные и три гарантированных выезда за рубеж в год.

Доверчивая институтская общественность восприняла удаление проходимца как торжество справедливости и блестящую победу молодого принципиального секретаря парткома. Но сам-то Чистяков из всей этой истории сделал для себя важный вывод: главное — избегать конфликтных ситуаций, потому что разрешить их по-божески в конкретных общественно-исторических условиях чаще всего невозможно...

И вот еще одна забавная подробность: Валера долго не мог научиться полноценно сидеть в президиумах, у него от природы было живое лицо, реагирувавшее на каждое слово или улыбкой, или гримасой, или зевотой... Однажды старенький, на ходу рассыпающийся профессор, боявшийся пенсии больше, чем смерти, влетел в предынфарктное состояние из-за того, что Чистяков якобы недовольно нахмурился в то время, когда он выступал на факультетском партсобрании. Бедное поколение, выросшее и жившее в эпоху, когда человеческая жизнь висела на кончике хозяйского уса!

Постепенно Валерий Павлович научился цепенеть в президиуме и впадать в анабиоз, надежно закрепив на лице выражение доброжелательного внимания. Кстати, первый, кто посоветовал ему выработать этот жизненно важный навык, был опять-таки любимый тесть Николай Поликарпович, сочинявший все свои брошюры («Наука — производительная сила общества», «Наука и социализм» и т. д.) исключительно в президиумах, а дома быстренько надиктовывавший текст Людмиле Антоновой, в молодости работавшей секретарем-машинисткой в исполкоме.

За это время Чистяков понял еще одну важную вещь: защитная окраска существует не только у насекомых или, скажем, зверушек, у людей она тоже имеется: это очевидная преданность существующему жизнеустройству. Отираясь в коридорах райкома или горкома, общаясь с тестевыми друзьями на рыбалке или в домашнем застолье, Валерий Павлович постепенно усвоил и освоил эту непередаваемую собранную раскованность (или раскованную собранность) номенклатурных мужиков. Ведь можно смолчать, а все равно поймут: не наш человек! Можно рассказать кошмарный политический анекдот или по-

крыть матерком чуть ли не ЧПБ, а потом, когда все отхохочутся, добавить одну только фразу или как-то особенно дрогнуть лицом, и сразу станет ясно: а все-таки дороже партии у тебя ничего нет!

«Научись иногда расслабляться! — учил Валеру дядя Базиль.— Если б Поликарпович не блямкал на своем баяне, то давно бы схлопотал инфаркт. А я вот кузнечиков рисую...» Но Чистяков тоже уже нашел свое: он медитировал в президиумах. Именно так он пережил ужасную Лялькину беременность, два месяца она пролежала на сохранении, чуть не загинула от интоксикации, а в результате все равно выкидыш, да еще с осложнениями по женской части. «Экспериментировать на других крысах! — сказала она, вернувшись из больницы, тощая и пожелтевшая.— Если потом очень захочется, возьмем из детского дома, а пока я еще жить хочу!»

И Лялька начала жить. Николай Поликарпович издал какой-то здоровенный цитатник, получил кучу денег и подарил ребятам «жигуль». Валере было некогда заниматься на водительских курсах, права получила Лялька. У нее появились новые подруги: одна — дочка крупного общепитовского начальника, другая — молоденькая жена какого-то эмвэдэшного хмыря с лицом постаревшего наемного убийцы и третья — отставная запойная манекенщица, похожая на грациозную мумию. Манекенщица была у них за бандершу. Таким вот миленьким квартетом они мотались по кабакам, нагоняя страх на директоров ресторанов и вызывая зоологическую ненависть у официантов, которых заставляли крутиться почти так же, как крутятся их коллеги в мире чистогана. Самой изысканной забавой у подруг считалось погримасничать и построить глазки какому-нибудь пьяному мужику за соседним столиком, а когда тот, вдохновясь и надувшись, как на конкурсе мужской красоты, подойдет представиться и осуществить знакомство, отбрызнуть его с аристократической брезгливостью, мол, от вас, любезный, пахнет курицей! Постепенно за подружками укрепилась слава компании развлекающихся лесбияночек.

Лялька перевелась на заочное отделение, и отец устроил ее работать в Художественный фонд, а там то вернисаж, то юбилей, то встреча зарубежной делегации, то прием. По пьяному делу Лялька два раза била машину, но эмвэдэшница все устраивала. Это были беспроблемные времена, когда можно было позвонить, пошутить — и бесследно исчезали протоколы дорожно-транспортных происшествий, свидетели брали свои слова назад, а «жигуль», отремонтированный в каком-то спецавтохозяйстве, через день стоял в гараже новенький, сияющий, без единой царапины.

Потом Лялька связалась не то с кришнаитами, не то с саньясинами — Чистяков, занятый предсъездовской идеологической вахтой, особенно не вникал, — но их любимого гуру замели или за растление малолетних, или за политику, и секта распалась. Наконец, Лялька попала в компанию скульпторов-монументалистов, тесавших памятники богатеньким покойникам и заколачивавшим бешеные деньги, даже по мнению манекенщицы, немало повидавшей. Вот тут-то терпение Валеры лопнуло, потому что ваятели покуривали травку, и Лялька возвращалась домой с дурацкой ухмылкой и стеклянными глазами, а поутру лежала трупом и стонала: «Воин-освободитель, спаси!»

«Воин-освободитель» собрал чемодан и уехал жить, нет, не к родителям, уже получившим к тому времени стараниями дяди Базиля приличную квартиру в Нагатино, а к доценту Желябьеву, которого успел сделать своим замом по идеологии. Он в тот период методично осваивал девушек из отдела мягкой игрушки «Детского мира».

Объясняться приехал тесть. Николай Поликарпович имел известное представление о своеобразном характере и образе жизни своей дочери, но то, что порассказал ему зять, потрясло Кутепова до глубины души. «Я приму решительные меры! — пообещал он. — А ты, Валера, сегодня же возвращайся домой! Я от Людмилы Антоновны никогда не съезжал, хотя, знаешь, тоже разное бывало...» Валера вечером вернулся домой, но жены там не обнаружил, а позвонив Николаю Поликарповичу, узнал, что тесть забрал ее на перевоспитание. Вернулась Лялька через две недели совершенно покорная и удивила его тем, что приготовила утром завтрак: яичницу с помидорами. Работала она теперь не в Художественном фонде, а во Всероссийском обществе слепых — референтом. «Ну, милый, здравствуй!»

А вскоре на тестевой даче, сидя за столом под большой яблоней и попивая домашнее вино, которое прекрасно готовила Людмила Антоновна, Кутепов задумчиво поинтересовался, не засиделся ли Валера в своем педагогическом институте, не пора ли ему, как бы это выразиться, подрасти, что ли. «Да вроде не засиделся!» — ответил Чистяков, успешно прошедший очередную отчетную конференцию и теперь плавно въезжавший в роман с новой, интересной преподавательницей кафедры английского языка. «Правильно, — кивнул Кутепов, — каждый должен добросовестно работать на своем месте. И так у нас прыгунов развелось...»

Через месяц Валерия Павловича утвердили заведующим отделом агитации и пропаганды Краснопролетарского райкома партии. Оказалось, к нему уже давно присматривался первый

секретарь Ковалевский; поначалу его смущала молодость Чистякова, но неожиданно эти сомнения рассеялись. Кстати, в отделе, который возглавил Валерий Павлович, культурой по иронии судьбы заведовал — кто бы вы думали? — Убивец. Вот такая, понимаете, встреча в горах...

После первой же планерки Чистяков попросил Иванушкина задержаться. Грустно глядя исподлобья, Валерий Павлович произнес дружеское «сколько зим, сколько лет» и предложил покурить. Они вспомнили институт, свои «сокамерные» времена, замечательное сало, которое привозил Убивец от родителей, ту знаменитую поездку «на картошку», где Иванушкина и прозвали Убивцем... О злополучной гэдэровской истории не было сказано ни слова. «Ну что, Юрий Семенович, будем работать!» — докурив, радостно сказал Чистяков и хлопнул своего врага по плечу. «Еще как будем!» — преданно ответил человек, однажды чуть не словавший Валере хребет.

Как к тому времени понял Чистяков, уничтожение врагов и выдвижение друзей в аппаратной игре называется решением кадровых вопросов. Ты можешь аннулировать человека, стереть его в пудру, развеять по ветру, но если в глазах соратников это будет выглядеть по правилам, работать на интересы дела, все скажут, что ты укрепил кадры; в противном случае сочтут, что ты просто сожрал отличного мужика. Но Убивца Валерий Павлович не тронул по иной причине: он простил его. Так по крайней мере Чистякову казалось.

С Ковалевским Валерий Павлович сработался. Для начала навел порядок в отделе, и теперь уже не случалось, как при бывшем заведующем, отлично ушедшем директором издательства, чтобы цифра занимающихся в системе политпросвещения коммунистов, заявленная в докладе, оказалась больше численности всей районной партийной организации. Кстати, о докладах. Их для Ковалевского сочинял в основном чистяковский отдел. Валерий Павлович довольно быстро схватил незамысловатую манеру своего первого секретаря и научился, посидев вечер-другой, придавать кускам, написанным инструкторами, необходимое стилистическое единообразие. Особенно удавались ему характерные для Ковалевского грубоватые колкости в адрес руководителей, не выполняющих плановых заданий. Выходя на трибуну с текстом, сочиненным Чистяковым, Владимир Сергеевич Ковалевский чувствовал себя легко и надежно, словно сам его и написал...

Еще руководя парторганизацией пединститута, Чистяков понял важную вещь: окружающие люди, как ни крутись, видят в нем пока всего лишь зятяка могучего деятеля городского

уровня, особо приближенного к столичному лидеру, и, естественно, ждут от Валеры или откровенного хамства, или той утонченной спеси, каковую являют наиболее умные и дальновидные родственники сильных мира сего. Однако ни того, ни другого в этом молодом, энергичном мужчине с хорошей белозубой улыбкой и ранней сединой они при всем желании усмотреть не могли. Чистяков держал себя так, словно его единственной опорой и поддержкой в этом яростном мире был только папа-заводчанин, выпивающий каждый вечер свою законную четвертинку. Однажды, в розовошеском детстве, был вот какой случай. В пионерском лагере Валера задружился со здоровенным шпанистым пацаном по имени Ренат, две недели союзники держали в страхе весь отряд и жили, как хотели, а потом Ренат обожрался зеленых яблок, заболел дизентерией и был увезен на лечение в Москву. Дни, оставшиеся до окончания смены, Чистяков прожил кошмарно: его били почти каждый день...

Между прочим, Николай Поликарпович был чрезвычайно доволен выбором своей дочери: страшно подумать, какого шалопая Лялька при своей доверчивости могла привести в дом! А Валера... Его не нужно было тащить за уши, доказывая, например, что нерасторопность — это не тупость, а привычка к обдуманности и обстоятельности, не нужно было вытаскивать из нехороших историй, объясняя, будто все они подстроены с исключительной целью — навредить ему, Кутепову... А нужно было просто делать так, чтобы наверху, там, достоинства Чистякова были всегда на виду, а промахи по возможности неведомы...

Отдел Валерию Павловичу достался сложный: попробуй пропагандировать то, чего нет, и агитировать за то, чего никогда не будет! Чем занимались, боже мой, чем занимались?! Всего за одну ночь установили самый большой в столице портрет Брежнева. Размах бровей — два метра! Установили сразу же после присуждения Ленинской премии. В других районах еще неделю чесались, а у них в Краснопролетарском: вечером сообщила программа «Время», а утром уже вывесили портрет с новенькой лауреатской медалью на неестественно широкой груди, специально нарисованной так, дабы уместились все награды. А когда по «вертушке» позвонил помощник Генерального и передал добрые слова от Самого, у Ковалевского, который явно недолюбливал бровеносца со всей его шайкой, даже сердце на радостях прихватило — неотложку вызывали...

А вот с Убивцем пришлось расстаться. Случилось это неожиданно. Семейный человек, Иванушкин по случаю обрюхатил Аллочку Ашукину: поехал, пакостник, с молодежью на

выездную учебу и, как говорится, отметился, а девчонка втрескалась со всего юного разбега и захотела, декабристка, рожать. Любовь! Убивец ее, правда, уболтал, положил в больницу, а когда чистили, как водится, занесли инфекцию — девчонка под капельницей лежала. Конспиратор Убивец, конечно, ее не проведал — и она, бедненькая, понимала: нельзя! Но не послать даже букетика или пары бутербродов с севрюгой из райкомовской столовой!.. Помнится, тогда к Валерию Павловичу пришел посоветоваться первый секретарь райкома комсомола Шумилин, надежный парень, который погорел потом на дурацкой истории с хулиганами, залезшими в зал бюро и устроившими погром... Он принес гневное коллективное письмо работников комсомольского аппарата и актива.

Чистяков вызвал к себе Убивца, положил перед ним «телегу» и грустно сказал: «Извини, старик, самое большое, что могу для тебя сделать, это дать лучшие референции. Ищи, Юра, себе место!» «Это ты зря... отозвался Иванушкин. Я бы на твоём месте не упустил случая — добил бы!» «Вот поэтому ты на своём месте, а я на своём!» — миролюбиво ответил Валера.

Убивец перешел в Дом политпросвещения и даже выиграл четвертак в зарплате, но это было тупиковое, гиблое место, откуда обычно выносили под звуки казенного оркестра, а впереди, на подушечке,— единственная медаль «За трудовую доблесть», полученная на заре жизни, когда над головой было небо. Кто же мог подумать, что Иванушкин отсидится там, оботрется, подшустрит и организует первый в стране кабинет компьютерной грамотности совпартработников?! И уж никто не мог предположить, что на открытие этого чуда советского двадцатого века придет новое городское руководство, озабоченное кадровыми проблемами, заметит Убивца и возьмет его в аппарат горкома сразу зам. зав. отделом, аккуратно под любимого Валериного тестя Николая Поликарповича... Но это случилось потом, а пока все шло весело и слаженно, как пионерское приветствие районной партийной конференции.

За окнами райкома текла обыкновенная жизнь, которой Валерий Павлович якобы управлял. Но он-то понимал: если из тех людей, что толпятся на остановках, выходят из магазинов, стоят возле газетных стендов, сидят на скамейках, хотя бы каждый десятый похож на Надю Печерникову, то все эти потуги на руководящую роль — просто чепуха на постном масле! Кстати, о Наде Чистяков вспоминал довольно часто. Не скроем, она (воспоминания о ней) очень помогала Валере в те трудные полусонные минуты, когда приходилось-таки провизжать к опостылевшей Ляльке определенный супружеский

интерес, а интереса-то не было — была только какая-то холодная изжога в душе...

Однажды Валерия Павловича срочно вызвал Ковалевский и, матерясь, достал из сейфа номер молодежного журнала. Чистяков подумал о том, что, вероятно, шеф начинает потихоньку сдавать, если прячет в спецсейф журналец, каковым завалены все киоски «Союзпечати». Перенапрягшееся поколение!.. «Библиографическая редкость!» — объяснил Ковалевский. «Раритет!» — подхватил Чистяков руководящую шутку. «Я тебе серьезно говорю! Весь тираж «под нож» пустили. Осталось несколько штук — вещдок...» «А в чем дело?» — посерьезнел Валерий Павлович. «А ты почитай! Страница пятьдесят четвертая. Завтра на бюро будем исключать». «Автора?» «Автор беспартийный, его по писательской линии накажут. Исключать будем заместителя редактора... Выступишь — и разнесешь по науке...»

Рассказ назывался «Провокатор». На фотографии чернело изуродованное родной полиграфией лицо автора — некоего Олега Соломина, а чуть ниже стояло посвящение, естественно, дамочке, из него Чистяков сделал заключение, что этот шелкопер печатается недавно и еще не успел через прессу отблагодарить всех своих приятельниц. «Другу Наденьке», — усмехнулся Валерий Павлович и внимательно, с карандашом в руке принялся читать художественное произведение, из-за которого пустили «под нож» целый тираж и гонят из партии приличного, заслуженного мужика. Чистяков сразу же подчеркнул двусмысленную фразу, пометил сбоку свое непримиримое отношение к ней и постарался запомнить ее — настолько была хороша и остра. А переверачивая страницу, Валерий Павлович вдруг понял, что Олег Соломин — это тот самый заслуженный богомол... Ну да — муж Нади... А «друг Наденька» — это сама Надя... Надя Печерникова... И он начал читать сначала, и читал уже не с политической бдительностью и не с тайным удовольствием — а с болезненной ревностью.

Рассказ был вот о чем. Россия. Начало века. Губернский город Н. Юному студенту, члену подпольной организации Валериану Винчевскому поручено убить местного генерал-губернатора, совершившего чудовищное преступление — он приказал выпороть арестованного революционера! В тайной лаборатории, законспирированной под зубоврачебный кабинет, где священнодействует Химик, гениальный ученый, выгнанный из университета за то, что плюнул в лицо жандармскому полковнику, изготавливается бомба. На сей раз Химик обещал создать совершенно необыкновенный метательный снаряд, способный разнести царского сатрапа по молекулам.

Валериан Винчевский (он, между прочим, прямой потомок польских патриотов, сосланных за участие в восстании Костюшко) начал выслеживать подлеца губернатора, дабы поточнее определить место, наиболее удобное для возмездия. Выяснилось: каждое воскресенье под присмотром до зубов вооруженного терского казака злодей генерал подъезжает к воротам городского сада, отпускает охрану покататься на карусели, а сам неторопливо прогуливается по аллеям и поглаживает по головкам попадающихся навстречу детишек.

Карать постановили в городском саду. Но среди подпольщиков разгорелся жаркий спор: наиболее яростный, неггибамый боевик Булатов требовал любой ценой взорвать негодяя, путь даже погибнут невинные младенцы, принадлежащие, между нами говоря, к классу эксплуататоров и кровопивцев. Валериан же еще не ожесточился сердцем и хотел привести приговор в исполнение так, чтобы никто другой не пострадал. Под видом коробейника он продолжал наблюдения и даже случайно попал в руки жандармов, но его спасло умение показывать карточные фокусы: от души потешившись, цепные псы царизма отпустили его на все четыре стороны.

Однажды Валериан, теперь уже загримированный под калику перехожего, заметил любопытную закономерность: во время каждой своей воскресной прогулки генерал-губернатор неизменно подходит к гордости городского сада — вековому дубу, выжидает момент, когда кругом никого нет, и торопливо засовывает руку в дупло. Таким романтическим образом старый повеса обменивался нежными посланиями со своей замужней любовницей — известной провинциальной актрисой. И Винчевский решил убить сановного насильника возле заветного дуба.

Никто не понимал, как это произошло... Или гениальный Химик запутался в ингредиентах, или сам юный террорист от волнения замешкался, но бомба взорвалась у него прямо в руках. Когда, соскочив с карусели и выхватив шашку, терский казак примчался на место преступления, то увидел опаленные бакенбарды смертельно испуганного, но живого и невредимого генерал-губернатора. А вот от покушавшегося не осталось ничего: ни клочка, ни кусочка, ни горстки праха...

Валериан Винчевский очнулся возле того же самого дуба. Ему казалось, что все его тело подобно сосуду, некогда разбитому вдребезги, а теперь вот склеенному из мелких осколков. Знакомое дерево выглядело обветшавшим и стояло теперь не в городском саду, а посередине мощеной площади, неподалеку от белокаменного здания с развевающимся красным флагом

на крыше. Дуб был огорожен узорчатой решеткой и оснащен табличкой:

*На этом месте 16 октября 1902 года
студент-революционер В. В. Винчевский
(1883—1902)*

*совершил героическое покушение
на одного из царских палачей.*

Слава нашим героям!

Ничего не понимая, юный террорист огляделся окрест и увидел, что окаем закрыт дымящимися трубами и высокими, похожими на пчелиные соты домами, что в небе тяжело плывет серебряный летательный аппарат и что на фронте белокаменного здания трепещет лозунг: «Пятилетке качества — рабочую гарантию!» И тогда Винчевского осенило: да-да, в результате непостижимого взрыва бомбы он в мгновение ока перенесся в светлое будущее, где победивший народ установил, как некогда и во Франции, новую форму исчисления времени, в данном случае — пятилетками...

Чтобы утвердиться в своей догадке, Валериан стремглав бросился к белокаменному дому, впоследствии оказавшемуся облисполкомом. Возможно, потому, что он начал жадно расспрашивать выходящих оттуда серьезных товарищей, каково нынешнее политическое устройство России, а может быть, одет он был, точно студент с известной картины Ярошенко: глухой плащ и надвинутая на глаза шляпа... Одним словом, Валериана забрали в милицию. Юный революционер попытался обрести свободу при помощи своих чудесных карточных фокусов, но его похлопали по плечу, посоветовали не зарывать талант в землю и отправили в камеру. Никаких документов при себе у Винчевского, естественно, не было, а рассказать всю правду он не отважился, ибо понимал: его правда фантастичнее всякого вымысла.

В камере наш узник познакомился с местным краеведом Кулеминым, севшим на пятнадцать суток за то, что в сердцах обозвал вандалом главного областного руководителя, предлагавшего спилить исторический дуб и воздвигнуть взамен гранитный обелиск «Вы жертвою пали!». Оказалось, Кулемин давно уже занимается историей неудачного покушения Винчевского и не один год бьется над загадкой, куда все-таки подевалось тело отважного террориста. Из глубин истории доходили слухи один нелепее другого. Известный дореволюционный фольклорист даже записал в торговых рядах сказ о том, как злой «генерал-убиватор» закатал тело отважного юноши в стеклянную бочку с «зеленым вином» и спрятал у себя в подвале.

Однако даже видный подпольщик Булатов, возглавлявший после революции кожевенную промышленность губернии и написавший интересные мемуары «Рядом с легендой. Мои встречи с Валерианом Винчевским», обошел загадочное исчезновение тела стороной.

Расхаживая по камере, краевед с увлечением рассказывал о том, что поднял даже учетные книги мертвецких – никаких обнадеживающих сведений! Только через месяц после покушения на пустыре за трактиром был найден мертвый юноша с огнестрельной раной в области сердца, опознать его не смогли и похоронили в безымянной могиле. «Через месяц...» прошептал Валериан. «Через месяц, подтвердил Кулемин и впервые взгляделся в лицо своего товарища по несчастью. А вы знаете, молодой человек, вы очень похожи на Винчевского... Случайно не родственник?» «Я его родной внук! неожиданно для себя выпалил Валериан. Решил побывать на месте гибели деда, а документы украли в поезде...» «Так что же вы молчите!» вскричал Кулемин и принялся яростно колотить кулаками в железную дверь камеры.

...Валериану Винчевскому было плохо, а почему непонятно. Он уже пришел в себя после шумной, с бесконечными застольями двухнедельной поездки по грузовым коллেকтивам региона и оправился от простуды, которую подхватил во время ноябрьской демонстрации, стоя на трибуне рядом с главным руководителем области, по иронии судьбы носившим ту же фамилию, что и недобитый генерал-губернатор. Он даже успел полюбить молодую красивую учительницу словесности Марию Васильевну, пригласившую Валериана на свой открытый урок. Сегодня утром, после безумной ночи любви, она наконец согласилась стать его женой!

И все-таки Валериану было плохо... Он вышел на воздух из гостиницы, где проживал, куда доставлялся обкомовский том, где ему обещали двухкомнатную квартиру и где он собирался счастливо зажить с Марией Васильевной, вышел и направился к краеведческому музею. Позавчера Винчевский стал директором этого музея вместо несчастного Кулемина, госпитализированного с неприятным диагнозом; краевед стал кричать на всех перекрестках, будто труп того неизвестного юноши и есть пропавшее тело революционера.

Путь Валериана лежал мимо исторического дуба, точнее, мимо того места, на котором еще недавно росло знаменитое дерево, а теперь вот светлел свежий спил... Винчевский горячо поддерживал идею строительства на месте сорванного желудями дуба прекрасного мемориала в честь павших борцов! Смертель-

но уставший террорист присел на широкий пенёк, вздохнул и внезапно ощутил во всем теле страшную боль, он почувствовал себя неким хрупким сосудом, и этот скудельный сосуд некто огромный и сильный со всего маху хрястнул о мостовую, так что только брызнули осколки...

Рассказ, как сейчас помнил Чистяков, заканчивался донесением тайного агента охраны Булатова, внедренного в подпольную организацию с целью подготовить покушение на генерал-губернатора, не сработавшегося с кем-то там из петербургского начальства. Булатов никуда не доносил, что примерно через месяц после неудачного теракта на тайную квартиру, единственную оставшуюся после повальных арестов, явился собственной персоной Валериан Винчевский. Одет он был в странный шуршащий плащ, вероятно, американский, и шапку, похожую на те, что носят бедные селяне и называют «треухами», но только пошитую из ондатры. Воскресший террорист заявил немногим уцелевшим членам некогда мощной подпольной организации, что якобы благодаря взрыву бомбы попал в будущее, воротился назад и теперь знает, к чему приведет их борьба! «Так вот кто, значит, предал нашу организацию!» — вскричал Булатов, опасавшийся черт знает откуда взявшегося Винчевского. «Я был там... я все понял! — твердо ответил Валериан. — Слушайте!...» — «Смерть провокатору!» — оборвал его Булатов, выхватил револьвер и выстрелил юноше прямо в грудь. Ночью завернутое в холстину тело осторожно вынесли из дома и бросили на пустыре за трактиром...

Заместителя главного редактора из партии не погнажи, ограничили строгим с занесением, хотя Чистяков в своем выступлении говорил и о «ложной идейно-художественной концепции рассказа «Провокатор», и о прямой клевете на историю нашего освободительного движения». Стоя перед членами бюро, седой мужик с орденскими планками на пиджаке расплакался, как мальчик. Выяснилось, что он страдает запоями. Страдает давно, с войны, а началось все с тех самых «наркомовских стаграмм». Привозили из расчета на роту, а от роты после атаки и взвода не оставалось... Вот с тех пор он так и живет: полгода как человек, а потом вдруг на неделю точно в яму с помоями проваливается. Спасибо, хоть сослуживцы всегда с пониманием относились, прикрывали — запрут в кабинете и отвечают: отъехал, вышел, вызвали наверх... Потом пришел новый ответственный секретарь, который сразу же прицелился на место заместителя, он-то и подсунил тот дурацкий рассказ для ноябрьской книжки: мол, все тип-топ, про революционеров... Кому взбрет, что про революционеров можно как-то не так... Ну, не читая, подписал... А у цензора в тот день было отчетно-выбор-

ное профсоюзное собрание, он у них там в Главлите культурно-массовой работой занимается, торопился и тоже проштамповал не глядя... «Простите, товарищи, если сможете! До пенсии полгода осталось!»

Наверное, его все-таки погнали б из партии, но всех возмутило выступление редактора, гладкошекого демагога, выкручивавшего из тонкого молодежного журнала себе столько, сколько не выкручивали старорежимные латифундисты из орловского чернозема! Он сообщил, что, к сожалению, когда случилось это безобразие, находился в Австралии на конференции «Детство в ядерный век», а то, разумеется, прочитав одну только строчку, сразу бы снял рассказ... И вот теперь, уезжая в Штаты на симпозиум, он просто не решается оставить журнал на пьющего и небдительного человека. «А вы не оставляйте!» — побагровев, посоветовал Ковалевский — последний раз он был за границей два года назад, в Венгрии. «Что?» — «А то самое! Разъездился... Вы редактор журнала или путешественник Пржевальский?» Путешественник только дрогнул усами... Потом, когда Ковалевского катапультировали, друг детей припомнил ему этот разговор и в газете «Правда» в разгромной статье «Мастодонты застоя» хорошенько поплясал на косточках Владимира Сергеевича. В общем, историю с рассказом спустили на тормозах, заму — строгача, главному — на вид. А вот имя Соломина попало в какое-то закрытое письмо о бдительности и идеологическом чутье. С тех пор Олегу не то что рассказ, объявление в бюллетене обмена жилой площади было не напечатать... Чистяков представил себе, как Надя утешает своего засушенного богомола, разозлился и выбросил из головы всю эту историю.

Заведующим отделом Валерий Павлович проработал три года. Однажды, сидя под яблоней на даче и попивая домашнее вино, Николай Поликарпович задумчиво спросил: «Валера, а не пора ли тебе подрасти?» Через месяц Валерий Павлович стал секретарем райкома по идеологии, самым молодым в городе... Теперь отвозила его на работу и привозила домой черная «Волга», обедал он теперь не в большой общей зале, а в специальной, обшитой деревом комнате вместе с Ковалевским, другими районными боссами и заезжими величинами. Вчерашние коллеги — заведующие отделами — резко перешли с «ты» на «вы», и даже дядя Базиль, продолжая называть Чистякова «барбосом», стал вкладывать в это слово особый, уважительный смысл. Теперь Валера не переписывал доклады за нерадивых инструкторов, а только тоненьким карандашиком помечал, где и как нужно переделать. И даже Кутепов стал иногда обращаться к Валере за помощью: один раз, чтобы устроить

на работу в районе дочь одного хорошего человека, другой раз — чтобы пробить гараж известному массажисту-экстра-сенсу.

Конечно, трезвомыслящий Чистяков понимал, что пока еще остается обыкновенным малозаметным муравьем в этой огромной всесоюзной куче, но одновременно он ощущал, как трепещут и разворачиваются на ветру недавно выросшие, нежные, прозрачные крылышки. Еще немного — и полетишь! Увы, Валера размяк и не сумел по достоинству оценить опасности, связанной с роковым приходом БМП.

Да, Чистяков немного расслабился. У него завязался хороший, спокойный романец с разведенной журналисточкой, одиноко существовавшей в уютной кооперативной квартире, куда можно было приехать, предварительно позвонив, в любое время, чтобы отдохнуть телом и душой.

Семейная жизнь тоже наладилась. Все то, за чем раньше Лялька бегала к папе, теперь можно было получить от мужа. Она успокоилась, поступила в очную аспирантуру, занялась влиянием Бердслея на русскую графику начала века, и Чистяков через Академию художеств устроил жене трехмесячную стажировку в Лондоне. Единственное, что осталось у Ляльки от былых загульных времен, — это увлечение разной чертовщиной: например, спиритизмом. Подружек она своих растеряла, отношения поддерживала только со вдовой эмвэдэшника (он застрелился на следующий день после падения Щелокова), вдвоем они частенько по вечерам крутили блюдечко, и однажды Лялька взволнованно сообщила Чистякову: «Знаешь, что сказал нам сегодня дух Чапаева?!» — «Что?» — «По коням!»

Ковалевского и Кутепова освободили от занимаемых должностей в один и тот же день, на одном и том же заседании бюро горкома партии. Случилось это через месяц после прихода БМП. Николай Поликарпович держался молодцом, выйдя из зала, он пошутил со случившимися рядом аппаратчиками про отставку без мундира, прошел в свой кабинет, заперся, достал баян и полчаса играл вальс-каприз: заканчивал и начинал снова. Потом он позвонил домой и сказал Людмиле Антоновне, с самого утра томившейся неизвестностью: «Сняли». Людмила Антоновна в ответ только захрипела и начала, как рассказывала потом присутствовавшая при сем Лялька, медленно заваливаться на бок — сердечный приступ... В больнице Людмила Антоновна не хотела даже видеть Николая Поликарповича и отворачивалась к стене, когда он приходил ее проведать: не могла простить Кутепову, что за месяц до роковой развязки тот сдал дачу под профилакторий для инвалидов с детства. Чистя-

ков понял, что положение нужно исправлять, и организовал своему поверженному тестю шесть соток в хорошем садовом-городном товариществе где-то под Чеховом. Сам же Валерий чувствовал себя прочно и даже однажды на совещании удостоился похвальной реплики нового городского руководства, которому понравилась чистяковская молодость..

Бусьгин обрушился на Краснопролетарский райком, как ураган «Джоанн» на курорты атлантического побережья. Знакомясь с аппаратом, он сразу заявил: «Кто не чувствует сил работать в новых условиях, пусть поднимет руку!» Никто, разумеется, не поднял, ибо последним человеком, осознавшим, что не может работать в новых условиях, был отрекшийся от престола государь император Николай Александрович.

Из райкома стали исчезать люди. Заведующий промышленным отделом, три года назад перетянутый Ковалевским из парткома производственного объединения, а ранее бывший начальником лучшего цеха, проговорив с Бусьгиным пять минут, вышел из кабинета со слезами на глазах и тут же написал заявление... А БМП, как Гарун-аль-Рашид, благо в лицо его покамест не знали, ходил по магазинам района и невинно интересовался у продавцов, куда девались мясо и колбаса, точно и в самом деле не знал, куда они подевались! Продавцы отвечали дежурным хамством, тогда Бусьгин скромно стучался в кабинет директора магазина, снова выступивал горганское хамство, но уже на руководящем уровне, а в тот самый момент, когда, призвав на подмогу дюжего продавца мясного отдела, его начинали вытряхивать из кабинета, доставал свое новенькое удостоверение и владыка жизни, директор продмага, распался на аминокислоты.

Бусьгин на встрече с избирателями пообещал закрыть в райкоме спецбуфет и закрыл. Пообещал провести праздник района и провел: с тройками, скоморохами, лоточницами, сбитенщиками... «Народ покупает, кошкодав!» — сказал об этом ядя Базиль. Было у БМП еще два пунктика: тир, чтобы пацаны не шастали в подворотнях, а готовились к службе в армии, и бани-сауны, чтобы рабочий человек после грудного дня мог передохнуть и попариться... И если какой-нибудь директор завода, не вынолявшего план, закладывал у себя на территории тир и баню, то сразу же попадал в число любимцев нового районного вождя...

Бусьгин невзлюбил Чистякова с самого начала: Валера оплошал и опоздал на церемонию знакомства нового первого с аппаратом. В тот день Чистяков участвовал в открытии интервыставки «Роботы в быту», говорил спич и поэтому

оделся соответственно — в отличную импортную велюровую «тройку» с аристократически зауженными плечами. «Тройку» прикупила ему Лялька, сначала врала, что в «Березке», а потом случайно выяснилось: жёстюмчик ранее принадлежал покойному эмвэдэшнику, но поносить его он так и не успел...

Чистяков вошел в конференц-зал в тот самый момент, когда БМП начал свою тронную речь, громя коррупционеров и перерожденцев, променявших первородство социалистической идеи на чечевичную похлебку личной благоустроенности. И тут, словно талантливая иллюстрация к гневным словам нового босса, на пороге возник Валера, в своем унаследованном костюме, с красным супермодным галстуком, сам чем-то похожий на фирмача или советского перерожденца. Бусыгин на мгновение замолк, надломил бровь и сказал: «Когда я работал учителем, то за пятиминутное опоздание вызывал родителей! В следующий раз позвоню вашему тестю!»

Честно говоря, Валерий Павлович подоби́делся, но не придал тому случаю должного значения, надеясь верной службой наладить отношения с крутым шефом. Чистяков, как, впрочем, и весь аппарат, приходил в восемь — уходил в десять, забыл про уик-энды, ловил и исполнял каждое пожелание Бусыгина и однажды, услышав, будто первого греют массовые народные действия первых лет революции, устроил на площади перед райкомом гигантскую манифестацию с символическим сожжением чучела бюрократа застойного периода. И только однажды, когда снимали с работы заведующего роно, Чистяков, который и привел его на это место, робко заметил, что так можно и совсем без кадров остаться... БМП в ответ ничего не сказал и только глянул с нехорошим любопытством. Непонятно, почему Бусыгин до сих пор не тронул Валерия Павловича по-настоящему? Может быть, чувствовал, что к нему неплохо относится город, или не хотел, чтобы молва увязала уход Кутепова с мгновенным падением его молодого и хорошо зарекомендовавшего себя зятя, а возможно, БМП просто еще не подобрал в своем медвежьем углу человека, достойного быть секретарем в столичном райкоме, впрочем, вероятнее всего — Валеру просто оставляли напоследок, как приберегают в тарелке самый большой пельмень...

А пока БМП все вопросы, которые курировал Чистяков, замкнул на себя, телефоны в Валерином кабинете молчали, как мертвые, и сотрудники опасно обходили кабинет опального секретаря стороной, точно он недавно скончался от СПИДа, а санэпидстанция еще не успела продезинфицировать помещение.

Чистяков переживал трудное время. Выписалась из больницы Людмила Антоновна, а летом Николая Поликарповича долбанул **инсульт**. Он, чтобы заслужить прощение **жены**, **ввязался** в строительство садового домика, добыл благодаря оставшимся связям десять кубов «вагонки» и складировал на **участке**, а когда приехали шабашники обшивать домик, то «вагонки» на месте не оказалось — свистнули, подогнали грузовик, покидали в кузов и увезли в неизвестном направлении, потоптав к тому же все посадки. «Я его понимаю! Разве можно спокойно смотреть, как разворовывают страну?» — молвил дядя Базиль, выходя из палаты, где лежал Кутепов. У тестя отнялась правая рука, а вместо слов получалось теперь какое-то слюнвявое гука^{нье}. Вернувшись домой, Николай Поликарпович часами сидел на тахте, поглаживая действующей рукой перламутровый бок своего любимого баяна. Лялька забросила диссертацию и спиритизм, ходила за отцом, как за маленьким, и несколько раз заговаривала с Валерием Павловичем про то, что хочет вынуть спиральку и еще раз попробовать с ребенком, а если не получится, взять кого-нибудь из детского дома...

Как-то раз после совещания секретарей в буфете горкома к Чистякову подсел со стаканом чая Убивец, расспросил про здоровье **тестя**, рассказал анекдот про город Чмуровск, где ни хрена нет, даже антисемитизма, а потом, между делом, сообщил, что у БМП с городским руководством был о нем, Валере, очень странный разговор и что вроде бы Бусыгин получил-таки «добро» на устранение Чистякова. «Не зевай! Скоро эта сенокосилка и до тебя доедет!»

В тот вечер Валерий Павлович возвращался домой своим ходом. Машину он дал Ляльке — свозить тестя в кооперативную поликлинику: от четвертого управления Кутепова открепили, а участковый врач может поставить только один диагноз: «жив — мертв». Чистяков, оказывается, совершенно отвык от суетливых, толкающихся, потных сограждан, которые, плюхнувшись рядом на прогалину дерматинового диванчика и усаживаясь поудобней, как-то по-куриному двигают задницами; он отвык от этого дурацкого предупреждения «Осторожно, двери закрываются!», воспринимающегося теперь в некой глумливой связи со всем тем, что случилось с Валерием Павловичем за последнее время.

Напротив Чистякова сидел какой-то зачуханный мужик в лоснящемся зеленом костюме с вызывающим среднетехническим «поплавком» на лацкане. Но рядом с этим чучелом стояла очаровательная девчушка, темноволосая, голубоглазая, с белым упругим бантом на макушке. Он, видимо, папаша, нудно наставлял **ее**, а она, видимо, дочь, послушно кивала и гладила

по костлявой руке. А потом они стали как бы мириться и сцепили мизинцы - маленький, розовенький и длинный, крючковатый, с желтым загибающимся ногтем... При виде этого ногтя Чистякову стало тошно, он выскочил на остановке, дождался другого поезда, но поехал не домой, а к дяде Базилю, с которым и напился до полного собственного изумления.

* * *

Благодаря многолетнему опыту Валерий Павлович очнулся и подключился к происходящему в самый пугный момент. Бусыгин читал вслух очередную записку: «Михаил Петрович, почему же раньше у нас не было таких острых конференций, а только одни занудные собрания?»

А вот этот вопрос прямо секретарю райкома партии по идеологии товарищу Чистякову. Полагаю, на ближайшем пленуме мы поспрашиваем его... А он нам ответит! Наш принцип в кадровой политике, товарищи, такой: не умеешь работать по-новому - уходи!..

Пока БМП произносил этот приговор, Валерий Павлович равнодушно разглядывал страницу своего еженедельника, на которой красовалось дважды подчеркнутое слово «Надя» с жирным знаком вопроса. Потом Чистяков скосил глаза на листок, лежавший перед Мушковцом, на нем был изображен очень страшный кузнечик, скорее всего какой-то мутант: яйцеклад зазубрен, как пила, передние лапы похожи на скорпионьи клешни, а челюсти огромны и кровожадны...

Василий Иванович и Валерий Павлович обреченно переглянулись, а Бусыгин тем временем уже рассказывал про то, как борется против использования служебных машин в личных целях. В частности, сегодня вечером все работники аппарата райкома, включая и самого БМП, разъедутся с конференции своим ходом, а не на традиционных черных «Волгах»... Заодно проверят работу муниципального транспорта! Зал устроил овацию.

- Нравится? тихо спросил дядя Базиль, имея в виду нарисованное кузнечикоподобное чудовище.

Роскошно! отозвался Чистяков.

Я, знаешь, в детстве здорово рисовал... Мне даже советовали в «Строгановку» поступать... вздохнул Мушковец.

Конференция закончилась почти в одиннадцать часов вечера. Но Бусыгин еще спустился в зал и продолжал отвечать на вопросы в гуще масс, как это теперь стало модно.

На работу завтра не проспите? — тепло шутил он.

Не проспим-им! — радостно отвечали люди.

БМП окружили плотным кольцом, смотрели на него с обожанием, а он удовлетворенно улыбался, подобный председателю колхоза, сфотографированному на фоне выращенного им небывалого урожая. Сотрудники аппарата сбились поодаль и, терпеливо удерживая на лицах гримасы умиления, ждали, когда же народ отпустит своего первого секретаря.

— А вы рано просыпаетесь? — спрашивали люди.

— В шесть! — отвечал БМП.

— Ого!

— Час занимаюсь физкультурой по старославянской системе. Потом бегаю от инфаркта. В восемь на работе.

— Молодец...

Вдруг какая-то глупенькая девочка с сахарорафинадного завода протянула Бусыгину свой пригласительный билет и робко попросила автограф. БМП в ответ добродушно рассмеялся, сказал, что он не кинозвезда, а скромный партийный функционер, но автограф дал — и тут же десятки рук протянули ему свои гляцевые картонки с золотым тиснением... Смущенно пожимая плечами, БМП принялся надписывать бесчисленные пригласительные билеты.

— Вот это популярность! — Рядом с Чистяковым стоял Убивец и нежно наблюдал происходящее. — Любимец публики. К нам и то телевидение не ездит...

— Да-а... Теперь вот так... — неопределенно ответил Валерий Павлович.

— Давай-ка, Валера, я тебя домой подброшу! — предложил Иванушкин. — Ты у нас теперь безлошадный. Заодно и поговорим!

Чистяков заколебался: конечно, Убивец зря не подойдет — есть у него какая-то важная информация, но, с другой стороны, вот так запросто уйти во время небывалого единения БМП с народом — это откровенная демонстрация неуважения, совершенно лишняя для Валерия Павловича в его нынешнем положении.

— Брось! — заметив его сомнения, сказал Убивец. — Тебе это больше не нужно...

— Не понял, — похолодел Валерий Павлович.

— Поехали — объясню...

— Хорошо, — решил Чистяков. — Машина у служебного?

— Да.

— Хорошо... Я сейчас.

Он торопливо пошел, почти побежал в фойе. Свет там был уже погашен, стулья поставлены на стол ножками вверх. Голько в подсобке мерцал огонек, и было видно, как толстая буфетчица, слюня пальцы, пересчитывает выручку. Надя стояла

на том же месте, где еще совсем недавно имелся стенд «Досуг в районе», разобранный и унесенный сотрудниками отдела пропаганды.

— Прости меня за настырность,— увидев Валерия Павловича, начала Надя.

— Ну, о чем ты говоришь! Просто у меня сейчас трудное время...

— Да, я слышала...

— Слышала?! — дрогнул Чистяков и понял: если вопрос о снятии секретаря райкома дошел уже и до школьных учителей, дела его действительно ни к черту...

— Я слышала, как тебя Бусыгин критиковал,— объяснила она.

— А-а... Тебе нравится Бусыгин?

— Нет. Он упивается властью. Это плохо кончится...

— Для кого?

— Для всех. Людми может управлять только тот, кому власть в тягость.

В фойе ввалилась ватага дружинников. Из-за нехватки мест народ стихийно перетащил стулья из буфета в зал, и вот теперь их возвращали на место. Завхоз показывал, куда ставить, и громко ругал самовольство активистов, однако, заметив Чистякова, замолк и принялся сосредоточенно пересчитывать стулья, за которые нес материальную ответственность.

— Надя,— тихо проговорил Чистяков.— Не волнуйся. Я все устрою...— Он замялся, соображая, стоит ли говорить, какой ценой достанется ему это несчастное койко-место в Нэфроцентре, но, подумав, решил не говорить.

— Спасибо, Валера...

— Я тебе позвоню на следующей неделе. Раньше не получится.

— У нас нет телефона,— забеспокоилась Надя.

— Тогда позвони мне ты. В среду. Ладно?

— Спасибо, Валера!

— Выше голову, товарищ! Скоро восстанет пролетариат Германии!

— Ты знаешь,— вдруг какой-то жалобно-радостной скороговоркой начала Надя,— Дима роскошно играет в шахматы. У него второй мужской! Представляешь?

— Какой Дима? — не сообразил Чистяков.

— Дима...— пояснила она.— Мальчика зовут Дима!..

Когда, запыхавшийся, Валерий Павлович выскочил на улицу и очутился возле черной «Волги» с представительным московским номером на бампере, Убивец, уже сидевший рядом с шофером, посмотрел на Валерия Павловича с той грустной

сосредоточенностью, которая в отношениях между людьми их уровня означала: а мог бы и не заставлять себя ждать! Когда они выруливали из внутреннего дворика ДК «Знамя», Иванушкин попросил водителя проехать через Новокузнецкую, чтобы подбросить домой секретаря райкома партии.

Улицы оказались совершенно пустынными, и просто не верилось, что всего три часа назад они были запружены плотным, неостановимым потоком словно бы пружин на нерест автомобилей. Мелькали мимо освещенные, но уже бесхозные в эту пору стеклянные милицейские будочки. Водитель включил приемник, отыскал среди эфирного воя и скрежета «Маяк» — передавали симфоническую музыку. Чистяков подумал, что, уйдя из райкома, станет жить нормальной человеческой жизнью, накупит ворох классических пластинок, будет каждый вечер их слушать, особенно Чайковского и Сен-Санса. Он никогда не понимал по-настоящему музыки, но догадывался, что она примиряет с жизнью. А БМП, конечно, отдаст Валере это койко-место для Димы, обменяет на заявление по собственному желанию. Как будто в партии бывает оно, собственное желание!..

— После отчета на бюро горкома Бусыгин тебя уберет, — спокойно, как что-то само собой разумеющееся, сообщил Убивец. — Наш не хотел тебя отдавать, но ты же понимаешь!..

— Понимаю...

— Куда пойдешь?

— Не знаю...

— Возвращайся в науку.

— Куда? Ты смеешься.

— Поможем. Допустим, проректором к нам, в педагогический. А?

— Спасибо за заботу.

— Долг платежом... — отозвался Убивец и осторожно спросил: — Дошло до нас, БМП вместо отчета хочет по горкому долбануть?! От имени и по поручению ширнармасс...

— Он со мной не советуется.

— Вестимо. С нами тоже. Товарищ не понимает...

— Объясните.

— Пробовали. Не понимает.

— Странно, — пожал плечами Валерий Павлович, — он как будто с вашим вместе учился?..

— Мы с тобой тоже вместе учились, — улыбнулся Иванушкин. — А почему бы тебе не выступить на бюро? Расскажешь, как он в районо кадры гноит...

— Сами вы, конечно, не знаете?

— Знаем. Но объективная информация с места — совсем другое дело. От тебя нужна лишь принципиальная оценка.

— Пугнуть его хотите?

— Немножко. Для профилактики.

— У тебя есть выход на Нефроцентр?

— Нет. На твой район вообще никаких выходов нет. Только через БМП...

В это время музыка закончилась и начались последние известия, сводившиеся в основном к тому, где и сколько посеяли, выплавляли, пошили, сковали, собрали, изобрели, скосили... Куда только все девается? Потом директор какого-то завода стал с классовым остервенением ругать смежников. В заключение посетительница кооперативного кафе восторженно рассказывала, что впервые в жизни обедала за столом, застеленным чистой скатертью!

— Выступишь? — снова спросил Иванушкин.

— Я подумаю...

— Подумай. Елисееву, между прочим, скоро на покой. Через полгодика новый ректор понадобится...

Чистяков дурашливо отдал честь отъезжающей черной «Волге» и вошел в подъезд своего дома. Стеклопанельная стенка служебной комнатки была наглухо задернута розовой занавеской — консьержка опять болела. Лифт стоял с разверстыми дверями и словно специально поджидал Валерия Павловича. Кнопки пульта оказались оплавленными и закопченными, а на полированной текстуре гвоздем нацарапали: «Номенклатура е...» Второе слово, отглагольное прилагательное, было написано вполне грамотно, а вот в первом имелось две орфографических ошибки. Раиьше ничего подобного в их респектабельном доме не случилось!

Лялька оставила записку: ночует сегодня у родителей, так как «вагонку» нашли в соседнем садово-огородном товариществе, и тестю на радостях снова стало плохо. Далее она сообщала, что в холодильнике жареная печенка, в шкафу спагетти и что «Лялюшонок» целует Чистякова в ушко... На столе, рядом с запиской, лежали две новенькие книжки «Спортивные игры в семье» и «Диатез у детей». Жена в последнее время одержимо скупала все издания, рассказывающие о секретах воспитания здорового потомства.

Валерий Павлович достал из холодильника початую бутылку водки и поначалу просто хотел выпить рюмочку, закусив тминной черной корочкой, но вдруг ощутил в желудке совершенно жуткий, kloкочущий голод. Трясущимися руками он поставил на огонь печенку и воду для спагетти. Потом

все-таки не выдержал, выпил рюмку и закусил остатками селедки, которые Лялька, с годами становившаяся все хозяйственнее, сложила в майонезную банку и залила подсолнечным маслом.

Дождаясь, пока закипит вода, Чистяков полистал книжку про спортивную семью и в предисловии наткнулся на такую вот фразу: «Однажды к древнему мудрецу пришли родители и сказали, что мечтают вырастить своего ребенка здоровым, красивым, умным. «Когда нужно начинать воспитание?» — спросили они. «Сколько лет ребенку?» — спросил мудрец. «Пять дней», — ответили они. «Вы опоздали на девять месяцев и пять дней!» — был ответ».

Валерий Павлович представил себе, как в понедельник войдет в кабинет Бусыгина и, дождавшись, когда тот соизволит заметить секретаря по идеологии, положит на стол заявление: «В связи... прошу... по собственному желанию...» БМП надломит правую бровь, глянет с нехорошим любопытством и скажет, наверное, так: «Думаю, сложно будет объяснить членам бюро, почему в такой трудный момент вы уходите с партийной работы!» Скажет, а про себя, конечно, подумает: «Слава тебе, господи! Сам догадался!» Потом Бусыгин спросит, куда же он собирается уходить. Валерий Павлович ответит, что пока еще сам не знает, и в этот момент, именно в этот момент, попросит за Надиного пацана... за Диму. «Грехи молодости?» — поинтересуется БМП. Чистяков лишь кивнет. И тот не откажет, ибо покорный уход своего врага, а также его союзническое молчание на бюро горкома точно увяжет с этой странноватой просьбишкой. А молчание Чистякова БМП хорошо запомнит, потому что на бюро горкома будет порка, хорошая профилактическая порка районного руководителя, подзабывшего немного принцип демократического централизма. БМП вызовет по селектору секретаршу, эту лахудру, которую привез в Москву из своего Волчехренска, и скажет: «Маша, соедини-ка меня с директором Нефроцентра!..» А в среду, когда позвонит Надя, Чистяков скажет ей: «Все нормально, товарищ! Бери Диму, товарищ, и дуй срочно в Нефроцентр, товарищ!» «Спасибо, Валера!» — заплачет она. Что ж, за это Надино «спасибо» и за эти слезы благодарности стоит заплатить своей дурацкой судьбой, разбить ее об пол, точно свинью-копилку... Валерий Павлович выпил еще рюмку и вывалил в пузырящуюся воду целую пачку спагетти. В начале первого позвонил дядя Базиль.

— Ты куда, барбос, исчез? — спросил он уныло. — БМП любой интересовался. Меня, грешного, выспрашивал, а заодно предложил за две недели найти себе новое место... Понял?

— Понял... У тебя есть что-нибудь на примете?

— Есть. Начальник отдела кадров управления ритуальных услуг. Все кладбища мои будут! Соглашаться?

— Соглашайся,— улыбнулся Чистяков.— Хоть похоронишь меня по-людски...

— Новодевичье не обещаю, а Ваганьково гарантирую! — успокоил Мушковец.— А куда ты все-таки дедся?

— Да та-ак...

— Ну и что тебе это «да та-ак» по фамилии Иванушкин напело?

— Предлагало на бюро горкома плюнуть в БМП.

— Плюнь, Валерочка, Христом Богом тебя прошу, плюнь! Хочешь, я тебе своих слюней подбавлю?

— Я подумаю,— ответил Чистяков.

Спагетти разварились и лежали на тарелке вроде солитёра. Есть Валерию Павловичу расхотелось. Он побрел в спальню, прямо в одежде плюхнулся на «сексодром», и ему показалось, что кровать — это мягкий плот, медленно плывущий куда-то и тихо покачивающийся на волнах.

...«Товарищ, ты меня уважаешь?» — спросила Надя, открывая глаза. Чистяков хотел объяснить, что не просто уважает — любит ее, но не успел, ибо снаружи раздался душераздирающий младенческий вопль: очевидно, два гундевших котика все-таки решились на большую драку. Почти сразу же донесся топот и громкие, заинтересованные крики первокурсников: «Куси его, серый, куси!» Чтобы лучше видеть потасовку, студенты, грохоча, взбежали на крылечко Надиного «бунгало». И на занавеске, как в театре теней, сгрудились их живые силуэты. Счастливые обладатели друг друга опасливо косились на окно, страшились пошевелиться и оставались лежать все так же совокупно и все так же неподвижно обнявшись. Но исподволь сознание того, что буквально в метре от них, за тонкой стеночкой шумно толпятся ничего не подозревающие первокурсники, постепенно наполняло их тела боязливым и потому особенно острым желанием...

ЭПИЛОГ

1

В понедельник бюро городского комитета партии, заслушав и обсудив отчет первого секретаря Краснопролетарского РК КПСС тов. Бусыгина М. П., рекомендовало освободить его от занимаемой должности за развал работы в районе. Состоявшийся на следующий день пленум райкома партии рассмотрел организационные вопросы: единодушно освободил тов. Бусыгина М. П. и так же единодушно избрал на освободившийся высокий пост тов. Чистякова В. П., работавшего ранее секретарем того же райкома.

2

Поговаривали, что выбор остановили на нем по двум причинам: во-первых, его терпеть не мог свергнутый Бусыгин (впрочем, таких людей насчитывалось немало), а во-вторых (и это главное!), Чистяков проявил необычайную дальновидность и оказался единственным, кто не стал швырять камни в БМП на том беспощадном заседании бюро горкома. Вернувшись домой с пленума райкома партии уже в новом качестве, на вопрос жены: «Как дела, Валерпалыч?» — он только вымолвил: «Полный апофегей!»

3

В среду, войдя в свой новый кабинет, где письменный стол уже был передвинут на другое место, а с полок убраны образцы народного творчества города Волчешкурска, откуда в свое время прибыл и куда теперь снова убывал товарищ Бусыгин, Валерий Павлович первым делом вызвал свою новую секретаршу Аллочку Ашукину, заказал себе крепкого чая с сушками и распорядился:

— Алла Викторовна, ко мне сегодня будет дозваниваться Надежда Александровна Печерникова. Запишите: Печерникова... Если я буду на активе, скажите ей, что вопрос решается... Пусть наберется терпения. Товарищи из Нефроцентра ее сами известят... И прошу вас, Алла Викторовна, будьте с ней

поласковее. У Печерниковой серьезно болен ребенок... Очень серьезно! Понимаете?

— Понимаю,— кивнула Ашукина и уточнила: — Если вы будете на месте, вас соединять с ней?

— А зачем? — вздохнул Чистяков и ободряющей улыбкой выпроводил Аллочку из кабинета.

1987—1988 годы



*"... Вы про Париж хотите,
да на розги ехсаши.
Где же тут Париж?"
Федор Достоевский.
"Длинные заметки о летних
впечатлениях"*

Наш пивной бар называется «Рыгалето», хотя на самом деле он никак не называется, а просто на железной стене возле двери можно разобрать полустершуюся трафаретную надпись:

Павильон № 27

Часы работы: 10.00—20.00.

Перерыв с 13.00 до 14.00.

Выходной день — воскресенье.

Павильон! Это мы умеем: вонючую пивнушку назвать павильоном, душную утробу автобуса — салоном, сарай с ободраным киноэкраном — дворцом культуры. Павильон... Его соорудили прямо на моих глазах: варили из металлических труб и листового железа, а потом красили в ненавязчивый серый цвет. Но тогда никто и не догадывался, что это будет пивная! Думали, ну — вторсырье, ну — в лучшем случае, овощная палатка. Даже спорили на бутылку, но никто не выиграл, никому даже в голову не залетало: ПИВНОЙ ПАВИЛЬОН!

А происходило все это пятнадцать, нет, уже шестнадцать годиков назад. Я только-только окончил институт и распределен в только-только созданный вычислительный центр «Алгоритм». Если помните, страна в то время переживала эпоху всеобщего «асучивания», и казалось, наконец-то найдено совершенное и безотказное средство против нашего необоримого бардака: мол, ЭВМ не проведешь и не обманешь! Потом выяснилось, что для нашего бардака компьютеризация — то же самое, что накладная грудь и косметика для неудавшейся женщины... Но это поняли потом. А тогда мы шли в компьютеризацию, как в революцию — с гордо задранной головой, бездумно-восторженным взором и лютой верой в скорую победу.

Первым весть о пивной, будто бы открывающейся в железном сооружении, принес Букин, наш местный алгоритмовский правдоискатель, отдавший все силы делу борьбы за справедливость, разумеется, в рамках господствующего беззакония. К тому же, страдая почками, он абсолютно не пил — и это придавало его деятельности оттенок мученичества.

— Поздравляю! — горько сказал Букин, входя в машинный зал. — Будет пивная. Я видел, как разгружали автоматы!

— Ура-а! — завопили мы, вскочив со своих мест.

— Чего — ура?! — затрясся наш правдолюб.— Будет вам теперь — «Все об АСУ»...

Мы дружно заржали, ибо второй, сокровенный, смысл названия этого популярного в те годы справочника являлся предметом издевательств для целого поколения программистов. Но, конечно, тревога Букина была обоснована: жил он от «Рыгалето» неподалеку, а во что превращаются подъезды домов вблизи пивных точек — общеизвестно. Но нам, молодым, веселым, умеренно выпивающим и живущим у черта на рогах, эти опасения Букина казались смешными, а грядущие нерукотворные моря в подъездах — по колено!

Зато только представьте себе: выйдя в 17.15 из нашего стеклянного ВЦ, где даже мыши не размножаются по причине всеобщей прозрачности, вы как бы между прочим заглядываете в свою пивную, привычно вдыхаете табачно-дрожжевой запах, подходите к автомату, напоминающему Мойдодыра, дожидаетесь своей очереди (минут десять — вот были времена!), бросаете в светящуюся шелку монетку, предварительно подставив под кран свою кружку (гигиенично, да и посуду искать не нужно), и нежно наблюдаете, как автомат, утробно крикнув, выдает вам одним пенным плевком 385 граммов жигулевского пива, а поскольку ваша собственная кружка в отличие от казенной вмещает целый литр, можно повторить, как говорится, не отходя от первоисточника.

Конечно, нашу пивную павильоном мы не называли никогда. Смешно! Сначала безыскусно именовали «точкой», потом некоторое время — «гадюшником», года полтора держалось название «У тети Клавы» — по имени уборщицы, одноглазой старушки, которая смело бросалась разнимать дерущихся с криком: «У тети Клавы не поозоруеть!» Но вот выявился один замечательный завсегдатай — спившийся балерун из Большого театра. Интересно, что даже в совершенно пополамском состоянии он все равно ходил по-балетному — вывернув мыски. За дармовую кружку пива балерун охотно крутил фузте и кричал при этом дурным голосом: «Р-риголетто-о-о!» Почему «Риголетто», а не, допустим, «Корсар» или «Щелкунчик», — никто не знал. Пивную начали называть «Риголетто», потом «Рыгалето», что, в общем-то, более соответствовало суровой общепитовской действительности. Сам балерун вскоре, весной, умер прямо на пороге нашей забегаловки, не дожив пяти минут до открытия, до 10.00, до реанимационной кружки пива. А название намертво пристало к нашему железному павильону, и, вспоминая того несчастного фузтешника и видя, как все вокруг переименовывается вспять, я думаю о том, что не каждому удастся оставить после себя такой прочный след в жизни.

Заглянуть после напряженного рабочего дня в «Рыгалето» стало доброй и прочной традицией нашего ВЦ, конечно, в основном его мужской части. Нарушить этот обычай могло только стихийное бедствие или замызганная фанерка на двери:

ПИВА НЕТ.

Если когда-нибудь задумают построить памятник жертвам великого эксперимента и даже объявят всесоюзный конкурс, я обязательно пошлю им свой вариант: циклопическая железная дверь, гигантский заржавленный замок и огромная фанерина с надписью: «ПИВА НЕТ».

Но тогда, в середине 70-х, эта табличка появлялась не так часто, как нынче, и в «Рыгалето» мы — нет, не отмечали, а именно обмывали пивом все мало-мальски заметные события нашей жизни: дни рождения, именины, повышения по службе, свадьбы, отпуска, прибавления в семействах, увольнения, разводы, торжественные проводы на пенсию и — в лучший мир... Это стало ритуалом — сгрудиться у высокого, круглого, пахнущего селедкой стола, поднять кружки и чокнуться, предварительно хором продекламировав стишок, неизвестно кем и неведомо зачем занесенный с идеологически выверенной детской новогодней елки:

За мир и счастье на планете,
За радость всех детей на свете!

В особенно торжественных случаях в пиво добавлялось немного водки, и от «ерша» мир становился звеняще-легким и восхитительно простым. Правда, ненадолго. Здесь, в «Рыгалето», мы обмыли и мою негаданную свадьбу, мои служебные взлеты и падения, рождение моей первой и последней дочери Вики, получение малогабаритной двухкомнатной квартиры в Южном Чертанове, обретение шести соток под Волоколамском... Одним словом, все те события, которые превращают молодого безответственного циника в ответственного циника средних лет, готового поддерживать любой, самый ипогский режим, если тот гарантирует незыблемость очередного отпуска. Да, мы были шумливы, веселы и нетребовательны: пьяные байки какого-нибудь полпреда-расстриги заменяли нам дальние странствия, а треск ломаемых соленых сухешек — шелканье кастаньет.

Но вот уже несколько лет, как я стал тяготиться коллективными заходами в «Рыгалето». Нет, конечно, бывают ситуации, когда не отвертеться, приходится идти, поднимать кружку, декламировать ритуальный стишок, желать новых служебных побед или новых наследников, но если случается возможность,

я заворачиваю сюда в одиночку. Знаете, хочется покоя и вдумчивости. И еще после работы нужно как-то перестроиться: из энергичного ведущего программиста, покрикивающего на симпатичных молоденьких операторш, плавно превратиться в тихого, точно доходяга, экономящего каждый свой поступок, каждое свое движение отца семейства. Супруга моя, суровая Вера Геннадиевна, и не догадывается, что почти каждая практикантка, направленная к нам в сектор, обязательно, хоть ненадолго, влюбляется в меня, точнее, в то, что от меня осталось с тех шикарных институтских времен, когда мои кавээнзовские шуточки повторялись на всех факультетах и курсах, а Ленька Пековский, беззастенчиво пользуясь принадлежащими мне каламбурами, хохмами и примочками, пытался охмурять даже аспиранток, не говоря уже об однокурсницах.

Итак, почти каждый вечер, прежде чем до утра сгнуть в ненасытной прорве семейного благополучия, я полчаса, а то и часик провожу здесь, в «Рыгалето». Стою и потихоньку из своей баварской кружки производства Дулевского завода фарфоровых изделий прихлебываю мутный желтый напиток, способный раз и навсегда лишит профессиональной чувствительности любого западного дегустатора пива. Но я не просто пью — я думаю. Мои размышления похожи на слоеный пирог: мысли существуют в некоем последовательно слипшемся единстве. Ну, вот, например, только несколько сегодняшних слоев:

— как усыпить бдительность доглядчивой супруги моей Веры Геннадиевны и так непринужденно отдать ей квартальную премию, чтобы она не заподозрила меня в сокрытии четвертака, необходимого мне для регулярных медитаций в «Рыгалето»;

— как уговорить дочь Вику продолжать посещение музыкальной школы, если она ненавидит ее примерно так же, как я некогда ненавидел хор мальчиков, куда меня воткнули родители, переболевшие в свое время страшным, с галлюцинациями и маниями, недугом под названием «Робертино Лоретти»;

— как понадежнее присобачить в ванной отвалившийся кафель, если клей БФ не держит, а под раствор нужно соскабливать окаменевший цемент, что приведет к повальному отлетанию плиток;

— как объяснить тот факт, что Ад и Рай очень легко представить в виде двух блоков памяти некоего гигантского компьютера? Причем первый блок хранит информацию о достойно прожитых жизнях, а второй, соответственно, — о прожитых паскудно. И благодать заключается в том, что хорошую информацию берегут. А возмездие — в том, что плохую информацию стирают. Хотя, возможно, все обстоит как раз наоборот. Именно в этом смысл воздаяния;

— как объяснить супруге моей, опасливой Вере Геннадиевне, что нежелание иметь второго ребенка еще не повод для того, чтобы превращать брачное ложе в лабораторию противозачаточных исследований;

— как выпутаться из дурацкой ситуации с заказчиком, одним гнусным трестом, который хочет свои липовые квартальные отчеты выдавать не в убогой ветхозаветной машинописи, а для достоверности и радости начальства распечатывать свое бессовестное вранье на ЭВМ. Послать к чертям нельзя — Пекровский голову оторвет, а делать — противно...

Ну, и так далее.

«Слой» можно продолжать до бесконечности, но зачем? Во время размышлений я люблю оглядывать пивной зал, похожий на большой вокзальный сортир, где вместо писсуаров установлены пивные автоматы. Все остальное: запах, толчея, антисанитария — полностью соответствуют вышепоименованному помещению. Впрочем, пиво сегодня неплохое, с горчинкой, наверное, останкинское, а бадаевское — кислятина.

Еще мне нравится вслушиваться в шум переполненного зала, выхватывать обрывки разговоров, а если попадется интересный, постараться вычленив его из душного гула, словно русскую речь из шипения, писка, скрипа и бусурманской скороговорки радиоприемника. В «Рыгалето» можно услышать что угодно: от сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой-бригадиром до душераздирающей любовной истории, от парнокопытного мычания до искрометной полемики вокруг воззрений Пьера Тейяра де Шардена... Пиво, как и жизнь, любят почти все, поэтому здесь можно встретить и собирающего опивки бомжа, и доктора философии, интеллигентно пригубливающего из особым образом обрезанного молочного пакета.

— Ну и грязьца! — кротко возмущается пожилой мужичок, с виду командировочный; в одной руке он держит мыльно пузырящуюся кружку, в другой — чемоданчик, похожий на те, что бывают у электромонтеров. — Ну и грязьца!

— Не в Париже! — беззлобно отвечает ему человек с фиолетовым лицом.

И мне совершенно ясно, что «Париж» — последнее географическое название, чудом зацепившееся в его обезвреженных алкоголем мозгах.

— Да уж... — соглашается командировочный и, зажав чемодан между коленей, чтобы не ставить его на загаженный пол, присасывается к кружке. — Да уж, точно — не в Париже!.. — добавляет он, оторвавшись от пива, чтобы перевести дух.

идеологическим играм относился вполне лояльно: мы томились на собраниях три-четыре раза в месяц, а мусульмане творят намаз по несколько раз на день. Как говорится, от добра добра не ищут.

Как сейчас помню, в президиуме за кумачовым столом сидели секретарь партбюро, председатель профкома, престарелый директор ВЦ и его заместитель Леонид Васильевич Пековский, а также некоторое количество рядовых сотрудников в качестве физиологического раствора. Первым докладывал председатель профкома. Он толково разъяснил нам принципы распределения благ, которыми общество щедро осыпает наш «Алгоритм», и, надо отметить, полностью убедил меня в родниковой справедливости этих принципов, но я так и не понял, почему тем не менее блага непременно оказываются в загребущих руках наших начальников и их ближайшего окружения. Мне, грешному, например, за последние пять лет один-единственный раз выдали профкомовскую путевку в дом отдыха «Березки», зимой, на 12 дней. Оттуда я привез домой ужасных рыжих тараканов, вывести которых было просто невозможно, так как в доме отдыха их регулярно травили и, видимо, наконец вывели популяцию, абсолютно невосприимчивую к любым ядохимикатам. Опасливая супруга моя Вера Геннадиевна заявила, что сегодня я принес в дом тараканов, а завтра притащу какую-нибудь заразу похлеще, и на две недели отлучила меня от своего белого тела. Эту форму внутрисемейного воспитания она освоила еще в первые годы нашего супружества, но с тех пор воспитательный эффект сильно ослабел. Кстати, Вика шепнула мне: если я принесу домой что-нибудь похлеще, например котенка или щенка, то она будет просто счастлива!

После профорга выступил по вопросам трудовой дисциплины заместитель директора ВЦ Леонид Васильевич Пековский. Ленька Пековский. Пека. Мы выросли с ним в одном дворе, где возле старинного тополя тихо ржавел и развывался «опель», привезенный из поверженной Германии каким-то офицером, вскоре после этого умершим. Мы учились в одном классе, где на стенах висели неизменные портреты основоположников: две окладистые бороды и одна поменьше — клинышком.

Потом мы поступили в один и тот же институт, где хохотали над чудачествами одних и тех же профессоров и заглядывались на одних и тех же длинноногих однокурсниц. А вот однокурсницы, вы не поверите, поглядывали на меня, а не на Пековского, хотя стараниями внешторговского дяди одет он был всегда изрядно, даже под брюками в морозы носил не темно-синие треники, как мы, грешные, а разымпортные мужские колготы.

Но в те бескорыстные студенческие времена это не вызывало ничего, кроме молодого буйного смеха. Не то что теперь...

После института распределили нас в одно и то же место — в «Алгоритм». Наши столы стояли рядом, мы засиживались допоздна, мучаясь над какой-нибудь трудной задачей, тайком распечатывали для друзей гороскопы и руководства по сексуальной гармонии, а вечерами вместе заходили в «Рыгалето».

Но потом Пека стал расти не по дням, а по часам — старший, ведущий, заместитель заведующего, заведующий и так далее. В институте на последнем курсе он женился на трогательной морской свинке — дочке крупного партийного босса. За развал работы в регионе впоследствии босса законопатили в заместители председателя Всесоюзного комитета информатики, чего Пека, естественно, предвидеть не мог, а просто ему, как всегда, повезло. Ранний брак обременял Пеку примерно так же, как тонюсенькое обручальное кольцо на безымянном пальце, он сибаритствовал, тшился вовлекать в интимную близость наших алгоритмовских дам, вслед за мной называя это бескорыстной гормональной поддержкой одиноких женщин.

Я к тому времени тоже окольцевался — женился на девушке только за то, что она совершенно не реагировала на мое общепризнанное остроумие. Сравнивая ее с разными доступными хохотушками, я вдруг понял: эта утонченная серьезность есть знак высшей душевной и нравственной организации. Результатом стал марш Мендельсона, сыгранный ленивыми музыкантами в Грибоедовском дворце. Когда же выяснилось, что эта утомительная серьезность есть всего лишь признак отсутствия чувства юмора, в кровати за веревочной сеткой уже пищал вырвавшийся на свободу эмбрион по имени Вика, а я сам каждое утро мчался на соседнюю улицу, звеня маленькими младенческими бутылочками, так как у невозмутимой супруги моей Веры Геннадиевны помимо чувства юмора отсутствовало еще и молоко. В семь часов вечера мне нужно было возвращаться домой и заваривать в кастрюльке череду для купания дочери, однако и в те трудные времена я умудрялся заглядывать в «Рыгалето» хотя бы на минуточку. Но Пековского я там больше не встречал: по мере служебного роста он приохотился к фешенебельным «Жигулям», что на Арбате, задружился с тамошними мэтрами и проходил в труднодоступный бар, минуя постоянную длиннющую очередь.

И вот Леонид Васильевич Пековский, одетый в серый твидовый пиджак, вишневый пуловер и нежно-фисташковую рубашку, постукивая по красной скатерти зажигалкой и скашивая глаза на свои швейцарские часы, с иронической полуулыбкой вещал нам о трудовой дисциплине как основе социалистичес-

кого производства. Женщины слева от меня, отложив вязанье, с придыханием обсуждали изумительный галстук Пековского и тот неоспоримый факт, что от него всегда пахнет дорого и волнительно; а мужчины справа от меня, оторвавшись от кроссвордов, спорили, сколько может стоить его электронная японская зажигалка.

— Вопросы есть? — в заключение лениво полубопытствовал Пековский и притронулся к губам носовым платком, совершенно случайно совпадавшим по тону с галстуком. Обращение носило чисто риторический характер, ибо все разговоры о трудовой дисциплине были жалким ритуальным осколком полузабытого мистического энтузиазма первых пятилеток.

— Есть вопросы! — вдруг вскочил со своего места наш правдолюб Букин. Он всегда напоминал мне дружинника, который бросается защищать подвергшуюся нападению хулиганов девушку именно в тот момент, когда честь, возможно, уже утрачена, но зато из-за угла как раз показался «москвичок» с рядом милиции.

— Пожалуйста,— недоуменно кивнул Пековский и вынул из кармана записную книжечку с золотым обрезом.

— Доколе?! — возопил Букин, сжимая в карманах кулаки.

— Конкретнее! — поморщился секретарь партбюро.

— Доколе,— гневно уточнил Букин,— вы, товарищ Пековский, будете беспардонно использовать в корыстных целях свое служебное положение, занятое вами исключительно благодаря кумовству и протекционизму?

Представьте себе на минуточку хлипкого молодого человека, который, отнаблюдав схватку двух каратистов, демонстративно подошел к победителю и плюнул ему в глаза! Представили? А теперь вообразите последствия. Вообразили? Примерно то же самое я подумал и о Букине.

— Что вы имеете в виду? — спокойно спросил Пековский.

— Что я имею в виду? — с истерическим сарказмом передразнил Букин, двигая кулаками в карманах.— Нет, я не имею в виду вашу четырехкомнатную квартиру, полученную вне всякой очереди. Я не имею в виду служебную дачу, которая — я выяснял! — вам не положена. Я не имею в виду «трешку», купленную вами в обход всех списков. Но я имею в виду тот факт, что из двух туристических путевок во Францию, выделенных на «Алгоритм», одну вы втихаря присвоили себе! Извольте объясниться!!

Извергнув все это из недр своей алчущей справедливости души, Букин вынул из карманов побелевшие от напряжения кулаки и сел на место. В зале воцарилась полная тишина, лишь слышался шорох передаваемой из рук в руки газеты.

Когда измятые «Известия» дошли до меня, я прочитал отчеркнутое красным фломастером малюсенькое извещение о том, что заместитель председателя Всесоюзного комитета информатики имярек освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Пековский, конечно же, уловил движение в зале, заметил газету, открыто улыбнулся и сказал, что товарищ Букин напрасно волнуется — со следующего месяца все путевки будут распределяться гласно, на собраниях.

— А почему со следующего? — взвился Букин. — Вы сколько раз в этом году за рубеж выезжали?!

— Ну, четыре... — вздохнул Пековский и сделал скучное лицо.

— Нет, пять! — поправил кто-то из зала.

— Да, действительно... Я забыл про Болгарию... — согласился он, немного смущенный такой широкой осведомленностью своих подчиненных.

— Пять! — по всем правилам ораторского искусства подхватил неугомонный Букин. — Пять! А вот... — Он пошарил глазами по залу. — А вот... ты... — Его лицо напряглось в поиске. — А вот ты, Гуманков, ты хоть раз в жизни выезжал за рубеж?

— Я? — переспросил я.

— Да, ты!

Почему он выбрал именно меня? Ведь в зале сидели почти две сотни советских граждан, никогда не пересекавших государственную границу СССР. Может быть, он выхватил меня, потому что в тот день я был при ярко-зеленом галстуке, который где-то оторвала добычливая супруга моя Вера Геннадиевна? «Он тебя освежает», — отводя взгляд, диагностировала она. Эту хитрость — включать в мою одежду элементы, специально призванные отпугивать других женщин, я разгадал давно: сорочка с жеваным воротничком, брюки с двойной стрелкой, кушые носочки, но в том памятном случае, как вы сами понимаете, галстук цвета взбесившегося хамелеона.

Итак, на вопрос вошедшего в раж Букина я скорбно сообщил, что за рубежами Отечества не бывал ни разу.

— Ни разу! — зловещим эхом повторил Букин. — Гуманков! Лучший программист! Ни разу! Где социальная справедливость?!

— Неужели ни разу? — огорчился Пековский и приветливо кивнул мне головой из президиума. — Но ничего не поделаешь — документы ушли на оформление. Я сожалею...

— Товарищи! — закричал Букин. — Неужели мы допустим, чтобы Пековский поехал в шестой раз, а Гуманков..

— Не допу-у-стим! — взревел зал. — Гуманков! Гу-ман-ков! Гу-ман-ков!

Я подумал, что именно так некогда поднимали людей на баррикады. Моя фамилия неожиданно превратилась в лозунг, знамя, призыв, наподобие «Мир — хижинам, война — дворцам!», в результате чего одинаково хреново пришлось и дворцам, и хижинам.

— Голосуем! — скомандовал Букин, полностью узурпировавший власть у президиума во главе с оцепеневшим от неожиданности директором ВЦ. Впрочем, возможно, это была и обычная старческая прострация: все-таки семьдесят восемь годков не подарок.

— Вы не успеете оформить Гуманкова, — вяло возразил Пековский. — Не поедет никто!

— Пусть лучше никто, чем вы! — парировал Букин. — Кто за Гуманкова?!

Как говорится, взметнулся лес рук. Единогласно. Букин смотрел на меня с торжеством. Пековский — с тоской, смысл которой стал мне ясен лишь позже.

— А кто едет по второй путевке? — вдруг послышался из зала голос, полный надежды на еще одно чудо.

— Муравина... — ответил председатель профкома.

— Кто такая? Не знаем...

— Она работает в филиале. Отличный программист. Активная общественница. К тому же мать-одиночка...

На мать-одиночку рука не поднялась ни у кого.

III

После собрания, совершенно забыв про новорожденного, мы обмывали в «Рыгалето» мою будущую поездку в Париж. Даже непьющий Букин увязался за нами, чтобы послушать восторги по поводу собственного мятежного красноречия и подольше полюбоваться мною — мучительным плодом его любви к справедливости. Захорошев, друзья начали давать мне советы, суть которых сводилась к тому, что самое главное в групповом туризме сразу разобраться, кто из органов, а кто собирается «соскочить», — и держаться подальше от обоих.

— А как узнать? — недоумевал я.

— Ничего сложного: увидишь — догадаешься!

Вернувшись домой, я застал бдительную супругу мою Веру Геннадиевну гонящуюся с тапочком в руке за одним из тех неуморимых тараканов, импортированных из «Березок».

— Картошки не было! — доложил я первым делом, так как с утра имел приказ купить пять килограммов.

— А картошки в пивных никогда и не бывает! — пожалала плечами жена.

— Прости, я просто забыл... Мне сегодня на собрании... выделили путевку!

— Ты хочешь к рыжим тараканам добавить черных?

Кстати, воспользовавшись моим появлением, гонимое насекомое юркнуло под диван, который, вероятно, в их тараканьей картине мироздания именовался «Великий свод спасения» или еще как-нибудь в этом роде.

— Думаю, там, куда я еду, тараканов нет! — по возможности загадочно ответил я.

— Будут. А куда ты едешь?

— В Париж!

— Вы переименовали «Рыгалето» в «Париж»? — предположила язвительная супруга моя Вера Геннадиевна, вставая с пола и надевая тапочек.

— Нет, честное слово — я еду в Париж. По турпутевке. Вместо Цековского...

— Да, я читала про его тестя. Посмотрим, как этот плейбой теперь повернется! Но почему именно ты? Тебя же никогда никуда...

— Именно поэтому.

— А сколько стоит путевка?

— Не знаю, но обычно профком оплачивает процентов пятьдесят...

— М-да... Послушай, Гуманков, давай лучше по этой путевке поеду я...

— Нельзя. Она именная! — ответил я наобум и, видимо, убедительно.

— Ну конечно... Я не подумала. Иди мой руки — будем ужинать...

Когда мы поженились после полугода томительного скитания по вечерним киносеансам и незнакомым подъездам, моя молодая неулыбчивая жена умела только варить суп из концентратов и жарить яичницу-глазунью. Многомудрая теща, с которой мы жили первые годы, считала, что чрезмерная подготовленность женщины к браку развращает мужа, оттесняя его от полезного семейного труда. Со временем Вера Геннадиевна, конечно, освоила и борщи, и котлеты, и пироги, но делала все это без души, словно тяжкую повинность, наложенную на слабый пол самой природой.

Итак, я дернулся в ванную, чтобы ополоснуть руки, но там было занято.

— Кто это? — послышался изнутри голос моей единственной дочери Виктории — грядущей жертвы женского равноправия.

— Дядя Вася с волосатой спиной! — ответил я раздраженно.— Открой, мне нужно вымыть руки.

— Я голая! — жеманно сообщила мне моя восьмилетняя дочь.

— Одетыми не купаются...

— Я стесняюсь...

— У тебя там и смотреть-то не на что!

— Откуда ты знаешь?

— Видел.

— Когда?

— В детстве.

— Значит, ты тоже подглядывал за девочками?!

— Конечно.

— Тогда мой руки в кухне, надсмотрщик.

На кухне меня ожидала тарелка гречневой каши, политой остатками печеночной подливки. Гречневую кашу я ненавидел с детства, с тех самых пор, когда посещал детский сад завода «Пищекопцентрат», где нас кормили почти исключительно гречкой и укормили на всю оставшуюся жизнь.

— Опять? — не удержавшись, спросил я и был крайне удивлен, ибо вместо привычного ворчанья о том, что она тоже ходит на службу и к каторжным работам на кухне ее никто не приговаривал, непредсказуемая супруга моя Вера Геннадиевна вдруг предложила поджарить отбивную и отварить картошечки. Еще удивительнее было то, что она даже намеком не коснулась своей излюбленной темы — моего обозначившегося живота. Нет, пока только животика.

— От картошки толстеют...— засомневался я.

Но вместо того, чтобы усть меня традиционным сарказмом по поводу исключительной малокалорийности пива, она молча вывалила в мойку последние корнеплоды и начала срезать кожуру. Тогда — окончательно проясняя ситуацию — я подошел к холодильнику, достал банку консервированных огурцов и, не спросив позволения, открыл ее. Я-то знал, что огурцам уготована иная, празднично-салатная судьба, и ждал взрыва негодования, но его не последовало.

— Гуманков,— абсолютно ласково спросила Вера Геннадиевна.— Ты меня разыгрываешь с Парижем?

— Клянусь!

— Тогда я должна позвонить! — серьезно ответила она, покидала в кипящую воду кубически оструганные картофелины и ушла к своему ненаглядному, обожаемому, нежно любимому аппарату. Думаю, если наладить выпуск телефонов определенной формы, множество женщин полностью откажутся от общения с мужчинами.

Тем временем из ванной появилась Вика — в длинном материнском халате и тюрбане, сооруженном из мокрого полотенца. Она изумленно посмотрела на початую банку огурцов и, запустив туда руку, выловила два, покрупнее. Любит соленое, как и отец: все-таки мои гены покрепче Веркиных оказались!

— Игрушки из ванны вынула? — строго спросил я.

— Вынула, — кивнула она, рассматривая зернистую поверхность огурца. — У меня есть вопрос!

— Если уроки сделала, то — пожалуйста! — разрешил я.

Дело в том, что, по заключенной между нами конвенции, каждый вечер она имела право задать мне один вопрос на любую волнующую ее тему. На любую! Идя на этот отцовский подвиг, я побаивался, но оказалось, аистово-капустные вопросы занимают совершенно незначительное место среди волнующих ее детское воображение проблем.

— Как ты думаешь, — спросила Вика, — в следующей жизни у меня будут такие же волосы или другие?

Вика получилась у нас светленькой.

— В следующей жизни ты вообще можешь оказаться лягушкой, если будешь вести себя кое-как!

— Ну, а если я буду снова человеком, — поморщилась она от моей дешевой дидактики. — Какие у меня будут волосы?

— Любые. Никто не знает. Может, ты вообще родишься курчавой негритяжкой... Или индианкой...

— Но если я буду негритяжкой, то это буду уже не я?!

— Конечно!

— Тогда это просто глупо!

— Что именно?

— Хорошо себя вести, прилежно учиться, помогать маме... А волосы твои достанутся какой-нибудь негритяжке!

Поздно вечером позвонил Пековский, чего давно уже не случалось. Трубку, естественно, сняла Вера Геннадиевна, нетерпеливо ожидавшая звонка своей подружки-сплетницы. Но и с Пековским у нее нашлись общие темы. Ворковали они долго, и по тому, как моя благоверная охала, вздыхала и похохатывала, я догадался, что Пеке от меня что-то нужно. Наконец к нагревшемуся аппарату был допущен и я. Пековский с залихватистым смехом вспомнил сегодняшнее собрание, передразнивал возмущенные бормотания нашего полуживого директора, а потом заверил, что искренне рад за меня и даже готов помочь с оформлением документов.

— Сам ты не успеешь, — предупредил он. — Неси шесть фотографий для загранпаспорта. Не перепутай — для загранпаспорта, в овале. Заполняй анкету. Остальное я беру на себя. Жаль, если никто не поедет, — все-таки Париж!

— Спасибо! — ответил я таким тоном, дабы он понял: мне за тридцать, и я давно усвоил, что просто так на этой земле ничего не делается.

— Ерунда! — засмеялся он.— Мы же давние друзья...

— Давнишние...— на всякий случай уточнил я.

— Ну, если ты такой щепетильный,— посерьезнел Пека.— Я тебя тоже кое о чем попрошу...

— О чем?

— Узнаешь... Потом...

В последний раз он просил меня лет семь назад: речь шла о симпатичной и веселой практиканточке, чрезвычайно ему понравившейся. Я, конечно, не стал мешать, но у него все равно ничего не вышло, потому что девушку страшно сместила манера Пековского заглядывать в попутные зеркала и проверять незыблемость своего зачеса...

IV

Пековский сдержал слово: документы были оформлены на удивление быстро и легко. Пара собеседований, пяток справок, трижды переписанная анкета, маленькая неразбериха с фотографиями — все это, как вы понимаете, просто пустяки. Кроме того, он настоял на том, чтобы профком, к радости скаредной супруги моей Веры Геннадиевны, оплатил мне не пятьдесят, как обычно, а сто процентов стоимости путевки, нажимая на то, что в поездку меня выдвинул коллектив,— а значит, ее можно считать одноразовым общественным поручением. «Какой благородный мужчина!» — взволнованно шептали собравшиеся перекурить алгоритмовские дамы, когда Пековский, обдав их волной настоящего «Живанши», деловито проходил по коридору. «Что же он за все это у меня попросит?» — гадал я.

Организационно-инструктивное собрание нашей спецгруппы имело место быть в белокаменном городском доме политпросвета, в просторной комнате для семинарских занятий, где все стены увешаны картинками из жизни Ленина, который, как известно, лучшие свои годы провел в дальних странах. За полированным преподавательским столом капитально возвышался руководитель нашей спецгруппы товарищ Буров — человек с малоинформативным лицом и райсоветовским флажком в петличке, сразу дающим понять, какое положение занимает его обладатель в обществе,— так же, как размер папочки, продетой сквозь ноздрю, определяет иерархию папуаса в племени чу-му-мри. Товарищ Буров, очевидно, лишь недавно

научился говорить без бумажки и потому изъяснялся медленно, но весомо.

Кстати, войдя в комнату для семинарских занятий, он так и отрекомендовался: «Руководитель специализированной туристической группы товарищ Буров». И хотя я с детства люблю давать людям разные забавные прозвища, в данном случае пришлось, открыв блокнот, записать кратко и уважительно:

«1. Товарищ Буров — рукспецтургруппы».

А возле нашего могущественного начальника, изнывая от подобострастия, вился довольно-таки молодой человек, одетый с той манекенской тщательностью и дотошностью, которая лично у меня всегда вызывает смутное предубеждение. Похожие ребята на разных там встречах в верхах, протокольно улыбаясь, услужливо преподносят шефу «паркер» или нежно прикладывают пресс-папье к исторической подписи. Но у заместителя руководителя спецтургруппы Сергея Альбертовича — а это был именно он — улыбка напоминала внезапный заячий испуг, что, видимо, резко сказалось на его карьере: какой-то референт в каком-то обществе дружбы с какими-то там странами, — так представил его нам товарищ Буров.

Я немного подумал и записал в блокноте:

«2. Друг Народов, замрукспецтургруппы».

Друг Народов то вскакивал со стула, то снова садился, то вглядывался в свои часы, которые вынимал из жилетного кармана, а то, выставив свои заячьи зубы, начинал что-то нежно шептать товарищу Бурову. Тот выслушивал его с державной непроницаемостью и медленно кивал. Я огляделся: в комнате кроме меня и руководства сидели еще пять человек — четверо мужчин и одна женщина. В проходе, между столами, виднелась ее наполненная хозяйственная сумка, и женщина явно нервничала, так как инструктивное собрание все никак не начиналось, а ей, очевидно, нужно было поспеть в детский сад и забрать ребенка еще до того, как молоденькие воспитательницы, торопящиеся домой или на свидание, начнут с ненавистью поглядывать на единственного оставшегося в группе подкидыша. А может быть, подумал я, она торопится, чтобы забрать ребенка не из детского сада, а из школы, из группы продленного дня? Трудно сказать наверняка: блондинки иногда выглядят моложе своих лет.

— А кого ждем? — решил я прояснить обстановку.

— Вы спешите? — сурово спросил товарищ Буров.

— Нет...

— Тогда обождите. Вопросы будете задавать, когда я скажу...

В этот миг дверь распахнулась, и в комнату вступила пышная дама лет пятидесяти с высокой, впросинь, прической, еще пахнувшей парикмахерской. Одета она была в тот типичный импортный дефицит, который является своеобразной униформой жен крупных начальников.

— Разве я опоздала? — удивилась вошедшая.

По тому, как засуетился Друг Народов, а товарищ Буров привел свое лицо в состояние полной уважительной приветливости, я утвердился в догадке, что вновь прибывшая дама — жена большого человека. Именно жена, для самостоятельной начальницы на ней было слишком много золотища и ювелиричины.

— О чем вы говорите! — вскричал замрукспецтургруппы, целуя Н-ской супруге руку. — Как раз собирались начинать...

— Везде такие пробки... Даже сирена не помогает! — присосанившись, объяснила она.

«3. Пипа Суринамская»,

— записал я. Это такая тропическая лягушка (ее недавно показывали в передаче «В мире животных»), она в зависимости от ситуации может раздуваться до огромных размеров, но, бывает, и лопается от натуги.

— Ну что ж, начнем знакомиться? — радостно выпростав зубы, спросил Друг Народов и выжидающе глянул на рукспецтургруппы, а тот, помедлив для солидности, разрешающе кивнул головой, как лауреат-вокалист кивает нависшему над клавиатурой концертмейстеру:

— Не возражаю.

— Я буду читать список, — объяснил Друг Народов. — А вы будете откликаться. Договорились? Войцеховский Николай Иванович, летчик-космонавт...

Никто не отозвался, а товарищ Буров, нацепивший очки, чтобы следить за переключкой по личному списку, раздраженно поглядел на заместителя поверх оправы.

— К сожалению, — спохватился Друг Народов, — товарищ Войцеховский... Одним словом, вопрос, полетит ли он с нами в Париж или без нас в космос, решается... Он в дублирующем составе... Поэтому...

— Поэтому переходите к следующему пункту! — строго посоветовал товарищ Буров.

— Следующий — Дудников Борис Захарович...

Встал толстенький молодящийся дядя с ухоженной лысиной, одетый в лайковый пиджак и украшенный ярким шейным платком. Всем видом он так напоминал творческого работника, что я сразу догадался: из торговли. Так и оказалось — заместитель начальника Кожгалантерейторга.

— В случае чего мы вас за космонавта выдадим! — хохотнул Друг Народов, но, не найдя отзыва на лице товарища Бурова, осекся.

А я записал в блокноте:

«4. Торгонавт».

— Епифанов Михаил Донатович, — продолжил Друг Народов. — Заведующий кафедрой философии. Профессор.

На эту фамилию откликнулся седоволосый субъект в реликтовых круглых очках, академически-залоснившимся костюме и даже с авторучкой в нагрудном кармане пиджака.

— Учтите, — предупредил его товарищ Буров. — В случае дискуссий вы, как специалист по истмату...

— Диамату, — вежливо поправил профессор.

— Не имеет значения. Как специалист — вы наш главный боец!

— Не подведу! — с какой-то непонятной для философа готовностью отозвался Донатыч.

«5. Диаматыч»,

— записал я.

— Муравина Алла Сергеевна. Вычислительный центр «Алгоритм». Инженер-программист, — объявил Друг Народов.

Поднялась блондинка, торопившаяся в детский сад или школу, и оказалась весьма стройной.

— Это я, — сказала она.

— Мы видим, — одобряюще кивнул товарищ Буров. — Языком владеете?

— Немного...

— Будете в активе руководства.

— А что это значит?

— Вам объяснят. Садитесь.

«6. Алла с Филиала»,

— пометил я в блокноте и подумал, что женобес Пековский не случайно хотел прокатиться в Париж вместе с этой симпатичной блондинкой, более того — в последнее время он постоянно пропадает на филиале якобы в связи с острой производственной необходимостью. Теперь все встает на свои места. К тому же гражданка Муравина — мать-одиночка, а Пековский смолоду специализируется на брошенках: никаких ревнивых недоразумений и слезы благодарности по утрам.

— Мазуркин Анатолий Степанович, рабочий Нижне-Тагильского трубопрокатного комбината, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, — прочитал Друг Народов.

— Тут! — вскочил маленький жилистый мужичок с огромным кадыком, норотившим все время уползти и спрятаться за огромный галстучный узел.

— Вот и гегемон у нас появился! — улыбнулся заячьими зубами Друг Народов.

— Как с планом? — с государственной заботой поинтересовался рукспецтургруппы.

— А куда на хрен он денется? — ответил гегемон прокуреным голосом.

«7. Гегемон Толя»,

— тут же записал я.

— А еще? — спросил товарищ Буров.— Кто у нас еще из основных категорий?

— Еще у нас колхозное крестьянство представлено! — сообщил замрукспецтургруппы.— Паршина Мария Макаровна, бригадир доярок колхоза «Калужская заря».

— Где?

— Еще не приехала. Председатель не отпускает — коров доить некому...

— Возьмите на контроль! — приказал товарищ Буров.

— О чем вы говорите! Можете не беспокоиться!

Я поразмышлял и решил отсутствующей бригадирше дать условное имя:

«8. Пейзанка».

— А теперь у нас пошла творческая интеллигенция,— сообщил Друг Народов.— Кирилл Сварщикова, поэт, лауреат премии имени Элиота Йельского университета и имени Василия Каменского Астраханского обкома комсомола.

— Приветик!

Поэт встал и раскланялся с добродушием своевременно похмелившегося человека. Одет он был в ярко-желтую замшевую куртку, но воротник и плечи по причине длинных жирных волос выглядели словно кожаные. Между прочим, про этого парня я слышал. Он входил в группу поэтов-метеористов, которые объявили: все предыдущие поколения просто входили в литературу, а они ворвались в нее, что ваши метеоры.

«9. Поэт-метеорист»,

— зафиксировал я.

— Учтите, главное за границей — дисциплина! — предупредил товарищ Буров, недоверчиво оглядывая Поэта-метеориста.

— Мне уже говорили! — отозвался тот довольно независимо.

— И наконец — Филонов Борис Иванович, специальный корреспондент газеты «Трудовое знамя»! — объявил Друг Народов голосом конферансье, старающегося замять какую-то накладку в представлении.

Это был бородатый плечистый молодой человек в джинсах, штормовке и с фоторепортерским коробом через плечо. Он встал и шутливо поклонился на все четыре стороны, как боксер на ринге.

— В каком отделе работаете? — смерив его взглядом, спросил товарищ Буров.

— В отделе коммунистического воспитания.

— У Купрашевича?

— У Купрашевича.

— Понятно...— кивнул наш руководитель, взглядом осуждая цепочку на шее спецкора («10. Спецкор»,— успел записать я).— Будете, товарищ Филонов, в активе руководства! Пропагандистом.

— Лучше контрпропагандистом! — подсказал Спецкор.

— Не возражаю. Поможете составить отчет о поездке.

— Запросто! Мне все равно в конторе отписываться...

— Товарищи! — вдруг воззвал рукспецтургруппы, медленно вставая, и я понял, что начинается тронная речь.— Каждый советский человек, выезжающий за рубеж,— это полпред нашего, советского образа жизни...

Пока он нудил о пропагандистском значении предстоящей поездки и о взглядах всего прогрессивного человечества, обращенных на нас, я поймал себя на мысли, что — хоть убей — не могу вот так, с ходу определить, кто из собравшихся в комнате стукач, а кто собирается соскочить. Любого можно было заподозрить как в том, так и в другом. За исключением, пожалуй, Аллы с Филиала.

— ...так что прежде всего мы едем в Париж работать! — закончил товарищ Буров, пристукнув ладонью по столу.— Вопросы есть?

— Есть.

— Спрашивайте!

— А я? — спросил я.

— Кто — я? — уточнил Друг Народов.

— Гуманков...

— А вы разве в списке?

— Нет.

— В чем же тогда дело?

— В этом и дело.

— Откуда вы?

— Из ВЦ «Алгоритм»... Вместо Пековского...

— Так вы же не успели оформить документы...

— Успел...

— М-да,— буркнул товарищ Буров, нехорошо глянув на своего заместителя, а потом конфузно на Пипу Суринамскую,

которая, в свою очередь, с таким гневным интересом углубилась в разноцветный «Огонек», словно нашла там антисоветчину.

— Я вообще не понимаю, как на одну организацию могли выделить две путевки! Это — нонсенс! — громко возмутился Друг Народов.

— Помолчите! — перебил его товарищ Буров.

Вот и все. Спецтургруппа смотрела на меня с состраданием и облегчением, будто в меня только что угодила шальная пуля «дум-дум», а могла ведь попасть в любого. Впрочем, эта история с нежданно-негаданно обломившимся мне Парижем была настолько чужеродна для моей заунывной жизни, что подобного бесславного окончания и следовало ожидать.

— До свидания! — сказал я, вставая.

— Обождите, — остановил меня товарищ Буров. — Это вас собрание выдвинуло?

— Меня...

— Ладно, будем считать вас в резерве.

— Как это?

— А так. Если космонавт Войцеховский полетит... Вернее, если он не полетит... Одним словом, слушайте ТАСС.

— Понял, — усмехнулся я и с негодованием посмотрел в сторону Аллы с Филяла.

Она покраснела и отвернулась к окну. Мне было совершенно ясно: на мое кровное место вперли эту толстомясую Пипу Суринамскую, чтобы подмазаться к ее крупняку-мужу, но злился я почему-то именно на уставившуюся в окно очередную пассию любострастного Пеки.

— Записывайте, — распорядился Друг Народов. — Завтра здесь же, в это же время будет лекция о международном положении и политической ситуации во Франции. Явка строго обязательна. А теперь поднимите руки те, кто никогда не был за границей.

Руки подняли я (в качестве резерва), Гегемон Толя, Торгонавт и Алла с Филяла.

— А теперь те, кто был в соцстранах.

Руки подняли Диаматыч, Поэт-метеорист и Пипа Суринамская.

Наши руководители озабоченно переглянулись, и товарищ Буров медленно кивнул головой.

— Записывайте, — распорядился Друг Народов. — Водка (или коньяк) — две бутылки. Колбаса сухая — один батон. Селье — три пары...

Буквально до последнего момента я пребывал в полной неизвестности: еду — не еду... Непонятно... Я исправно ходил на все лекции, беседы, инструктажи в дом политпросвета, с меня даже взяли пятнадцать рублей на общественные сувениры, но красную шапочку с надписью «СССР — Франция» в отличие от других я не получил. Спецкор, оказавшийся остроумцем, называл меня резервистом, а Алла с Филиала при встрече отводила глаза, и я никак не мог определить, какого они у нее цвета. Космонавт Войцеховский в доме политпросвета не появлялся, но и от поездки тоже не отказывался, хотя однажды его показали по телевизору крутящимся на центрифуге. На работе меня донимали предложением написать куда-нибудь коллективный протест, Пековский уверял, что все будет тип-топ, а дома супруга моя, недоверчивая Вера Геннадиевна, смотрела на меня как на дауна, сожравшего по рассеянности выигрышный лотерейный билет.

За два дня до отъезда, поздно вечером позвонил Пека. Трубку совершенно случайно взял я.

— Он на орбите. Завтра о нем будет в газетах.

— Врешь! — не поверил я.

— У парня из основного состава обнаружили простатит. Представляешь, как обидно! Говорят, он уже чехлы для «Волги» купил. Им за успешный полет, кроме цацок, «Волгу» выдают...

— Откуда ты все это знаешь?

— У меня приятель в Звездном живет. А там, как в коммуналке... Они за эти полеты, как мы за «заграйки», глотку рвут... А ты ведь понял, о чем я тебя попрошу?

— Конечно.

— Догадливый. Попробуем тебя на сектор двинуть.

— Не надо. Уже пробовали... А она очень приятная женщина...

— Так чего же ты на нее волком смотришь?

— Жаловалась?

— Она никогда не жалуется. Просто сказала: жаль, что такой милый человек, как ты, на нее обижен...

— Виноват. Но быть в резерве — очень вредно для нервов, — попытался отшутиться я. — Теперь буду смотреть на нее с обожанием!

— Не надо, — голос Пеки посерьезнел. — Не надо смотреть на нее с обожанием. Твое дело присматривать...

— Шпионить, что ли?

— Н-да, быть в резерве — вредно не только для нервом

Шпионить там будет кому. Твое дело, повторяю, присматривать. Она женщина легкоранимая, тонкая, а в поездках, сам знаешь, ситуации разные случаются. Особенно мне не нравится этот ваш Буров...

— Мурло аппаратное...

— Вот именно,— подтвердил Пека.— Значит, понял?

— Понял, понял...— дурашливо согласился я.— Мое дело — сторожить.

— Кончай придуриваться!

— Охранять.

— Гуманков, ты неблагодарная свинья!

— Оберегать.

— Почти правильно.

— Беречь.

— Точно.

— Для тебя.

— Для меня.

— Ты гигант гормональной индустрии! Я тебя уважаю! — мне удалось сказать это почти беззлобно.

— Это не гормональная поддержка. Это серьезно,— каким-то не своим голосом ответил Пековский.

— Ты откуда говоришь?

— Из автомата. С собакой гуляю. Понимаешь?

— Понимаю. Не беспокойся. Можешь положиться на меня, как на себя самого!

— А вот этого не нужно! — засмеялся он и повесил трубку.

Сколько раз я ездил в командировки, но никогда супруга моя, беззаботная Вера Геннадиевна, не собирала меня в путь-дорогу. И лишь когда чемодан бывал уже застегнут и поставлен у двери, она чуть отрывала его от пола и саркастически предупреждала: «Не надорвись, Гуманков!» В этот раз все было по-другому. Жена трижды ездила за консультацией к своей двоюродной сестре, вышедшей замуж за сантехника-международника. Я не шучу: в наших посольствах работают только свои, вплоть до дворника и посудомойки, причем процветает такая же непробиваемая семейственность, как в дипломатии или, скажем, в музыке. Чтобы стать сантехником-международником, нужно родиться в семье сантехника-международника или, в крайнем случае, жениться на дочке одного. Кроме того, Вера Геннадиевна посвятила несколько часов обзавиванию тех наших знакомых, которые так или иначе имели дело с заграницей. Обобщив все советы и рекомендации, она тщательно укомплектовала мой чемодан с таким расчетом, чтобы любую свою нужду или потребность вдали от Родины я мог удовлетворить, не потратив ни сантима из тех трехсот франков, каковые нам

обещали выдать по прилете в Париж. На случай продовольственных трудностей в чемодан были заложены несколько банок консервов, два батона сухой копченой колбасы, три пачки галет, упаковка куринобульонных кубиков, растворимый кофе, чай, сахар, кипятильник, две бутылки — водка «Сибирская» и коньяк «Аист». Отдельно, в специальном свертке, таилась железная банка черной икры — на продажу. Имелся и небольшой тульский расписной электросамовар — для целенаправленного подарка.

— С икрой не торопись! — поучала предусмотрительная супруга моя Вера Геннадиевна. — В отеле она идет дешевле, сдай в городе...

— Не умею... — хныкал я.

— Ничего сложного: делай, как все. Самовар подарить в семье. Должны отдарить. У них так принято.

Поздно вечером накануне отъезда, когда Вика, получив заверения, что ей будет доставлено не менее десяти упаковок надувной фруктовой, с комиксами внутри, жевательной резинки, ушла спать, а я, последний раз проверив оба будильника (второй для надежности заняли у соседней), завалился в постель, — ко мне, благоухая всевозможными шампунями, дезодорантами и духами, пришла супруга моя, обольстительная Вера Геннадиевна. Действовала она четко, слаженно, деловито, точно выполняла какую-то лишь ей одной ведомую показательную программу. Я мысленно поставил ей 5,7: все-таки не хватало артистизма.

А потом она включила ночник, достала из тумбочки листок бумаги, развернула — и я увидел нарисованную фломастером карту, напоминающую те, по которым в детских книжках ищут сокровища пиратов. Место, где спрятано сокровище, было обозначено, естественно, крестиком.

— Это магазин, — объяснила жена. — Хозяин — мосье Плюш. Он говорит по-русски. Передашь ему привет от Маны...

— Кто это?

— Неважно. Просто передашь привет. У него можно купить дубленку за триста франков.

— У меня есть плащ.

— Дубленка нужна мне. 300 франков — очень дешево. Потому что с брачком. Но ты его даже не заметишь. Это у нас, если брак, то рукав оторван или воротник, а у них: шовчик где-нибудь косит или фактура кусков немножко не совпадает. Только не перепутай размер. Вот я тебе все написала — рост, грудь, талия, бедра... На всякий случай...

— А если я не найду этот магазин?

— Найдешь. Все находят.

— А если времени не будет?

— Не волнуйся — я узнала. На Лувр — туда поведут обязательно — дается два часа. Час тебе на музей. Потом побежишь в магазин. Туда-обратно — полчаса. В магазине полчаса. Хватит за глаза — очередей у них нет. Возвращаешься с дубленкой и ждешь группу на выходе. Отработано... Все так делают...

— А если...

— Тогда лучше не возвращайся! — всерьез предупредила непреклонная супруга моя Вера Геннадиевна, а потом рассмеялась и поцеловала меня в нос...

В шесть часов утра мы стояли на безлюдной темной улице и ловили такси. С вечера обещали заморозки, и выбоины в асфальте были затянуты белым струпчатым ледком, лопавшимся под ногой с каким-то барабанным звуком. Ветер шевелил кучи опавших листьев и продувал даже мой утепленный плащ, в котором я хожу всю зиму.

Такси не было. Вообще. Только черные московские «Волги» мчались куда-то, высокомерно не обращая внимания на протянутую руку Веры Геннадиевны.

— Надо было заказать по телефону, — посетовал я.

— Пробовала. Глухо, — ответила она.

Хорошенькое дельце: быть единодушно избранным коллективом, победить в безмолвной схватке с космонавтом Войцеховским — и не попасть в Париж из-за такси! Вот уж действительно страна вечнозеленых помидоров! Меня охватило чувство слезливого бессилия перед унылой судьбой. Сжав губы, Вера Геннадиевна, видимо, просталась со своей дубленкой от мсье Плюша. И вдруг показалось такси. Нет, сначала на взгорке, точно волчий глаз, мелькнул зеленый огонек. Исчез. А потом салатного цвета «Волга» с шашечками на боку вынырнула уже совсем рядом с нами и резко затормозила, даже вильнув в сторону.

— В Шереметьево-2! — отчаянно и гордо крикнула жена.

Таксист молча показал на трафарет «В парк» и уехал.

— Когда вы встречаетесь? — спросила сникшая супруга моя Вера Геннадиевна.

— В 7.15 под табло в зале вылета, — заученно ответил я.

— Значит, у нас еще минут двадцать в запасе... Не больше...

Судьба приходит к нам в разных обличьях. Это может быть письмо, телефонный звонок, стук в дверь. Ко мне в то знобящее утро судьба приехала в виде большой помойной машины. Честное слово! Огромный грузовик с оранжевым резервуаром вместо кузова выскочил неизвестно откуда и остановился возле нас. Сверху из кабины свесился водитель и спросил:

— Куда?

— В Шереметьево-2,— вяло ответили мы.

— Садись — поехали!

Одной рукой цепляясь за поручень, а другой влача за собой чемодан, забыв даже попрощаться с женой, я полез наверх, в пахнущую помойкой и бензином кабину. Усевшись и устроив между ногами чемодан, я глянул вниз: осиротевшая супруга моя Вера Геннадиевна махала мне рукой, а я, сжав кулак, ответил ей приветствием испанских республиканцев: «Они не пройдут! Но пасаран!»

В пути выяснилось, что рядом с аэропортом расположена большая городская свалка — туда и ехал мусоровоз.

— Куда летим? — спросил водитель.

— В Париж,— смущенно ответил я.

— А-а-а,— протянул он, точно я сказал «В Пермь».— Говорят, там винище дешевое...

— Посмотрим...

— А чего смотреть — ты попей! Хоть память останется...

Никогда прежде я не ездил в кабине такого грузовика. С верхотуры казалось, что попадавшиися навстречу легковушки проскакивают чуть ли не у нас между колес. Когда мы проезжали пост ГАИ на Окружной, водитель по-приятельски помахал пестовому, а тот отдал честь, словно бронированному правительственному лимузину.

— Друг? — спросил я.

— Нет. Иногда домой подбрасываю...

Возле Шереметьева навстречу нам попала темно-кофейная «трешка» Пековского: обознаться было невозможно из-за уникальной наклейки на лобовом стекле и клептоманского количества дополнительных фар и прочих бирюлек на бампере. «Жене, конечно, наврал, что повез к самолету периферийного заказчика! — подумал я.— А может, теперь, после низложения тестя, он ей вообще не докладывается? Но светиться в аэропорту, хитроныра, все равно не стал...»

Мы затормозили в том месте, где от шоссе ответвляется эстакада, ведущая прямо к стеклянным самораскрывающимся дверям аэропорта: дальше на мусоровозе было нельзя. Я расплатился, пообещал пропустить сквозь печень максимальное количество французских винопродуктов и прыгнул на землю, слегка подвернув ногу.

Когда через пять минут, прихрамывая и перекладывая чемодан из руки в руку, я появился под табло в зале вылетов, то увидел монументального товарища Бурова в официальном темно-синем плаще и мятущегося возле него Друга Народов, одетого в длиннополое кожаное пальто.

— Почему опаздываете? — сурово спросил рукспецтургруппы.

— Понимаете, такси...

— Это ваши трудности! — перебил меня Друг Народов.— Срочно заполняйте таможенную декларацию.

— А где? — не понял я.

— Это там,— махнул рукой замрукспецтургруппы, брезгливо пригнувшись ко мне.

Размышляя о том, как, должно быть, страдают от своей профессиональной пахучести водители мусоровозов, я двинулся в указанном направлении. Кстати, потом выяснилось, что наши предусмотрительные руководители назначили сбор группы на час раньше, чем нужно. На всякий случай...

VI

Следуя указанию, я подошел к круглому, как у нас в «Рыгалето», столику, где уже расположились Алла с Филиала и Торгонавт. Всем своим видом я старался продемонстрировать, что оформить декларацию для меня такое же привычное дело, как, например, заполнить приходно-расходный ордерок в сберегательной кассе, куда по указанию накопительной супруги моей Веры Геннадиевны вкладываются все мои явные премии. Удивительно, как глубоко сидят в нас подростковые комплексы: гораздо проще опозориться, отдавив девчонке ноги, чем честно признаться, что вальса-то ты как раз танцевать и не умеешь.

Чтобы, не привлекая к себе внимания, сообразить, откуда они добыли чистые бланки, я принялся оглядываться с видом пресыщенного экскурсанта.

— Вот, пожалуйста! — Алла с Филиала протянула мне листочек.— Я на всякий случай взяла лишний...

— Благодарствуйте! — вместо человеческого «спасибо» отчекучил я.

— Извольте! — в тон мне ответила она и сделала еле заметный книксен.

Достав ручку, я лихо вписал в соответствующие графы свои Ф. И. О.— Гуманков Константин Григорьевич, а ниже свое гражданство — СССР. Но зато в следующем пункте столкнулся с непреодолимыми трудностями: «Из какой страны прибыл?» Дальше опять было понятно: «В какую страну следует?» В Париж, с вашего позволения. Потом шли дотошные вопросы про оружие и боеприпасы, наркотики и приспособления для их употребления, предметы старины и искусства, советские рубли и чеки, золото-бриллианты и зарубежную валюту, изделия из

драгоценных камней и металлов, а также лом из этих изделий... Все это более-менее ясно, если не считать оставшихся у меня после расчета с мусорщиком тридцати четырех рублей с мелочью. Но иррациональный вопрос: «Из какой страны прибыл?»... А если я никогда, даже в материнской утробе, не покидал пределы Отечества? Тогда что? Я осторожно посмотрел на Торгонавта, который, почесывая лысину, напряженно вглядывался в декларацию, словно это был кроссворд из «Вечерки».

— Как вы думаете,— уловив мой взгляд, спросил он.— Золотые зубы вписывать?

— Не надо. Вы же не в Бухенвальд едете! У моего друга платиновый клапан в сердце — он и то никогда не вписывает! — Но это сказал не я, а появившийся Спецкор. Одет он был точно так же, как в день, когда я увидел его впервые, только, кроме фотокоровского короба, имелась еще большущая спортивная сумка.

— Я так и думал! — облегченно вздохнул Торгонавт.

— А вот перстенок запишите. За контрабанду могут в Бастилию посадить!

— Бастилию сломали...— грустно отозвался Торгонавт и покосился на свой массивный золотой перстень с печаткой в виде Медного всадника.

— Какие еще трудности? — в основном к Алле с Филиала обратился жизнерадостный Спецкор.— Заполняю декларации. Оказываю другие мелкие услуги. Плата по таксе. Такса — пять франков...

— А в рублях берете? — спросил я.

— По-соседски... На чем застряли? — Он пробежал глазами мой бланк и достал ручку: — Типичный случай... Запомните: прибыли вы из СССР.

— Странно...

— Ничего странного. На обратном пути напишете: «Прибыл из Франции». Если, конечно, вернетесь... И не ищите логики в выездных документах. Это — сюр! А сколько у вас рубликов с собой?

— Тридцать четыре... с мелочью...

— Больше тридцати нельзя. Строго карается. Пишу — ровно тридцать.

— А если проверят? — ненавию себя за трусость, тем более в присутствии Аллы с Филиала, проговорил я.

— Нужно уметь рисковать! — подмигнул Спецкор.— Оружие спрятали надежно?

— Мое оружие — советский образ жизни!

— Неплохо, сосед! Декларацию сами подпишете или тоже доверите мне?

Я подписался под десятком «нет» и спросил:

— А почему вы называете меня соседом?

— Потому что в отеле мы будем с вами жить в одном номере.

— Откуда вы знаете?

— Пресса знает все. Списки проживания составлены и утверждены в Москве, а я подполз и разведаль.

— А я с кем буду жить в одном номере? — спросила Алла с Филиала.

— Обычно такие очаровательные женщины живут вместе с руководителем...

— Вот как? — произнесла она с таким холодным недоумением, словно понятия не имела не то что о Пековском — вообще о принципиальных физиологических различиях между мужчиной и женщиной.

— Виноват! — покраснел Спецкор. — Не рассчитал-с! Просто не знаю, с кем... Не интересовался. Но если предположить, что наша генералиссимуса будет жить, естественно, одна, то вам остается во-он та юная женщина, которые еще есть в русских селеньях...

И Спецкор показал на румяную плотную девушку, одетую в ярко-синюю куртку-алюску и белые кроссовки, вроде тех, что в магазинах потребкооперации продают колхозникам в обмен на определенное количество сданных мясопродуктов. Рядом с ней стоял болотного цвета чемодан, надписанный совсем как для выезда в пионерский лагерь: «Паршина Маша. К-3 «Калужская заря».

Это была Пейзанка, значившаяся в моем блокноте под номером восемь.

— Девушка, вы уже заполнили декларацию? — игриво крикнул ей Спецкор.

— Не-ет еще... — смущенно ответила она.

— Могу помочь. Недорого. Всего пять франков. Труженикам сельского хозяйства — скидка! — И с этими словами Спецкор направился к ней.

— Я очень рада! — призналась мне Алла с Филиала. — Очень приятная девушка, правда? Вы знаете, я боялась, что меня поселят...

И тут, легка на помине, появилась Пипа Суринамская. Точнее, сначала в зал вбежал прапорщик, огляделся и, зачем-то придерживая отъехавшую стеклянную дверь, крикнул:

— Здесь, товарищ генерал!

Тогда состоялся торжественный вход царственной Пипы Суринамской в сопровождении полного генерала, на красном лице которого были написаны все тяготы и излишества беспо-

рочной многолетней службы. Следом за ними перекобочившийся сержант, очевидно, водитель, впер гигантский чемоданище, имеющий к обычным чемоданам такое же отношение, как динозавр к сереньким садовым ящеркам.

— Здорово, хлопцы! — поприветствовал генерал хриплым басом и, небрежно отдав честь, поздоровался за руку с вытянувшимися во фронт Буровым и Другом Народов.— Как настроение?

— В Париж торопимся! — тонко намекнул на непунктуальность вновь прибывших Друг Народов.

— Ничего — теперь уже скоро,— утешил генерал Суринамский.— Три часа — и там. Десантируетесь прямо в Париже... А мне на танке три недели ехать!

Полководческая шутка вызвала дружный и старательный смех.

— Ну, мамуля, давай прощаться! — поскуцнев, сказал генерал и придвинул к себе Пипу для прощального поцелуя.— Отдыхай. Осваивай достопримечательности. На Эйфелеву башню не лазь — хлипковата для тебя. В магазинах с ума не сходи — у нас в «Военторге» все есть. Ну, и за дисциплинкой в подразделении приглядывай! — Обернувшись, он пояснил:— Я, когда в командировку убывал, часть всегда на супругу оставлял. И полный порядок!

Пока генерал Суринамский со свитой покидал зал прилета аэропорта Шереметьево-2, товарищ Буров стоял навтыжку и преданно улыбался, но как только стеклянные двери сомкнулись, он повернулся в нашу сторону, нахмурился и приказал Другу Народов:

— Список!

Провели переключку. Все были на месте, кроме Поэта-метеориста, но и его вскоре обнаружили: он стоял и зачарованно смотрел на фоторекламу холодного баночного пива «Гиннес».

— Без моего разрешения не отлучаться! — строго предупредил рукспецтургруппы.— Накажу! Сейчас проходим таможенный досмотр!

Вялый таможенник в форме, похожей на железнодорожную, глянул на нас, как китобой на кильку:

— Откуда?

— Спецтургруппа,— гордо сообщил Друг Народов.

— Разрешение на валюту!

— Пожалуйста.

— Проходите,— дозволил таможенник и брезгливо простамповал наши декларации, удостоив вниманием одного лишь Торгонавта.— Перстень записали?

— Обижаете! — ответил тот.

Честно говоря, до последнего момента я боялся: а вдруг таможенник прикажет: «Всем вывернуть карманы!» И выяснится, что вместо положенных тридцати рублей я везу тридцать четыре с копейками...

При регистрации билетов и багажа случился казус с Пипиным чемоданом-динозавром, тащить который, между прочим, товарищ Буров молчаливым кивком приказал Гегемону Толе. Так вот, чемодан никак не лез в отверстие, куда на транспортерной ленте уезжал весь остальной багаж. В конце концов его утолкали на специальной тележке, а Гегемону Толе была доверена Пипина дорожная сумка, тоже довольно вместительная.

Паспортный контроль прошли быстро, правда, и тут не обошлось без волнений. Сержант, сидящий в застекленной будочке, принял мой паспорт и стал его внимательно рассматривать. Я постарался воспроизвести на своем лице выражение сосредоточенного испуга, зафиксированное на фотографии. «А вдруг, — с ужасом думал я, — произошла непоправимая ошибка: подписи важной нет или печати? Говорят, так иногда случается! Тем более, что покуда все шло подозрительно гладко... А вдруг — моя беда в этих проклятых тридцати четырех рублях с копейками?! Кто знает, какая у них тут техника? Может, уже и кошельки научились просвечивать? А таможенник специально меня пропустил, чтобы потом...»

— Куда летите? — спросил сержант.

— Что? — растерялся я.

— Куда летите?

— В Париж...

— Зачем? — не отставал он.

Вопрос был на засыпку, и я в ответ только пискнул.

— Спецтургруппа! — солидно объяснил за меня Друг Народов.

— Проходите! — помиловал сержант и просунул мои документы в щель между краем стекла и полированной полочкой. Раздался щелчок, и, толкнув маленький никелированный шлагбаум, я оказался на свободе.

— Счастлив приветствовать вас за рубежом! — встретил меня Спецкор. — Ностальгия еще не началась?

— Вроде нет... — ответил я.

Ответил бездарно. И сравнив себя с языкастым Спецкором, я вдруг ощутил всю степень своего одеревенения. А ведь были времена, когда я мог отшутиться так, что все, включая и Аллу с Филиала, просто покатались бы со смеху. Я был искрометен и непредсказуем. Но потом... Потом, раскуражившись в какой-нибудь теплой компании, я вдруг наткнулся на неподвижный взгляд не улыбочливой супруги моей Веры

Геннадиевны — так жена обычно взглядывает на недееспособного мужа, пустившегося в разглагольствования о секретах плотской любви. «Зачем ты перед ними паясничал? — упрекала она меня уже дома. — Ты разве клоун?» И мне начинало казаться, будто я и впрямь вел себя нелепо и постыдно, точно седой массовик-затейник на подростковой дискотеке. Очевидно, жена меня постоянно сравнивала с кем-то другим — молчаливым, величественным и серьезным, а теща однажды проговорилась-таки про соискателя Игоря Марковича, по пустякам не балаболившего и обладавшего руками, произрастающими оттуда, откуда они и должны расти у настоящего мужчины. Вместо того чтобы послать их вместе с Игорем Марковичем туда, откуда не должны расти руки у настоящего мужчины, я, наивняк, решил соответствовать! Вот и несоответствовался... Одна радость — Вика. Очень смешливая девчонка! Вот недавно...

— Список!

Товарищ Буров, замыкавший наш организованный переход государственной границы, поправляя ондатровую шапку, пылливо осматривал вверенную ему спецтургруппу:

— Список!

— Все на месте, кроме поэта, — на глаз определил Друг Народов.

— Где он? — осерчал рукспецтургруппы.

— Сказал, в туалет пошел, — доложил Диаматыч.

— Вы плохо знаете психологию творческих работников! — покачал головой Спецкор. — Наверху бар, где наливают за рубли.

— Ну да? — изумился Гегемон Толя..

— Привести! — рявкнул товарищ Буров.

— Я сбегаю, — вызвался Друг Народов.

— А я помогу, — прибавил Спецкор. — Одному не донести...

Вернулись они через десять минут, неся на себе, как раненого командира, тяжело пьяного Поэта-метеориста, который мотал головой из стороны в сторону и с завываниями бормотал какие-то стихи. Мне удалось разобрать лишь строчку:

Мы всю жизнь летаем над помойкой...

— Я вас выведу из состава группы и оставлю в Москве!.. — угрожающе начал товарищ Буров.

— Не надо пугать человека Родиной, — заступился Спецкор. — Он исправится...

Мне казалось, теперь нас загрузят в автобусы и, как в Домодедово, повезут к самолету, но я ошибся: прямо внутрь «ИЛа» вел телескопический трап — огромное полое щупальце, присосавшееся к округлому самолетному боку. Рядом с овальным

входом на борт стояли улыбающаяся стюардесса и хмурый прапорщик с рацией.

Я с детства люблю сидеть у окошка и тут тоже не смог отказать себе в этом удовольствии. Рядом со мной устроилась Алла с Филиала, а еще ближе к проходу Диаматыч. Впереди нас определили тело Поэта-метеориста, которое охранял Спецкор, тут же начавший заливать Пейзанке, будто любой наш самолет, следующий за границу, сопровождают два истребителя, но из иллюминаторов их не видно, потому что один летит сверху, а второй — снизу, под фюзеляжем.

— Не боитесь летать? — спросил я свою соседку, шелкая пристяжным ремнем.

— Нет, — ответила она, что-то озабоченно выскивая в своей сумочке.

— Может быть, хотите к окну? — самоотверженно предложил я.

— Нет, спасибо, я боюсь высоты...

Стюардесса походкой, напоминающей манекенщицу и моряка одновременно, прошла вдоль рядов, проверяя, кто как пристегнулся.

— Ему плохо? — спросила она, остановившись возле распавшегося Поэта-метеориста.

— Ему хорошо! — успокоил Спецкор.

Самолет, беспомощно потряхивая длинным крылом, пополз к взлетной полосе. Радиоголос сначала по-русски, а потом по-французски поприветствовал нас на борту авиалайнера «Ильюшин-62». И я вспомнил, что на внутренних линиях говорят почему-то просто — «ИЛ-62»... Потом стюардесса показывала, как в случае чего нужно пользоваться оранжевым спасательным жилетом, хотя, конечно, отличные летные качества лайнера гарантируют полную безопасность.

— В каждом жилете, в непромокаемом пакетике по сто долларов, — объявил Спецкор. — На случай непредвиденных расходов...

— Уй, ты! — восхитилась Пейзанка.

Наконец мы вырулили на взлетную полосу, несколько мгновений простояли неподвижно и вдруг рванули вперед так, что задребезжали откидные столики и с треском стали открываться крышки багажных антресолей.

— Истребители взлетают вместе с нами? — спросила доверчивая Пейзанка.

— Нет, с Шереметьево-1, — объяснил Спецкор.

Дребезжание прекратилось.

— Летим! — вздохнул Торгонавт и вытер лицо шейным платком.

— Взлет — это лишь повод для посадки! — успокоил его Спецкор.

Я глянул в иллюминатор: внизу виднелись лес из крошечных декоративных деревьев (как на японской выставке растений), поселки из кукольных домиков и малюсенькие автомобильчики, наподобие тех, что начала недавно коллекционировать Вика, окончательно забросив собирание кошачьих фотографий. Решив поделиться своими наблюдениями, я вернулся к Алле с Филяла: в ее глазах было отчаяние.

— Я забыла фотографию! — пожаловалась она.

— Чью? — спросил я, подразумевая, конечно, Пековского.

— Моего сына...

VII

— Странно! — пожала плечами Алла с Филяла.

— Что — странно? — уточнил я.

— Все... Странно, что только сейчас вспомнила про сына... Обычно я думаю о нем всегда. Странно, что я забыла фотографию... Странно, что через три часа мы будем в Париже...

— И, наверное, странно, что вместо Пековского лечу я?

— Нет, не странно, он предупреждал, что со мной рядом будет его детский друг — чуткий и отзывчивый товарищ... Он, наверное, просил вас меня опекать?

— Беречь. Говорил, что вы робкая и легкоранимая...

— И поэтому вы рядом со мной?

— Исключительно поэтому...

— А вы не очень-то любите своего детского друга!

— Вам показалось...

Я отвернулся к иллюминатору: земля внизу была похожа на бурый, местами вытершийся вельвет. Сказать, что я не люблю Пековского, — ничего не сказать. Это трудно объяснить. В классе пятом у нас, дворовых пацанов, повернулись мозги на рыцарях — «Александр Невский», «Айвенго», «Крестоносцы» и так далее. Латы мы вырезали из жестяных банок, в которых на соседний завод «Пищекомцентрат» привозили китайский яичный порошок, щиты делали из распиленных вдоль фанерных бочонков, мечи — из алюминиевых обрезков, валявшихся около товарной станции, располагавшейся недалеко от нашего двора. Я сам разработал оригинальную конструкцию арбалета, и, если удавалось достать хорошую бинтовую резину, он стрелял почти на пятнадцать метров. Сложнее всего обстояли дела со шлемами, выбирать не приходилось, и в дело шли облагороженные кастрюли, миски, большие жестянки из-под полово

краски... А Пека поглядывал на наши экипировочные мучения с усмешечкой и называл нас «кастриуленосцами». Когда же, наконец, все было готово и мы разделились на Алую и Белую розы, чтобы сразиться за трон — колченогое кресло, установленное на крыше гаража, — во двор вышел Пековский. Он был облачен в настоящие, отливавшие серебром рыцарские доспехи, на голове — шлем с решетчатым забралом и алыми перьями, в руках — настоящий арбалет, заряжавшийся, как и нарисовано в учебнике, с помощью свисавшего маленького стремени. Нет, конечно же, все это было не настоящее, а игрушечное, привезенное из-за границы Пекиным дядей специально к началу большой рыцарской войны в нашем дворе. И в своих дурацких латах из-под китайского яичного порошка я почувствовал себя таким ничтожеством, клоуном, болваном, что и сейчас, тридцать лет спустя, мне становится паршиво от одного этого воспоминания. Не вынимая меча из ножен, Пека занял трон, стоявший на крыше гаража.

Стюардессы обносили на выбор: минеральной водой, лимонадом и вином. Все взяли вино. Потом в проходе показался большой железный ящик на колесах, в котором, как противни в духовке, сидели подносы с едой.

— Давайте выпьем за Париж! — предложила Алла с Филиала, поднимая пластмассовый стаканчик.

— Давайте, — согласился я и, чокаясь, немного вдавил свой стаканчик в ее.

— Знаете, — продолжала она, — для русских Париж всегда был местом особенным. От хандры ехали в Париж... От несчастной любви — в Париж... Сумасшедшие деньги прокучивать — в Париж... От революции — в Париж... А когда мы вернемся, мы создадим тайное общество побывавших в Париже! Договорились?!

— Договорились.

— А вы не хотите выпить за Париж? — спросила она, повернувшись к Диаматычу.

— В вашей интерпретации нет, — ответил он и внимательно посмотрел на нас.

— Мне ваша интерпретация нравится! — вмешался Спецкор и просунул свой стаканчик в щель между спинками кресел, чтобы чокнуться.

Я огляделся. Товарищ Буров и Друг Народов приканчивали бутылку коньяка. Пипа наворачивала, так энергично орудуя локтями, что сидевший рядом с ней Гегемон Толя не мог благополучно донести кусок до рта. Торгонавт со знанием дела оглядывал плевочек черной икры на пластмассовой тарелочке, словно хотел вычислить, с какой продбазы снабжается

Аэрофлот. Спецкор осторожно и заботливо, точно лекарство, вливал сухое вино в беспомощного Поэта-метеориста. Пейзанка всем предлагала домашнее сало, которое, по ее словам, месяц назад еще хрюкало. Диаматыч питался медленно и осторожно, как бы опасаясь отравленных кусков. Алла с Филиала ела красиво. А люди, умеющие красиво есть,— большая редкость, так же, как блондинки с черными глазами. Кстати, я все-таки рассмотрел ее глаза: они были темно-темнокарими.

— Алла,— спросил я с набитым ртом.— А вы раньше знали о моем существовании? До поездки...

— Конечно... Мы даже с вами встречались. Просто у вас плохая память.

— Где?

— На научно-техническом совете. В прошлом году. Вы делали сообщение после меня. Об этой системе — «Красное и черное». Мы очень смеялись...

— Надо мной?

— Нет. Над названием... Сами придумали?

— Сам...

— Я так сразу и решила...

— Почему?

— Не знаю...

Внизу растилались похожие на бескрайнюю снежную равнину облака. Почему-то казалось, вот-вот покажется цепочка лыжников... Ту конференцию я тоже, между прочим, запомнил. Меня как раз после долгих колебаний назначили исполняющим обязанности заведующего сектором — и я впервые выступал уже в новом качестве. «Красное и черное» — это действительно была моя идея, но всю техническую разработку я поручил Горяеву, хотя, напутствуя меня перед вступлением в новую должность, Пековский посоветовал: первым делом уволь Горяева, иначе пропадешь. Я хорошо знал Горяева, он был потрясающе талантлив и патологически обидчив. Я вызвал его в свой новенький кабинет, проговорил с ним два часа и поручил ему разработку «Красного и черного». В двух словах: эту систему мы готовили для Министерства рыбной промышленности, и задача состояла в том, чтобы учесть все запасы осетровой и кетовой икры в стране буквально до последней икринки. Сами понимаете, социализм — это учет и контроль.

Годовую работу всего сектора Горяев сделал в одиночку за восемь месяцев, не зная ни бюллетеней, ни отгулов, а сделав, вдруг смертельно обиделся: обозвал весь коллектив дармоедами, расшвырял шахматы, которыми играли два программиста, а вохровца на проходной обругал вертухаем. Между прочим, меня он поименовал «пожирателем чужих мозгов», но я не

обиделся, а вохровец обиделся и на следующее утро потребовал у Горяева пропуск, чего не делал много лет, ибо не такие уж мы засекреченные и охрана больше для того, чтобы посторонние не ходили в нашу столовую. Оказалось, свой пропуск Горяев давно потерял, и когда я после истерического звонка начальника вневедомственной охраны прибежал на проходную, то застал там побагровевшего вохровца, хватавшегося за кобуру, где ничего, кроме мятой бумаги, не было. А мой совершенно спятивший подчиненный орал, что если бы у него была сумка «лимонки», то он бросил бы ее в наш ВЦ, потому что более гнусной организации невозможно себе и представить.

На следующий день Горяев написал заявление и ушел куда-то, где пока знали лишь о его первом, положительном качестве. А когда валяжный представитель Министерства рыбной промышленности и Пековский, пахнувшие общим дорогим одеколоном, принимали «Красное и черное», на экране после запуска программы вместо шифра появилось красочное фаллическое изображение и хулиганская надпись, суть которой сводилась к обещанию противоестественно обойтись со всем нашим трудовым коллективом. Это был прощальный жест Горяева, вдобавок он установил в программе такую хитроумную защиту, что попытки найти и снять ее привели к самостиранию всей системы. Мы заплатили министерству чудовишный штраф, весь сектор лишился премии и тринадцатой зарплаты, а меня, разумеется, не утвердили заведующим и правильно сделали, ибо предупреждали. Супруга моя, честолюбивая Вера Геннадиевна, на месяц отлучила меня от своего белого тела, сказав, что обычно дебилы не доживают до тридцати и я — уникальный случай...

Когда стюардессы собирали подносы, я незаметно спрятал пластмассовые нож, вилку и ложечку, потому что Вика, несмотря на свой зрелый возраст, все еще продолжала играть в куклы.

— Снижаемся! — радостно сообщил Торгонавт.

Земля внизу, в отличие от наших бескрайних одноцветных просторов, напоминала лоскутное одеяло.

— Капитализм, — просунув нос между кресел, объяснил Спецкор.

VIII

Когда самолет толкнулся колесами о землю и помчался по посадочной полосе, постепенно избавляясь от скорости, иностранцы, летевшие с нами, заплодировали.

— Любят западники жизнь! — прокомментировал Спецкор.

— А мы? — спросила Алла с Филиала.

— Мы любим борьбу за жизнь! — вставил я и поймал на себе неодобрительный взгляд Диаматыча.

Наверное, каждый раз, приезжая в незнакомое место, мы чем-то повторяем свой давний приход в этот неведомый мир. Отсюда, должно быть, радостное удивление и совершенно младенческий восторг по поводу всего увиденного. По поводу огромного аэропорта с движущимися дорожками, никелированных урн непривычной формы, полицейских в странных цилиндрических фуражках с маленькими козырьками, ярко одетых детишек, лопочущих что-то очень знакомое по интонации, но совершенно не понятное по смыслу...

— За границей меня всегда поражают две вещи, — громко сказал Спецкор. — Все, даже дети, свободно говорят на иностранном языке, и абсолютно все ездят на иномарках.

К моему удивлению, наш багаж уже крутился на транспортной ленте: это я определил, заметив чемодан-динозавр Пипы Суринамской. Гегемон Толя тяжело вздохнул.

Паспортный контроль мы прошли довольно быстро, хотя к стеклянным будочкам выстроились приличные хвосты.

— Я выиграл бутылку коньяка! — радостно сообщил Торгонавт. — Мой приятель сказал, если я здесь увижу хоть одну очередь, он выставляет...

— Не обольщайтесь, — разочаровал его Спецкор. — Мы пока еще в экстерриториальных водах...

Потеряли Пейзанку, но вскоре нашли возле витрины, где был установлен трехведерный флакон духов «Шанель». Спецкор сказал ей, что, заплатив умеренную сумму, можно отлить немного духов в свою посуду. Слышавший это Гегемон Толя насупился и выругался вполголоса по поводу некоторых очень уж умных.

— Рад вас приветствовать в Париже — городе четырех революций! — не унимался Спецкор.

Поэт-метеорист, кажется, немного проспавшийся, озирался вокруг, словно человек, проехавший свою станцию метро. Беспрепятственно миновав скачущих таможенников (только на Торгонавте они чуть задержали взгляды), мы сразу попали в большую толпу встречающих: помимо букетов они держали в руках транспарантики и таблички с разными надписями. Одни невысокая смуглая женщина с короткой мальчишечьей стрижкой размахивала над головой аккуратной картонкой:

БУРОВ — СССР

— Это мы! — удовлетворенно сообщил товарищ Буров и протянул ей ладонь для рукопожатия.

Тут же подскочивший Друг Народов обнажил в улыбке свои заячьи зубы, протараторил что-то по-французски и, испуская мужланство шефа, галантно поцеловал руку встречавшей нас женщины. Это была мадам Жанна Лану, наш гид.

— Теперь мы будем садиться в автобус и ехать в отель,— объявила она.

Через автобусное окно я смог увидеть и понять главное: в Париже всего много — людей, машин, витрин, памятников, деревьев... Где-то сбоку мелькнула знаменитая башня, похожая на задранную в небо дамскую ножку в черном ажурном чулке.

— Эйфелевская башня! — охнула непосредственная Пейзанка.

— Это ее макет в натуральную величину,— поправил Спецкор.— Сама башня хранится в Лувре...

— Правда? — усомнился Гегемон Толя, поглядев на мадам Лану.

— О, нет! — засмеялась она.

Отель назывался «Шато», видимо, из-за декоративной башенки, как на готическом замке.

— Это неплохой отель,— сказала мадам Лану.— Должна заметить, что гостиницы в Париже — это проблема, особенно в сезон. Очень много туристов...

— И очереди бывают? — оживился Торгонавт.

— Очереди? — переспросила она.— Не думаю так.

Сложив вещи в общую кучу, мы встали посредине гостиничного холла. Портъё, статью напоминающий референта члена Политбюро, записал номера наших паспортов и выдал несколько ключей с брелоками в форме больших деревянных шаров. Друг Народов извлек из кейса утвержденный еще в Москве список и, объявляя, кто с кем поселяется, лично раздавал ключи. Расклад вышел такой:

Алла с Филиала и Пейзанка.

Поэт-метеорист, Диаматыч и Гегемон Толя.

Спецкор и я.

Друг Народов и Торгонавт.

Судя по тому, что после оглашения списка оставалось еще два ключа, товарищ Буров и Пипа Суринамская заселялись в отдельные номера. В общем, типичное нарушение социальной справедливости, следить за соблюдением которой — профессия товарища Бурува.

Когда все разобрали свои вещи и выстроились к лифту, Торгонавт огорченно заметил, что, наверное, считать создавшуюся очередь аргументом в коньячном споре некорректно, так как состоит она исключительно из советских людей. Для первого раза кабинка лифта уместила лишь чемодан Пипы

Суринамской и в качестве привеска — Гегемона Толло. Внезапно обнаружилось, что посредине холла остались сумка и авоська Поэта-метеориста, но сам он исчез. Мадам Лану и Друг Народов отправились на поиски, и когда мы со Спецкором последними грузились в лифт, они наконец привели пропащего из бара, где он угрюмо рассматривал бесчисленные сорта пива.

— Мы давно забыли запах моря! — отмахнулся от упреков Поэт-метеорист.

Нам со Спецкором досталась миленькая комнатка с видом во внутренний дворик, замечательной ванной, телевизором и широкой супружеской кроватью.

— Как будем спать? — спросил он. — Как братья или как любовники?

— Это ошибка? — наивно предположил я.

— Нет, это не ошибка, это расплата за отдельный номер для генеральши...

— А почему расплачиваемся мы?

— Вопросов, подрывающих основы нашего общества, прошу не задавать. У тебя нет скрытой гомосексуальности?

— А у тебя?

— И у меня тоже! — ответил Спецкор.

Я аккуратно развесил в шкафу мой единственный выходной костюм, две сорочки и, мысленно поделив все выдвигаемые ящички пополам, разложил в них остальные вещи. Потом, взяв умывально-бритвенные принадлежности, пошел в ванную комнату.

— Биде с унитазом не перепутай! — вдогонку предостерег Спецкор.

В ванной было огромное, во всю стену зеркало, а раковина представляла собой углубление в широкой мраморной плите, являвшейся одновременно и туалетным столиком. Впрочем, это был не мрамор, а пластик. На столике лежали крошечные упаковочки мыла, шампуня и еще чего-то непонятного. Сбоку, на полке, высились стопки полотенец — от малюсенького до широченного — два раза можно обернуться. Я освежился под душем, на всякий случай пользуясь своим мылом (Друг Народов предупредил, что здесь все за деньги), а потом, протерев в запотевшем зеркале круг, как раз, чтобы вмещалось лицо, стал бриться, размышляя о том, что физиономия полнеющего мужчины незаметно превращается в ряшку, на которой трудно протереть живые муки его души. Зато некто, страдающий, скажем, несварением желудка, взглянет на вас во всем ореоле духоборческой худобы, а в глазах у него будет светиться отчаяние падшего ангела. Женщинам это нравится.

— Ну и жмоты французы! — сказал я, выходя из ванной.

— Почему?

— На неделю мыла и шампуня с гулькин нос дали...

— Нет; это только на сегодня. Они каждое утро подкладывают. Можешь брать для сувениров, — объяснил мне Спецкор и проследовал в ванную.

Перед тем как затолкать свой чемодан под кровать, я решил переложить стратегические запасы продуктов питания, собранные предусмотрительной супругой моей Верой Геннадиевной, в тумбочку. И вдруг из одного пакета вытряхнулся молоденький рыжий тараканчик. Сначала он ошалелыми зигзагами помчался по нашей белоснежной кровати, а потом вдруг замер, шевеля усиками. Я тоже замер, возмущенный столь наглым нарушением всех правил выезда из СССР. Брезгуя раздавить предателя пальцами, я поискал глазами что-нибудь прихлопывающее, а когда осторожно взял в руки глянцевый проспект отеля и размахнулся, рыжий эмигрант уже исчез. Он выбрал свободу.

— Пошли получать валюту! — распорядился, выходя из ванной, освежившийся Спецкор. — А потом обедать...

Товарищ Буров сидел в глубоком вольтеровском кресле посредине обширного номера с окнами на набережную. Перед ним, на журнальном столике, были разложены конверты и две ведомости.

— Распишитесь вот здесь! — приказал он, и мы покорно поставили свои закорючки напротив цифры 300. — А теперь вот здесь! — И он подвинул к нам еще одну ведомость.

— А это что? — спросил Спецкор.

— По двадцать франков с каждого на представительские расходы! — строптиво объяснил присутствовавший при сем Друг Народов. — Кроме того, каждый должен сдать по бутылке в общественный фонд.

— Крутые вы ребята! — не по-доброму удивился Спецкор.

— Так положено, — закончил тему товарищ Буров.

— А одна кровать в номере — тоже «так положено»? — голосом ябеды спросил я.

— У меня тоже одна! — возразил рукспецтургруппы, озирая свой беспредельный номер, и стало ясно, что спорить бесполезно.

Спускаясь вниз, в ресторан, я нетерпеливо достал из конверта три большие бумажки по 100 франков с изображением лохматого курнофея, похожего на батьку Махно в исполнении актера Чиркова. «Делакруа», — поколебавшись, сообразил я и тихо загордился собой.

Обедали мы за длинным, видно, специально для нашей группы накрытым столом.

— Хорошо быть интуристом! — сказал Спецкор, озирая приличную сервировку, дымящиеся супницы и графины с чем-то темно-красным.

— Морс? — спросила Пейзанка.

— Сама ты морс! — нервно ответил Поэт-метеорист и придвинул к себе сразу два графина.

Появилась Алла с Филиала, переодевшаяся в бирюзовое, очень шедшее ей платье. И хотя за столом было несколько еще не занятых мест, она, не задумываясь, направилась к свободному стулу между мной и Спецкором. Сердце мое дрогнуло совсем по-школьному. Я налил из графина ей и себе — это было сухое вино.

— Я очень люблю красное вино! — сказала она, пригубливая из бокала. — Именно красное — оно живое...

— А наш руководитель, судя по всему, любит коньячок из общественного фонда! — кивнул Спецкор на багровую физиономию товарища Бурова.

Официант, бережно склоняясь над каждым, разлил по тарелкам суп — протертое нечто, а узнав, что мы из Москвы (Друг Народов с заячьей улыбочкой вручил ему краснознаменный значок), он мгновенно куда-то убежал и вернулся, неся большую корзину толсто нарезанного белого хлеба.

— Алла, у меня к вам очень серьезный вопрос, — начал я, когда с супом было покончено, а второго еще не принесли. — Скажите, если бы на рублях изображали творческих работников — художников, композиторов или писателей... Как бы вы их распределили?

— Писателей?

— Допустим, писателей.

— А знаете, — сказала Алла, — я, когда получила конверт, почему-то подумала о том же самом. Странно, правда?

— Наверное, у нас много общего, — игриво заметил я и покосился на Спецкора, но он думал о чем-то своем.

— Наверное... — согласилась Алла. — Хорошо, давайте попробуем прикинуть, но только вместе... Писатели?

— Писатели.

— Значит, сначала на рубле... Самое трудное: с одной стороны, купюра мелкая, а с другой — ее в руках люди держат чаще всего...

— Может, Гоголя на рубль? — предположил я.

— Допустим, — кивнула Алла. — А на трехрублевку тогда — Тургенева.

— Может быть, лучше — Лермонтова? — засомневался я.

— Допустим. А Тургенева, значит, — на пяти рублях?

— Принимается. А кого на десятку?

— На десятку? — задумчиво повторила Алла, отщипнула корочку хлеба и положила в рот. Я вдруг заметил, что мысленно называю ее не «Алла с Филиала», а просто — «Алла». — Костя, а если на десятку Блока?

— Может, Маяковского?

— Не-ет, Блока!

— Для вас я готов на все! А кто у нас тогда будет на двадцати пяти рублях?

— Чехов! — не задумываясь, ответила Алла.

— На пятидесяти?

— Достоевский!

— Тогда на ста рублях — Лев Толстой! — подытожил я.

— Конечно! — обрадовалась Алла. — Видите, как все складно получилось! Складно и познавательно! Человек заглядывает в кошелек и приобретает...

— И главное — облагораживается процесс купли-продажи! — добавил я. — Гениально!

— А Пушкина вы на копейке выбьете? — ехидно поинтересовался Спецкор, который, оказывается, все слышал.

— Действительно, мы забыли Пушкина! — огорчилась Алла. — Без Пушкина нельзя...

Пока мы с Аллой горевали по поводу ущербности разработанной нами литературно-денежной системы, за столом вспыхнуло горячее обсуждение: как провести сегодняшний вечер, в программе обозначенный словами «свободное время». Большинство склонялось к тому, чтобы осуществить набег на какой-нибудь большой магазин.

— Мы даже можем включить это в программу, — предложил Торгонавт. — Экскурсия «Париж торговый»...

В ответ Диаматыч высказал опасение, что нас могут неправильно понять с идеологической точки зрения:

— Только прилетели — и сразу шоппинг...

— Выбирайте выражения! За столом женщины! — возмутилась Пипа Суринамская.

Поставили на голосование, и большинством решили отправиться в ближайший супермаркет. Мадам Лану вызвалась нас сопровождать. И вдруг Поэт-метеорист хватил кулаком по столу с такой силой, что зазвенела посуда, а один из опустевших графинов даже опрокинулся. Стало ясно, что поэт бесконтрольно напился.

— Мы давно забыли запах моря! — крикнул он и сжал свою голову ладонями, точно проверяя ее на спелость. А за его спиной изумленно застыл наш официант с подносом вторых блюд. Вероятно, он впервые видел, как человек вусмерть напирается сухим столовым вином.

В супермаркете я почувствовал себя папуасом, который всю жизнь молился на свои единственные стеклянные бусы и вдруг нежданно-негаданно попал в лавку, доверху набитую всевозможной бижутерией. Здесь было все, о чем только смеет мечтать советский человек, о чем он не смеет мечтать, и даже то, о чем мечтать ему не приходит в голову.

— Фантастика! — воскликнула Алла, разглядывая прелестную заколку в виде стилизованного махаона. — Вы не чувствуете себя несчастным?

— Нет. Мы с вами приехали из счастливой страны. Нас можно осчастливить комплектом постельного белья или килограммом полтавской колбасы... А представляете, сколько всего нужно французу, чтобы быть счастливым?

— Представляю... — отозвалась она и указательным пальцем погладила махаона по гляцевому крылышку.

Что в эту минуту сделал бы настоящий мужчина? Тот же Пековский или, скажем, гипотетический Игорь Маркович? Разумеется, он непринужденно взял бы понравившуюся заколку и вложил ее в прелестные ладошки. Но начнем с того, что я не настоящий мужчина, а с о в о к, если выразаться сегодняшним языком, или ложкомой, если прибегать к изысканному словарю супруги моей, молчаливой Веры Геннадиевны. Что это значит? А это значит, что судьба забросила вас в Париж и вложила в ваш бумажник трех «делакура», участь которых предопределена еще в Москве: они должны стать дубленкой. Каждый потраченный франк может сорвать этот детально разработанный план и вызвать необратимые процессы в вашей семье. Миллионер, покупающий своей подруге остров с виллой, по сути идет на гораздо меньшую жертву, нежели советский турист, угощающий в Париже приглянувшуюся ему даму мороженым. А махаон стоил целых 50 франков. Поэтому я горячо поддержал восхищение Аллы, но придал своему восторгу как бы музейный оттенок, словно на прилавке лежал экспонат из скифского кургана, принадлежащий государству.

Прогуливаясь по супермаркету, мы получили кое-какое представление о направленности интересов наших товарищей по поездке. Несколько раз мимо нас на крейсерской скорости пронеслась Пипа Суринамская, лицо ее побелело от напряжения, а глаза светились утрюмым восторгом. Казалось, вот сейчас она, Пипа, вдруг превратится в черную дыру и всосет в себя весь магазин вместе с товаром, продавцами и кассовыми компьютерами.

Товарища Бурова и Друга Народов мы обнаружили в сек-

ции видеоманитофонов. Они горячо обсуждали, за сколько в Москве сейчас идет последняя модель «JVC».

Спецкор сосредоточенно рылся в отделе противозачаточных средств и сексуальной гигиены. Увидев нас, он приветливо помахал рукой и, кивнув на выставку-продажу, крикнул:

— Рекомендую!

Диаматыч застрял возле электронных игрушек и крутил в руках жуткого киборга с загорающимися глазами.

— Игрушки покупает! — многозначительно отметил я.

— Это плохо? — спросила Алла.

— Это странно...

Торгонавт обессиленно сидел в кресле возле столика с толстыми каталогами. У него был вид человека, внезапно и неправомерно утратившего смысл жизни.

— Мне жаль их! — сообщил он, скашивая глаза на улыбающую продавщицу, помогавшую примерять туфли толстой французской пенсионерке.

— Почему? — удивилась Алла.

— Торговля без дефицита — жалкая рабыня общества... Я бы здесь не смог!

Повстречали мы и Гегемона Толю. Таща за собой здоровенную Пипину сумку, он брел вдоль бесконечного ряда кожаных мужских курток и бормотал себе под нос:

— Ну, я его, падлу, урою! Гад буду — урою!

Потом мы с Аллой долго стояли возле рыбного прилавка и с изумлением разглядывали дары моря: разнокалиберных устриц, мидий, креветок, здоровенных головастых рыбин, переложенных мелко наколотым льдом. Я поймал себя на том, что пытаюсь подсчитать, сколько в Москве может стоить огромный бурокрасный лобстер, но делаю это как-то странно: вспоминаю равный ему по цене плеер с наушниками, прикидываю, за сколько такой плеер идет в Москве, и получается, что одна клешня лобстера стоит больше месячной зарплаты ведущего программиста!

— Послушайте, Костя, — прервала мои подсчеты Алла. — Что вы хотите купить своей жене?

— Жене? — переспросил я.

— Вы хотите сказать, что не женаты?

— Вера Геннадиевна приказала дубленку...

— Да-а? Рассказывайте!

И я не только рассказал о своем спецзадании, но выложил также все адреса, явки, пароли и даже показал карту.

— Неужели всего триста франков?! — всплеснула Алла руками, и в глазах ее мелькнуло то выражение, с каким металась по супермаркету Пипа Суринамская. — Костечка, возьмите меня с собой! Мне тоже нужна дубленка...

— Почту за честь!

— А вы давно женаты? — вдруг спросила она.

— С детства, — ответил я.

Когда через условленный час спецтургруппа собралась у автобуса, выяснилось, что никто ничего не купил. Это была лишь рекогносцировка, ибо главная заповедь советского туриста гласит: не трать валюту в первый день и не оставляй на последний!

Впрочем, нет: Диаматыч все-таки приобрел киборга с зажигающимися глазами, а Спецкор — пакетик с чем-то интимным.

Товарищ Буров кивнул головой, и Друг Народов провел перекличку: не было Поэта-метеориста, в бесчувственном состоянии оставленного в отеле, и Пейзанки...

— Где? — разгневался рукспецтургруппы.

— Она, кажется, попросила политического убежища в отделе женской одежды! — сообщил Спецкор.

— Никакой дисциплины! — возмутился Диаматыч.

Пейзанка действительно застряла там, возле полок, где было выставлено все джинсовое — от зимних курток до сапожек. Она держала в руках джинсовый купальник и безутешно рыдала. Покупатели-аборигены поглядывали на нее с опаской, а два седых, аванажных продавца совещались, как с ней поступить. В автобусе Пейзанка забилась в самый угол и всю дорогу плакала, поскуливая...

— Девочка просто не выдержала столкновения с жестокой реальностью общества потребления! — объяснил Спецкор.

— Заткнись! Деловой нашелся! — взорвался Гегемон Толя.— Ты в сельпо хоть раз был?

— Анатолий, не грубите прессе! — холодно предостерег Спецкор.— Я был везде...

— Сколько раз предупреждали! — возмутился Друг Народов.— Если человек не был в Венгрии, на худой конец в Чехословакии, на Запад пускать недопустимо! Это же психическая травма!

Вернувшись в отель, мы выяснили, что Поэт-метеорист ожил и сидит в баре над бокалом пива, бормоча что-то про чаек:

— И кричим в тоске: «Мы чайки, чайки...»

Алла повела Пейзанку отпаивать седуксеном, а мадам Лану выдала каждому на ужин по 50 франков. Наблюдая нашу радость, товарищ Буров предупредил, чтобы мы губы-то особенно не раскатывали, ибо раньше принимающая фирма действительно частенько выдавала деньги на ужин и даже иногда на обед, но после того, как в советских тургруппах начались поваральные голодные обмороки, эту практику прикрыли.

Мы со Спецкором отправились в наш номер, вскрыли ба-

ночку мясных консервов, порезали колбаски, сырку, вскипятили чай. По ходу дела сосед рассказал мне историю о том, как один наш известный спортивный комментатор в отеле, за рубежом, заткнув раковину соответствующей пробочкой, с помощью кипяильника готовил себе супчик из пакета — и задремал... В результате — грандиозное замыкание и чудовищный штраф.

Поев, мы завалились в постель — каждый со своего края, — и Спецкор при помощи дистанционного пульта включил телевизор: шла реклама. Насколько я мог впетриться, роскошная блондинка расхваливала какой-то соус. Поначалу она, облизываясь, поливала им мясо и жареную картошечку, а потом просто-напросто, как в ванну, нырнула в гигантскую соусницу. Спецкор порыскал по программам и нашел информационную передачу типа нашего «Времени».

— Ты чего-нибудь понимаешь? — спросил я.

— Спасибо папе-маме, на репетитора не жалели. Волоку помаленьку!

— А мои жалели, — вздохнул я. — О чем хоть говорят-то?

— Над нами издеваются...

На экране возникло узкоглазое астматическое лицо Черненко.

— Клевещут, что якобы генсек шибко приболел, — перевел Спецкор.

— И точно! Последний месяц никого не провожает, не встречает... Вот смеху будет, если помрет!

— А знаешь анекдот? — оживился Спецкор. — Значит, мужик на Красную площадь на очередные похороны ломится. Милиционер спрашивает: «Пропуск!» А мужик: «У меня абонемент!...»

— А знаешь другой анекдот? — подхватил я. — Очередь в железнодорожную кассу. Первый просит: «Мне билет до города Брежнева, пожалуйста!» Кассир: «Пожалуйста!» Второй просит: «А мне до города Андропова!» Кассир: «Пожалуйста!» Третий просит: «А мне до города Черненко!» Кассир: «Предварительная продажа билетов за углом!»...

Хохотал Спецкор громко, азартно, по-кингконговски колоя себя в грудь:

— Ну, народ! Ну, языкотворец! Предварительная... Жуть кошмарная!

Потом начался американский боевик. Я почти все понял и без перевода: Кей-Джи-Би готовит какую-то людоедскую операцию, сорвать которую поручено роскошному суперагенту, владеющему смертельным ударом ребра ладони. Переупотребляв всю женскую часть советской резидентуры и переубивав мужскую часть, он наконец добирается до самого главного

нашего генерала, руководящего всей операцией. У генерала полковничья папаха, звезда Героя величиной с орден «Слава» и любимое выраженье «Нэ подкачайтэ, рэбьята!». Суперагент засовывает генерала в трансформаторный ящик, где тот и сгорает заживо. Заканчивается фильм тем, что суперагент, получивший за выполнение задания полмиллиона, отдыхает на вилле в объятиях запредельной брюнетки, а проходящий мимо окна мусорщик достает микрофончик и докладывает: «Товарищ майор, я его выследил!»

— Чепуха! — фыркнул я.

— У каждого своя «Ошибка резидента», — рассудительно заметил Спецкор.

И совсем уже поздно, когда, наверное, уснули даже самые непослушные дети, началась викторина, суть которой сводилась к тому, что если пытающая счастья девушка не сможет ответить на вопрос ведущего, она снимает с себя какую-нибудь часть туалета. Если же она угадает, раздеваться придется ведущему. Первая девица (а разыгрывался «мерседес») очень скоро осталась в одних ажурных трусиках и, не ответив на последний вопрос, с гримаской притворного отчаяния уже потянула было трусики книзу, но тут ведущий замахал руками и что-то закричал.

— Если она это сделает, передачу запретят за безнравственность, — перевел Спецкор.

— Перестраховщики! — расстроился я.

— Обидно, — посочувствовал мой сосед.

— У нас такого никогда не будет! — сказал я.

— Это точно, — согласился он.

Следующая девица, надо отдать ей должное, прилично подраздела ведущего, но в конце концов и сама осталась в трогательных панталончиках. Ей присудили поощрительный приз — тур на Багамы.

— Слушай, сосед, — сказал мне Спецкор. — У меня тут в Париже есть знакомая... Мадлен... Я ее в прошлом году в Домжуре снял... Тоже журналистка. Возможно, завтра я не приду ночевать...

— Ну, конечно, с ней в одной койке поинтереснее, чем со мной!

— Конечно... Так вот, ты не волнуйся, а главное — не поднимай шума...

— Спи с ней спокойно, дорогой товарищ! — успокоил я его. — Но вообще-то будь поосторожнее!

— Думаешь, кто-нибудь постукивает глубинщикам?

— Кому?

— В Комитет Глубинного Бурения — КГБ...

— Думаю...

- Кто?
— Профессор...
— Не-ет... Он староват для этого дела... И потом глубинщики по-другому выглядят...
— А кто же тогда?
— Не знаю...— пожал плечами Спецкор.— Может, этот кролик из общества дружбы. У них там полно — работа такая... Ладно, давай спать. Завтра у меня взятие Парижа. Если Мадлен на своем поле выступит лучше, чем в Москве, я предложу ей руку и сердце. Ты хранишь?
— Иногда...
— Ясно,— кивнул он и достал из тумбочки беруши.
Засыпая, я думал о том, что, не дай Бог, Спецкор соскочит к своей Мадлен и тогда глубинщики меня затаскают...

Х

В семь часов утра нас разбудили стук в дверь и бодрый голос Друга Народов:

— Через двадцать минут в штабном номере утренняя оперативка. Явка строго обязательна!

Потом мы слышали, как он барабанит в соседний номер и объявляет то же самое. Пришлось подниматься.

— Как ты думаешь,— спросил меня Спецкор, выглядывая из ванной с зубной щеткой в руке,— Буров действительно дурак или прикидывается?

— Не знаю... Окончательно выяснится, когда он доберется до самого верха...

— И в этом наша трагедия! — покивал Спецкор.

В номере рукспецтургруппы собрались все, кроме Поэта-метеориста и Пейзанки. Побледневшая Алла шепнула мне, что провозилась со своей соседкой почти целую ночь: таблетками отпаивала, утешала, чуть не колыбельные пела, та вроде бы успокоилась, но из отеля выходить наотрез отказывается — боится новых впечатлений.

Пока товарищ Буров признавал минувший день удовлетворительным и распространялся по поводу укрепления дисциплины в группе, Торгонавт рассказал, что Поэт-метеорист пропил в баре свои франки, теперь не может голову оторвать от подушки, умоляет принести опохмелиться и обещает вернуть с премии. Одним словом, «белка» — белая горячка.

На утренней планерке постановили: Поэта-метеориста и Пейзанку оставить в покое, так как он не может выйти из номера, а она — не хочет.

Шведский стол — уникальная возможность из пестрой толпы завтракающих людей выявить соотечественников. Если человек наложил в свою тарелку сыр, ветчину, колбасу, кукурузные хлопья, булочки, пирожные, яблоки, груши, бананы, киви, яичницу-глазунью, а сверху все это полил красным соусом,— можешь, не колеблясь, подойти к такому господину, хлопнуть по плечу и сказать: «Здорово, земляк! Мы из Москвы. А ты?» Но судя по всему, кроме нас, советских в отеле больше не было.

Наевшись до ненависти к себе, мы отправились в автобусную экскурсию по городу: Елисейские поля, Тюильри, Собор Парижской Богоматери, Центр Помпиду... Мадам Лану неутомимо объясняла, что, кем и когда было построено, кто, где и когда родился, жил, умер.

— Такое впечатление, что они домов не ломают, а только строят новые,— глядя в окошко, заметила Алла.

— Для того, чтобы сломать дом, его нужно купить,— объяснил Спецкор.

— Ну, тогда бы они разорились на одном нашем Калининском проспекте! — вставил я и поймал настороженный взгляд Диаматыча.

Подъехали к Эйфелевой башне. Вблизи она напоминала гигантскую опору линии электропередач. Мадам Лану рассказала, что поначалу французы были резко против этого чуда инженерной мысли, но потом привыкли и даже полюбили. А к двухсотлетию Великой Французской революции башню должны отремонтировать.

— Тоже к круглым датам пену гонят! — не удержался я.

— Это — общечеловеческое! — добавил Спецкор.

— Вы мешаєте слушать! — сердито одернул нас Диаматыч.

Я глянул на Спецкора с выражением, означавшим: «Ну, теперь-то ты убедился?» Он ответил мне движением бровей, которое можно было перевести так: «Возможно, ты не так уж далек от истины, сосед!»

Мадам Лану объяснила, что подъем на башню программой не предусмотрен, но у нас будет свободное время, и каждый сможет насладиться незабываемой панорамой Парижа. Стоит это недорого — 35 франков. По тому, как все переглянулись, я понял: никто, включая меня, не насладится незабываемой панорамой, предпочитая памяти сердца грубые потребительские радости.

Обедать нас повели в китайский ресторанчик, перед входом в который стоял большой картонный дракоша и держал в лапках рекламу, обещавшую роскошный обед всего лишь за 39 франков 99 сантимов. Обед был действительно очень вкусный, но впечатление подпортил Спецкор, сболтнувший, будто из

мительное мясное рагу приготовлено из собаки. Особенно переживала Алла, ибо дома у нее остался не только сын Миша, но и пудель Гавриил. Потом был музей Орсе. Перед входом, на площадке, окаймленной каменными фигурами, выстроилась довольно приличная очередь.

— Ура! — закричал Торгонавт. — Я выиграл!

— Я бы вам не отдал коньяк! — огорошил его Спецкор. — Очередь за искусством — это святое...

Мадам Лану объяснила, что раньше здесь был обыкновенный вокзал, но со временем необходимость в нем отпала и его переоборудовали в музей искусства XIX века.

— Они из вокзалов — музей, а мы из музеев — вокзалы! — сказал я.

— Молодой человек, вы забываете, где находитесь! — возмутился Диаматыч.

— Он уже вспомнил и больше не будет! — поручился за меня Спецкор, а бровями показал: «Да, сосед, ты абсолютно прав!»

Когда мы вошли в музей с высоким переплетчато-прозрачным, как у нас в ГУМе, потолком, мадам Лану разъяснила, где что можно посмотреть, и вручила каждому по бесплатному проспекту. Мы разбрелись кто куда. Пипа Суринамская завистливо бродила возле портретов салонных красавиц и внимательно разглядывала их туалеты. Гегемон Толя пошел искать WC и застрял возле крепкотелых майолевских женщин. Товарищ Буров и Друг Народов остановились возле «Олимпии» и заспорили, сколько она могла бы потянуть на аукционе в Сотби. Удивил Торгонавт: он рассматривал картины через сложенную трубочкой ладонь и приговаривал: «Какие переходы! Какой мазок!» Увидев нас, он обрадовался и повел показывать «умопомрачительного» Пюви де Шаванна. При этом он возмущался тем расхожим мнением, которое бытует о торговых работниках, а ведь среди них есть люди тонкие, образованные. В частности, он, Торгонавт, уже много лет собирает молодой московский авангард.

После музея был запланирован официальный визит в советское посольство. В автобусе Алла наклонилась ко мне и тихо сказала:

— Костя, у меня к вам просьба!

— Слушаю и повинуюсь! — ответил я, точно джинн, скрепив на груди руки.

— Буров просил меня вечером зайти к нему в номер...

— Зачем? — ревниво спросил я.

— Сказал, хочет посоветоваться... Я же в активе руководства...

— Ага, посельсоветоваться! Ясно...

— Костя, я прошу вас,— и она положила свою ладонь на мою руку.— Я пойду в 10 часов. А вы через пятнадцать минут постучитесь к нему. На всякий случай... Вообще-то я уверена, что справлюсь сама. Знаете, бабушка научила меня специальному взгляду, отрезвляющему мужчин...

Алла вдруг отстранилась, вскинула голову и окатила меня ледяным презрительным взглядом, явно обладающим нервно-паралитическим воздействием.

— Ну, как? — спросила она, снова наклоняясь ко мне.— Действует?

— На меня действует,— сознался я.— А как на Бурова, не знаю. Так что постучу обязательно, тем более что я обещал Пековскому...

Алла посмотрела на меня с каким-то недоумением, разочарованно улыбнулась и отвернулась к окну...

Здание посольства — монстр, появившийся на свет в результате сожительства конструктивизма и эпохи украшательства,— располагалось, как объяснила мадам Лану, в чрезвычайно фешенебельном районе Парижа. Встретили нас так, как встречают гостей, от которых не удалось отвязаться. Подтянутые ребята нехотя проводили нас в комнату, куда минут через десять нехотя зашел молодой человек, удивительно похожий на нашего Друга Народов (они даже переглянулись), но только с величественной усталостью в движениях и ровными зубами.

Пока товарищ Буров докладывал о целях и задачах нашей спецгруппы, молодой дипломат кивал и с недоверием разглядывал скороходовские башмаки Гегемона Толи.

— Нравится Париж? — спросил он отечески.

— Очень! — простодушно ответили мы.

— Может быть, нужна наша помощь? — поинтересовался он таким тоном, что попросить после этого о чем-либо мог лишь человек, напрочь лишенный совести.

— Нет. У нас все в порядке,— ответил Друг Народов, поедая глазами своего везучего двойника.— Группа дружная, дисциплинированная...

Томный полпред равнодушно кивнул, внимательно поглядел на часы и для вежливости полюбопытствовал:

— Может быть, есть вопросы?

— Скажите, а трудно здесь работать? Все-таки капиталистическое окружение! — заискивающе спросил Диаматыч.

— Даже не представляете себе, как трудно! — вдруг оживился он.— Страшно тяжело! Все время на нервах. Все время буквально в боевой готовности! Вот позавчера: опять диверсия...

Выхожу на улицу, чтобы поехать за город, а у моего «мерса» проколота шина... Понимаете?

— Ужасно! — вдруг вылетело у меня.— А я вот недавно оставил велосипед возле универсама, возвращаюсь — нет! Представляете?!

Международный юноша поморщился и встал, давая понять, что после такого глумления говорить ему с нами просто не о чем... Возле автобуса Друг Народов набросился на меня с упреками:

— Как вы посмели?! Это такой уровень!

— Ну и правильно! — заступился за меня Спецкор.— Нечего выпендриваться!

— Делаю вам замечание, Гуманков! — сурово предупредил товарищ Буров.

Вечером, после хорошего ужина с вином, проводив на свидание с Мадлен Спецкора и вполглаза глядя по телевизору фильм о том, как в оккупированном Париже расцветает любовь Катрин Денев и Жерара Депардье, я обдумывал неизбежность драки с товарищем Буровым и восстанавливал в памяти свои скромные навыки рукопашного боя. Лет семнадцать назад в строительном отряде меня крепко поколотили деревенские мордвороты только за то, что я из коровника, который мы строили, забрел в село. Вот, собственно, и весь навык. Потом я почему-то вспомнил, как тем же летом, в том же стройотряде Пековский оприходовал ту невзрачную девицу с экономического факультета, свою будущую жену, а после уверял, что даже понятия не имел, кем работает ее папа, а если бы имел понятие, то ни за что не стал бы иметь ее — девицу. Девица, разумеется, подзалетела, а Пековский, который уже отправил в больницу на разминирование двух отзывчивых однокурсниц, вдруг ни с того ни сего взял и женился на жертве своего любострастия. Ребенка она, кстати сказать, доносить не смогла, а поскольку в стройотряд они больше не выезжали, то и детей у них не было.

В 22. 10 я, как часовой, стоял у двери товарища Букова и чутко прислушивался к происходящему в номере. Тишина. Легкое позвякивание чего-то стеклянного. Потом приглушенная музыка. Ничего, напоминающего посягательство на женскую добродетель. Я обдумывал, как буду объяснять сердитому на меня рукспецтургруппы свой поздний визит, когда открылась дверь другого номера и оттуда крадущейся походкой вышел Диаматыч, одетый в синюю шерстяную олимпийку «А ну-ка, девушки!» и кожаные тапочки.

«Докладывать пошел, гад!» — подумал я и незаметно последовал за ним.

Как и следовало ожидать, спустившись в холл, он сразу подошел к телефону-автомату, при помощи которого, между прочим, можно было позвонить даже в Москву, и снял трубку. Когда, прячась за колоннами, я приблизился настолько, что мог слышать его голос, разговор уже шел к концу.

— Нет, завтра мы в семьях... Послезавтра... В одиннадцать... Раньше нельзя, у нас программа... Да, и конечно, конспирация... Нет, ничего не изменилось... Следят за каждым шагом... Около льва... Я тоже...

Вслушиваясь в его слова, я механически глянул на часы и обомлел: 22. 28. Черт подери, пока я выслеживаю этого старого глубинщика, Алла там, в номере, в лапах мордатого Бурова. Бедняжка, она надеется остановить этого жлоба при помощи бабушкиного взгляда! Я рванул назад...

Они стояли на пороге номера и церемонно прощались. Товарищ Буров нежно удерживал ее пальцы в своей лапе и журчал:

— Ничего не поделаешь, но на один день вам придется стать моей женой...

— Все это так неожиданно...— жеманилась Алла, стараясь отнять руку.

— Есть у советских людей такое слово — «надо», Аллочка! Слышали?

— Приходилось...— вздохнув, отвечала она.

Приметив меня, рукспецтургруппы с неожиданным добродушием заметил, что отбой был уже полчаса назад. Алла даже не посмотрела в мою сторону.

XI

Утром, когда я умывался, вернулся Спецкор — загадочно-бледный и томно-вялый.

— Ну, и как? — спросил я.

— Париж — город влюбленных! — ответил он и упал на кровать. — Если будут спрашивать, почему меня нет на планерке, скажи им, что я выпит до дна...

Но на планерке было не до моего выпитого соседа: мучительно решали, что делать с Поэтом-метеористом и Пейзанкой. Постановили: пускать их в простые французские семьи невозможно, так как он может навсегда исказить представление о советском творческом работнике, а она — окончательно чокнуться. Пусть сидят в отеле и приходят в себя.

Потом говорили о распределении по семьям. Товарищ Буров разъяснил, что при составлении списков учитывались запро-

сы как нашей, так и французской стороны. Друг Народов, выставив по-заячьи зубы и прихихикивая, добавил, что французы – затейники, любят разные штучки и вот учудили: каждому члену нашей группы выдается картонная половинка какого-нибудь животного, а вторая половинка – у французов. Таким образом, как и предполагал старик Платон, каждый находит свою половину. Мне досталась ушастая ослиная голова.

Во время завтрака обсуждались баснословные случаи, когда, понав в богатую буржуазную семейку, советские туристы возвращались домой сказочно одаренными. Так, например, в прошлом году зафиксирован факт, когда владелец фирмы готового платья одел своего гостя буквально с головы до ног. Ходят также легендарные слухи о подаренных двухкассетниках, видеомэгнитофонах, даже телевизорах. Сомнение вызвала история новенького «рено», якобы подаренного чрезвычайно любившемуся советскому гостю. Особенно много таких фантастических случаев знал Торгонавт.

Еще египтяне считали, что крокодилы приносят удачу! – говорил он, показывая всем остальным свою половину с длинной зубастой пастью.

За завтраком Алла села рядом со мной, но ела молча, не отрывая глаз от тарелки, и лишь однажды царапнула меня отчужденным, бабушкиным взглядом. Разумеется, первым не выдержал я.

— Не падо так на меня смотреть... Случилось непредвиденное...

Возможно, но на вас, Костя, нельзя положиться...

На вас тоже...

– Что вы имеете в виду?

Я имею в виду ваши матримониальные планы!

Я женщина свободная!

– Оно и заметно...

Йогурт к изумлению аборигенов, мы сгваздывали по три-четыре упаковки за завтрак, чтобы попробовать разные сорта – вишневый, клубничный, банановый, апельсиновый, черничный и так далее, – так вот, йогурт мы ели во враждебном молчании. Гегемон Толя, к полному ужасу официантов, приволок со шведского стола огромный ананас, имевший явно рекламное назначение и даже для доли овечности покрытый глицерином. Пока звали метрдотеля, Толя уже отломил жесткое зеленое оперение и по-арбузному, прижав ананас к груди, взрезал его зубчатым столовым ножом.

Ладно, парушила молчание Алла. Если вам наплевать на меня, сдержите по крайней мере слово, которое вы дали Пековскому!

— Что я должен делать?

— Когда будут распределять по семьям, стойте рядом со мной.

— И только-то?

— Достаточно...

Распределение по семьям происходило в холле. Французы оживленно переговаривались, смеялись и помахивали своими половинками картонных зверушек. Мадам Лану что-то сказала им — и это было, как выстрел из старого пистолета.

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — пробурчал еще сонный Спецкор, рассматривая своего с опозданием полученного полужирафа.

Первой соединилась Пипа Суринамская. Ее хозяйка оказалась такой же дородной и осанистой, поэтому, чтобы приветственно чмокнуться, им пришлось основательно вмяться животами друг в друга. Кажется, товарищ Буров не соврал: при распределении действительно учитывались взаимные интересы. Ослабленного Спецкора увел длинный француз в берете и свободной блузе «гогеновке» — скорее всего, художник. Друга Народов забрал респектабельный, до синевы выбритый господин, несомненно имевший отношение к финансово-банковской системе.

Товарищ Буров наблюдал за этой разборкой с полководческой усмешкой, иногда при этом он нежно посматривал на Аллу и снисходительно — на меня. А тем временем оборванный парень с петушиным гребнем на голове, заглядывая в картонку, изображавшую крокодилий хвост, словно в бумажку с адресом, шел вдоль наших поредевших рядов.

— Почему я? — всхлипнул Торгонавт и спрятал за спину зубастую пасть аллигатора.

— Судьба! — посочувствовал я.

— К черту! — прошептал Торгонавт, метнулся к Гегемону Толе, равнодушно ожидавшему своей участи, и быстро поменялся с ним картонами.

— На хрена? — удивился Гегемон Толя, обнаружив, что носорог в его руках вдруг превратился в крокодила.

— Буров велел! — объяснил коварный Торгонавт.

— Ну и хрен с ним! — смирился обманутый.

Обмен привел к тому, что через минуту Торгонавт уже пожимал руку стройному седовласому юре, одетому в строгий костюм со стоячим клерикальным воротничком. Кисло улыбаясь, Торгонавт давал понять, что святой отец, конечно, не предел желаний, но все-таки лучше, чем немый панк!

А панк тем временем высмотрел в мозолистой руке Гегемона Толи недостающую половинку своей рептилии, приблизился,

восторженно оглядел его с ног до головы, и, тщательно коверкая русские слова, сказал:

— Ви э-э-э есть... наша... гость... Ви?

— А хрен его знает...

— Как э-э... вам зовут?

— Толик...

Тогда парень, тряхнув своим петушиным гребнем, обернулся и крикнул в распахнутые двери отеля:

— Мамá, папá! Мосье Толík...

Там, на тротуаре, возле ослепительного, длинной в поллицы лимузина стояла аристократическая пара: у мужчины в петлице был цветок, кажется орхидея, а женщина куталась в серенькое манто.

— Костя, а вы знаете, что это за мех? — тихо спросила Алла.

— Кажется, мерлушка...

— Сами вы мерлушка. Это — шиншилла!

Уводимый кюре Торгонавт оглядывался на все это полуобморочным взором и шарил по карманам с той нервной торопливостью, с какой обычно ищут валидол. А Гегемона Толю уже бережно влекли к лимузину, пожимали руку, выскочивший из машины шофер с полупоклоном открывал ему дверцу, а господин с орхидеей помогал забраться в сафьяновое нутро автомобиля, который наконец плавно тронулся и тянулся вдоль окон долго-долго, как поезд. И по тому, каким мечтательным взглядом проводил их товарищ Буров, я осознал: изначально аристократическая семейка предназначалась ему, но рукспецтургруппы пожертвовал очевидной выгодой ради иных, более дорогих удовольствий.

У бедного и безвластного мужчины есть одно преимущество: если женщина ему и достается, то даром.

Алла незаметно толкнула меня локтем в бок: перед нами стояла пожилая чета — старичок в добротном клетчатом пиджаке, пестром платке, повязанном вокруг морщинистой шеи, и фиолетово-седая дама в брюках и кофте с глубоким вырезом. Они смотрели на нас, улыбаясь совершенно одинаково, — так бывает у супругов, проживших вместе всю жизнь. Дама протянула Алле свою половинку медвежонка и что-то зажурчала по-французски.

— Мы очень рады, что нам пошли навстречу и предоставили возможность принять у себя советскую супружескую пару! — перевела Алла и посмотрела на меня со строгостью.

Но пока она отвечала французам пространно и, судя по выражению их лиц, тонкой любезностью, товарищ Буров, торжествуя, подвел ко мне толстенького господина в полицейской форме и представил:

— Мосье Гуманков — рашен програмишен...

— Ес ит из! — обрадовался ажан, тоже, видимо, не полиглот.

Алла засмеялась, взяла из моих рук ушастую ослиную голову и приложила ее к хвостовой части, которую держал француз.

— Хау проблемз? — озадачился товарищ Буров.

Алла долго что-то разъясняла по-французски, в результате чего старички громко засмеялись, а полицейский восторженно хлопнул рукспецтургруппы по спине.

— Фальшей ситуэйшен! — взмолился товарищ Буров, догадываясь, что становится жертвой чудовищного по своей несправедливости обмана.

Алла улыбнулась и, понизив голос, сообщила что-то специально служителю закона. В ответ он щелкнул каблуками и, взяв нашего руководителя профессиональной хваткой, повлек его к стоявшей у дверей полицейской машине, умчавшейся в тот же миг с пронзительным воем.

— Что ты ему сказала? — спросил я.

— Когда?

— Сейчас.

— Сказала, что товарищ Буров с удовольствием отдаст себя в руки славной французской полиции...

— Понял... А до этого?

— До этого...— Алла посмотрела на меня с сомнением. Пусть это останется моей маленькой тайной. Но боюсь, что больше меня за границу не пустят...

— Меня-то уж точно не пустят...— вздохнул я.

XII

Наши хозяева — мадам Марта и месье Антуан — оказались пенсионерами, а в прошлом школьными учителями: она химии, он — истории. Гиска на метро мы ехали к ним домой на северо-запад Парижа, выяснилось, что у них две дочери, обе замужем: младшая — в Ниме, а старшая — в Лионе. Мадим Марта, совсем как советская бабушка, постоянно ездит по дочкам и помогает растить четырех внучат. Месье Антуан, что типично для учителя истории, выйдя на пенсию, занимается Великой Французской революцией, а также коллекционирует холодное оружие той эпохи.

Кстати, парижское метро не имеет ничего общего с нашими подземными дворцами: голая функциональность плюс большие рекламные щиты. Мне кажется, следующая цивилизация, ри-

копав останки нашего метрополитена, долго будет ломать голову над прежним назначением этих мраморных колонн, мозаичных панно, расписанных потолков... Как водится, возникнут гипотезы: культовая (ритуальные знаки — кабалистические звезды и перекрещенные орудия труда), сатурнально-эротическая (обилие изображений женщин с подчеркнутыми половыми признаками), внеземная концепция (изображение летательных снарядов и людей в скафандрах)... Но чудака, который выскажет бредовую мысль, будто все это имело всего лишь транспортное назначение, обсмеют и лишат ученой степени.

Еще я заметил, что в парижском метро много цветных — примерно столько же, сколько в московском — приезжих. Через Аллу я решил прояснить этот вопрос, и мосье Антуан с выстрадавшим интернационализмом сообщил, что Париж становится новым Вавилоном.

— Это плохо? — уточнил я.

— Это неизбежно! — мужественно улыбнулся бывший учитель истории.

Наши новые французские друзья жили в многоэтажном доме, отдаленно напоминающем московские башни улучшенной планировки, выстроенные специально для каких-нибудь могучих организаций. В подъезде, правда, не было выгородки с дотошным дежурным ветераном, но зато парадную дверь мосье Антуан открыл своим собственным ключом, чем, наверное, и объяснялась министерская чистота на лестнице и противоестественная нетронутость полированных стенок лифта. Пока мы поднимались на восьмой этаж, мадам Марта объяснила, что раньше они имели квартиру побольше и поближе к центру, но после того, как дочери разлетелись из родительского гнезда, решено было перебраться сюда: и подешевле, и потише... А воздух!

Квартирка состояла из трех комнат, кухни-столовой, просторной прихожей и двух ванн-туалетов — одним словом, мечта народного депутата! Нас определили на жительство в просторной комнате с широким супружеским ложем. Двухспальные кровати просто преследовали меня! На крашеных стенах висели шпаги, палаши, кинжалы и даже алебарда. Нам разъяснили, что в этой комнате, когда наезжают, останавливаются дочери с мужьями. Алла озабоченно посмотрела сначала на постель, потом на меня и вздохнула. Как только мы остались одни, я предложил:

— Давай скажем, что у нас в СССР супруги спят отдельно!

— Не поймут... Еще подумают, что мы поссорились...

— А что бы ты делала, если бы на моем месте все-таки оказался Буров? — ехидно спросил я.

— То же самое — переодевалась...

— Мне выйти?

— Можешь просто отвернуться...

— А Буров не отвернулся бы...

— Константин Григорьевич, — гневно, по-бабушкиному глянув на меня, прикрикнула Алла. — Вы дурак и зануда, станьте в угол!

Слушая мягкое шуршание за моей спиной и опасливые предупреждения Аллы о том, что она еще не готова, я думал об одной странной особенности моего мужского воображения: чем красивее женщина, тем труднее мне представить себе ее наготу. Вот и сейчас я совершенно бессилён вообразить Аллу без одежды. Мне кажется, если я вдруг обернусь, то увижу нечто вроде огромной куклы: лицо, глаза, ресницы, волосы, руки, ноги, а посредине бесполое тряпочное туловище, сшитое из разноцветных лоскутов.

— Я готова! — сообщила она.

На ней было нежно-лиловое шерстяное платье, черные лаковые туфельки и такой же пояс.

— Костя, какие у вас сувениры? — спросила она.

— Самовар. А у вас?

— Матрешки. Вручение даров только по моей команде. Ясно?

— Ясно.

Обед начался с салата, политого маслом и посыпанного чем-то хрустящим. А потом был классический луковый суп, о котором я много слышал и прелесть которого так и не понял. Говорили о семейной жизни. Оказалось, во Франции, как и у нас, жуткое число разводов, семьи распадаются, безотцовщина и прочие кошмарные вещи. Со слов Аллы я понял, что желание наших хозяев принять у себя советскую супружескую пару связано с тем, что они состоят в каком-то добровольном обществе спасения семьи как основы общества и очень рады видеть нас — молодых, красивых, дружных, удивительно подходящих друг другу. Незаметно показав мне язык, Алла принялась рассказывать о нашем изумительном браке. Оказывается, мы познакомились еще в студенчестве и женаты двенадцать лет! Нашему Мише («О, Мишель!») — десять годков, он занимается музыкой, языками, футболом...

— И синхронным плаванием! — бухнул я, вспомнив, как водил Вику в эту самую секцию, ждал ее в сыром предбаннике бассейна, как она старалась и даже научилась высовывать ножку из воды, а потом охладела, простудилась и бросила это самое синхронное плавание.

Алла тяжело вздохнула и продолжала свой рассказ, изредка

поясняя мне, о чем идет речь. Оказалось: помимо шикарной квартиры, у нас дача и два автомобиля: один мой, а второй — ее. Дальше — больше! Мы оба увлекаемся большим теннисом, а служим программистами в престижной фирме. И эта единственная правдивая информация привела наших хозяев в бурный восторг. Мы узнали, что программисты — люди очень обеспеченные, не то что учителя...

Во время второго блюда, тушеного мяса, которое мы запивали сухим красным вином, напоминающим наше «каберне», обсуждали потрясший наших хозяев факт, что проезд в советском метро стоит всего пять копеек. Эти сведения сообщил я, совершенно забыв про свой автомобиль. Мосье Антуан долго считал, царапая караидашом по салфетке, потом показал результат жене, — и они хором застонали. Чтобы вывести их из шока, Алла дала команду нести дары. И мы узнали, что матрешки — их давняя любовь, а самовар — недостижимая мечта! Восторг был полный!

После короткого совещания с мадам Мартой мосье Антуан удалился и скоро вернулся с запыленной бутылкой. На этикетке значился 1962 год! Он глядел на нас в ожидании ответного восторга и получил его в полной мере. Выяснилось: каждый сезон они покупают несколько дюжин бутылок нового вина, часть выпивают, остальное хранят в чулане. Год от года вино становится выдержаннее, вкуснее, крепче, а значит — дороже. «Ведь в 62-м, — страстно рассказывал мосье Антуан, — эта бутылка стоила всего несколько франков, а нынче — минимум 100!» Кстати, на сегодняшний день это самое старое вино в их коллекции.

Вино пили с сыром — сортов десять было разложено на большом фарфоровом блюде. На вопрос, любят ли сыр в России, мы ответили утвердительно и стали перечислять исторические названия: костромской, ярославский, пошехонский, степной, пикантный, голландский, колбасный, сулугуни, плавленый сыр «Дружба»

— За дружбу! — почти по-русски провозгласил мосье Антуан и поднял свой бокал с темно-красным, но не ярким, а словно чуть выцветшим вином урожая 1962 года — года, когда я пошел в четвертый класс. Вино было сухое, терпкое и очень крепкое, от него сразу затеплилось внутри, как от «старки».

Потом снова говорили о детях, внуках, мадам Марта показывала фотографии, и Алла в самый последний момент пресекла мою попытку достать из бумажника снимок Вики в пионерской форме. Мосье Антуан снова куда-то ушел и принес резную шкатулку из черного дерева. Внутри на красной бархатной подушечке покоился кинжал с инкрустированной

ручкой. Понизив голос, бывший учитель истории сообщил, что, возможно, именно этим кинжалом был смертельно ранен Лепелетье. Мадам Марта театрально расхохоталась и что-то раздраженно сказала мужу, тот нахмурился и унес шкатулку, держа ее в руках осторожно, словно отец — позднего ребенка. Из перевода раскрасневшейся от вина Аллы я понял, что несовпадение взглядов на историческую достоверность кинжала, а главное, на его цену, несколько омрачает безоблачную старость супругов.

Спать мы разошлись за полночь. Я еще походил по квартире, якобы рассматривая коллекцию оружия, а на самом деле давая возможность Алле нестесненно подготовиться ко сну. Когда я вступил в нашу комнату, она уже лежала на краешке ложа, до горла закрывшись одеялом, а в воздухе витал свежий запах ее духов.

— Я на тебя не смотрю! — успокоила она и закрыла глаза.

«Было бы на что смотреть!» — подумал я, разувшись, и на всякий случай спрятал носки в карманы брюк.

Позже, выйдя из ванной, примыкавшей к нашей комнате, я ощутил себя гораздо увереннее, привлекательнее и чище:

— Теперь мне понятно, почему товарищ Буров... — игриво начал я.

— Товарищ Буров зря надеялся... — ответила Алла, не отрывая глаз.

— А я?

— И не мечтай!

— А как же супружеский долг?

— Я буду кричать!

— Тогда французы подумают, что советские женщины — нимфоманки!

— Неужели ты этим воспользуешься? — спросила она тихо и еще крепче зажмурилась.

— Можешь не сомневаться.

— А мне казалось, ты не такой, как все...

Поразительно, но эта среднешкольная уловка, с помощью которой некогда мои одноклассницы пытались пресекать попытки во время танго сдвинуть ладонь чуть ниже талии, подействовала на меня совершенно обескураживающе. Я осторожно снял со стены шпагу с резным эфесом и, отсекая себе путь к соблазну, положил ее на постель — вдоль сокрытого одеялом Аллиного тела, а сам осторожно улегся по другую сторону клинка.

— Можешь открыть глаза.

— Это по-рыцарски! — после некоторого молчания сказали она. — Ты прелесть...

Шпага начищенно блестела, и только внутри глубокого кровотока сохранилась чернота времени. Алла выключила ночник. От ее тела исходил какой-то странный, одновременно пряный и очень домашний запах, и чем дольше я вдыхал его, тем явственнее ощущал, как внутри меня все туже и туже закручивается сладостная пружина безрассудства. О том, что случится, когда она — очень скоро! — распрямится, я догадывался и потому встал с постели, ощупью нашел в темноте кресло и устроился там в позе эмбриона, укрывшись своим пиджаком. Вино 1962 года почти заставило меня позабыть, что у Аллы нет наготы.

— Там удобнее? — спросила она.

— Спокойнее.

— Ты настоящий мужчина, — вздохнула Алла. — Я тебя уважаю...

— А зачем ты врала им про нас?.. И еще про дачу, теннис, машины?..

— Не знаю... Пусть думают, что мы счастливые и богатые...

— Пусть...

— Но мы же в самом деле могли познакомиться в институте... И все остальное....И дача у нас могла быть... И машина... Разве нет?

— Спокойной ночи, — ответил я.

— Спасибо, — отозвалась Алла, и мне послышалось, что она улыбается.

XIII

Утром я проснулся оттого, что в грудь мне уперлось холодное острие. Надо мной стояла Алла, и в руке у нее была вчерашняя шпага.

— Вставай, Тристан! — смеялась она.

— Я проспал? — Мне показалось, что я дома и нужно мчаться на работу

— Проспал! — кивнула Алла.

За завтраком мы пили кофе с молоком из чашек, похожих на большие пиалы, и ели булочки с маслом и джемом. Потом нас повезли в парк, вроде Сокольников, там мы гуляли, ели мороженое и обсуждали нелегкое существование французских пенсионеров в сравнении с беззаботной житухой советских ветеранов труда. В конце концов, забывшись, я все-таки вытащил фотографию Вики, и наши хозяева, вообразив, очевидно, недоброе, все оставшееся время поглядывали на Аллу с ободряющим сочувствием.

К обеду мы должны были вернуться в лоно родной спецгруппы. Почти у самого отеля мосье Антуан вручил нам подарки — два целлофановых мешочка, в которых лежали белые носки с надписью «теннис», матерчатые повязки на голову и махровые браслеты, называющиеся, как выяснилось впоследствии, «напульсниками»... Из сопроводительного объяснения сияющего мосье Антуана я уловил только одно слово — «хобби».

— О! — только удалось выговорить мне.

— Ах! — воскликнула Алла и бросилась ему на шею, как если бы ей подарили «рено»...

Прощаясь, Алла и мадам Марта всплакнули.

Надо ли говорить, что Гегемон Толя вернулся с японским двухкасетным магнитофоном. Это вызвало приступы зависти различной силы у всех, а Торгонавта повергло в мрачное оцепенение: ему-то была подарена хлопчатобумажная маечка с изображением Эйфелевой башни.

На оперативном совещании, проведенном сразу же после обеда и посвященном пребыванию во французских семьях, нам с Аллой был объявлен строжайший выговор за внесение злостной путаницы в утвержденный порядок расселения и целенаправленный обман надежд французской общественности. Друг Народов истерично крикнул, что за такие выходки становятся невыездными, а товарищ Буров, обманутый вместе с французской общественностью, обиженно кивнул. В ответ Алла с чисто бабушкиным негодованием отвергла домыслы о каких-то там выходках и всю вину возложила на организаторов, которые вместо четкого распределения по спискам устроили какой-то детский сад с картонными зверушками, что и явилось подлинной причиной возникшей путаницы... А я добавил, что ошибка вышла не только с нами, но и с Гегемоном Толей, например. Нельзя же, в самом деле, на этом основании потребовать, чтобы он передал свой благоприобретенный магнитофон Торгонавту, первоначально запланированному для проживания в семье аристократов...

Торгонавт вскинулся и посмотрел на нас глазами смертельно больного человека, на мгновение вообразившего, что врачи просто-напросто перепутали пробирки с анализами.

— Как вам не стыдно! — возмутился Друг Народов. — Мы вас пожалели, записали в резерв, а вы...

— Ладно, — тяжело вздохнул товарищ Буров. — Оргвыводы раньше нужно было делать... Теперь-то что говорить...

И мне стало жалко его, захотелось подойти, хлопнуть по начальственному плечу и сказать: «Не горюй, Буров, ничего же не было! Между нами лежала шпага!»

Вторым вопросом рассматривали заявление Поэта-метеориста и Пейзанки. Оказалось, пока мы прохлаждались в семьях, у них все стало совсем серьезно. Он читал ей стихи, она внимала в недоуменном восхищении, бегала в бар за выпивкой, а поутру лелеяла его похмельную грусть. Для целенаправленно пьющего человека очень важно, чтобы утром был кто-нибудь рядом. Исходя из моего личного опыта, похмелье можно условно разделить на три стадии:

- Плохендро-I (5—6 часов утра).
- Плохендро-II (11—12 часов дня).
- Плохендро-III (4—5 часов дня).

Искусство заключается в том, чтобы лаской и строго последовательным введением в организм определенных доз алкоголя избавить похмельный организм от мучений на этапе Плохендро-I, в крайнем случае, на этапе Плохендро-II, не доводя дело до ужасного Плохендро-III. Все три предыдущие жены Поэта-метеориста этим искусством так и не овладели, хотя были женщинами тонкими и образованными. А вот Пейзанка, выросшая в колхозе с прочными питейными традициями, сызмальства приставленная к безбрежно пьющим отцу, старшему брату и крестному, играючи разобралась в недужных ритмах Поэта-метеориста,— все остальное упиралось в денежную проблему, но Машенька отнеслась к своим франкам с той же беззаботностью, с какой некогда ее мама — к облигациям государственного займа 1947 года. Короче, теперь, найдя друг друга, они обратились с просьбой разрешить им проживание в одном номере.

— Мы тут вам не ЗАГС! — угрюмо отрубил товарищ Буров, забыв, что сам еще вчера пытался навязаться Алле в мужья.

— Что же делать? — огорчилась Пейзанка.

— Идите в мэрию и оформите брак! — со смехом посоветовал Спецкор.

— Странные у вас шуточки! — неизвестно кого одернул Друг Народов.

Он вообще был озлоблен, так как принимавший его финансовый деятель подарил ему визитную карточку и предложил широко пользоваться услугами своего банка.

— Мы с тобою — городские чайки! — высокомерно пробубнил Поэт-метеорист, обнял свою новую подругу, и они покинули штабной номер.

Во второй половине дня нас возили по революционным местам Парижа. Мадам Лану объясняла: вот здесь стояла гильотина, а тут везли на казнь Дантона, и он крикнул: «Робеспьер, ты последуешь за мной!». А там были баррикады в 1848 году.

Возложили цветы у стены коммунаров на кладбище Пер-Лашез. В завершение отправились в музей-квартиру Ленина.

— Интересно, какие у него были суточные? — тихонько спросил меня Спецкор, осматривая помещение, в котором жил вождь.

Я хотел было пошутить про то, что суточные ему, видимо, платили большие, но потом сэкономили на проезде в германском опломбированном вагоне, но, поймав на себе исполненный священного идеологического гнева взгляд Диаматыча, промолчал.

Вечером мы лежали со Спецкором в постели, попивали красное вино из бутылки, уведенной с ужина, и смотрели по телевизору фильм о любви стареющей врачихи к красивому, но обреченному юноше. Она делала все, чтобы облегчить его участь, даже знакомила его с хорошенькими девчушками, подглядывала, как он занимался с ними любовью в отдельной больничной палате, и плакала от ревности, нежности и бессилия...

— Ой! — вдруг подскочил я. — Забыл!

— Ты куда? — удивился Спецкор.

— Сегодня же выход на связь!

— Не забудь, что прелюдия должна быть в три раза длиннее, чем сама связь! — посоветовал он мне вдогонку.

Диаматыча я обнаружил недалеко от отеля, в скверике, возле огромного зелено-бронзового льва, под постаментом которого, если верить мадам Лану, находится лаз в парижские катакомбы. Рядом с профессором стояли не слишком молодая и привлекательная, но хорошо одетая женщина в очках и мальчик, почти подросток, иронически рассматривавший уже знакомого мне киборга с зажигающимися глазами. Я не слышал, о чем они говорили, так как спрятался за деревом шагах в пятнадцати от них, но судя по тому, как Диаматыч мотал головой, он отказывался от каких-то настойчивых предложений женщины, которая вдруг заплакала, полезла в сумочку за платком, а мальчик, выключив киборга, с досадой посмотрел на нее и даже осуждающе дернул за рукав. Тогда женщина дала мальчику деньги и отправила к лотку с прохладительными напитками, работающему, несмотря на такой поздний час. Един пацан, сверкая белыми кроссовками, убежал, женщина обняла Диаматыча за шею и стала гладить по голове. Поначалу он стоял, беспомощно опустив руки, а потом тоже обнял ее, но неловко и очень вежливо, точно незнакомку в танце. Воротился мальчик с тремя банками кока-колы. Диаматыч опасливо, как если бы это была граната, потянул за кольцо и именно тогда увидел меня.

Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а потом, сжав в руке банку, как бульжник, он двинулся в мою сторону. Нет, сначала он что-то сказал женщине, и она сразу изменилась в лице. А вот мальчик, слышавший те же слова, глянул на меня без всякого интереса. Диаматыч подошел ко мне вплотную. Банка в его кулаке сплющилась, и мокрая лампасина тянулась вдоль брючины. Губы у него дрожали, словно он хотел зарычать, приоткрывались, и я заметил, что верхние зубы у Диаматыча пластмассово-белые, а нижние — желтые и выщербленные.

— Все-таки выследил, филёр проклятый! — задыхаясь от ненависти, проговорил он. — Шпион... Сексот... Стучач... Доносчик...

Сосредоточившись на разнообразии слов, обозначающих в русском языке эту древнюю профессию, я поначалу не въехал, что в данном конкретном случае сказанное относится непосредственно ко мне, а когда понял, то от удивления не смог вымолвить ни звука.

— Это вас не касается! — продолжал он, но уже не так кровожадно. — Это мое личное дело! Почему вы всюду лезете? Я честный человек! Я член партии! Почему я не могу увидеть женщину, которую люблю... любил...

То, что Диаматыч никакой не глубинщик, я понял сразу, как только увидел в руках у парнишки киборга, но то, что у этого старого марксоведа и эгельсолюбца здесь, в Париже, есть любимая женщина, было настолько ошеломляющим, что я снова не нашелся, что ответить.

— Я знаю, вас специально ко мне приставили! — снова оскалился Диаматыч. — Вы меня нарочно со своим дружкой подначивали! Кололи? Да? Радуйтесь, раскололи... Теперь медаль получите! А я ее все равно должен был увидеть... Мы десять лет не виделись! Мальчик уже вырос, а я ему игрушку купил... Вы должны меня понять! Вы же тоже коммунист... У вас ведь в КГБ все коммунисты? Да? — И он с жалобной надеждой посмотрел на меня.

— Я не из КГБ, — ко мне наконец вернулся дар речи.

— А откуда? — почти с ужасом спросил он.

— Из вычислительного центра «Алгоритм».

— Понятно, — обреченно кивнул Диаматыч. — Товарищ... Простите, не знаю вашего звания, что мне за это будет?

— Трудно сказать...

— Прошу вас, скажите правду!

— Кто эта женщина? Только сразу и честно! — строго спросил я, подражая какому-то чекисту из какой-то детективной многосерятины.

— Она была моей аспиранткой,— с готовностью сообщил Диаматыч.— Но я не мог развестись с женой... Потом она уехала к родственникам. Сюда... Я тоже мог уехать с ней... Но для меня Родина...

— Да бросьте... Я же сказал, что не из органов...

— Да, разумеется! — закивал он, давая понять, что правила конспирации им поняты и приняты к исполнению.— Что мне за это будет?

— Остаться не собираетесь? — глядя ему в переносицу, спросил я.

— В каком смысле?

— В смысле политического убежища...

— Что вы! — возмутился он и вспотел.— У меня в Москве жена полупарализованная... Что я говорю! Я Родину никогда не продам...

— Ясно! — сурово перебил я.— Это меняет дело. Вашу ситуацию в рапорт включать не буду. Женщина. Ребенок. Это мы понимаем. Такие же люди, между прочим...

— Спасибо! — вздохнул Диаматыч, и глаза его замутились ожиданием слез.

— Сегодня уже поздно. Даю вам десять минут на окончание разговора и прощание. Завтра разрешаю вам сходить к ним в гости. Ненадолго!

— Спасибо...— заплакал он.

— Прекратите! На нас смотрят! — одернул я, поражаясь своей почти профессиональной суровости.— И запомните: мы здесь не встречались. Работаю я в вычислительном центре «Алгоритм»!

— Да... Конечно... Я понимаю... Ваша работа очень важная! Мы все должны помогать!

«Боже мой,— думал я, возвращаясь в отель.— Как, оказывается, просто и сладко быть судьей ближнего своего, как это легко и азартно — карать или миловать по своему усмотрению и видеть в глазах испуг, вызванный одним-единственным словом твоим, одной-единственной усмешкой, одним-единственным жестом! Не-ет, если жизнь ни разу понастоящему не искушала тебя, нельзя гордиться чистотой своей совести... Как нельзя гордиться тем, что, родившись в Москве, ты не «окаешь»... Но что он нашел в этой очкастой аспирантке, не понимаю!»

Поднимаясь в свой номер, после мучительных колебаний я решил поскрестись в дверь Аллы. Послышались шаги, а потом шепот:

— Кто там?

— Это я...

- Кто «я»? — уточнила Алла, явно издеваясь.
- Я, Костя...
- Ах, Костя... Тебе что-нибудь нужно?
- Поговорить...
- Поговорить? Ты со шпагой?
- Не-ет...
- Тогда спокойной ночи!

XIV

Утром, нежась в постели, я наблюдал, как Спецкор истязает себя гимнастикой, и с грустью думал о том, что все мои мускулы давно пропали без вести под слоем жира, а вот он буквально весь состоит из отчетливых мышц и напоминает гипсового человека-экорше, рисовать которого мне приходилось в школе. И вообще, наверное, Спецкор относится к женщинам, как собиратель букета к степным цветикам: захотел — нагнулся и сорвал, не захотел — мимо прошел.

- Послушай, сосед...— начал я.
- Слушаю...— отозвался он, изо всех сил упираясь в стену, точно желая ее сдвинуть с места.
- А ведь Диаматыч не глубинщик...
- А я тебе с самого начала говорил...
- Послушай, сосед...
- Слушаю...— ответил Спецкор, становясь на голову.
- Ты свою француженку долго уламывал?
- Фу, Костя! — возмутился он, пребывая в антиподском положении.— Ты, наверное, хотел сказать — обольщал?!
- Ну, обольщал...
- Довольно-таки долго... Если бы я не знал французского, вышло бы гораздо быстрее. Слова — это время...— отвечал он, страдая от перевернутости.
- А ты не боишься, что у тебя из-за нее неприятности будут?
- Нет. Ради Мадлен я готов на все! Ф-у-у...— Спецкор кувырком воротился в исходное положение и начал делать самомассаж.
- Тогда нам нужно договориться...— осторожно приступил я к щекотливой теме.— Если ты... Ну... Понимаешь?
- Понимаю. Если я соскочу... Да?
- Да. Соскочишь. К Мадлен. Меня, естественно, будут спрашивать!
- Опрашивать...
- Ну, ладно — про тебя спрашивать... Что я должен говорить...

— Вали на меня, как на мертвого! — разрешил Спецкор. Он закончил самомассаж и направлялся в ванную.— Говори, что я производил впечатление человека, беззаветно влюбленного в Родину, и что мое предательство для тебя огромное потрясение, второе по силе после родового шока, когда ты высунулся в жизнь и крикнул: «У-а!»

За завтраком дружно выпытывали у Гегемона Толи, как ему жилось в замке у аристократов. Он скупко рассказывал про гараж с десятком автомобилей, про винный погреб, способный в течение месяца поддерживать нормальную жизнь нашего районного центра, про гардеробную, где можно заблудиться в шубах и дубленках...

— Ох! — только и смогла вымолвить Пипа Суринамская.

— Вот тебе и «ох»! — разозлился Гегемон Толя.— Ну, я его, падлу, урою!

— Кого? — спросил Спецкор.

— Есть кого...

Алла выглядела в то утро рассеянно-обаятельной, и официант, принеся кофе, сделал ей какой-то тонкий комплимент, на который она улыбнулась с грустной благодарностью.

— Как спалось? — любопытствовал я, допивая четвертый стакан апельсинового сока.

— Одиноко! — вздохнула Алла.

— Неужели?

— Да. Машенька ушла с поэтом гулять по ночному Парижу... Вернулись утром... Мне кажется, у них серьезно...

— Интересно, о чем они разговаривают?

— О нем,— пожала плечами Алла.— Точнее, он говорит о себе, а она слушает и не перебивает. Мужчины врут, что им хочется понимания. На самом деле они просто хотят, чтобы женщины заглядывали им в рот...

— Не знаю... Мне в рот только дантисты заглядывают...

— О! Тогда ты еще можешь составить счастье неглупой одинокой женщине!

— Я готов.

— А за дубленкой мы сегодня идем?

— Я готов...

...Около Лувра все было перерыто и перегороджено. Здесь что-то строили, но без грязи.

— К двухсотлетию Великой Французской революции, разъяснила мадам Лану,— будет сооружена стеклянная пирамида. По проекту китайского архитектора Пей...

— Почему китайского? — удивился товарищ Буров.

— Так решено,— покачала головой она, давая понять, что и сама не в восторге от такого выбора.— В пирамиде будут

входы в музей, кафе, магазин, офисы... Многие французы считают, что это ни к чему. Я думаю примерно так же...

— Но Лувр-то не снесут? — спросил я.

— Простите... Куда его должны перенести? — не поняла переводчица.

— Он хотел сказать, что Лувр ведь ломать не собираются! — пояснил Спецкор.

— Это невозможно! — замахала руками мадам Лану.

— А чего ж вы тогда волнуетесь? — выдал я.— Подумаешь, пирамида! Если бы бассейн на месте Лувра — тогда я еще понимаю!

— Молодые люди, попрошу ваше остроумие держать при себе! — решительно одернул нас Диаматыч и глянул на меня глазами прилежного ученика, ожидающего похвалы.

Сначала ходили по Лувру кучно и громко — так что все оборачивались,— делились впечатлениями. Один советский гражданин внешторговского подвида, ласково разъяснявший своей малолетней дочке сюжет картины «Юдифь и Олоферн», завидев нас, поспешно увел прочь ребенка, чтобы не травмировать восприимчивую детскую психику преждевременной встречей с соотечественниками. Возможно, он был прав!

ПОЭТ-МЕТЕОРИСТ: «Потрясающе! Непостижимо! Великолепно! Первый раз вижу музей, где продают пиво!»

ПИПА СУРИНАМСКАЯ, глядя на мумию: «Господи, какая худенькая!»

ТОРГОНАВТ, восторженно озираясь: «Я хочу быть простой серой луврской мышью! Чтоб жить здесь...»

АЛЛА, возле Венеры Милосской: «Все разглядывают ее наготу, а ей нечем закрыть лицо от стыда... Понимаешь?»

ДИАМАТЫЧ (громко и внятно): «Подумаешь, Лувр... Эрмитаж лучше!»

ГЕГЕМОН ТОЛЯ, глядя на статую Гермафродита: «Не понял... Ни хрена не понял!»

ПЕЙЗАНКА: «А у нас такой же мужичок в деревне был. Знаешь, как его называли!»

ГЕГЕМОН ТОЛЯ: «Как?»

ПЕЙЗАНКА: «Бабаля!»

СПЕЦКОР, возле «Джоконды»: «Женщину с такой улыбочкой полюбить нельзя. Все время будет казаться, что ты опять даякнул какую-то глупость...»

ТОВАРИЩ БУРОВ: «Вечером надо на Пляс Пигаль сходить. А то в Москве мужики спросят — рассказать нечего...»

ДРУГ НАРОДОВ: «Сходим».

Постепенно спецтургруппа рассеялась, разбрелась по залам, мы с Аллой смогли приступить к осуществлению намеченного

плана, но она все никак не хотела уходить и жалобно просила разрешения побродить по Лувру еще немного.

— Может, тебе искусство дороже дубленки? — съехидничал я.

— Как ты можешь сравнивать! — обиделась Алла, и мы пошли к выходу.

Времени было в обрез. Сверяясь с планом, начертанным рукой супруги моей, предусмотрительной Веры Геннадиевны, мы, расталкивая удивительно вежливых прохожих, помчались по Рю-дю-Лувр, затем по рю Монмартр, потом еще по какой-то улице, выскочили к бульвару, пересекли его и, как было предначертано супругой моей, прозорливой Верой Геннадиевной, повернули налево, пробежали указанные двести метров и остановились у входа, задернутого черной бархатной гардиной, — ни витрины, ни надписи, ничего...

— По-моему, это не совсем то... — с сомнением проговорила Алла.

— А ты хочешь, чтобы дубленки за триста франков продавались у всех на виду? Их давно бы расхватали! — возразил я.

Мы вошли внутрь. В конце просторного, уходящего в глубь дома помещения виднелись кабинки, похожие на примерочные в наших ателье, но только вместо зеркал там были установлены небольшие телевизоры. Вдоль стен тянулись стеклянные витрины со всякой ошарашивающей всячиной. Первое, что бросалось в глаза, — шеренги детородных органов обеих специализаций, убывающих по размеру, подобно мраморным слоникам на бабушкином комод. Немного выше, по стенам, висели надутые резиновые девицы всех конституций, рас и оттенков. На низких стеклянных столиках были навалены груды журналов и видеокассет с цветными непотребствами на обложках.

Из боковой двери нам навстречу вышел улыбающийся прыщеватый парень явно латиноамериканского происхождения. Всем своим видом изображая готовность выполнить любое, даже самое изощренное желание, он радостно поприветствовал нас и сразу посерьезнел, точно доктор, приготовившийся выслушать жалобы пациента. Алла совершенно онемела от ужаса и стыда, поэтому переговоры пришлось начать мне, безязыкому.

— Мосье Плюш... — сказал я и пальцами изобразил в воздухе нечто кудряво-меховое. — Дубленка...

— Плюш? — с уважением переспросил хозяин сексага. О'кей!

Он принес из закровов большой мохнатый плед в полиэтиленовой упаковке, а когда плед был любовно разложен на

столе, то оказалось, что это синтетическая медвежья шкура, очень похожая на настоящую, но только легкая (он подбросил ее), мягкая (он погладил ее) и на молнии (он застегнул и растегнул ее)... Кроме того, продавец знаками горячо рекомендовал нам в комплекте со шкурой приобрести звероподобный фаллический вибратор, работающий как от сети, так и на батарейках...

Мы с Аллой бежали до тех пор, пока снова не оказались в том месте, где улица, названия которой я, конечно, не помню, утыкается в бульвар.

— Может быть, твоя жена что-нибудь перепутала? — стараясь не глядеть на меня, спросила Алла.

— Едва ли,— озираясь по сторонам, чтобы не встретиться с ней взглядом, ответил я.— Обычно она ничего не путает. Разве что «лево» и «право»... Такое с ней случается...

Через двести шагов, сделанных в направлении, прямо противоположном предписанному супругой моей, непутевой Верой Геннадиевной, мы очутились возле магазинчика с маленькой витриной, в которой на невидимых ниточках висела рыжая замшевая куртка, напоминающая полураздетого Человека-невидимку... Перед дверью, на тротуаре, были выставлены две стойки с рубашками, пиджаками, свитерами, куртками, брюками, явно уже побывавшими в употреблении и сданными сюда незадолго до того момента, когда их смело можно использовать для работ в саду или гараже.

Мы толкнули дверь, раздался звон колокольчика, и навстречу нам вышел лысый человек с прискорбно большим носом.

— Мосье Плюш? — опасливо спросил я.

— К вашим услугам! — ответил он на чистом русском языке.

— Вам привет от Мананы!

— Благодарю,— безрадостно улыбнулся он и глазами показал на стеклянный шкафчик, где, словно в тесной очереди за дефицитом, спрессовались дублинки и кожаные пальто.— Для дамы?

— Да! — в один голос ответили мы.

Мосье Плюш с равнодушием навек охладевшего мужчины внимательно осмотрел Аллу, задержав бесстрастный взгляд на груди и бедрах, потом шагнул к шкафу, отодвинул стеклянную дверцу и достал восхитительную шоколадную дублинку с пепельно-коричневыми ламовыми воротником, манжетами и опушкой.

— Эта, полагаю, подойдет! — проговорил он и умело помог Алле надеть дублинку.— Тютелька в тютельку!

Мне стало вдруг смешно от этих трогательных словечек,

которых в России я не слышал уже лет пятнадцать. Моя покойница бабушка, царствие ей небесное, любила так говорить — тютелька в тютельку... Алла тем временем подошла к зеркалу и, кугая лицо в воротнике, несколько раз поворотилась то в одну, то в другую сторону. Дубленка доходила ей почти до щиколоток и сидела великолепно. Имелись, конечно, и недостатки: на спине, ближе к рукаву, обнаружился художественно выполненный шов (сантиметров пятнадцать), плечи были покрыты многочисленными мелкими морщинами, точно рябь на воде, да еще правая пола казалась чуть светлее, чем левая, но для того, чтобы заметить все это, нужно было очень уж всматриваться.

— Здорово! — наконец вымолвила Алла.— Французская?

— Турецкая,— чуть обиженно ответил мосье Плюш.— Без дефектов она стоит три тысячи франков.

— А с дефектами? — спросил я, беря на себя вопрос о цене.

— Триста пятьдесят.

— А Манана говорила — триста! — сам удивляясь своей сквалыжности, возразил я.

— Жизнь дорожает,— вздохнул мосье Плюш.— И потом, Манана покупает оптом...

— Мы тоже возьмем две. Еще одну, точно такую же...

— Во-первых, две — это еще не оптом. А во-вторых, точно такой же у меня сейчас нет.

— А что есть? — похолодел я.

— Вот, пожалуйста! — И он достал из стеклянного шкафчика нечто, напоминающее доху закарпатского пастуха.

— Нам это не подойдет! — взмолилась Алла.

— Как угодно...

— Что же делать? — расстроился я.

— Ничего страшного,— успокоил мосье Плюш.— Приходите послезавтра! Я позабочусь.

— А может, поищите сёгодня? — попросила огорчившаяся за меня Алла.

— Дорогие мои товарищи,— улыбнулся мосье Плюш. Под прилавком я искал, когда работал директором комиссионного магазина в Ростове. Только послезавтра.

— Но послезавтра мы улетаем! — объяснила Алла.

— Когда ваш самолет?

— В 15.20...

— Приходите в десять — и вы получите свою дубленку. Учитывая неудобства, я сделаю вам скидку 50 франков.

— Точно? — не удержался я.

— Неточные здесь прогорают в неделю! — снова погрузился, отозвался мосье Плюш.

Умело сложенная, дубленка превратилась в небольшой и довольно легкий сверток. Алла отсчитала свои триста пятьдесят франков, и на ее лбу тут же разгладилась морщинка приобретательства.

— Привет Манане! — провояая нас к выходу, сказал мосье Плюш.— И пусть в следующий раз привезет побольше звездочек. Скажите ей, я возьму по пять франков за штуку...

— Каких звездочек?

— С маленьким кудрявым Лениным. Манана знает. Очень хорошо тут идут, чтоб вы не сомневались...

На улице Алла долго и нежно успокаивала меня: мол, один день ничего не решает, а зато пятьдесят франков на дороге не валяются. Потом, вдруг озоботившись, она стала выпрашивать, не слишком ли бросаются в глаза дефекты ее обновки.

— Совершенно не бросаются,— в свою очередь утешил я.— Представь, что ты купила ее за три тысячи и один раз проехала на метро в час пик...

К Лувру мы возвратились, разумеется, с опозданием: полчаса назад экскурсия должна была кончиться, но у выхода не было никого из наших, кроме Торгонавта. Он, видимо, передумал быть серой музейной мышью и энергично впаривал изумленным туристам стеклянные баночки с икрой. Негры, поблизости торговавшие открытками и буклетами, поглядывали на него с неудовольствием. Заметив нас, Торгонавт крикнул, что, если у меня или у Аллы есть с собой икорка на продажу, он с удовольствием поможет нам ее пристроить, не взяв ничего за посредничество.

Наконец, объявилась и наша спецтургруппа. Друг Народов громко возмущался полным отсутствием дисциплины: все разбрелись по Лувру, полностью потеряв ориентацию во времени и пространстве. Но, слава Богу, мадам Лану догадалась устроить засаду возле «Гермафродита» и постепенно выловила всю группу.

Нашего отсутствия никто не заметил, и только Диаматыч с пониманием покосился на сверток у меня в руке.

XV

— А сейчас три часа свободного времени,— объявил Друг Народов.

— Три часа на разграбление Парижа! — пояснил я.

Товарищ Буров неодобрительно выпятил подбородок.

— Через три часа встречаемся у автобуса! — продолжал инструктор замрукспецтургруппы.— Опоздавшие будут...

— Лишены советского гражданства! — прибавил я.

Все засмеялись, а Спецкор показал мне большой палец: мол, растешь, сосед!

— С вами, Гуманков, мы еще поговорим! — грозно предупредил товарищ Буров. — А теперь все свободны. Время пошло!

Как по команде наша спецтургруппа ринулась на штурм Парижа торгового, а мы с Аллой двинулись по улице с праздной неторопливостью людей, которым некуда больше спешить и нечего больше купить. Опускались сумерки. Сквозь витринное стекло маленького магазинчика мы заприметили Торгонавта. Он протянул хозяину-китайцу руку, как для поцелуя, а тот, склонясь, внимательно рассматривал перстень с печаткой в виде Медного всадника.

— Костя, остается 50 франков. Давай купим чего-нибудь для тебя, — предложила Алла. — Одеколон, например...

— А если этот Плюш-жоржет передумает и захочет 350? — усомнился я.

— Он обещал!

— А если?! И потом, я хочу купить «жвачку» Вике...

— Очень жаль, что ты так мало думаешь о себе! — раздраженно сказала Алла.

Ради праздного любопытства мы зашли в «Тати» — это, как объяснила нам мадам Лану, самые дешевые парижские универмаги, придуманные, между прочим, русским человеком с непустяшной фамилией — Татищев. В «Тати» было по-мосторговскилюдно, шумно и душно, отчего я сразу почувствовал себя по-домашнему. К кассам выстроились длинные горластые очереди. Покупатели с раздувшимися пакетами не могли разойтись в узких проходах между рядами вешалок. Две толстые негрятки совсем по-нашему бранились из-за кофточки, одновременно, за разные рукава, вытянутой из разноцветной кучи дешевого тряпья. Возле груды галстуков, похожей на клубок тропических змей, Пипа Суринамская выбирала обновку для Гегемона Толи, который стоял, выпятив грудь и поедая генеральшу глазами.

— Знаешь, — сказала Алла, — когда я у девиц в Москве видела пакеты «Тати», я, дурочка, думала, что это что-то шикарное, вроде Кардена.

— Я тоже.

— Костя, зачем ты дразнишь Бурова? Ты очень смелый?

— Нет, не очень...

— Тогда зачем?

— Чтобы понравиться тебе.

— Ты — ребенок...

— Тебе это не нравится?..

— К сожалению, нравится...

— Почему «к сожалению»?

— Если б я знала... почему!

На улице, прямо по тротуару были расстелены зеленые и малиновые паласы, на них стояли легкие столики, а у столиков на ажурных стульчиках сидели веселые люди, они пили кофе из крошечных чашечек, вино из высоких бокалов, но особенно меня поразила огромная пивная кружка — в два раза больше моей, тоже не маленькой, дулевской емкости. Из этой кружищи лениво прихлебывал дохлый юнец, наверное, еще не зарабатывающий даже на лимонад.

Уличный торговец цветами, по виду араб, профессионально уловив мою мягкотелость, привязался к нам с букетом белых роз. Он переводил взгляд с влажных бутонов на Аллу, цокал языком — и, понимая, что если меня не остановят, произойдет непоправимое, я полез в карман. Но великодушная Алла сердито накричала на цветоношу, и он, совершенно не огорчившись, исчез.

Я представил себе, что у меня очень много франков. Не важно, сколько... Достаточно, чтобы зайти в универмаг (не «Тати», конечно!) и выйти одетым, как истый парижанин. Интересно, смог бы я так же непринужденно сидеть у столика, так же рассеянно-добродушно озирать уличную вселенную, так же лениво потягивать пиво из причудливой, как реторта, кружки?.. Нет, не смог бы... Пековский смог бы, а я нет... Почему окружающий мир для меня не источник радости, а источник постоянно ожидаемой опасности? Почему к пяти общедоступным чувствам в меня всажено шестое — испуг? Нет, это не страх перед чем-то определенным. Это способ постижения жизни: зрение, обоняние, осязание, слух, вкус и — испуг. У ящерицы есть юркий язычок, которым она перепроверяет свое зрение, а у меня — испуг...

— О чем ты думаешь? — спросила Алла.

— О нас...

Но я думал о моей матери. Давно, еще в пору своей профсоюзной активности, она водила по заводу иностранную делегацию, кажется, чехов, показывала производство, объясняла технологию — и чехи преподнесли ей сверток. Она впопыхах сунула его в служебный сейф с профсоюзной документацией. повела зарубежных друзей обедать в заводскую столовую, где по такому случаю состряпали что-то особенное из продуктов, выделенных по лимиту специальным распоряжением райкома партии. Домой мать приехала поздно, уснула мгновенно, среди ночи вскочила от ужаса: ей приснилось, что в свертке — бомба. Рыдания, ругань ничего не понимающего спросонья отца, ночное такси, поездка через весь город, ключ, никак не

попадающий в замочную скважину, надгробие стального сейфа, сверток, к которому страшно прикоснуться, но позвонить куда следует еще страшней, неизвестно уж какая таблетка валидола под онемевшей от мятной горечи язык... И шесть фужеров из чешского стекла в коробке, переложенные синтетической мягкостью...

— Ты давно знаешь Пековского? — спросил я.

— Не очень. Мы познакомились после моего развода. Он принимал у меня вместе с заказчиком программу...

— А кто был твой муж?

— Не знаю...

— В каком смысле?

— В прямом. Я выходила замуж за чудесного парня... Однокурсника. Умного, веселого, сильного. Любого перепьет, любого перешутит, любому в морду даст, если нужно... И он не имел ничего общего с тем существом, которое поселилось потом у меня на диване перед телевизором... Костя, может быть, мужчины в браке окукливаются, как насекомые?

— Возможно, — не стал спорить я.

— Мой муж говорил так: коммуняки делают все, чтобы я ничего не затевал и не задумывался, а я буду вообще лежать и совсем не думать... Когда так же поступят миллионы, этот огосударственный идиотизм рухнет!

— Ты была замужем за умным человеком! — удивился я.

— Да, умным и жалким... Это легко. Ты попробуй вопреки всему быть белозубым, веселым, богатым!

— Это трудно, — вздохнул я и языком нащупал в зубе дырку, которую давно собирался запломбировать.

— Да, трудно! Нужно напрягаться. Борец — это не зашпиршивевший диссидент с Солженицыным за пазухой, а тот, кто умудряется вопреки всему жить как человек...

— Как Пековский? — уточнил я.

— Я не люблю Пековского. Успокойся! Но он способен сопротивляться жизни. Он может защитить от нее. Понимасии! Пусть лучше нелюбимый защитник, чем любимый — как это Машенька сказала? — бабятя...

И Алла посмотрела на меня с таким гневом, что сердце мне похолодело. Когда красивая женщина сердится, она становится еще красивее. Заглядевшись на Аллу, я чуть не врезался в ее решено лобзающуюся парочку. Уличный поток обтекал нас так, словно это была городская скульптура, вроде родеонским поцелуйщиков. Мы свернули с освещенной улицы и присели на лавочку в маленьком скверике, окаймленном геометрическим подстриженным кустарником. Кучки облетевшей листвы в темноте казались ямами.

— Понятно,— сказала Алла.— Ты завел меня сюда с гнусными намерениями...

— Разумеется,— отозвался я, изготавливаясь к поцелую.

— И тебе меня не жалко?

— Нисколько! — Я обнял ее за плечи и начал медленно клониться к светлевшему в темноте лицу.

— Не надо! — прошептала она.

— Надо! — отозвался я, помня школьную заповедь, что в таких случаях главное — не замолкать и говорить что-нибудь.

Поцелуй вышел неудачный. Я, кажется, обслонявил в темноте Алле щеку, пока, наконец, не напал на ее губы. А когда она захотела оторваться от меня, я проявил неуклюжую настойчивость, в результате чего раздался совсем уж неприличный всчмок...

— Костя, да ты совсем не умеешь целоваться! — засмеялась Алла.

И мне показалось, что она тоже меня сравнивает, не знаю уж с кем — со своим бывшим мужем или нынешним Пековским. Я ощутил совершенно ребяческую, беспросветную до сладости обиду и встал. Назад мы возвращались молча.

Около автобуса, уставившись на часы, как судья на секундомер, караулил Друг Народов. Кажется, он был очень разочарован, что мы с Аллой пришли вовремя. Все были с покупками. В глаза бросался Гегемон Толя, одетый в новый белый аленделонистый плащ и галстук, выбранный для него Пипой Суринамской, которая в свою очередь нежно поглядывала на стоявшую у ее ног сумку, раздувшуюся, как свиноматка. Спецкор держал между коленей аккуратно упакованные горные лыжи. Товарищ Буров был при коробке с телевизором, стоившим, по моим понятиям, тысячи полторы, а то и две. Поэт-метеорист, занявший у мадам Лану под премию пятнадцать франков, прикладывался к пузатенькой бутылочке...

Опоздал Торгонавт. Он был бледен, словно человек, из которого трехведерным шприцем вытянули всю кровь.

— Почему вы опоздали? — грозно спросил товарищ Буров.

Торгонавт поглядел на него умирающим взором и всхлипнул.

— Вы потеряли паспорт? — встревожился рукспецтур-группы.

— Нет... — помотал головой Торгонавт.

— А что случилось? — вмешался Друг Народов.— Была провокация?

— Не-ет... Я... купил себе пиджак за сто пятьдесят франков... А в другом магазине такой же стоил сто десять...

Эта душераздирающая информация вызвала единодушное чувство сострадания, и несчастный Торгонавт не был лишен советского гражданства.

XVI

Вечером, после ужина, провели планерку, посвященную итогам дня и предстоящему посещению пригородного района Парижа, где у власти коммунисты. Поскольку после посещения муниципалитета, спичечной фабрики и лицея планировался товарищеский обед с участием активистов местного отделения ФКП, товарищ Буров предложил Поэта-метеориста с собой не брать...

— Жалко! — возразила Алла. — Все-таки последний день в Париже. Пусть пообещает, что не будет пить!

В ответ Поэт-метеорист обозвал нас всех помойными чайками, сказал, что в гробу видал он этот наш подпарижский райком партии и что если мы будем на него давить, то он выберет свободу, а нас всех за это по возвращении удавят. Затем он решительно потребовал взаймы у Гегемона Толи десять франков, тот, растерявшись от неожиданности, дал — и, обретя вновь гордую алкогольную автономию, Поэт-метеорист в сопровождении своей верной Пейзанки покинул штабной номер.

Когда всех отпустили, Друг Народов с видом подлого мультипликационного зайца сказал:

— А вот Гуманкова попрошу остаться!

Товарищ Буров неподвижно сидел в кресле, и на его лице застыло апокалипсическое выражение. Заместитель же ходил по номеру решительными шагами и высказывал от имени руководства спецгруппы резкое неудовольствие по поводу моего безобразного и антиобщественного поведения.

— Постоянные нарушения дисциплины! Постоянные выскливания с душком!..

— С каким душком? — уточнил я.

— Не прикидывайтесь! И не берите пример с вашего соседа! Он журналист. А вы? Кто вы такой? И что вы себе позволяете?!

— А что я себе позволяю? — Пугливая предусмотрительность подсказывала, что чем дольше мне удастся прикидываться полудурком, тем лучше.

— Вы, кажется, женаты? — вступил в разговор товарищ Буров.

— Вы, кажется, тоже? — не удержался я.

— Прекратите хамить руководителю группы! — взвизгнул

Друг Народов.— Мы обо всем сообщим в вашу организацию! Вы понимаете, чем все это для вас кончится?

— А у меня еще ничего и не начиналось...

— Подумайте о последствиях, Гуманков! — пригрозил замрукспецтургруппы.— Шутите с огнем!

— Не надо меня пугать! — взорвался я.— Что вы у меня отнимете? Компьютер? А кто тогда будет вашу икру считать?

— Какую икру?

— Красную и черную...

— Опять хамите! — Друг Народов топнул ногой и растерянно глянул на товарища Бурова.

— Не понимает! — медленно определил ситуацию рукспецтургруппы.— В Союзе мы ему объясним...

— Вы понимаете, что станете невыездным! — в отчаянии крикнул Друг Народов.

Как человек на 90 процентов состоит из воды, так моя ответная фраза примерно на столько же состояла из полновесного нецензурного оборота, необъяснимым образом извергнувшегося из глубин моей генетической памяти. Именно оттуда, ибо целого ряда корнесловий, особенно поразивших моих хулителей, я раньше и сам никогда не слышал...

В коридоре меня терпеливо ожидал Диаматыч.

— Посовещались? — заискивающе спросил он.

— Вот именно. А вас я, кажется, предупреждал...

— Простите, я хотел только доложить, что вернулся своевременно...

— Хорошо. Что еще?

— Еще я бы советовал вам повнимательнее присмотреться к поэту. Мне кажется...

— Меры уже приняты! — резко ответил я и уставился ему в переносицу.— Что еще?

— Просьба! — ответил Диаматыч, вытягивая руки по швам.

— Говорите!

— Можно я завтра еще раз с ними встречусь?

— Пользуетесь моим хорошим отношением!..

— Последний раз! — взмолился он.— Поймите меня правильно!

— Ладно. О возвращении доложите!

...Спецкор, выслушав мой рассказ о стычке с товарищем Буровым, сказал, чтобы я не обращал внимания на этого бурбона, так как ни один руководитель не заинтересован в привлечении внимания к поездке. Мало ли что может всплыть? Вдруг выяснится, что один из членов группы занимался незаконной продажей икры, принадлежащей не только ему, но

и руководству? Или всплывут на поверхность некоторые подробности морального разложения и злоупотребления общественными финансовыми и алкогольными фондами? Так что все эти обещания: направить письмо на работу, сделать невыездным — страшилки для слабонервных. И вообще, если он, этот горкомовский пельмень, хоть что-нибудь вякнет, Спецкор такое напишет о нем, что строгац с занесением покажется товарищу Бурову самой большой его жизненной удачей! Потом мой великодушный сосед демонстрировал свои чудесные пластиковые лыжи, обещал как-нибудь взять меня в горы и сделать из меня же настоящего мужчину. В заключение Спецкор заявил, что если бы ему предложили выбирать между горными лыжами и красивыми женщинами, то он, не колеблясь, выбрал бы лыжи, ибо два этих удовольствия даже нельзя сравнивать...

— А Мадлен? — спросил я.

— В том-то и дело, что она тоже горнолыжница! — помрачнел Спецкор.

В дверь постучали. Предполагая, что это бестолковый Дняматч снова вышел на связь, я, как был — в семейных сатиновых трусах и синей дырявой майке, босиком побежал открывать. На пороге стояла Алла в длинном шелковом халате. Волосы ее не просохли еще после душа.

— Извини... — сказала она. — Знаешь, Машенька опять ушла с Поэтом...

— Наверно, она его любит, — предположил я, незаметно подтягивая трусы и закрывая пальцами дырку в майке.

— Наверное. Но они куда-то дели мой кипятильник, а я хотела выпить чая...

— Нет проблем! — раздался голос Спецкора. Одетый в белоснежный адидасовский костюм, он стоял рядом со мной и держал в руках искомый кипятильник. — Но только учтите, Аллочка, французы больше боятся русских туристов с водониврежательными приборами, чем террористов с пластиковыми бомбами...

— Я буду осторожна, — пообещала Алла.

— Нет, вам нужен контроль специалиста! — заявил мой сосед. — Константин, тебе поручается...

— Я уже лег спать! — был мой ответ.

— Заодно и чаю попьешь! — настаивал Спецкор.

— Чай перед сном возбуждает! — уперся я рогом.

— Спокойной ночи! — сказала Алла.

Она уходила по коридору, а я стоял и смотрел, как тонким шелком движется и живет ее тело.

— У тебя случайно в детстве не было сексуальной тринмы? — озабоченно спросил Спецкор.

— А что?

— Ничего. Бедная Алла! Можно подумать, что ты голубой. Но поскольку я лично проспал с тобой в одной постели целую неделю, приходится делать вывод, что ты просто пентюх!

Наверное, Спецкор прав... Я тихо лежал на своем краю нашей дурацкой общей кровати и думал о том, что очень похож на большую седеющую марионетку, которую дергает за ниточки оттуда, из прошлого, некий мальчишка с насмешливыми глазами и круглым обидчивым лицом. Ему было лет тринадцать, когда во время школьного вечера он влюбился в очень красивую девочку из параллельного класса. Как протекает эта нежная ребяческая дурь, общеизвестно: он страдал, старался лишний раз пройти мимо ее класса, нарочно околачивался возле раздевалки, чтобы дожидаться момента, когда она будет одеваться, и попридуривать при этом. Невинное детское томление — и ничего больше!

А рядом с его школой была товарная станция, откуда ребята таскали странные стеклянные шарики величиной с голубиное яйцо. Они были темно-янтарного цвета — совсем такого же, как глаза той замечательной девочки. И вот однажды, во время репетиции сводного хора, мальчишка взял и ляпнул, что ее глаза похожи... похожи... на эти самые таинственные шарики. «Принеси! — приказала она. — Я хочу видеть...»

Вечером, когда стемнело, он перелез через островерхий железный забор и, рискуя быть покусанным собаками, набил полный карман, а дома получил хорошую взбучку за разорванное пальто и ободранные ботинки. Но это было ерундой по сравнению с мечтой о том моменте, когда он протянет ей пригоршню этих самых непонятных шариков, назначение которых, быть может, и заключалось только в том, чтобы напоминать цвет ее глаз.

На следующий день она дежурила по классу, и он долго торчал возле раздевалки, прежде чем дождался ее появления.

И дождался... С ней рядом вышагивал здоровенный старшеклассник, славившийся на переменах своей хулиганьстостью, модной взрослой стрижкой и подростковыми желтоголовчатыми прыщами. Возле самых вешалок верзила вдруг схватил эту недостижимую принцессу за плечи и стал сноровисто ее целовать в губы, а она, по-киношному закрыв глаза и откинув голову, даже не сопротивлялась. Толькой левой рукой, свободной от портфеля, лихорадочно поправляла черный передничек.

Бедный мальчик представил себе слюнявый рот этого парня, его тяжелое табачное дыхание, его угристое лицо, приплюснутое к ее лицу, — и мальчику стало плохо, очень плохо. Нет, не в переносном смысле, а в самом прямом. Роняя из карманов

темно-янтарные шарики цвета ее закрытых от удовольствия глаз, он бросился на улицу, на воздух, и — в школьном садике, возле яблони, его вывернуло...

А детские комплексы, как понял я впоследствии, обладают поистине стойкостью героев Бородино...

XVII

Мэр-коммунист оказался низеньким длинноносым смешливым человечком, он острил, рассказывал забавные истории, сам над ними хихикал и грустнел лишь в том случае, если речь заходила о международном рабочем движении. А когда во время торжественного обеда, накрытого в ресторане, рядом с местным отделением ФКП, основательно уже поднасосавшийся и впавший в застольную эйфорию товарищ Буров заметил, что раньше Советская власть была только в уездном городишке Иванове, а вот теперь — сами понимаете, в глазах веселого мэра мелькнул настоящий ужас. Утешился он лишь после того, как Друг Народов вручил ему огромную матрешку, внутри которой, вопреки ожидаемому, таилась бутылка русской водки.

Алла весь день была со мной равнодушно любезна, словно мы только что познакомились в очереди к зубному врачу. В отель возвращались уже по вечернему Парижу, и где-то за домами торчала Эйфелева башня.

Спецкор тихо слинял на решающее свидание с Мадлен. Я поднялся в номер и, наслаждаясь одиночеством, начал неторопливо разуваться. Мне было о чем поразмышлять, ибо именно сегодня я вдруг почувствовал, как в моем теле, подобно гриппозной ломоте, возникло странное тянущее ощущение, обычно именуемое ностальгией. Нет, мне еще не хотелось в Москву, я еще не насытился Парижем, но странные внутренние весы, на первой чаше которых лежал восторг первооткрывательства, а на второй — радость возвращения, дрогнули и припели в движение. Вторая чаша становилась все тяжелее и все настойчивее тянула вниз...

Молоденький рыжий таракан, кажется, тот самый, вдруг выскочил из-за спинки кровати и со спринтерской скоростью помчался по стене. Ну, вот — добежался! Прицеливаясь, я медленно поднял ботинок. Насекомое внезапно остановилось, неверное, чтобы хорошенько обдумать мое движение, не понимая, что этим самым обрекает себя на лютую казнь через размазывание по стене. Но провидению угодно было распорядиться иначе... Раздался громкий стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения, в номер вошли нахмуренная Алла и зареванная Пейзанка.

— Вот! — сказала Алла, явно тяготясь необходимостью общаться со мной.— Мы к тебе...

— А что случилось?

— Его... его... за-за-бра-а-а-ли-ии...— борясь с рыданиями, объяснила Пейзанка.

— Кого?

— Кирю-ю-юшу-у...

— Кто?

— Какие-то мужики в плащах...

— Ты кому-нибудь говорила? — спросил я.

— Говорила,— объяснила Алла, с интересом вглядываясь в меня.— Говорила профессору. А он сказал, что Гуманков знает, что нужно делать, и куда-то ушел. Ну, и что будем делать?

— Не знаю. Наверное, докладывать руководству... А что еще?

Позвали руководство, которое в целях достижения чувства полной завершенности досасывало очередную бутылку из общественных фондов. Властно покачиваясь, товарищ Буров несколько секунд смотрел на Пейзанку с полным непониманием, потом икнул и кивнул Другу Народов.

— Что случилось? — гнусненько поинтересовался тот.

— Уше-ел! — с плачем ответила она.

— Поматросил и бросил! — ослабилась замрукспецтургруппы.

— Он пропал! — вмешалась Алла.

— Ну и пропади он пропадом! — в сердцах крикнул Друг Народов.— Алкаш! Все мы пьющие, но не до такой же степени!

— Куда пропал? — шатнувшись, уточнил товарищ Буров.

— Неизвестно,— сообщил я.— Ушел с какими-то людьми... В плащах...

— То есть как в плащах? — В голосе товарища Булова забрезжил смысл.

— А вот так — пришли и забрали!

— То есть как это забрали? — мучительно трезвея, возмущился рукспецтургруппы.

— А он сказал, когда вернется? — побледнел Друг Народов.

— Нет, он сказал, что в Париже за стихи деньги платят! — ответила Пейзанка.

— Мне это не нравится! — все более осмысленно глядя на происходящее, вымолвил товарищ Буров.

— Соскочил! — вдруг истерически засмеялся Друг Народов.— Точно соскочил! Всех надул!

— Спокойно. Без паники! — приказал товарищ Буров, и я понял, что в некоторых случаях руководящая туповатость — как раз то, что нужно.

— Звонить в посольство?! — чуть не плача, закричал Друг Народов.

— Если через два часа не вернется, будем звонить в посольство! — постановил товарищ Буров.

Около часа мы просидели в моем номере, вздрагивая от каждого скрипа и шороха. Однажды зазвонил телефон. Друг Народов бросился на него, как кот на мышь, крикнул в трубку жалобным голосом: «Алло, говорите, вас слушают!» Но говорить с ним не захотели. Наконец товарищ Буров не выдержал, сходил в штабной номер и принес бутылку «Белого аиста», которую я некогда сдал в общественный фонд. Выпили и закусили моими галетами.

— Ну, кому он здесь нужен! — снова заголосил Друг Народов. — Языка не знает! Пьет! Тьфу!

— На себя лучше наплюй! — сварливо крикнула Пейзанка, только-только начавшая успокаиваться, прикорнув у Аллы на коленях.

Постепенно в моем номере собрались и все остальные. Торгонавт принес бутылку водки и хорошие консервы. Пипа Суринамская, одетая во все новое, велюрово-разноцветное, выставила перцовку, копченую колбасу и балык. Гегемон Толя добавил банку солдатской тушенки, ровесницу первого семипалатинского испытания, и водку производства ниже-тагильского комбината.

— Говорят, в ней железа много! — пошутил он.

Выпивали и закусывали грустно, как на поминках. Потом заговорили о безвременно соскочившем Поэте-метеористе: мол, неплохой человек был, хоть и пьющий.

— Он даже стихи нам ни разу не почитал! — вздохнули Алла.

— Может, это и к лучшему! — не согласился Торгонавт.

— Это ж какое здоровье надо иметь, чтоб так пить! высказалась Пипа Суринамская. — Мой-то генерал так только до майоров хлебал. Бывало, с замполитом натрескаются и ни танке охотиться едут... Мясо в доме никогда не переводилось...

— О чем вы говорите! — взблеял Друг Народов. — Если б он знал язык... Был энергичным, предприимчивым...

И в этот самый миг, да-да, именно в этот самый миг дверь распахнулась и в номер вступил победительно ухмыляющийся Поэт-метеорист. В правой руке он держал роскошную, перламутровую алым бантом коробку с надписью «Пьер Карден», в левой — какую-то зеленую папку, вроде почетного адреса.

а в левой руке висела авоська, набитая пакетами, похожими на наши молочные.

— А я думаю, куда это все подевались! — заявил вернувшийся.

— А вот мы сидим и думаем, куда это вы подевались! — съехидничал Друг Народов.

— Мне премию вручали...

— Какую премию? — подозрительно спросил товарищ Буров.

— Денежную! — исчерпывающе объяснил Поэт-метеорист, бросил на стол авоську с пакетами и полез в карман. — Вот, Толяныч, твой чирик, как договаривались, с премией...

Гегемон Толя внезапно получил назад деньги, которые конечно, уже вычеркнул из своей жизни.

— А это, Машка, тебе... От Кардена и... от меня! — Поэт-метеорист протянул зардевшейся Пейзанке коробку.

— Сколько же это стоит? — в ужасе спросил Торгонавт.

— Почти пять штук! На всю премию... А на сдачу винища купил... В пакетах. Очень удобно — не бьется и посуду сдавать не нужно...

— Какая еще такая премия? — сурово повторил свой вопрос товарищ Буров.

— За стихи...

— За стихи? Не смешите людей! — подтявкнул Друг Народов.

Поэт-метеорист глянул на него тем особым презрительным взором, каковым обладают лишь долгосрочно пьющие люди, и, не говоря ни слова, раскрыл зеленую папку-адрес: внутри оказался сдвоенный вкладыш из атласной бумаги, на которой золотом было оттиснуто (Алла перевела вслух):

Господину Кириллу Сварщикову (СССР)

присуждается поощрительная премия Международного конкурса имени Аполлинера на лучшее анималистическое четверостишие.

Генеральный президент

Всефранцузского общества защиты животных

Подпись. Печать.

А рядом, тоже золотом по атласной бумаге, были напечатаны два четверостишия, точнее, оригинал и французский перевод премированного четверостишия:

Мы с тобою — городские чайки,
Мы давно забыли запах моря,
Мы всю жизнь летаем над помойкой
И кричим с тоской: «Мы — чайки, чайки...»

— Поздравляю! — веско произнес товарищ Буров и осуществил поощрительное рукопожатие.

— Это ж сколько за строчку получается?! — восхитился Торгонавт.

— Добытчик! — с этими словами Пипа Суринамская обняла и расцеловала Поэта-метеориста.

— Ладно уж... — смущенно отстранился он. — Как сказал поэт Уитмен, чем болтать, давайте выпьем!

В пакетах оказалось красное сухое вино, и если бы там было молоко, его бы хватило минимум на неделю, а вино выхлестали за какие-нибудь полчаса. Туда же последовало и все остальное. Поколебавшись, Торгонавт притащил бутылку лимонной водки, припасенную, видимо, на черный день, и когда он откручивал пробку, я заметил, что на его безымянном пальце вместо Медного всадника нанизан аляповатый перстенок из дешевого желтого металла.

— Поэма Рылеева «Наливайко»! — приказал Поэт-лауреат.

Затем пьяная щедрость овладела и Другом Народов: он выставил бутылку виски, прикупленную для подарка кому-то в Москве, а я, чтобы не отстать, — банку икры, которую так и не смог продать, несмотря на приказ супруги моей, практичной Веры Геннадиевны.

— В следующий раз берите икру только в стеклянных банках! — посоветовал Торгонавт. — В железных, как у вас, покупать бояться... Бывали случаи, когда наши впаривали кильку с зернистой этикеточкой!

Потом пели:

Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя...
Золотою казной
Я осыплю тебя...
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену...

Начали дружно, хором, но постепенно те, кто забыл или не знал дальше слова, замолкали. Я сошел с дистанции где-то в середине, когда начал проясняться вопрос о том, что молодая жена Хас-Булата состоит в нежных отношениях с князем, пытающимся выторговать ее у мужа. До конца смогли допеть лишь Пипа Суринамская и Гегемон Толя. Честно говоря, я понятия не имел, что все закончится так скверно, мне почему-то всели казалось, что они договорятся. В общем, Хас-Булат убил свою неверную жену — «спит с кинжалом в груди», а князь снес Хас-Булату саблей голову — «голова старика покатились на луг...»

Появился Спецкор, сообщил, что наше хоровое пение разносится далеко по ночному Парижу, и выставил свою бутылку зеленогрудой, уже начинавшей исчезать из продажи «андроповки».

— «Прощай, мой табор, пью в последний раз!» — провозгласил Поэт-метеорист, закусил и рассказал, как у них в Союзе писателей направляли поздравительную телеграмму автору этой знаменитой песни, но на почте ошиблись и вместо «пою» отстучали «пью». Старикан страшно обиделся, так как увидел в этом намек на беззаветную любовь к алкоголю, которую он пронес через всю свою долгую жизнь.

Ко мне подсел пьянехонький Торгонавт и с доверительной слезой, совсем по-рыгалетовски, поведал свою печальную историю мальчика из творческой семьи, насмотревшегося на мытарства родителей-вхутемасовцев и выбравшего себе профессию понадежнее. Нет, сначала-то он хотел стать инженером, тогда это еще ценилось, но отец подхалтуривал — красил праздничное оформление для большого универмага — и всегда брал с собой сына, подкормиться. Было это после войны, а бездетная директриса магазина всегда угощала или конфетами, или «эклером».

— И знаешь, что самое интересное? — тряс меня за плечо полуплачущий Торгонавт. — Я ведь ни о чем не жалею, хотя мой акварельки хвалил сам Фальк... Он дружил с папой...

Потом хором уговаривали Пейзанку примерить платье от Кардена. Она отнекивалась, объясняла, что ей жалко портить ленту, завязанную изумительной розочкой, но товарищ Буров заявил, что изготовление розочек из ленточек — его прямая обязанность, после чего Пейзанка смирилась и ушла переодеваться. Ни с того ни с сего хватились Диаматыча, и я уже было собирался что-нибудь наврать, но Друг Народов предположил, что профессор, по всей вероятности, выбрал свободу и попросил у французов политическое убежище. Все просто повалились от хохота! Вернулась Пейзанка. Платье было умопомрачительное, элегантно-легкомысленное, с той изящной небрежинкой, которая, наверное, и стоит таких денег.

— Горько! — завопила Пипа Суринамская и, не удовлетворившись кратковременным поцелуйчиком смущенной Пейзанки и ослабшего Поэта-лауреата, сгребла Гегемона Толю и показала, как на своей свадьбе она целовалась с генералом Суринамским, тогда еще лейтенантиком.

Дальше — нашли по телевизору парад клипов и начали танцевать. Естественно, товарищ Буров заграбастал Аллу и в процессе музыкального топтания посреди номера все крепче и крепче прижимал ее к себе — она даже уперлась кулачком ему

в грудь. Он что-то шептал Алле в лицо, и мне казалось, я чувствую его разгоряченное, пьяное дыхание.

— Давай набьем Бурову морду! — присев рядом со мной, предложил Спецкор. — Ишь, бурбонище! Терпеть не могу, когда пристают к чужим женщинам. А ты чего скукислся — борись!

— Не умею...

— Вот-вот! Ты обращал внимание, что у роскошных баб — мужа обычно жлобы жлобами. А почему? А потому, что когда нормальный парень видит классную девочку, что он испытывает?

— Что? — спросил я.

— Он испытывает не-ре-ши-тель-ность! А вдруг я не в ее вкусе? А вдруг она не то подумает?.. А вдруг за ней ухаживает кто-нибудь в кожаном пальто, а на мне папин габардин? Точно?

— Точно! — поразился я верности его наблюдений.

— А какой-нибудь хмырь с немойшей шеей, даже не посмотрев на себя в зеркало, подвалит — и цап мертвой хваткой...

— Ты поспорил с Мадлен?

— Нет. Оказалось, что она замужем...

Аллу от товарища Бурова освободила Пипа Суринамская: обняв рукспецтургруппы, она показывала, как нужно танцевать классическое танго, а попутно рассказывала, что генерал, будучи еще курсантом и завоевывая сердце своей будущей жены, гусарил и даже пил шампанское из ее туфельки.

— Шампанское на все столики! — сорвав телефонную трубку, крикнул Поэт-метеорист. — Гарсон! Ин циммер!

Клипы в телевизоре становились все круче и круче. Один изображал скандал в дорогом борделе. Мы сгрудились вокруг экрана и разнужданными криками приветствовали смертельно-сексапильную мулатку, которая, подпрыгивая на батуте, замуфлированном под кровать, творила в полете стриптиз. Первой заметила стоящего в дверях элегантного официанта Аллы, она улыбнулась ему, что-то сказала и стала искать глазами Поэта-метеориста — но он уже выпал из нашего праздника и спал, сжимая в руке стоптанный Пейзанкин туфель. Проследив взгляды Аллы, официант тонко улыбнулся, потом, шевельнув бровью, оценил наш стол с объедками колбасы, кусками хлеба, выскобленными жестянками, опрокинутыми бутылками и пакетами из-под вина, снова улыбнулся и спросил что-то.

— Кто-нибудь заказывал шампанское или это ошибка? перевела Алла.

— Скажите ему, у нас возникли определенные организационные трудности! — заплетающимся языком распорядился товарищ Буров.

— Я ему завтра подарю матрешку! — пьяно пообещал Друг Народов.— Завтра будет все!

Официант терпеливо ждал, рассматривая пятна вина и обломки галет на паласе. Возникла неловкая пауза.

— Я заказывал!

Алла посмотрела на меня с удивлением и перевела. Гарсон что-то уточнил.

— Сколько? Одну, две...— разъяснила она.

— Две! — самоотверженно потребовал я.

Алла снова перевела, и официант снова уточнил.

— Какой сорт предпочитаете?

— «Вдова Клико»! — не задумываясь, выбрал я, потому что о других сортах не имел ни малейшего представления, а про этот читал в каком-то французском детективе.

Алла перевела. Официант уважительно приподнял брови, поклонился и вышел.

— Безумству храбрых поем мы песню! — крикнул Спецкор и хлопнул меня по плечу, а я тем временем прикидывал, что, пожалуй, нашел лучшее применение моим сэкономленным 50 франкам. В конце-то концов! Тварь я дрожащая или право имею?!

Официант вернулся через несколько минут. В одной руке он держал серебряное ведерко, из которого торчали два серебряных бутылочных горлышка, похожих на любовников, купающихся в ванне; а в другой руке, между пальцами, — восемь бокалов с длинными и тонкими, как у одуванчиков, ножками-стебельками. Он расставил все это на краешке нашего засвиняченного стола, обернул бутылку белоснежной салфеткой, осторожно хлопнул пробкой и принялся плавно разливать шампанское по бокалам. Делал он это без особой бдительности, улыбаясь нам, но ни разу пена не переползла через края, а когда она с шипением опала, выяснилось, что в каждом бокале аптекарски равное количество шампанского.

— Снайпер! — изумился Гегемон Толя.— Махани с нами! А?

Но официант, наверное, по жестам поняв, о чем идет речь, только покачал головой и, поклонившись, вышел из номера.

— Ну, вот, товарищи...— трудно молвил наш руководитель.— Что хотелось бы сказать... Хороша страна Франция, но только за рубежами по-настоящему понимаешь, как дорога тебе Родина...

— За Родину! — подхватил Друг Народов.

— Обожди...— поморщился товарищ Буров и потерял ход мысли.— Что хотелось бы сказать...

— Так за что пьем? — пожал плечами Спецкор.

— Какая разница! — воскликнул Торгонавт. — Я всем оставлю мой телефон. Если нужны будут перчатки, кошельки, сумки — звоните, не стесняйтесь...

— Давайте за мужиков! — предложила Пипа Суринамская. — За наших защитников!

— Как сказал поэт Уитмен... — Это снова был Поэт-метеорист, запах спиртного действовал на него, как заклинания на зомби. — Чем болтать, давайте...

— Выпьем! — закричали все хором.

«Вдова Клико» показалась мне кисловатой.

Вторую бутылку, приговаривая: «Ну, я его, гниду, урою!», взялся открывать Гегемон Толя. Он долго возился с пробкой, и дело закончилось пенной, как из огнетушителя, струей. Каким-то чудом струя прошипела в сантиметре от Пейзанки, так и не снявшей своего нового платья, и точехонько ударила в Аллу.

— У-у, косорукий! — ругнулась Пипа Суринамская и шлепнула сконфуженного Гегемона Толю по затылку.

— Срочно нужно присыпать солью! — посоветовал Торгонавт.

Алла со смехом вскочила — ее белая кружевная блузка прямо на глазах становилась прозрачной. И прикрыв свою проявляющуюся, как на фотобумаге, наготу (сначала проклюнулись два черешневых пятнышка), Алла выбежала из номера.

— Дианы грудь, ланиты Флоры! — крикнул ей вдогонку Поэт-метеорист.

Несколько минут все смеялись, охали, обсуждали происшествие, а Пипа Суринамская рассказала, как однажды во время гарнизонного спортивного праздника она играла в волейбол и у нее отскочила пуговица лифчика... Что тут началось! Кошмар! Начсанчасти приказал на ужин всему личному составу дать двойную порцию брома! А товарищ Буров, уверенный, что на него никто не обращает внимания, вытер носовым платком лоб и шею, поправил галстук и, помотав головой, то ли приводя себя в чувства, то ли отгоняя сомнения, встал и двинулся к двери.

— Иди! — приказал мне шепотом Спецкор. — Я его чи держу!

— Давай набьем ему морду! — предложил я, ощутив готовность к активным действиям.

— Иди, тебе сказали! Это твой последний шанс, лопух!

В коридоре с разбегу я наскочил на обвешанного коробками и свертками Диаматыча.

— Простите за опоздание! — отрапортовал он.
— Прощаю! — крикнул я на ходу.
Дверь в номер Аллы была чуть проткрыта...

XVIII

Проснулся я от странного звука: словно кто-то рвал бумагу. Открыл глаза — в номере никого не было. Спецкор отсутствовал, но на столе посреди мусора, оставшегося от вчерашнего веселья, лежал сверток с дубленкой, купленной для Аллы. Впрочем, нет, он не лежал, а покачивался и пульсировал, будто внутри сидел огромный цыпленок, старающийся выбраться наружу из огромного, перетянутого шпагатом бумажного яйца. Обертка в нескольких местах уже лопнула, и с громким треском (он-то и разбудил меня) появлялись все новые надрывы. Вдруг веревки окончательно разорвались, листы бумаги опали — и дубленка, свернутая в замысловатый замшевый эмбрион, медленно начала расправляться, а потом так же медленно поползла в мою сторону, не задевая почему-то бутылки и бокалы, загромождавшие стол.

«Боже, какой дурацкий сон!» — подумал я, перевернулся на другой бок и накрылся одеялом с головой: сразу стало тепло и спокойно.

Но я рано обрадовался — одеяло было содрано, и дубленка медленно навалилась на меня своим душным меховым нутром. То, что я принимал за толстые складки, оказалось тугими страшными мускулами, а мягкие, пушистые манжеты из ламы вдруг сжали мое горло с удушающей силой, словно это были тиски, на которые зачем-то надели пахнущие нафталином меховые чехлы. И я понял тогда, что вся моя глупая жизнь — прошлая, настоящая и будущая — не стоит одного-единственного свободного глотка воздуха. Манжеты немного ослабили нажим, видимо, чтобы удобнее перехватить мое горло.

— А-а...— захрипел я.

И тут из нежного меха, как из кошачьей лапы, выдвинулись и впились в мое горло острые холодные когти, я даже ощутил, как они сомкнулись там, внутри моей гортани,— сомкнулись с хрустом...

«Боже, какой дурацкий сон!» — подумал я, очнувшись. В гортани першило — шампанское вчера было холодное. Глаза резало от похмельного неспросыпа, а в том месте, где у непьющих находится желчный пузырь, у меня сидел тупой деревянный гвоздь. Во рту была гадкая скрежещущая сухость. Но тело, тело мое репоплялось томительно-счастливой ломотой.

Проснулся я в номере Аллы. Сама она лежала на соседней кровати, и в промежутке между подушкой и одеялом виднелись ее золотистые пряди, наверное, все-таки подкрашенные, потому что у корней волосы были темные. Вышло, что сам я расположился в Пейзанкиной койке, и действительно, от наволочки доносился запах ее незатейливых духов типа «Быть может...». Меня чуть замутило...

В окне светлело утро, и, судя по неуловимым солнечным приметам, не такое уж раннее. Я пошарил на полу рядом с кроватью: почему-то запомнилось, что часы были последним из всего, что я сорвал с себя вчера вечером. На циферблате значилось: 9.18...

— Дубленка! — похолодел я и понял вещей смысл страшного сна.

Зубная паста показалась мне унизительно-мятной, а вода — ядовито-мокрой. От рубашки несло кислым табачищем, а пиджак и брюки (одевался я почему-то именно в таком порядке) пестрели пятнами и подтеками. «Погуляли!» — думал я, причесываясь перед зеркалом и разглядывая бледнолицее, воспаленноглазое существо, лишь отдаленно напоминающее программиста ВЦ «Алгоритм» Константина Гуманкова. Горько разочарованный в своей наружности, я тихо, чтобы не разбудить Аллу, направился к двери.

— Костя, подожди!

Я оглянулся: она сидела в кровати, трогательно придерживая одеяло у груди. И хотя, конечно, послепраздничное утро не украшало ее, я тем не менее, вместо обычного постфактумного унылого раздражения, почувствовал радость и нежность.

— Подожди! — повторила она, по-детски кулачками протирая глаза. — Я с тобой! Я сейчас встану...

— Не нужно, спи! — ответил я, хотя мне томительно хотелось увидеть, как она поднимается и встанет передо мной, потому что ночью, обладая ее наготой, я так и не увидел этой наготы.

— Не нужно... — повторил я.

— Хорошо, — сказала она. — Только не перепутай: станция Кадé...

— Не перепутаю...

— Возвращайся скорее...

— Да!

— Ты еще не разучился? — улыбнулась она, имея, конечно, в виду то, как вчера, смеясь и дурачась, учила меня целоваться, а потом вдруг заплакала...

— Нет...

— Тебе было хорошо?

— Да...

Да, мне было хорошо, очень хорошо, хорошо, как никогда раньше, и по коридору я шел, словно окутанный нежным коконом из ее запаха, слов, поцелуев, вздохов, движений, прикосновений, недомолвок... Я даже не шел, а парил внутри этого, сводящего с ума кокона.

На коврике, возле номера Пипы Суринамской, дремал Гегемон Толя. Развязанный галстук лежал рядом с ним, как ручная кобра.

— Сколько времени? спросил он, открывая глаза на мои шаги.

Время детское, посоветовал я. Спи!

— Да вроде выспался...

— Не пустила? — посочувствовал я.

Не-е...

— Чем мотивировала?

Сказала, по калибру не подхожу, не очень огорченно признался Гегемон Толя.

Мой легкий невидимый кокон, легко прыгая со ступеньки на ступеньку, влек меня вниз, в холл и дальше — к стеклянным дверям.

Мосье Хуманкофф!

Я заставил мой кокон-самолет сделать изящный вираж и увидел, как улыбчивый клерк, выйдя из-за конторки, протягивает мне листочек бумаги с какими-то отпечатанными принтером цифрами. Моего троглодитского знания иностранных языков все-таки хватило, чтобы понять: в руках у меня счет за вчерашнее шампанское. А колонка цифр, как подсказал мне мой задрожавший внутренний голос, складывается из непосредственной стоимости «Вдовы Клико», услуг вызванного в номер элегантного официанта, ночной наценки и так далее. Я знал вчера, на что шел, и был готов ко всему, кроме итоговой суммы — 298 франков... Мой сладостный кокон внезапно растаял, словно произошла разгерметизация скафандра, и я оцепенел в ледяном космосе безжалостной действительности. А клерк смотрел на меня с таким доверчивым добродушием, что я молча вынул моих трех заветных «делакура» и протянул их по возможности небрежно. Клерк поблагодарил, вернулся за конторку, прострекотал на компьютере и отдал мне сдачу — две никелированные монетки с женской фигуркой, разбрасывающей цветы свободы... «Свобода приходит наягая...»

Медленно шагая по улице, я думал о том, что если мстительная супруга моя Вера Геннадиевна узнает, как пошло пропил я ее дубленку, она просто медленно сживет меня со

свету, но даже если она не узнает этого, то все равно возвращение с пустыми руками повлечет за собой длительную полосу внутрисемейного террора. Ну и пусть! Уйду в подполье, почаще и подольше буду стоять в «Рыгалето», в крайнем случае, поживу у кого-нибудь из холостых сослуживцев. Или уйду совсем! Нет, серьезно — уйду и все!

— Свобода приходит нагая,— сказал я довольно громко.

Француз, аккуратной швабровкой мывший тротуар возле своего магазинчика, посмотрел на меня с удивлением. «А почему, собственно, свобода — это женщина, разбрасывающая цветы? Свобода — это мужчина со шваброй в руке!» — подумал я и почувствовал, как вокруг меня снова начинает сгущаться мой нежный кокон.

В супермаркете, том самом, куда нас возили в первый день, было малоллюдно. Я решительно приблизился к прилавку с бижутерией и, ткнув пальцем в заколку-махаон, сказал продавщице только одно слово:

— Это!

ХІХ

Когда я вернулся в отель, все уже знали о постигшем меня финансовом крушении.

— Мужики, надо сброситься! — призвал Гегемон Толя и отдал мне десять франков, полученные вчера от Поэтаметеориста (на них я в баре купил жевательную резинку для Вики).

Но денег больше ни у кого не было, если не считать горстки сантимов, оставшихся у товарища Бурова в общественно-представительской кассе.

— Возьми с собой пустые бутылки из-под «Клико»,— посоветовал Спецкор.— Предъявишь жене в качестве финансового отчета о проделанной работе!

— Пошел ты...— поблагодарил я его за мудрый совет.

Приполз виноватый Поэт-метеорист — любитель шампанского.

— Прости, Костик! — взмолился он.— Хочешь, я тебе Машкину карденятину отдам?

— Не хочу.

— Тогда поправься! — предложил он и вынул из кармана куртки стакан для полоскания зубов, почти до краев наполненный красным вином.

Следом вломилась Пипа Суринамская, она принесла мне две пары женских трусиков:

— Жене отдашь! Скажешь, купил!

— Спасибо, но...

— Не бойся, они безразмерные...

Торгонавт подарил мне пару новых кожаных перчаток чешского производства, и убеждал при этом, будто их тоже можно при желании выдать за купленные в Париже, мол, импорт! Друг Народов вручил мне большой фотоальбом «Париж-84», который ему, оказывается, подарили в коммунистической мэрии.

— Мне-то ни к чему,— пояснил замрукспецтургруппы.

Заглянул с соболезнованиями Диаматыч, но в глазах его светилось восхищение моими конспиративными способностями и уверенность, что валюту я выложил, разумеется, казенную.

... От наших вещей, сваленных посреди холла, веяло чем-то таборно-эвакуационным. Кстати, неожиданно по объему багажа Пипа Суринамская была оттеснена на второе место, а первое занял Торгонавт, все таскавший и таскавший из своего номера бесчисленные сумки и коробки. Попрощались с мадам Лану, подарив ей на память какую-то цыганскую — всю в розах — шаль и плюшевого медвежонка.

Когда уже автобус вез нас в аэропорт, Алла сжала мою руку и тихо сказала:

— Костя, это очень плохо!

— А может быть, наоборот — хорошо? — пожал плечами я.

В аэропорту было все так же, как в день нашего прилета: разноцветные, разноязыкие люди, тележки, груженные чемоданами и яркими дорожными сумками, стройные и плавные стюардессы, уверенно шагающие сквозь толпу суетящегося перелетного люда. Мы зарегистрировали билеты, и наш багаж канул в чрево аэропорта. Друг Народов пересчитал делегацию по головам, доложил еще не оправившемуся после вчерашнего товарищу Бурову, и тот строго, но с трудом приказал:

— Никуда не отлучаться. Скоро пойдем на паспортный контроль!

— А в сортир? — возмутился Поэт-метеорист.

— Побереги для советской власти! — посоветовал я.

— Никаких прав человека! — заругался Поэт-метеорист так громко, что на него стали оборачиваться.

— Давай я с ним схожу,— предложил Друг Народов.— А то опозорит всю группу прямо здесь...

— Ладно,— смиловился товарищ Буров.

Мы ждали. Мимо неторопливо и самоуверенно прошли два полицейских с короткими двуручными автоматами. Потом девушка в темно-синей форме прокатила мимо нас инвалидную

коляску с пожилой женщиной, евшей мороженое. Какой-то мужичок, судя по шляпе и плащу наш соотечественник, протасил коробку с видеоманитофоном, и вся группа, кроме товарища Бурова, одновременно завистливо вздохнула. Вернулся Поэт-метеорист. На его лице было написано такое счастье, какого не может дать удовлетворение даже самой настоятельной физиологической потребности.

— Хлебнул-таки! — догадалась Пейзанка.

— А то!

— А где конвойный? — спросил Спецкор.

— Пропил! — засмеялся Поэт-лауреат.

— А серьезно?

— Не знаю... Он сказал, что у него большие планы, и заперся в кабинке.

— Нашел время... — пробурчал товарищ Буров.

На огромном электронном табло напротив номера нашего рейса запрыгали два зеленых огонька. Затем слово «Москва» я разобрал в гулкой тарабарщине радиодиктора, объявлявшего о посадке в самолеты.

— Пошли на паспортный контроль! — распорядился товарищ Буров.

— А этот? — спросил Спецкор.

— Куда он денется?

Пограничник заглянул в мой молоткастый и серпастый, поставил штамп и сказал: «Привьет!» Постепенно вся группа прошла контроль и столпилась в ожидании товарища Бурова и Спецкора, которые не торопились покинуть зарубежье.

— А может быть, все-таки заблудился? — жалобно предпологал совершенно скисший рукспецтургруппы.

— Вряд ли... — с необычной серьезностью отвечал Спецкор. — Опытная тварь...

— Но почему? Он же мог и раньше?

— В половине случаев уходят именно в последний момент.. Психология... И расчет: труднее задержать...

— Вот сука! — налился кровью товарищ Буров.

— Лучше подумайте, как по начальству докладывать будем! Если тихо ушел — хрен с ним, а если начнет, сволочь, заявления делать?

— Но ведь проверяли же! И у вас тоже проверяли!..

— Совершенно точно можно проверить на триппер, а на это совершенно точно не проверишь! Ладно, я остаюсь, может, еще удастся что-нибудь сделать...

Поймав на себе мой изумленный взгляд, Спецкор пожил плечами, что, видимо, означало: «Вот такие, сосед, у них с тобой дела!»

Из-за отсутствия двух зарегистрированных пассажиров наш рейс задержали, и сквозь иллюминатор я видел, как на тележке повезли клетчатый чемодан Друга Народов, большую спортивную сумку и лыжи Спецкора.

Когда мы наконец взлетели и погасло табло «Пристегните ремни», я достал бумажный пакетик с заколкой и протянул Алле.

— Зачем? — спросила она.

— Знаешь, в племени чу-му-мри засушенных махаонов дарят, когда признаются в любви и предлагают поселиться в одном бунгало...

— Ты смеешься?

— Нет, я серьезно...

— Ты смеешься: нет такого племени — чу-му-мри...

— Есть. Я покажу энциклопедию...

— Ладно, — кивнула Алла. — Допустим, есть... Допустим, мы будем жить в одном бунгало... Как ты себе это представляешь?

— Очень просто. Я буду охотиться на львов. Твой сын будет мне помогать, и мы подружимся. Я заработаю кучу ракушек с дырками — это у них деньги такие. Куплю тебе платье из павлиньих перьев. Потом родится девочка, такая же красивая и нежная, как ты... Мы будем качать ее в люльке, вырезанной из панциря гигантской черепахи...

— А жираф будет бродить возле озера? — улыбнулась Алла.

— Будет!

— Изысканный?

— Изошренный!

— Костя, ты прелесть! А если к нам в бунгало придет обиженный сильный человек и захочет увести меня с собой?

— По закону племени чу-му-мри я проткну его отравленным дротиком.

— А если придет плачущая женщина с девочкой, очень похожей на тебя?

— Плачущая?

— Да, плачущая женщина!

— Я постараюсь им все объяснить... по крайней мере, девочке, похожей на меня...

— Это трудно!

— Не трудней, чем охотиться на львов...

— Труднее! — тихо сказала Алла и закрыла глаза. — Хочу спать...

Я выглянул в иллюминатор: внизу расстилалась облачная равнина, похожая на снежное поле. Казалось, вот-вот появится

цепочка лыжников. И она появилась — три черные точки, двигавшиеся одна за другой...

— Истребители! Во-он! Смотрите! — радостно закричала Пейзанка.— Значит, он не врал!

— Такие люди не врут! — громко отметил Дьяматыч и мигнул мне, давая понять, что я поступил совершенно правильно, оставив своего подчиненного для розыска соскочившего Друга Народов.

... Первое, что я увидел, выйдя из самолета,— дежурная улыбка аэрофлотовской девицы и настороженный взгляд прапорщика с ракетой. Потом мальчишка-пограничник в будочке долго листал мой паспорт, внимательно вглядываясь в мое лицо и несколько раз спрашивал меня, откуда я прилетел. Это такая у них инструкция, если вместо коренного советского гражданина спецслужбы попытаются втюхать шпиона, говорящего по-русски с чудовишным акцентом. Но все обошлось благополучно — и на Родину меня пустили...

Потом мы терпеливо ждали, когда появится наш багаж. И это наконец случилось. У Пипинового чемодана-динозавра отломился замок, и наружу вылезла разноцветная тряпочная требуха. Гегемон Толя вздохнул и взвалил лопнувшее чудовище на себя... Я взял два чемодана — свой и Аллы. Она шла рядом и несла сверток с дубленкой.

Таможенный досмотр прошли беспрепятственно все, кроме Торгонавта, катившего впереди себя перегруженную до неприличия тележку... Поддельный перстень был разгадан, и нашего спутника под белы ручки увели для составления протокола. Он горячился, объяснял, что обменялся с одним крупным французским политическим деятелем, участником Сопротивления, исключительно в целях укрепления дружбы между народами, но все было напрасно...

— Кто руководитель группы? — строго спросил таможенник.

— Я... — неуверенно ответил товарищ Буров.

— Безобразие!

В Шереметьевском аэропорту специализированную туристическую группу встречали... К товарищу Бурову подошел некто в номенклатурном финском пальто и, холодно поприветствовав, увел нашего убитого горем руководителя к поджидавшей черной «Волге». У самой двери, словно уводимый на казнь, он оглянулся, как бы желая крикнуть: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны за границей!»

Пипу Суринамскую ожидал генерал в сопровождении тех же — адъютанта и шофера. И по тому, с каким курсантским

нетерпением он оглядывал всю свою вернувшуюся боевую подругу, я вдруг понял: они, что там ни говори, счастливая пара...

— Ну, как ты тут без меня? — нежно спросила Пипа.

— Как штык! — ответил генерал.

Они уехали, увозя с собой чемодан-динозавр и сроднившегося с ним Гегемона Толю. Диаматыч в ожидании дальнейших инструкций шел со мной рядом до тех пор, пока я не шепнул ему, что временно он нам не нужен, его задача — натурализоваться и ждать связного.

Аллу подждал Пековский с клумбоподобным букетом белых роз. Рядом с ним стоял остролицый щуплый мальчик, который, едва завидев Аллу, бросился ей на шею с криком «мама!».

Пековский внимательно оглядел нас и все понял. Он церемонно поцеловал Аллу в щеку, дружески хлопнул меня по плечу и безжалостно выдавил из моей руки ее чемодан.

— Разуй глаза! — жестоко улыбнулся он.

Невдалеке, теребя в руках сумочку, стояла соскучившаяся супруга моя Вера Геннадиевна. За дни разлуки она довольно удачно высветлила и остригла волосы. Но особенно удивил меня ее взгляд, полный трепетного ожидания и счастливой надежды. Взгляд этот завороженно метался в магическом треугольнике, вершинами которого были:

а) я с чемоданом,

в) Пековский с мальчиком,

с) Алла со свертком.

— А Константин Григорьевич меня опекал! — вдруг голосом капризной девочки сообщила Алла. — Он настоящий товарищ!

— Это я понял! — кивнул Пековский и одарил меня таким выражением лица, которое означало: теперь он не придет даже на мои похороны.

— А какую замечательную дубленку Костя купил жене! — продолжала Алла все тем же кукольным голосом. — Костя, не забудьте дубленку!

Пековский взял сверток и нацепил его на пуговицу моего плаща. Взгляд Веры Геннадиевны внезапно остановился и зафиксировался на свертке.

— Я помогала выбирать! — с глупой гордостью объявила Алла. — Я тоже хотела купить...

— Ну, и купила бы! — сказал Пековский.

— Да ну! Я все деньги на шампанское потратила!..

— Вот и умница! — засмеялся Пековский и обнял Аллу.

Мальчик смотрел на них с недетским удовлетворением, точно до последней минуты боялся, что мама оттолкнет этого сильного белого человека, с которым он подружился и который учит его охотиться на львов...

XX

Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о Париже и моей парижской любви... С тех пор прошло несколько лет. Началось, идет и, видимо, уже никогда не кончится то, что мы самонадеянно именуем Перестройкой. Конечно, специально я не интересовался дальнейшими судьбами членов нашей спецгруппы, но так или иначе хоть что-нибудь знаю про каждого...

Во время последнего военного парада генерал Суринамский стоял на мавзолее, из чего я сделал вывод, что у них с Пипой все хорошо и даже отлично.

Забавная, но в духе времени история приключилась с Гегемоном Толей: он все-таки урыл того, кого собирался. Им оказался председатель завкома, часто выезжавший за границу, а по возвращении страшавший рабочий класс ужасами дикого Запада. Толя зашел к нему в кабинет якобы по личному вопросу и молча дал в глаз. Разумеется, Гегемона строго наказали, сняли с доски почета, чуть не засудили, а немного позже, когда начались забастовки, Толю, как борца с режимом, избрали председателем стачечного комитета, еще кем-то и еще кем-то... Короче, теперь на Урале он большой человек, вроде Валенса в Польше...

Поэт-метеорист и Пейзанка, поженившись, уехали жить в колхозную местность, где Сваршикову пришлось серьезно поработать над собой, чтобы не ударить лицом в грязь перед Машенькиной родней — отцом, старшим братом и крестным. Недавно я услышал, что Поэт-метеорист стал последователем Уолта Уитмена в смысле сочетания творческого и фермерского труда.

Торгонавт выпутался-таки из истории с перстнем, хотя ему пришлось одеть в новые перчатки всю шереметьевскую таможеню. Говорят, сейчас он председатель кооператива, продающего за рубеж молодой московский авангард.

Друг Народов, как и боялись, вскоре после своего исчезновения объявился на радио «Свобода» и выступил с жуткими разоблачениями. Конечно, все, о чем он рассказывал, мы отлично знали и сами, но услышать это из-за бугра, да еще от знакомого человека, было приятно. А недавно уже в качестве

заезжего фирмача он выступал по нашему телевидению и небрежно советовал нам, как выкарабкаться из кризиса. За годы, проведенные в бегах, он посolidнел, явно себя зауважал и вставил ровные белые зубы.

Спецкора я однажды встретил на улице, он сделал вид, что абсолютно не знает меня и никогда не спал со мной в одной кровати. Но я не обиделся: такая у него работа.

А вот о Диаматыче я слышу постоянно: он теперь знаменитый публицист и депутат. В своей нашумевшей статье «Сумерки вождей» он, между прочим, утверждает, что если бы в застенках НКВД все твердо говорили «нет», то сталинизм рухнул бы сам собой... Интересно, ждет он моего связного или уже перестал?

Товарища Бурова за всю эту историю поперли с партийной работы. Он страшно переживал, запил, разошелся с женой и даже однажды забрел к нам в «Рыгалето». Мы с ним выпили пивка с водочкой, вспомнили Париж, наше соперничество из-за Аллы, погоревали над его загубленной карьерой... Но жизнь непредсказуема: недавно товарища Бурова признали жертвой застоя, честным аппаратчиком, пострадавшим от партократии, и назначили на хорошую должность в Моссовет.

Пековский стал директором нашего «Алгоритма». Его выбрали на альтернативной основе, предпочтя правдолюбцу Букину. Почему? Ну, во-первых, ему пошло на пользу то великодушество, с которым он помогал мне поехать в Париж. Во-вторых, Пека вовремя развелся с дочкой бывшего зампреда и даже выступил на собрании с разоблачениями этой коррумпированной семейки. В-третьих, нашим вычислительным дамам нравятся дорогие одеколоны Пековского.

Алла вышла за него замуж и родила девочку, такую же, говорят, красивую и нежную, как она сама. И еще, говорят, Пековский часто со смехом рассказывает, как его жена, будучи в Париже, вместо того, чтобы купить дубленку, все деньги потратила на «Вдову Клико». Кстати, Алла ушла со службы, воспитывает детей, и я даже не знаю, как она теперь выглядит. Только однажды мне удалось рассмотреть сквозь затемненные стекла черной директорской «Волги» какой-то смутный женский силуэт. Но вполне возможно, это была и не Алла, а очередная одинокая дама, пользующаяся бескорыстной гормональной поддержкой Пековского.

А я по-прежнему работаю в «Алгоритме», в той же должности, но с надбавкой. Поначалу мне, правда, передавали предложения директора, чтобы я поискал себе новое место. Но рядом с «Рыгалето» программистских контор больше нет, а менять привычки и привязанности почти в сорокалетнем возрасте мелепо. Постепенно Пека смирился с моим присутствием и даже

стал поручать мне ответственные задачи. Сейчас, например, мастерю систему, которая будет просчитывать коэффициент устойчивости правительства. Условное название — «Хас-Булат».

После моего возвращения из Парижа Вера Геннадиевна стала относиться ко мне бережливее и даже решила, что в случае чего можно завести и второго ребенка. А вот долгожданную дубленку носить она не захотела, сказала, что жмет в проймах, и продала своей сплетнице-подружке. Что еще? Вике постоянно звонят разные сопливые ухажеры, к телефону не пробьешься, из-за этого она в постоянных контрах с матерью, и та в отместку не разрешает ей пользоваться своей косметикой. Тараканов я все-таки повывел: подобрал замечательную отраву из восьми ингредиентов. Наша квартира теперь, наверное, в их тараканьей картине мира называется «Страна погибших братьев» или еще как-нибудь в этом роде. Кстати, недавно я прочитал, что парижские отели страдают от невиданного нашествия «пруссиков». Может, организовать СП и заработать валюту? По этому поводу надо выпить еще! Моя кружка вмещает две порции. А ваша?..

1989—1990 годы



*Не могу молчать.
А. Толстой*

ВETERАНЫЧ

Рассказ

Недавно на глаза мне попался номер ежедневной газетки, которую я вообще-то никогда не читаю. Но в тот день домохозяйцы поручили мне добыть телевизионную программу на неделю. По дороге в универсам я заглянул в киоск «Союзпечати»: там было шаром покати — пришлось брать, что дают.

В универсаме я быстро покидал в казенную пластмассовую кошелку хлеб, молоко, масло, сахар — одним словом, все то, что доверяется покупать мужьям, — и встал в длинную очередь к кассе. Мне иногда кажется, что очереди у нас охраняются государством как живая память о первых шагах молодой рабоче-крестьянской власти.

Кассирша работала медленно и брезгливо, словно за высококачественные питательные продукты ей нагло впаривали не деньги, а какую-то резаную, да еще и мятую бумагу. Я вспомнил утреннюю ссору с женой. Она преспокойно намазывала бутерброды, потом вдруг швырнула нож, заплакала — и тут началось! Мол, сидишь, как дебил, в своей дурацкой «многотиражке», ни помощи от тебя, ни денег! Даже тестя устроить на консультацию к профессору Музыченко не можешь!..

Самое страшное в жизни — это когда на тебя орет женщина в бигудях.

Почувствовав копошащуюся боль в груди, я несколько раз глубоко вздохнул и, чтобы переключиться, развернул только что купленную, холодную с мороза газету. На весь внутренний разворот разверзся подвалище, озаглавленный заголовком «Рядом с легендой».

«Расстреливать нужно за такие заголовки! — возмутился я. — Выводить в коридор и возле стенда «Лучшие материалы номера» — расстреливать!»

Мало того, в текст эти ублюдки офсетной печати совершенно нелепо заверстали фотографию бровастого старикана, усеянного наградами. Под снимком стояла подпись: «Фронтовики, наденьте ордена!»

Вскипая, я пробежал глазами первые строчки материала: «Неспокойно живет ветерану войны Семену Валерьяновичу Куренцову: нескончаемой чередой идут к нему люди...»

Пробежал и замер, а потом, чтобы удостовериться, внимательно осмотрел фотографию. Ну, конечно же, это был он — наш Ветераныч! -

Детство мое прошло в заводском общежитии — доме богатого купца-оптовика. В час долгожданной экспроприации экспроприаторов дом наскоро переоборудовали под коммунальное бытие. Впрочем, поначалу, совсем недолго, в здании помещался районный комитет левых эсеров — скоротечных союзников большевиков. Без сомнения, сюда в сверкающем, как светлое будущее, лимузине наезжала «эсеровская богородица» Мария Спиридонова и говорила, говорила, говорила...

Специалисты по отстрелу великих князей, левые эсеры, увы, не понимали глубоких классовых истин и не владели подлинно научным методом. Это их и погубило. Вскоре после июльского мятежа 1918 года особняк «купчины толстопузого» отдали рабочим Второго молокозавода. Необъятный жилфонд, где, бывало, маялся дурью богачей-оптовик, говоривший на четырех языках и коллекционировавший Матисса, при помощи фанерных перегородок поделили на тридцать восемь комнаток. С тех пор если одна семья наслаждалась кудрявой головой лепного купидончика, грозившего пальчиком с потолка, то другая ячейка общества имела перед глазами более прозаические части одного тельца. Когда же в субботу вечером все хозяйки разом на трех коммунальных кухнях начинали стирать белье в совершенно одинаковых оцинкованных корытах, по коридорам общежития полз такой густой туман, что ходить можно было только ощупью. В остальные дни корыта в три ряда висели на стенах, словно щиты предков в рыцарском замке.

Потом была война, такая долгая и кровавая, что новоиспеченный генералиссимус на победном банкете поднял тост не за мужество, не за героизм, но за долготерпение своих подданных.

У нас, ребят, родившихся после Победы, имелась некоторая подробность: одни были детьми отцов-фронтовиков, другие отпрысками родителей, не поспевших на поле брани. «Так ли это важно?» — спросите вы. Отвечу: в будни, наверное, и не очень важно, но вот в праздники, особенно 9 Мая...

В этот день, звеня медалями, во двор нашего общежития выходил дядя Коля Калугин и, не выпуская изо рта дымящейся «беломорины», подзывал своего сына — моего друга — Мишку, клал ему на плечо искалеченную двухпалую руку, и они отправлялись на угол пить соответственно пиво и лимонад. Это впечатляло, тем более что мой собственный отец

непростительно замешкался родиться и опоздал к всенародной схватке с фашизмом.

Наше общежитие имело свой собственный двор, заасфальтированный, с каменной стеной и воротами, запиравшимися на огромный засов. Все это осталось от купца-оптовика, который интересовался политикой и даже прятал у себя под видом дворника известного революционера-террориста.

Мы делили двор с заводской столовой, поэтому он всегда был завален пустыми ящиками, коробками, картофельной шелухой, а в здоровенных алюминиевых кастрюлях заветривались свежескобленные ребра и мослы. Казалось, наряд милиции недавно спугнул компанию подгулявших людоедов.

Именно здесь, «на ящиках», и собирались мальчишки общежития для решения своих по-детски серьезных проблем. Карманные деньги в ту пору водились только у Леника, сына заместителя директора Молокозавода, поэтому на роль всеобщего эквивалента стихийно выдвигались то марки, то старинные монеты, то боевые медали... К этим знакам воинской доблести тогда относились без надлома, охотно выдавали детям для игр, а в случае потери ограничивались дежурными подзатыльниками.

Ходили по рукам и бесхозные медали тех, кто не дожил до того времени, когда на смену слову «фронтовик» окончательно пришло слово «ветеран».

К нам «на ящики» нередко заглядывал и даже подсаживался комендант общежития Семен Валерьянович Куренцов, пузатый, краснолицый дядька с мягким, задушевым голосом, каким в радиопостановках обычно говорят волшебники или маскирующиеся предатели Родины. В нашем общежитии Куренцова за глаза звали — «Ветераныч».

Итак, он приходил к нам «на ящики», подсаживался и некоторое время внимательно слушал, как мы взахлеб пересказываем друг другу содержание фильма, виденного накануне в кинотеатре «Новатор». Потом, выбрав паузу, Ветераныч вздыхал и клал нам на плечи свои пухлые руки. На тыльных сторонах ладоней у него были синие пороховые татуировки: на левой — окутанная язычками пламени дата — «1941», на правой — перевитая лаврами и лентами другая дата — «1945». Мой друг Мишка, попытавшийся однажды наколоть на руке собственное имя и потом в течение месяца не имевший возможности сесть на вспаханный отцовским ремнем зад, уверял, будто сделать такую, как у Ветераныча, татуировку стоит больших денег...

Итак, Ветераныч клал нам на плечи свои пухлые ладони и говорил:

— Эх, пацаны, пацаны... Чирикаете тут под мирным небом, а сами не знаете, сколько за ваше счастливое детство отцов-дедов полегло!

— Знаем! — твердо отвечивал замдиректоровский Леник. — Двадцать миллионов. В учебнике написано.

— А ты таблицу умножения знаешь?

— Знаю.

— Тогда написанное в учебнике завсегда на два умножай! Не ошибешься. Вымостили дорожку от Москвы до Берлина нашими косточками...

— Зато победили! — вмешался в разговор мой друг Мишка.

— Победили, — задумчиво согласился Ветераныч, достал жестянку с ландринном, заменявшим ему папиросы, и, не предложив нам, бросил две конфетки в рот. — А почему победили? Тут имеются два фактора. Во-первых, немцы сил не рассчитали — вот и подавились. Во-вторых, товарищ Сталин перед самой войной успел внутреннюю измену каленым железом выжечь!

— Сталин нарушал нормы социалистической законности! — твердо пробарабанил вундеркинDISTый Леник.

— Дурак ты, — спокойно отозвался Ветераныч. — У товарища Сталина на все свой закон был. Понял? Поэтому с именем Сталина мы в атаку шли!

— Семен Валерьянович, — невинно удивился мой друг Мишка. — Вы, значит, тоже в атаку ходили?

— Ишь ты, подковыра какая, — покачал головой Ветераныч. — Думаешь, кроме твоего батьки больше никто и не воевал?

— Тогда почему же у вас наград нет? — стоял на своем мой друг Мишка.

— Награды, пацаны, — вздохнув, пожаловался Ветераныч, — это как деньги: или много, или совсем нет... Судьба такая. Вот вспоминается мне боевой эпизод. Как-то ночью вызывает нас комбат и приказывает взорвать железнодорожный мост. «Вернетесь, говорит, каждому лично «звездочку» прикручу...» Ну, взорвали, вернулись, а комбата вместе со всем штабом тяжелою снарядом накрыло...

Боевых эпизодов в непроверенной фронтовой биографии Ветераныча было множество, для каждой ситуации он припомнил особенный, со значением и вдохновенно рассказывал нам, мальчишкам. Но зато, когда возле добротного, похожего на наковальню доминошного стола мужики, отложив черные костяшки, до хрипоты спорили о том, кто умнее: Сталин или Жуков, о том, где опаснее: в танке или в чистом поле...

в такие минуты Ветераныч помалкивал. А однажды подвыпивший дядя Коля Калугин отловил Ветераныча в непроглядном тумане большой стирки, схватил здоровой рукой за грудки и кричал на все общежитие: «Что же ты пацанам врешь, тыловая твоя морда! Убью, как собаку!..»

Моего отца вызвали их разнимать, а когда он вернулся, я поинтересовался его мнением о фронтовой биографии Ветераныча. «Шут их разберет!» — ответил отец со злостью, потому что по вековой русской традиции ему, как разнимавшему, досталось больше всех.

На следующий день строгая Мишкина мать вела покорного с похмелья дядю Колю Калугина виниться к Ветеранычу.

— За что избил человека? — на ходу пилила она.

— Пусть не брешет! Фронтов-и-ик...

— А твое какое дело? Ты, что ли, не брешь? Наливал тебе маршал Жуков? Наливал?!

— Ну, не наливал...

— Зачем тогда крестному врал, что наливал?..

Однажды мой друг Мишка затащил меня на чердак, вынул из кармана латунную зажигалку с откидывающейся крышечкой и гордо сообщил:

— Трофейная. С офицера зондеркоманды взята!

— Откуда она у тебя? — сдавленно спросил я, и в моей душе с заунывным мявом заскреблись кошки зависти.

— У Ветераныча выменял.

— За что?

— За «Боевые заслуги»!

Внесу ясность: медаль «За боевые заслуги» (без колодки) мой друг Мишка выменял у одноклассника за серию треугольных марок «Бургундия», а марки в свою очередь он получил от замдиректорского Леника в обмен на подлинный, оглушительно хлопающий пастушеский кнут, вывезенный во время летних каникул из деревни. Заместитель директора Молокозавода кнут выбросил на помойку, а Ленику за разорение отцовской коллекции было в течение месяца запрещено выходить на улицу. Возвращаясь из своей спецшколы, куда он ездил на троллейбусе, предъявляя личный проездной билет, Леник теперь садился на подоконник и, точно кот, неотрывно глядел во двор.

Мы решили проведать нашего заключенного товарища и заодно похвастаться Мишкиным приобретением. Рассудительный Леник внимательно осмотрел зажигалку, вполголоса прочитал иностранные буквы на крышке и проговорил:

— Да, в самом деле немецкая.

— Трофейная! — радостно подхватил мой друг Мишка.

— Не-ет, не трофейная,— поправил Леник.— Гэдээровская...

Он подошел к раковине (у них единственных в общежитии был свой умывальник), сполоснул руки, затем подставил стул, достал с шифоньера ключ, отпер им отцовский секретер и выдвинул один из многочисленных ящичков. Мы заглянули в него, как в бездну. Там среди полудюжины разнокалиберных зажигалок лежала одна, точь-в-точь как наша...

— Гэдээровская...— повторил Леник.— Мы с мамиком на 23 февраля папику купили. Сразу сломалась.

— Вот гад! — возмутился по поводу Ветераныча мой друг Мишка.— Правильно ему батя морду набил! Врун чертов...

— Подожди! А твоя зажигала работает? — неожиданно спросил Леник.

— Конечно, ответил мой друг Мишка и, крутанув рифленое колесико, продемонстрировал нам сине-красный, пахнувший бензином лепесточек огня.

— Ветераныча нужно наказать за обман! — вслух рассуждал многомудрый Леник.— Но как?

— Пургена в чайник подсыпать! — предложил я, остановившись на самой жестокой мести из всех, бытовавших в пионерском лагере, куда я выезжал каждое лето.

— Мелко! — не принял Леник, привыкший в своей спецшколе к другим способам сведения счетов.

Заложив руки за спину и нагнув голову, он расхаживал по комнате.

— Что же делать? — вопрошал мой друг Мишка.— Что?

— Эврика! — вскричал Леник и стукнул себя по лбу.— Тут кое-что есть! Нужно вернуть Ветеранычу зажигалку, но не твою, а мою — сломанную...

— Зачем? — хором не поняли мы.

— Эх, вы! Повторяю специально для тугодумов,— ответил Леник фразой из фильма «Фантомас».

Я смутно помню, чем закончилось наше возмездие. Леника за «починку» отцовского огнива досрочно освободили из-под домашнего ареста. Это точно. Мой друг Мишка, кажется, в последний момент застеснялся идти к Ветеранычу и с горя променял испорченную зажигалку на пугач с отломанным дулом. А вот Ветераныча 9 Мая видели где-то — не на нашей улице при медали «За боевые заслуги», болтавшей на новенькой колодке...

Но это было только начало удивительных событий. Главное произошло, когда у нас в школе решили организовать Музей боевой славы. Оказывается, раньше в школьных зданиях всегда имелась так называемая директорская квартира. Кстати, в свое

время это было очень удобно, потому что генералиссимус страдал бессонницей — и всем остальным приходилось ночевать на рабочих местах. Но после того, как наш директор получил новую квартиру в Измайлове и переехал туда...

— А я говорю, вы здесь не стояли! — прямо над моим ухом раздался пронзительный женский голос.

— Ничего не знаю! Я занимала вот за этим мужчиной! — отозвался другой, не менее пронзительный голос.— Гражданин, подтвердите!

Я очнулся и увидел, что до кассы мне еще далеко, но зато позади меня вырос совершенно палеонтологический хвост, а рядом со мной стоит увядшая женщина и заглядывает мне в глаза:

— Подтвердите, пожалуйста!

— Занимала! — кивнул я.

— Вот видите! — возликовала она.— А то взяли манеру: чуть что — сразу орать!..

А я вернулся к меду воспоминаний. Итак, директорскую квартиру, в которой никто теперь не жил, отдали под Музей боевой славы. Был брошен мобилизующий и вдохновляющий клич: кто соберет больше всего экспонатов, тот на каникулы поедет в Ленинград! И еще одна очень важная деталь: экспонаты нужно обязательно сопроводить воспоминаниями ветеранов, так сказать, живым дыханием истории.

Разумеется, первым делом я бросился к дяде Коле Калугину и застал в их комнате интересную сцену. Мой друг Мишка обеими руками держал крышку дивана, а дядя Коля до пояса просунулся в его пыльные недра, точно укротитель в разинутую пасть бегемота. Вскоре он вытащил два черных погона с желтыми скукожившимися сержантскими ленточками. Увидев меня, бывший отважный гвардеец-артиллерист мгновенно оценил оперативную обстановку и вручил Мишке и мне по одному погону.

— Сама делите! — сказал он при этом.— Писать ничего не стану. Не умею я..

— Не умеет! — ехидно подтвердила Мишкина мать.— Третий год заявление на квартиру написать не может!

Поразмыслив, мы с Мишкой решили преподнести погоны как коллективный дар музею, тем более что без воспоминаний они для поездки в Ленинград были недействительны.

Через некоторое время, побывав в гостях у дальнего маминного родственника, я разжился подлинным гвардейским значком и тетрадным листком с рассказом о том, как в боях за освобождение Белоруссии танкисты покрыли себя неувядаемой славой и получили высокое звание гвардейцев, связавшее

их со славными традициями русского оружия, о которых будущий генералиссимус внезапно вспомнил, когда немцы били по Москве чуть ли не из пушек. Для убедительности мама заверила тетрадный листок в заводоуправлении круглой колосистой печатью.

Но и мой друг Мишка не терял времени даром: от своего дяди он получил монокль и подробно изложенную на бумаге историю этой вражьей стекляшки. Монокль был обнаружен Мишкиным дядей-разведчиком в немецком штабе в стакане еще теплого чая. Туда он выпал из полковничьей глазницы в тот самый миг, когда полковник, резко вскинув брови, услышал невероятную новость: русские перешли границу тысячелетнего рейха!

Я и мой друг Мишка шли, как говорится, ноздря в ноздю. А в школе уже начали подводить предварительные итоги, и становилось ясно, что не нам достанется Ленинград с его Медным всадником, Летним садом, разводящимися мостами и потрясающим, если верить слухам, сливочным пломбиром...

Однажды вечером, когда я одиноко сидел «на ящиках» и горевал, точно сестрица Аленушка, утратившая братца Иванушку, ко мне подрулил Ветераныч.

— Не прикрыли еще ваш музей? — поинтересовался он.

— Нет. А что?

— Нужны еще экспонаты?

— Нужны...

— Чего ж тогда ко мне не зайдешь?

— К вам? — искренне удивился я.

— Ко мне. Заходи! Есть одна вещица — память о фронтовом друге.

В тот же день я отправился к Ветеранычу. Никогда раньше бывать у него мне не приходилось, хотя в остальных тридцати шести комнатах общежития я неоднократно гостил и даже ужинал, если, случалось, родители опаздывали с вечерней смены.

Дверь у Ветераныча была железная. Рассказывали, что раньше там располагалась купеческая кладовая, куда галантный оптовик прятал от жены своих приятельниц.

Оказалось, Ветераныч жил очень даже неплохо: в углу стояла деревянная полированная кровать, а не какое-нибудь панцирно-никелированное сооружение, напоминающее спортивный батут. Рядом пристроились трехстворчатый шкаф и сервант с горкой. На стеклянной полочке большой хрустальный графин принимал парад рюмок и фужеров, а в глубине, среди чашек, плутал фаянсовый Сусанин с топором, заткнутым за красный

кушак. Пол в комнате был так густо намастичен, что подметки при ходьбе прилипали к паркету и звонко отшелкивали. За окном, на прохладе, висела туго набитая продуктами авоська.

— Садись, красный следопыт! — пригласил меня Ветераныч.

Над столом, накрытым для вечернего чаепития, был прикреплен небольшой пожелтевший фотоснимок: три молодых короткостриженных бойца стоят, обнявшись, и радостно улыбаются друг другу.

— Это я! — гордо указал Ветераныч на одного из красноармейцев, самого худенького.

И это в самом деле был он.

— А вот — Витька Кириянов, — ткнув пальцем, пояснил Ветераныч. — Дружок мой... Пал смертью храбрых. Только пилотка осталась...

И Семен Валерьянович положил передо мной старенькую, засалившуюся на отворотах пилотку. В том месте, где раньше была звездочка, темнело пятиконечное пятнышко.

— Я для вашего музея воспоминания составил, — продолжал он. — Мне их в заводууправлении девчонки за шоколадку перестукали. Гляди! — И Ветераныч достал из-под клеенки несколько страничек машинописного текста.

Если б сегодня кто-нибудь дал мне свои мемуары, выбитые золотом по мрамору, я бы, наверное, удивился меньше, чем в ту минуту.

Дома я внимательно прочитал воспоминания Ветераныча. В них рассказывалось о том, как взвод необстрелянных бойцов, получив приказ остановить прорвавшихся немцев, занял оборону возле деревни Васино. Солдаты окапывались на новых позициях, когда по большаку на бешеной скорости пропылил «джип» и какой-то широкоплечий политрук, помахав из кабины наганом, крикнул: «Держись, ребята!» И они держались. Когда были отбиты две атаки, старший сержант Кириянов, принявший командование после гибели лейтенанта, подзвал к себе бойца Куренцова и приказал идти к своим за подкреплением.

— Нет, — твердо ответил боец Куренцов. — Я не могу бросить товарищей!

— Ты должен! — настаивал старший сержант.

— Нет!!

— Я приказываю!!!

Боец Куренцов, преодолевая невероятные опасности, выполнил приказ, но, когда к Васинскому рубежу подошло подкрепление, ни одного защитника не было в живых.

«Всех наградить! Всех до единого...» — глухо повторял, стоя на краю дымящейся траншеи, вытирая слезы рукавом

шинели, старый боевой генерал. Но утром генеральская «эмка» напоролась на мину, потом началось контрнаступление... И награды не нашли героев...

«А я, как самую дорогую награду, хранил все эти годы пилотку моего друга старшего сержанта Виктора Кирьянова...» — так заканчивал Ветераныч свои воспоминания.

На торжественном открытии Музея боевой славы старший пионервожатый, дохлый рыжеволосый парень, любивший демонстрировать нам свои жидкие бицепсы, во всеуслышание объявил, что самый ценный экспонат и самые бесценные воспоминания подарил школе Семен Валерьянович Куренцов!

Из Ленинграда я привез моему другу Мишке взволнованный рассказ о разводящихся мостах и круглую коробочку пистонов, которые в Москве почему-то совершенно не продавались. Но Мишка отринул мои дары. По его мнению, я не имел никакого права обращаться за воспоминаниями к Ветеранычу. На это я мягко, но твердо разъяснил, что в данном случае меня больше волнует героический образ старшего сержанта Виктора Кирьянова, заступившего дорогу фашистам на легендарном Васинском рубеже. Цель оправдывает средства!

Разошлись мы с моим бывшим другом Мишкой мирно, унося каждый по «фонарю»: он — под правым глазом, я — под левым.

Вскоре Ветераныч выступил у нас в школе на торжественном собрании. Ребята слушали, раскрыв рты, а учителя украдкой смахивали слезы. Я следил за извивами знакомого сюжета, отмечал новые живописные подробности и старался не смотреть на медаль «За боевые заслуги», висевшую на груди вдохновенного мемуариста.

Но мой бывший друг Мишка не сложил оружия, он развернул в школе энергичную контрпропаганду. Кончилось тем, что его доставили в кабинет директора.

— Если ты, гаденыш, будешь своим грязным языком погнать заслуженного человека, — взревел директор, вырастая над письменным столом, — я тебя в колонию отправлю!

И тогда опозоренный, но несломленный Мишка пошел на крайность — решил обо всем рассказать отцу. Вопреки ожидаемому дядя Коля Калугин спокойно выслушал своего возмущенного сына и ответил примерно так: «Бог с ним, с собакой... Всем тогда досталось. Я бы за ту войну всем медали повесил, даже младенцам!»

Очевидно, периоды примирения с действительностью бывают не только у великих писателей-сатириков.

А Ветераныч тем временем совершал триумфальное турне по школам нашего района, потом его стали приглашать и

предприятия, в институты, воинские части... Нередко, сидя «на ящиках», мы видели, как к общежитию подруливает крепкогрудая черная «Волга» и как из машины, держа в руках сплюснутой кулек с гвоздиками, вылезает Ветераныч. Иногда он подходил к нам, отечески трепал по волосам и добродушно говаривал:

— Чем баклуши бить, лучше в стрелковый кружок запишитесь. Враг не дремлет!

— Он спит! — с ненавистью отвечал мой бывший друг Мишка.

— А вот ты — молодец! — словно не слыша, обращался Ветераныч к Ленику. — Учи языки — разведчиком будешь!

— Шпионом! — добавлял Мишка.

Прошло немного времени. Полыхая кумачом и гремя медью, промчалась круглая ратная дата, и на груди Ветераныча зазвенела настоящая медаль — юбилейная.

Во время славных торжеств произошли события, о которых просто необходимо рассказать. Во-первых, я помирился с Мишкой. Во-вторых, звезда Ветераныча взвилась на общественном небосклоне на недостижимую высоту.

Взлет звезды совпал с ежегодным слетом передовиков. Огромный дом политпросвещения был полон, проходы заставлены набитыми сумками, а в фойе еще продолжалась штурмовая праздничная торговля. В первых рядах сидели лучшие люди района и мы, красногалстучная пионерия, во главе с директором школы. Согласно сценарию, под звуки фанфар мы должны были гуськом побегать на сцену, туда, где за баррикадой зеленоскатертного стола сидел президиум, — и каждому вручить алую гвоздику — наш цветок. Потом, опять-таки согласно сценарию, нам надлежало построиться в шеренгу и с выражением прочитать литературный монтаж. Лично я должен был звонко прокричать четыре стихотворные строчки.

Две в начале:

Враг подходил к столице —
Темнели гневом лица!

И две в конце:

Мы грозно шли к рейхстагу,
Храня в сердцах отвагу!

Режиссер всего этого праздничного действия, нервно дергая небритой щекой, мотался вдоль первого ряда и повторял, как заклинание: «Мальчики-девочки! Умоляю!! Если забыли слово,

пропустите и читайте дальше. Никто не заметит. Только, ради жизни на земле, не останавливайтесь!»

Торжественное заседание началось. Сначала выступил большой руководитель городского уровня. Свой обширный доклад он явно видел впервые и всякий раз, запутавшись в придаточном предложении, поворачивался в сторону президиума и поверх очков строго смотрел на подчиненных. В конце оратор с трудом доплелся до конца, но аплодировали ему долго и стоя. Он же еле заметно кивнул залу и несколько раз вяло коснулся кончиками пальцев ладони.

Следом на трибуну поднялся заслуженный генерал. Он очень долго перечислял номера частей, с которыми в ходе знаменитой фронтовой операции взаимодействовала вверенная ему бригада, а потом, помявшись, бывший комбриг сообщил, что на победоносное завершение операции несомненно повлиял общеизвестный факт: перед началом наступления в расположение штаба прибыл молодой, но очень опытный политработник! И тут под шквал аплодисментов прозвучало имя крупного руководителя городского уровня. Тот нахмурился, словно бы недовольный навязчивостью стареющего генерала, но потом все-таки с трудом улыбнулся.

Далее, олицетворяя живую связь поколений, выступил старшеклассник из нашей школы. Текст, сработанный общими усилиями педагогического коллектива, он две недели, до маниакального блеска в глазах, заучивал наизусть, но в последний момент, разумеется, все перезабыл. И сидевший под самой трибуной директор, сложив ладони рупором, громко подсказывал алебастровому от ужаса старшекласснику. Между прочим, за подсказки никто директора из зала не выгонял.

Наконец, как гвоздь программы, как звезду торжественных заседаний на сцену запустили таинственного в задних рядах президиума Ветераныча. Он домовито устроился на трибуне, привычным движением поправил микрофон и, обведя грустными глазами праздничный зал,— без бумажки — начал:

— У меня дома, в платяном шкафу, рядом с письмами фронтовых друзей, хранилась старенькая красноармейская пилотка. Ее носил на своей удалой голове старший сержант Витька...— тут его голос дрогнул, он отхлебнул чая и продолжал: — ... старший сержант Виктор Кирьянов...

Дальше шел общеизвестный рассказ о сражении возле деревни Васино. Люди слушали, всхлипывали и вздыхали, а лицо большого руководителя городского уровня постепенно просипалось, оживало — и всем вдруг стало ясно, что это лицо самого обыкновенного человека, временно впавшего в номенклатурное оцепенение.

Когда же Ветераныч дошел до слов о том, как по большаку на бешеной скорости пропылил «джип», как из машины высунулся широкоплечий политрук и, помахав наганом, крикнул: «Держитесь, ребята!» — случилось чудо. Руководитель резво вскочил со своего места и крикнул:

— Хлопцы, так то ж был я! Меня в штаб дивизии гоняли!

И он, распахнув руки, сквозь заросли живых цветов и стволы микрофонов проломился к Ветеранычу. Они обнялись и, похлопывая друг друга по спинам, слились в братском поцелуе.

— Вот это ход! Вот это сюжет! — лохматя волосы, бормотал сидевший рядом со мной режиссер.

— Все заранее подготовлено, — рассудительно заметил кто-то сзади.

— Не говорите чепухи! — драчливо обернулся режиссер. — Полный экспромт! Полный...

Когда Ветераныч под бурю аплодисментов закончил свое выступление и скромно направился в глубь сцены, большой руководитель городского уровня кивнул на стул по правую руку от себя — и весь президиум дисциплинированно сдвинулся вправо.

Тут зазвучали фанфары, прокатилась барабанная дробь — из зала выбежал член совета дружины нашей школы и, теребя свежепоглаженный алый галстук, прокричал:

Чтоб сказать «Привет!» героям
И сражений, и труда,
Пионеры ровным строем
В гости к вам пришли сюда!

... В Москве заканчивалась эпоха семейных общежитий. Самым первым, даже раньше, чем папик Леника, отдельную квартиру получил Ветераныч. Во двор въехала крытая военная машина, из кузова выпрыгнули солдатики и под командованием старшины принялись сноровисто грузить обильные пожитки Ветераныча, а он суетился вокруг них и жалобно покрикивал: «Только не поцарапайте, ребятки! Только поаккуратнее!...»

Погрузка заканчивалась. Пересчитывая коробки и узлы, Ветераныч ненароком заметил меня. Он помахал рукой и крикнул: «Когда вырастешь, просись в артиллерию. Богом войны будешь!»

Чтобы обсудить необыкновенную новость (до сих пор из нашего общежития по своей воле еще никто не уезжал!), я заглянул к моему другу Мишке и застал там двенадцатибалльный семейный скандал:

— Семену... одинокому... дали! — сквозь слезы причитала Мишкина мать.— А тебе, семейному,— шиш! Ты ведь тоже фронтовик!

— То-о-оже!!! — взревел дядя Коля Калугин, и я понял, что период примирения с действительностью у него закончился.— То-о-оже! Я воевал, а он, гнида, по складам отирался и жопу отращивал!

— За что ж ему тогда ордер дали? — ехидно, сознательно выводя мужа из себя, поинтересовалась Мишкина мать.

— Подожди, ему еще и орден дадут!

— Коленька, родной, сходи, попроси! — изменила она тактику.— Тебе положено, ты инвалид...

— Если положено, пусть сами придут и скажут: «Николай Иванович, вам положено, вот вам ордерок на новую квартиру!...»

— Жди, прибегут! Совсем мозги пропил!

Понимая, что взрослые вот-вот перейдут от слов к делу, мы с моим другом Мишкой выскочили в коридор и, не сговариваясь, побежали в опустевшую комнату Ветераныча.

Железная дверь была распахнута, на паркете остались глубокие борозды: солдатики вытаскивали мебель без затей. На полу валялось множество листиков от численников, или отрывных календарей. Мы стали подбирать их и складывать в стопку. Каждый листок, помимо числа, месяца, года, а также времени восхода и заката, сообщал еще какую-нибудь маленькую, строк на двадцать — тридцать, историю о чем-то подвиге или героическом поступке. Судя по разнообразным датам, Ветераныч собирал эти сюжеты много лет...

Прошел год, и Ленник вместе с родителями переехал на новую квартиру возле метро «Лермонтовская», ныне «Красные ворота». Потом и нам дали жилплощадь в Отрадном. В конце концов дождался своего часа и дядя Коля Калугин. К нему в самом деле пришли из райсовета и сказали: «Николай Иванович, вот ваш ордер. Собирайтесь!» К тому времени в нашем общежитии поселились в основном молодые парни и девчата, мобилизованные из деревень Тамбовщины для работы на Молокозаводе. Обидное прозвище «лимитчик» тогда только-только входило в моду.

Однако в новой квартире дяде Коле Калугину пожить почти не довелось. Как-то в понедельник у него прихватило сердце, он побрел в поликлинику, заказал в регистратуре карточку, занял очередь. Когда его вызвали к врачу, он медленно встал, сделал шаг в сторону кабинета и упал прямо на руки медсестры...

После вскрытия Мишкиной матери сказали: пройди дядя Коля без очереди — его бы спасли. А ведь ему было положено — без очереди.

Что еще? Мой друг Мишка поступил в военное училище, служил на Дальнем Востоке, воевал в Афгане, он теперь майор. Леник окончил, разумеется, иняз, иногда по телевизору в передаче «Английский язык» он изображает ворчливого лондонского таксиста в клетчатом кепи. Что же касается меня...

— Так и будем спать? — вывела меня из глубокой, почти летаргической задумчивости нервная кассирша: оказывается, подошла моя очередь.

На улице шел крупный снег. Я остановился возле самого яркого фонаря и снова развернул газету. Целая колонка рассказывала о том, какая братская дружба связывает Ветераныча и одного крупного руководителя всесоюзного уровня — того широкоплечего политрука, чьи неброские слова: «Держитесь, ребята!» — стали теперь крылатыми. Именно эти слова выбиты на цоколе монумента, воздвигнутого стараниями Ветераныча возле деревни Васино. Памятник представляет собой четырехметровую фигуру бойца, вытирающего пилоткой с лица пот, а может быть, и кровь. Гранитный красноармеец чем-то похож на старшего сержанта Виктора Кирьянова.

«А люди все идут и идут к Семену Валерьяновичу, идут за советом, за помощью, просто за добрым, мудрым словом...»

— Расстреливать нужно за такие концовки! — громко сказал я и вытряхнул снег из газетных складок.

Вечером, когда жена уселась перед зеркалом и аккуратно разложила перед собой бигуди, я с ленцой, даже позевывая, сообщил, что неожиданно вспомнил одного своего давнего знакомого, который, если его попросить, непременно устроит тестя на консультацию к профессору Музыченко.

1988 год

АПОФЕГМЫ

ОТ АВТОРА

Когда я впервые сообщил знакомым, что пишу «апофегмы», все решили, будто это продолжение моей повести «Апофегей». Но это совершенно не так. Это очень старинный жанр, известный в России с XVI века, представляющий собой краткий поучительный рассказ. Другими словами, это миниатюра с нравственным подтекстом. А я просто решил вернуть читателю этот полузабытый жанр. Тем более что у прозаика за рамками его основной прозы всегда остаются мысли, наблюдения, зарисовки...

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Мы, родившиеся в начале пятидесятых, росли бдительными детьми. Еще бы! Самой любимой песней тогдашних детских садов была знаменитая «Коричневая пуговка». Эту пуговку с нерусскими буквами нашел мальчик Алешка и тем самым помог поймать шпиона, у которого

... в глубине кармана патроны от нагана
И карта обороны советской стороны...

Да и дедушка Гайдар, один из главных писателей моего детства, своими книжками тоже немало поспособствовал тому, чтобы мы не зевали...

Так вот, рядом с нашим заводским общежитием был хладокомбинат. И как-то раз, беззаботно резвясь поблизости от этого хранилища несметных съестных ценностей, мы заметили какого-то мужчину, пытавшегося со свертком вылезти из окна здания, примыкавшего к хладокомбинату. Мы не колебались ни мгновения, гурьбой побежали к вохровцам, дежурившим в специальной будке, ворвались и хором сообщили о неизвестном злоумышленнике — то ли воре, то ли шпионе.

Вохровцы как раз пили чай вприкуску с брикетами вишневого киселя. К нашей информации они отнеслись совершенно серьезно и действительно через несколько минут задержали

человека, к тому времени уже полностью вылезшего из окна. Оказалось, это рабочий хладокомбината, которого дружки после смены ради смеха заперли в душевой. И путь на волю у него оставался только один — через окно. В свертке лежало грязное белье. Тем не менее вохровцы нас за помощь поблагодарили и выдали каждому по твердому, как камень, брикету вишневого киселя...

Вот такая история. Разумеется, всеобщая тогдашняя бдительность — штука страшная. Страшнее, быть может, только нынешнее всеобщее равнодушие...

СОКРОВИЩА СТЕНЫКИ РАЗИНА

Почти все летние каникулы моего детства я провел на Волге, в деревне Селище, недалеко от Кимр. Купание, рыбная ловля, лесные походы — в общем, это была детская версия счастья. Но имелось еще одно занятие, которому я и мои друзья предавались самозабвенно — в речном песке мы выискивали перламутр. У каждого из нас была заветная жестяная коробочка, более или менее — в зависимости от усердия и удачливости — наполненная переливчатыми осколочками. Когда я поинтересовался у деда, откуда на волжских берегах перламутр, он ответил, что это остатки сокровищ с затонувших челнов Стеньки Разина!

Честное слово, несколько лет я пребывал в этой радостной уверенности, но потом из школьных книжек узнал, что Стенька и близко не подплывал к Кимрам, а перламутринки, сокровища моего детства,— всего лишь осколки раковин речных моллюсков. Но вот что интересно: когда моя маленькая дочь принесла мне найденную в речном песке перламутровую блеску и спросила, что это такое, я совершенно внезапно для себя ответил: остатки сокровищ со стругов Стеньки Разина...

ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ

Однажды в юности я встретил девушку моей мечты. Честно говоря, сегодня я уже не помню, как она выглядела. Но то, что она была абсолютно точной копией моих томительных юношеских грез, это я помню совершенно отчетливо.

Дело было в электричке. Я, студент-первокурсник, ехал с «картошки» домой на побывку. Видок у меня был соответствующий: экспериментальная кустистая поросль на щеках, телогрейка, резиновые, довольно грязные сапоги — от совхоза до станции пришлось идти пешком. Кроме того, собирая меня в путь-дорогу, друзья-однокурсники добыли в сельпо портвейн, который мы, как на грех, закусывали репчатым луком.

А девушка, подперев кулачком щеку, с восхитительной задумчивостью смотрела на мимолетный заоконный пейзаж. Надо ли объяснять, что моя неуклюжая попытка осуществить судьбоносное знакомство, привела ее в ужас. Она выскочила из вагона, даже, по-моему, не дождавшись своей остановки.

Потом, одетый в свой единственный приличный костюм, купленный еще к выпускному вечеру и украшенный ярким галстуком, целенаправленно подаренным мне моим знавшим толк в женщинах дядей, я, благоухая «Шипром», несколько дней ездил по маршруту «Раменское — Москва», надеясь, что снова встречу девушку моей мечты. Безрезультатно. Очевидно, этот маршрут для нее был такой же случайностью, как и для меня самого. Я никогда ее больше не видел, ведь такие встречи бывают лишь раз в жизни.

Но зато я понял одну важную вещь: везение — это совсем не то, что мы думаем, это не шанс, который дает нам судьба, а прежде всего умение этим шансом воспользоваться...

ЕЩЕ, КОМАНДИР!

Баня — это в общем-то обнаженная модель всего нашего бытия. Вот один лишь эпизод из моих банных наблюдений.

...Опытный немногословный банщик черпачком понемногу плещет воду с мятым настоем на раскаленные камни — подает.

— Хватит, что ли? — после каждого черпачка строго спрашивает он.

Поначалу мужики, аж присевшие под огнедышащим паром, помалкивают, соблюдая некую коллективную банную стойкость: не просят подбавить, но и не отказываются. И только лиловый мужичок, явно хвативший перед парной лишку, кричит, похохатывая:

— Еще, командир!

Еще так еще. Мне начинает казаться, что сверху медленно опускается невидимый огненный пресс.

— Хватит, что ли? — уже опасно спрашивает банщик, швырнув в каменку очередную порцию воды и берясь рукой за палку, которой прикрывают большую металлическую заслонку.

Мужики, уже почти вжавшиеся в деревянный пол, усеянный высохшими до шуршания березовыми и дубовыми листьями, начинают глухо роптать в том смысле, что, пожалуй, может быть, и хватит...

— Еще, командир! — радостно вопит неопалимый лиловый мужичок.

Я не выдерживаю — ошалевший, со сбившимся дыханием,

стремглав выскакиваю в мыльную и, чтобы очухаться, бросаюсь под ледяной душ. Немного придя в себя, я вдруг замечаю странно суетливое для бани движение около двери в парную. Группа багровотелых мужиков, побросав веники, выволакивает что-то тяжелое. Я подхожу: «что-то» — это тот самый лиловый энтузиаст, только теперь бледно-синий и абсолютно безжизненный. А рядом, потеряв всю свою профессиональную величественность, мечется банщик и, норовя пнуть ногой несомое тело, причитает:

— Говорили тебе, зараза, хватит! Говорили...

Бессознательного мужичка отнесли в предбанник, вызвали «скорую» и увезли. А в сущности все это, согласитесь, очень напоминает роль отечественной интеллигенции в русских революциях, включая и нынешнюю, влоотекущую...

БЕСПОЩАДНАЯ

Имя этой критикессы наводит на писателей ужас. Стать предметом ее беспощадного разноса равносильно жизненной катастрофе. Получить от нее хотя бы тень одобрения — дело совершенно безнадежное: в современной отечественной литературе ей вообще никто не нравится.

И вот однажды на каких-то днях литературы мы оказались в одной писательской бригаде, заброшенной в глубины сельской России. Не буду объяснять, какое чувство неловкости испытываешь, рассказывая о своих творческих планах хмурым работягам, согнанным в красный уголок по распоряжению начальства. Такое силовое приобщение к культуре теперь в прошлом, и чего в нем было больше — хорошего или плохого, — рассудят потомки. Я ведь, собственно, не про это, а про беспощадную критикессу, которая при близком общении оказалась мягкой и приятной дамой.

После выступлений в подразделениях колхоза мы приехали на центральную усадьбу, и председатель колхоза, соблюдая жесточайшую конспирацию, устроил нам небольшое застолье. Говорю это без тени иронии, ибо события происходили в разгар борьбы за трезвость, и за один только слушок о совместном распитии с заезжими литераторами его запросто могли выгнать с работы... Но я опять отвлекся от нашей беспощадной критикессы.

Так вот, захмелев, она доверительно наклонилась ко мне и застенчиво сказала:

— Понимаете, Юра, скоро Боря закончит свой роман, и тогда все наконец узнают, что такое большая современная литература!

А Боря, чтоб вы поняли, это ее муж, очень много и очень плохо пишущий прозаик. С тех самых пор я больше никогда не читаю ее статей.

ПРОТОТИП

В моей повести «Работа над ошибками» есть персонаж — учитель математики с альковной фамилией Котик. А прототип этого самого Котика действительно преподавал математику в той самой школе, где я учился,— на углу Балакиревского и Переведеновского переулков, неподалеку от маргаринового завода.

Это был педагог, уже изрядно польсевший, прихрамывавший вследствие фронтального ранения, но, однако, не пропускавший мимо ни одной смазливой студентки-практикантки. Как и положено убежденному холостяку, он жил со старушкой мамой, а любые попытки учительской общественности устроить его семейную жизнь отметал в принципе...

И вдруг, к всеобщему изумлению, он женился. Естественно, на студентке-практикантке. На эдаком синем чулочке, в прорехах которого кое-где светилось молодое девичье тело. Свадьбу гуляли так, что лопалась стеклянная тара на близлежащем маргариновом заводе. Но прожили молодожены недолго: прибираясь в квартире, юная супруга совершенно случайно обнаружила интимный дневник своего пожилого, но еще не потерявшего вкуса к жизни мужа. Помимо всего прочего в этом сокровенном журнале он тщательно и с изыском описывал все, что чувствовал, танцуя на школьных вечерах со старшеклассницами.

Никогда не читавшая «Лолиты», молодая жена была так потрясена, что передала дневник на суд общественности — а он был скорым и жестоким: прототипа исключили из партии, выгнали с педагогического поприща... О разводе и говорить нечего. Но окончательно беднягу добил тот факт, что его дневниковые откровения в качестве примера отдельных фактов идейно-нравственного разложения некоторых представителей системы народного образования попали в какой-то очень серьезный доклад, чуть ли не на съезд учителей.

Через несколько лет, уже будучи студентом, я случайно встретил своего бывшего учителя математики на улице. Он производил впечатление абсолютно сломленного человека. Нет, он не клял своих гонителей и доглядчивую бывшую жену, не бранил время и нравы, он только сказал мне:

— Менять привычки к старости — страшное дело...

СИРАНО

Шестидесятилетний главный режиссер, которого подневольные актеры в глаза звали «мастером», а за глаза «старпером», влюбился в молодую еще и очень красивую актрису. А какой самый ценный подарок может сделать влюбленный худрук актрисе? Интересная роль — лучше подарка нет и быть не может! И «мастер» решил поставить на сцене вверенного ему академического театра бессмертного роستانовского «Сирано де Бержерака».

Причем роль обворожительной Роксаны предназначалась полюбившейся молодой актрисе, а роль Сирано — самому полюбившему художественному руководителю.

Для осуществления постановки в театр был, разумеется, приглашен неизвестный талантливый режиссер, ибо худруки сами обычно ничего не ставят, а лишь руководят творческим процессом, за что впоследствии получают звания и награды. Вникнув в ситуацию, приглашенный режиссер понял: гипертонический старик — не лучший человеческий материал для лепки образа знаменитого поэта-дуэлянта, — и тогда он стал, как это свойственно талантливым людям, думать. И придумал он, на мой взгляд, вещь замечательную: «мастер» играет уже постаревшего, отяжелевшего Сирано, который со щемящей тоской вспоминает свою давнюю и единственную любовь. А молодого Сирано играет, понятное дело, молодой, энергичный актер. Ну Роксану играет, естественно, Роксана...

Внимательно выслушав эту идею, худрук тяжело обиделся и заявил, что старый Сирано — это совершеннейшая чепуха, что он, «мастер», так сыграет молодого, полного сил, страстного де Бержерака, что даже юные выпускники театральных училищ сохнут от зависти. Сказано худруком — сделано театром. Когда на премьере, борясь с одышкой и бормоча что-то про конец посылки, «мастер» со шпагой в слабеющей руке ковылял навстречу обидчику, зал рыдал от смеха. Неизвестный талантливый постановщик, сидя у режиссерского пульта, тоже рыдал — от отчаянья. Директор театра уже мысленно прикидывал, как будет списывать убытки от провальной премьеры...

Но Роксана была обворожительна.

ИМЕННОЙ ПАРАБЕЛЛУМ

В середине семидесятых годов Союз писателей построил в Астраханском переулке, неподалеку от метро «Перспект Мира», совершенно роскошный дом из кремового кирпича, несколько не уступавший тем хоромам, какие строили себе в ту пору

самые большие начальники. Квартиры в том доме были не типовые, просторные — хоть на велосипеде катайся!

Разумеется, диво-квартиры в чудо-доме получили прежде всего писатели, имевшие особые заслуги либо перед властью, либо перед литературой, либо перед тем и другим одновременно, да еще несколько беззаветных борцов за собственное счастье, умеющих входить в высокие кабинеты с мученической улыбкой человека, на минуточку отлучившегося от смертного одра.

Так вот, одному поэту — назовем его Петров, — несмотря на многочисленные заявления, квартиру в Астраханском не выделили. И тогда он, подстегиваемый самолюбием и упреками жены, отправился на прием к секретарю Союза писателей, ведавшему распределением жилой площади. Когда секретарь увидел вошедшего в кабинет Петрова, то сразу понял, в чем тут дело: с утра у него уже побывала дюжина «отказников», требовавших, умолявших, обличавших, рыдавших и даже обещавших наложить на себя руки. Но опытный чиновник умел так искусно отказать просителю, что тот уходил, стгорая от стыда за свои неуместные и совершенно беспочвенные притязания.

— Вы не дали мне квартиру в Астраханском! — едва переступив порог, сурово молвил поэт Петров.

— Не дали, — согласился чиновник.

— В таком случае я должен вас предупредить, что я фронтовик...

— Мы знаем, — перебил его секретарь. — Вы не единственный фронтовик, которому мы отказали. Кроме боевого прошлого мы учитывали еще и общественно-литературный уровень соискателей!

Укол, конечно, был болезненный, ибо, прямо скажем, в пятерку лучших поэтов современности Петров не входил.

— Вы не дали мне договорить! — сурово упрекнул Петров. — Я фронтовик, и у меня имеется именной парабеллум...

— Ну и что! — пожал плечами чиновник. — У драматурга Вигвамова вообще уникальная коллекция восточного оружия, а мы его заявление тоже отклонили...

— Вы мне снова не дали договорить! — дернул щекой поэт Петров. — У меня есть именной парабеллум, и, если вы не дадите мне квартиру в Астраханском, я вас лично застрелю...

— Как? — опешил секретарь.

— А вот так, — Петров показал пальцем, как будет нажимать спусковой крючок, потом повернулся по-уставному и вышел из кабинета, украшенного многочисленными подарками и сувенирами делегаций из разных стран и республик.

Через некоторое время, немного оправившись от неожиданности, чиновник вышел в приемную якобы проверить готовность какого-то там протокола, который он поручил перепечатать машинистке. А надо заметить: машинистка служила в Союзе писателей много-много лет и всю литературную братию знала как облупленных.

— Марья Николаевна, — нервно подсмеиваясь и как бы в шутку начал встревоженный чиновник. — Знаете, у меня сейчас был Петров и, представляете, обещал меня застрелить, если мы не дадим ему квартиру в Астраханском!

— Чепуха! — ответила Марья Николаевна прокуренным голосом. — Пистолет у него действительно есть — в ресторане всем показывал. Но застрелить — не застрелит... Разве что во хмелю?.. Хотя нет, в молодости еще мог бы, а теперь даже спьяну не застрелит. Остыл...

— Спасибо, успокоили! — буркнул чиновник и скрылся в кабинете.

Через неделю поэт Петров получил ордер на квартиру в Астраханском переулке.

ТАЙНА

Газета — болтовня истории. Но иногда из этой болтовни можно извлечь удивительные вещи, позволяющие прикоснуться к «роковым тайнам жизни».

Я писал книжку «Между двумя морями» — о талантливом молодом поэте Георгии Суворове, погибшем в 1944 году на реке Нарове, которая ныне разделяет Россию и суверенизированную Эстонию. В надежде отыскать какие-либо неизвестные стихи поэта я решил насквозь просмотреть ту периодику, где он, по моим расчетам, мог печататься. Ничего стоящего, скажу по совести, в тот раз мне найти не удалось, но зато в одной центральной газете в номере от августа 1941 года я натолкнулся на удивительную фразу. «Подлец Гитлер, — писал неведомый автор передовой статьи, — поставил перед собой чудовищную задачу: уничтожить 20 миллионов советских людей.. Но ему это, разумеется, не удастся!»

Напомню: август 41-го! До окончания войны — почти четыре года, а до подведения роковых итогов — еще больше. Откуда же взялась эта страшная цифра? Допустим, она в самом деле фигурировала в нацистских планах уничтожения славянского населения и оттуда неведомыми путями попала на страницы советской прессы. Возможен и другой вариант: сталинский агитпроп сам придумал эту цифру в качестве статистического аргумента к эренбургскому призыву — «Убей немца».

И вдруг — именно эти 20 миллионов становятся официальной цифрой наших жертв в Великой Отечественной войне, хотя все и всегда понимали леденящую условность жуткой двойки с семью нолями.

Наверное, и вправду — миром правят числа...

ЛЮБОПЫТСТВО

В Тарханском музее-заповеднике есть фамильный склеп, а в склепе — запаянный металлический ящик с останками великого Лермонтова. Если помните из школьного учебника, поначалу тело поэта было похоронено там, где он погиб, на Кавказе, и лишь потом перевезено в родовое имение.

Кого-то из нашей литературной бригады, принимавшей участие в очередном Лермонтовском празднике, заинтересовал странный шов на боку саркофага. И экскурсовод, помявшись и учтя специфику аудитории, рассказал то, о чем в те времена обычно экскурсантам не рассказывали.

В первые послереволюционные годы произошел такой случай. Местные большевистские верховоды, или, как тогда выражались, «головка», напились и закуражились. А закуражившись, «головка» захотела вскрыть металлический ящик и выяснить с полной определенностью, что там внутри и в каком материалистическом состоянии. Вот такое безжалостное любопытство...

Между прочим, именно это запредельное желание посмотреть, что там внутри гроба, человека, народа — нет, не понять, а именно вспороть и заглянуть — в конечном счете и привело большевизм к самоуничтожению, а народ, им ведомый, к национальной катастрофе. Но это, как говорится, пережитая беда, и потому гораздо страшнее другое — все то же безжалостное любопытство, горящее в глазах многих наших нынешних реформаторов...

1992—1993 годы

ТОМЛЕНИЕ ДУХА

«Я выросстал в глухое время...» — это сказано обо мне и моем поколении. Мне — тридцать три. Разберем, как говорят аппаратчики, по позициям. Десяток лет спишем на период розовошейкой детской невинности. Три года совпали с перестройкой. Двадцать точнехонько укладываются в эпоху застоя. К ним, этим двум десятилетиям, очень подходит строчка из Писания — «Суета и томление духа». Томление духа. Было оно, было томление духа... Была бы одна только суета — и говорить что-либо нынче посовестился бы!

Очевидно, нельзя зачеркивать целые поколения только лишь потому, что жили они в кровавые, несправедливые или выморочные годы. Человека можно обречь на бессмысленную суету, но заставить его считать свою единственную, неповторимую жизнь бессмысленной, к счастью, невозможно. Увы, именно на эту особенность людских душ всегда рассчитывают разного рода пакостники, выдающие себя за творцов истории: мол, будут людишки свои прожитые годы оправдывать и нас заодно оправдают...

Смертная чаша сталинского геноцида миновала мое поколение. Мы не видели физического уничтожения инакомыслящих, но мы видели другое. Вот могучий столоначальник взглянул на своего ершистого молодого подчиненного и, покачав головой, промолвил: «Товарищ не понимает...» Но это еще полбеды, хотя и ее иным хватало на всю оставшуюся жизнь. А вот если о твоих мыслях и разговорах сказано: «С душком!» — это уже настоящая беда. О, эти деятели с чуткими политическими носами! Скольким моим ровесникам они сломали хребты!

Это в моем поколении появились бичи с высшим философским образованием и своим собственным, никому не нужным взглядом на мироздание. Это в моем поколении появились воины-интернационалисты, которые сегодня вынуждены оправдываться, что недаром проливали кровь на чужой земле, хотя оправдываться должны не они, а те, кто их посылал. Это в моем поколении появились рабочие парни, проникающиеся чувством пролетарской солидарности только в очередях за водкой. Это в моем поколении начался исход творческой молодежи в дворники и сторожа. Это в моем поколении явились миру инженеры-шабашники, которые, перекуривая на кирпичах

возле-недостроенной фермы, спорили о вполне реалистических, но совершенно нереальных тогда планах перестройки экономики. Это в моем поколении завелись преуспевающие функционеры, те, что, отдремав в очередном президиуме и воротившись домой, любили перед сном перечитать избранные места из ксерокопированного Оруэлла, приговаривая: «Во даст, вражина! Один к одному...»

Тем временем социализм становился все более развитым, а единственный привилегированный класс — дети — все более заторможенным. Все эти годы бессмысленно расходовались не только природные богатства страны, но и духовные ресурсы нации. Хочется верить, что второе в отличие от первого восстановимо.

А. Блок писал некогда о «тайной свободе». Применительно к моему поколению я бы говорил о «кухонной свободе». Ведь сознаемся: многое из того, о чем пишут сегодня газеты и журналы, было нам известно и служило издавна предметом горячих кухонных споров. Генералиссимус никогда не был для нас великим стратегом, Раскольников и Чайанов никогда не были преступниками, Жданов никогда не был «выдающимся организатором культурной жизни страны», коллективизация никогда не была «героической страницей истории социалистического строительства». Если б мы ничего этого не ведали, то у нас сейчас была бы не Гласность, а, например, Осведомленность.

Некоторые товарищи опасаются, что «чрезмерная» гласность приведет молодежь к непочтительности и даже нигилизму. Не волнуйтесь, дорогие товарищи! Гласность воспитывает именно уважение к устоям, а непочтительность происходит от той закамуфлированной под передовую идеологию белиберды, которой с лихвой хлебнуло мое поколение. Поэтому, наверное, отличительная черта моего ровесника — ирония. А что вы хотите, если любой доклад нашего тогдашнего пятизвездочного лидера по содержанию и исполнению был смешнее всякого Жванецкого?!

Блистательный щит иронии! Мы закрывались им, когда на нас обрушивались грязепады выспренного вранья, и, может быть, поэтому не окаменели.

Со временем, думаю, выйдут в свет сборники анекдотов и черного юмора — свидетельства горького народного оптимизма. Надеюсь, что они собраны по крайней мере компетентными органами, и мы убедимся, с каким мужеством и блеском люди отстаивали свое право не верить в директивную ложь, не любить придуманных героев, не восхищаться несуществующими победами... Я даже вижу будущую монографию о том, почему трилогию «Малая земля» — «Возрождение» — «Целина» народ гениально окрестил «Майн кайф»...

Еще со школы помню: загнивавшей дворянской молодежи была свойственна «вселенская скорбь». Мое поколение страдает «вселенской иронией». Но ведь энергия духа, ушедшая на разрушение миражей, могла пойти на созидание! Ирония вполне может быть мировоззрением отдельных граждан, деятелей культуры, даже ответработников (кстати, среди них я чаще всего встречал ироничных людей). Но ирония не может быть мировоззрением народа! Она не созидательна. Не потому ли у нас сталкиваются или горят пароходы, сходят с рельсов поезда, заваливаются недавно принятые комиссией дома, что живем точно не всерьез? Хирург не должен с inferнальной улыбочкой залезать к нам во внутренности, учитель не имеет права с двусмысленной усмешкой внушать идеалы, в которые сам не верит, офицеру негоже, видя, как бессильно извивается на перекладине доходяга-призывник, цедить с ухмылкой: «Вот ЧМО, что от него ждать»... ЧМО — это человек Московской области. Научно выражаясь, аббревиатура.

Общество жалуется, что выросло поколение с несерьезным отношением к труду, к окружающим людям, к прошлому... А если вознаграждение за труд дает человеку лишь бескрайние возможности вставать в любую очередь за любым выброшенным в торговую сеть дефицитом? А если ближний твой воспринимается прежде всего как конкурент в трудном деле обретения этого самого дефицита, и, может быть, именно поэтому люди разучились улыбаться друг другу? А если в системе сервиса на одну условную единицу услуг мы получаем десять единиц безусловного хамства? А если диалектический закон отрицания состоит прежде всего в том, что каждый вновь назначенный столоначальник полностью отрицает своего предшественника, снятого с должности и строго наказанного персональной пенсией всесоюзного значения? Откуда взяться серьезному отношению!

Вы когда-нибудь видели, скажем, в обкоме партии портреты первых секретарей, допустим, за последние пятьдесят лет? Чтобы висели в хронологическом порядке, с указанием заслуг и промахов. Если снят — за что? Если повышен — почему? Лично я таких галерей ни в обкомах, ни в горкомах, ни в райкомах не видел. Может быть, боимся: вывесим их всех рядком-ладком и получится что-то вроде истории города Глупова...

Впрочем, если говорить без иронии, корни этой безликой истории уходят гораздо глубже. Сколько десятилетий вся предшествующая философия толковалась только как постамент под скульптурную группу — «Маркс и Энгельс читают первый номер «Новой рейнской газеты», вся предшествующая литература — как пробы пера в поисках метода социалистического

реализма, вся предшествующая история — как учебные стрельбы перед залпом «Авроры». Гуманитарное образование, полученное моими сверстниками в вузе, можно назвать образованием, лишь не выезжая за пределы Отчизны. Та же ситуация, что и с рублем.

Ладно, Бог с ними, с этими излишествами! Но уж историю нашей революции, которая потрясла мир, мы учили как следует! Три этапа освободительного движения в России знаем, как «Отче наш». Впрочем, кто нынче знает «Отче наш»...

Да, нам смутно ведомо, что в третьем этапе освободительного движения, ради которого, собственно, декабристы и будили Герцена, кроме большевиков, участвовали еще кое-какие партии. Что знает о них мой ровесник, не занимавшийся этим вопросом специально? Знает примерно следующее. Анархисты — заговорщики. Лохматые, бородатые, с тягой к уголовщине. Черное знамя с черепушкой. Требовали, дураки, отменить государство, совершенно не соображая, кто же будет присылать конные милиции, когда народ после матча прет со стадиона. Эсеры (правые) — заговорщики. Косой пробор, рука засунута за борт френча. У их лидера были «глаза бонапартьи», и он бежал от гнева народных масс, переодевшись в женское платье. Не поняли исторических слов знаменитого матроса: «Господа, расходитесь, караул устал!» — и почему-то не могли смириться с роспуском Учредительного собрания, где имели большинство.

Меньшевики — заговорщики. Вот он, маленький, суетливый меньшевик выступает на митинге и поначалу даже несколько сбивает отдельных рабочих с толку, но потом на грузовик влезает большевик, передает массам привет от товарища Ленина и под свист и улюлюканье выгоняет оппортуниста с митинга. Эсеры (левые) — заговорщики. Сначала дружили с большевиками. Потом послали некоего Блюмкина убивать посла Мирбаха, а сами тем временем подняли мятеж. Посол убит, мятеж подавлен, партия левых эсеров распущена, а некий Блюмкин продолжал служить победившему народу на приличных должностях (вплоть до расстрела).

Мой ровесник с высшим образованием, знающий о политической жизни России больше, может с чистой совестью бросить в меня идейно выверенный камень!

А ведь я даже не говорю о каких-то там кадетях, которые, повязавшись салфетками, неопрятно жрут цыплят, пьют шампанское, заглядывают под юбки танцовкам кордебалета и рассуждают исключительно про Босфор и Дарданеллы. А их лидера так и прозвали — Милюков-Дарданелльский. Разумеется, заговорщики...

Велика ли честь переиграть в политической борьбе таких дебилов? Кого в конце концов дурачим? Кого унижаем — их, бывших, или нас, настоящих? Почему ярлыки, приклеенные тогда, в запале борьбы за власть, до сих пор приводятся как бездонные в своей историко-философской глубине оценки? Наконец признали, что сокрытие фактов и реалий нашего прошлого нанесло серьезнейший урон историческому сознанию народа. Но еще больший урон, по-моему, нанесло одурачивание истории или, если хотите, одурачивание историей.

Нынче любят говорить: у истории не бывает сослагательного наклонения. Не знаю, возможно, оно и так, но это никоим образом не должно мешать разбираться в давних аргументах наших соотечественников, придерживавшихся иных взглядов на будущее России и исповедовавших иные социальные теории. Это необходимо сделать, даже если бы наш путь в последние семьдесят лет был усыпан лепестками роз. В этом — вежливость потомков. Но путь-то был усеян не лепестками...

Конечно, проще и легче списать все наши послереволюционные неприятности на ужасный характер генералиссимуса, но, поверьте, «задумчивые внуки», восстанавливая старательно порванную нами связь времен, однажды полюбопытствуют: а нет ли какой-нибудь связи между геронческим матросом, заботящимся об уставшем карауле, и генсеком, прицеливающимся в делегатов XVII партсъезда из подаренной винтовочки?

Может быть, полезно задать себе вопрос: почему гражданская война, отгороженная от нас бедами и победами Великой Отечественной, до сих пор не изглаживается из народной памяти? Не потому ли, что от той братоубийственной войны повелось беспощадное разделение на «чужих» и «своих»? На своих, ради которых можно, не задумываясь, отдать жизнь, и на чужих, которых, не задумываясь, нужно лишить жизни. И не это ли разделение стало впоследствии нравственной основой сталинских преступлений и изумительного народного единодушия: «Убить, как бешеных собак!»

Мог ли вчерашний южноуральский партизан поверить, что Блюхер — враг и японский шпион? Мог ли вчерашний делегат III съезда комсомола, где блестяще выступал и Н. И. Бухарин, поверить, что он — враг и бог знает чей шпион? Ответу: мог! Мог, если отец двумя десятилетиями раньше мог убить сына; пошедшего с красными. Мог, если женщина могла застрелить своего единственного, синеглазого за то, что он остался верен белому делу. Перечитайте «Родинку» М. Шолохова и «Сорок первый» Б. Лавренева. Эти книги не запрещались, из библиотек не изымались. Человек переводился в разряд классовых врагов и сразу переставал быть человеком.

Сначала врагом объявляется тот, кто против нас, потом тот, кто не с нами, потом тот, кто не поспекает за нами, потом тот, кто справа или слева... и так до бесконечности. Нетерпение всегда идет рука об руку с нетерпимостью. Именно это испугало в революции многих русских писателей, но еще совсем недавно их точка зрения квалифицировалась как «мелкобуржуазный гуманизм».

Из Террора, какого бы цвета он ни был, народ не выходит обновленным, а только — ожесточенным. Жестокость, какой бы социальной демагогией она ни оправдывалась, остается жестокостью. И еще неизвестно, что от чего больше зависит — средства от цели или цель от средств, с помощью которых она достигается. Нет, я не клоню снова к сослагательному «бы» в истории. Я просто-напросто думаю о том, что даже единственно правильное в конкретной исторической ситуации решение порой может быть причиной будущих бед и трудностей.

Возьмем тот же комсомол. Уже на одном из первых съездов делегаты постановили распустить организации бойскаутов и юных коммунистов как чуждые истинному пролетарскому движению, считая, что комсомол один справится с молодежью. Возможно, тогда это было верным тактическим решением, но в результате сегодня семидесятилетний ВЛКСМ только учится общаться с неформальными объединениями молодежи, только разворачивается к конкретному молодому человеку, скрипя всеми своими структурами и сочленениями. И это понятно: трудно из министерства по делам молодежи, каковым комсомол обязывали быть многие десятилетия, взять и превратиться в боевую, живую, ищущую (ну и так далее) организацию. Тем более что нынешние партийные кураторы комсомола суть лучшие представители и воспитанники этого самого министерского комсомола.

Кстати, занимаясь историей комсомола, я совсем недавно смог на своем опыте убедиться, насколько широко распахнуты двери архивов и документохранилищ. Захотел почитать стенограмму того печально знаменитого пленума Цекамола, на котором решалась судьба А. Косарева и его сотоварищей. Выправил бумагу в ЦК ВЛКСМ, пришел в Центральный архив ЦК ВЛКСМ и как кандидат в члены ЦК ВЛКСМ попросил: дайте почитать. А архивный руководитель тов. Хорунжий мне и говорит: «Вы бы лучше почитали мой материал в «Комсомольской правде». Что можно — там все есть...» Это называется, попил из реки по имени «факт». Что ж, продавца универмага мы узнаем по импортно-разымпортной упаковке, а архивариуса, видимо, по имеющимся у него в распоряжении дефицитным историческим сведениям. А ведь доступность информации — необходимое условие раскрепощения личности.

Есть у нас и еще одна беда, препятствующая раскрепощению личности. Это заштампованность сознания. Вот я, сравнительно молодой человек, садясь за доклад, допустим, к профсоюзному собранию, волей-неволей начинаю его материалами съезда, в середочку вставляю цитату из В. И. Ленина, а заканчиваю документами недавнего пленума. Словами уважаемых основоположников мы перебрасываемся, как мячиками.

Захожу на почту и читаю огромный плакат: «Без почты, телеграфа и машин социализм — пустейшая фраза. Ленин». Про «плюс электрификацию», каковой увешаны все наши ГЭС, ГРЭС и АЭС, я просто не говорю. Вывелся целый вид деятелей, которые, составив обширную картотеку из цитат классиков, могут с их помощью доказать что угодно.

Не верите? Хорошо, допустим, завтра кому-то пришла в голову сумасшедшая идея закрыть все театры. Ликвидировать. Та-ак, смотрим на «Т»: Табак... Талейран... Театры... Вот, пожалуйста, из телефонограммы В. И. Ленина А. В. Луначарскому: «Все театры советую положить в гроб»...

Другой пример. Общеизвестно, что из всех искусств важнейшим для нас является кино. Хотите, я, опираясь на авторитет основателя нашей партии и государства, докажу, что прогулки на свежем воздухе лучше кино? Пожалуйста. Н. К. Крупская пишет М. А. Ульяновой из Кракова в декабре 1913 года: «...у нас есть тут партии «синемистов» (любителей ходить в синема), «антисинемистов»... и партия «прогулистов», ладящих всегда убежать на прогулку. Володя решительный антисинемист и отчаянный прогулист...» Не правда ли, довольно убедительно? И пусть потом историки разъясняют, что в телефонограмме сказалось вполне конкретное раздражение Ленина по вполне конкретному поводу. В той же телефонограмме далее следует: «Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте»... Что же касается партии «прогулистов», то это просто шутка, о чем Н. К. Крупская сама и пишет: «Мы тут шутим, что у нас есть тут партии «синемистов...»

Шутка. А сколько неоправданных и непоправимых поступков было совершено в догматическом раже под прикрытием цитат, надерганных только что описанным способом? Этой неизменной ссылкой на классиков как бы демонстрируется такая изумительная преданность идее, что она — преданность — изумила бы даже самих отцов идеи, явись они к нам сегодня. В их округлившись глазах мы были бы похожи на людей, передвигающихся по суше в лодках только потому, что некогда здесь было море...

У меня вообще сложилось впечатление, что стремление всякий раз подкрепить свой поступок цитатой — удобная

форма освободиться от личной ответственности. Что-то вроде коллективной безответственности. Мол, если виноват, то не один, вместе с основоположником и наказывайте. Но ведь, совершая октябрьский, как выражались в те годы, переворот, вся партия большевиков, каждый член РСДРП(б) сознательно или бессознательно брал на себя именно персональную ответственность за судьбу огромной державы, уже отпраздновавшей к тому времени свое тысячелетие. Правда, объективности ради нужно отметить: Россия в ту пору была в кризисе. А вот совсем недавно мы были в предкризисном состоянии. Значит, все-таки прогресс...

Я не насмешничаю, какие тут насмешки, если душа болит и ноет, болит, потому что видишь, как народ выставляется нерадивым исполнителем мудрых решений и указаний. Даже приходится слышать сетования: мол, люди совсем разболтались, совсем вкалывать разучились, надо, мол, усилить воспитательную работу среди трудящихся. Знаете, такой трехсот-миллионный детский сад с корпусом строгих воспитателей!

Нынче эпоха узкой специализации. Физик знает физику. Искусствовед — искусство. Инженер — производство. Политик, естественно, должен знать, чего хотят его сограждане. Должен? Как бы не так! У нас выработался особый тип общественного деятеля, который знает, что люди обязаны хотеть. Замечали, наверно, как обыкновенный паренек Вася, выросший у нас на глазах, придя, скажем, на партийную работу, очень скоро начинает снисходительно поучать всех и вся. Стоит ему достичь степеней известных, он автоматически начинает «рубить» во всем, но особенно в сельском хозяйстве и искусстве. Ох, сидит, сидит еще во многих товарищ Жданов, учивший Шостаковича играть на фортепьянах!

Первый секретарь райкома все еще отвечает не перед народом, а перед первым секретарем горкома. Понаблюдайте за собой: в присутствии представителя власти лично я, например, испытываю генетическую робость, к которой еще Иоанн и Петр десницы приложили. И это вместо того, чтобы хлопнуть руководителя по плечу и спросить: «Ну, как дела, Вася? Как ты там отстаиваешь мои трудовые интересы?» Разве можно хлопнуть по плечу государство? Затопчет, как Медный всадник несчастного Евгения...

Однажды я оказался в обществе довольно крупного ответственного работника. Мы беседовали. Вдруг к нему сквозь частокол инструкторов и референтов прорвалась заплаканная женщина. Как выяснилось потом, у нее серьезно заболел ребенок, а положить его в специализированную клинику нельзя: очередь, как и везде. Женщина, задыхаясь, проговорила: «Помогите...» Потом встретила строгий взгляд, осеклась и забормотала что-то

об отставании здравоохранительного комплекса в городе, о нехватке человеко-кокс...

Увы, сформировался особый язык, на котором велись да и ведутся разговоры на совещаниях и заседаниях, пишутся статьи и документы. Расскажи на этой «аппаратной латыни», например, про «поворот части стока северных рек» и вроде бы ничего особенного: наука на переднем крае созидания. А если объяснить это людям человеческим языком — волосы от ужаса встанут, точно черта повидал. И странная же получается вещь: в обычной жизни мы обсуждаем окружающую безалаберщину на общедоступном русском языке, охотно используя самые рискованные выражения, а поднявшись на трибуну или встав на собрании своего родного трудового коллектива, сразу сбиваемся на «номенклатурную латынь», которая нам-то как раз и ни к чему. А что делать, если приучились?

Но аппаратная «латынь» — это лишь отражение заржавевшего мышления огромного управленческого слоя нашей общины. Грустно, что важные мероприятия планируются и обсуждаются на этой самой пресловутой «латыни», в результате очень трудно понять, чем же обернется планов наших громадь в конкретной человеческой жизни. Вот порешили искоренять пагубу «зеленого змия». Очень правильно! Сказали много перестроечных слов, правда, в основном на «аппаратной латыни». В итоге: народ отучают пить, точно котенка гадить в домашние тапочки.

Два года назад в соавторстве с классиком нашей кинодраматургии Е. И. Габриловичем мы написали сценарий о партийных функционерах районного уровня. Всего-навсего! Сюжет вкратце таков: молодая, энергичная, искренняя женщина, как говорится, замечена и выдвинута на партийную работу, о чем она даже и не помышляла. И вот эта обыкновенная женщина, с грудностями в семейной жизни, решает обновить, встряхнуть райком, десятилетиями играющий в одну и ту же аппаратную игру. Надо ли объяснять, что эта попытка для нашей героини закончилась печально? Печально закончилась и наша с Е. И. Габриловичем попытка: движение принятого и одобренного сценария прекратилось, началось странное торможение, продолжающееся и по сей день. Не знаю, может быть, это наша с мэтром творческая неудача. Ну, а может быть, и наоборот: как раз удача тех, кому не хочется, чтобы искусство совало свой нос в таинство механизмов торможения.

Если кто-нибудь вообразил, что для независимо мыслящих деятелей культуры наступила совершенно безоблачная пора, он заблуждается. Искусство одновременно взламывает стереотипы общественного сознания и заменяет их другими стереотипами. Одновременно. Сокрушение рекомендованных и согласованных

стереотипов осуществляется коллективными усилиями, индивидуальная трудовая деятельность тут нежелательна. А настоящий художник (извините за трюизм) — это прежде всего индивидуальность. Вот и получается, что только законопослушный автор, написавший некогда монументальное полотно «Нарком Клим Ворошилов на лыжной прогулке», может по команде, с ходу создать триптих «Смерть и бессмертие Николая Бухарина». Для иных деятелей, к сожалению, искусство — это не особая форма постижения бытия, а просто-напросто удобный способ проинформировать власти о своей полной благонадежности:

И еще одна горестная, возможно, субъективная заметка: если в застойный период искусству обычно мешала личная тупость того или иного руководителя, то сегодня чаще всего мешает доведенная до абсурда коллегиальность, расцветающая под видом демократизации творческого процесса. Это напоминает решение интимных проблем супружеской пары путем открытого голосования на общем собрании трудового коллектива.

Кстати, раз уж я коснулся сей пикантной проблемы, выскажусь шире. Не хочу, конечно, утверждать, что советское искусство бесполо. Но то, что у него чрезвычайно ослаблено «либидо», — это факт. Когда любовь героев переходит от товарищеских рукопожатий и долгих взглядов к совсем не противоправным действиям, от которых получаются дети, автор вдруг как-то сразу тушует, ставит многоточие... Потом героиня в халатике варит кофе, и они обсуждают производственные проблемы.

Это ханжество принимается как данность, а ведь у него тоже своя история. Старшие поколения, возможно, еще и помнят, как некогда хорошему писателю М. Арцыбашеву прилепили ярлык «порнографа», вычеркнули из истории литературы соответствующие книги С. Малашкина, П. Романова и других. Ну, и чего добились? Мой ровесник вынужден изъяснять свои интимные переживания или высоким штилем прошлого века («Я ему отдалась до последнего дня...»), или совсем уже нехорошими словами. Иногда мне думается, что, объявив некогда человека «винтиком», порешили: раз «винтики», то пусть и размножаются штамповкой. Нечего прятаться от революционной действительности в разную там эротику. Формула «Любовь — это страсть роковая» сменилась соображением, что «Любовь — не вздох на скамейке...». Но это тема отдельной статьи, которую я намереваюсь написать... Хотя почему отдельной?

Разве можно томление духа разложить на темы, пункты, параграфы? Суета и томление духа. Восторг первых лет перестройки миновал. Настало время конкретных дел. Если бы нашли способ превращать смелейшие публикации в высококаче-

ственные продукты питания и предметы быта, один И. Васильев кормил бы пол-России, а Н. Шмелев — вторую половину, и мы вели бы уже речь о том, что перестройка в основном завершена. Но такого способа нет и едва ли будет. Есть только один путь: от раскрепощения духа — к раскрепощению созидательной мощи народа, на которой долгие годы висел заржавевший амбарный замок нелепого жизнеустройства.

Да, мы хотим выговориться, нащупать под слоем ила твердое дно, до конца высказать все свои обиды и сомнения, воздать по заслугам (хотя бы словесно!) всем виновникам нашего неуклонного прозябания. Хотим, нравится это кому-то или не нравится. Только не уподобиться бы сказочной лисичке, которая, обо всем забыв, начала с остервенением выяснять, кто помогал, а кто мешал ей удирать от собак: глазки, ушки, ножки или хвостик... Известно, что лисичка эта кончила плохо!

Сегодня главное, по-моему, — перестать наконец суетиться и начать созидать, не пугаясь того, что предполагаемое в перспективе «богачество» трудолюбивых граждан пошатнет устои народного государства. Но томление духа пусть обязательно останется, иначе созидание в любой миг может снова обернуться суетой, новым застоем.

Хочу повторить, и совершенно сознательно, то, что говорилось не раз и оттого, может быть, немного стерлось:

Мы — продолжатели героической многовековой истории, наследники замечательной культуры, наследники необъятной территории, обладатели огромных природных богатств, мы совершили невиданную революцию, выдержали страшную войну, повлекли за собой к светлому будущему другие племена... Именно поэтому мы просто не имеем права влачить существование, мы обязаны жить полноценной духовной и материальной жизнью! Это наша дань прошлому, это долг перед будущим. Не знаю, будут ли, «косясь, постораниваться и давать нам дорогу другие народы и государства», но я точно знаю: это горько и нелепо, когда другие народы и государства со снисходительной усмешечкой обгоняют нас, точно новенький «мерседес» обгоняет разваливающийся дедушкин «ЗИС».

У П. Я. Чадаева есть вопрос, обращенный, полагаю, не только к его современникам, но и к потомкам. Вот он: «Думаете ли вы, что такая страна, которая в ту самую минуту, когда она призвана взять в свои руки принадлежащее ей по праву будущее, сбивается с истинного пути настолько, что выпускает это будущее из своих неумелых рук, достойна этого будущего?»

Думаю об этом. Думаю неотвязно...

1988 год

ОБ ЭРОТИЧЕСКОМ ЛИКБЕЗЕ И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ

Недавно, во время одного из популярных ныне телемостов (кажется, советско-американского) одна добрая наша женщина на простодушный заокеанский вопрос: «А как у вас в СССР дела с сексом?» — испуганно ответила: «Да что вы, никакого такого секса у нас нет!»

Надо ли объяснять, что она погорячилась? Несмотря на суровый социально-демографический эксперимент, поставленный в нашей стране и нашедший отражение даже в книге рекордов Гиннеса (я имею в виду чудовищное количество жертв этого эксперимента), народонаселение у нас все-таки прибавляется, и это свидетельствует о том, что секс, извечное общение мужчин и женщин, обеспечивающее непрерывность рода человеческого, у нас все-таки есть.

Но испуг этой славной женщины, шедшей на телемост как на ответственный идеологический праздник, понять можно. Ее товарка из иной социально-экономической системы запросто, не краснея, заговорила про то, о чем у нас даже между близкими людьми принято изъясняться намеками, кивками, полуулыбками, в крайних случаях прибегая к всемогущему слову «это». Не будучи особым специалистом как в теории, так и в практике, я все же могу попытаться выстроить синонимический ряд, относящийся к рассматриваемому нами вопросу, исключив, разумеется, нелитературные пассажи. Ну, вот, например: контус — сексуальный контакт — интимная близость — соитие — обладание — сожитительство — половая жизнь... Если не считать малоприличного «траханья», пришедшего в наш язык, видимо, с легкой руки синхронистов-переводчиков западных фильмов, то ни одно из приведенных слов и сочетаний в разговоре почти не встречается. Во всяком случае, мне трудно представить себе мужчину, который поутру спрашивает подругу: «Ну, как, дорогая, тебе наше вчерашнее соитие?» Даже имеющаяся в нашем словаре эротическая лексика не освоена и неудобопроизносима. Конечно, отмахнувшись от «срамных» сказок Афанасьева и рискованных поговорок, можно объяснить все это исконным целомудрием народа. Но, как говорится, какая барыня ни будь, а все равно мужчины определенный интерес к ней испытывают...

Впрочем, шутки тут неуместны. К подобным проблемам нужно относиться серьезно, по-научному! К примеру, я уверен, что со временем появятся солидные монографии. Допустим, «Русь и Поле. К вопросу о диффузии славянских и тюркских сексуальных стереотипов». Или: «Влияние французской культуры на эротическое сознание русского дворянства XIX века». Наконец — «Сельская община и нормы интимной жизни русского крестьянства». Надо заметить, в минувшем веке в исторических и краеведческих, выражаясь по-нынешнему, трудах эти и подобные проблемы затрагивались.

В XX век Россия вступила не только чреватая революцией, но и озабоченная вопросами пола. Валерий Брюсов, например, пытался в стихах ощутить себя девушкой, только-только утратившей невинность:

Вся дрожа, я стою на польезде,
Перед дверью, куда я вошла накануне...

Эротическую тему в русском искусстве серебряного века нужно, как выражаются ученые, рассматривать особо. Но не могу не напомнить читателям о М. Арцыбашеве и так называемых неонатюристах, отразивших каждый в меру своего таланта не только идейно-философские, но и эротические искания русского человека предреволюционной поры. Неонатюристы были подвергнуты сокрушительной критике ортодоксов марксистской эстетики: «...Действия, склонности, вкусы и привычки мысли общественного человека не могут найти в себе достаточное объяснение в физиологии или патологии, так как обуславливаются общественными отношениями». Впрочем, тогда, до октябрьских событий, о том, что критика эта сокрушительна, кроме самих марксистов, по-моему, никто не знал.

Потом имя М. Арцыбашева было вычеркнуто из истории, лишь только одни специалисты, трясясь от негодования и обзывая «порнографом», вспоминали автора «Санина», когда давали характеристику общему кризису буржуазно-помещичьего строя и его культуре. Но вырвать страницу из учебника истории — еще не значит разрушить связь времен. Общеизвестен роман В. Пидуля «У последней черты». Многие знают, что это название заимствовано из ленинской оценки кризиса царизма. Но мало кто помнит, что вождь наш использовал для своей характеристики название нашумевшего романа М. Арцыбашева «Последняя черта», романа, который вызывал яростные споры и даже был предметом судебного разбирательства.

Считается, что в канун революции Российское государство совершенно прогнило и достаточно было просто ткнуть в него пальцем четырехлетней империалистической бойни...

Считается, что повышенный интерес к вопросам пола в ту эпоху был результатом этого разложения, персонифицировавшегося в «сумасшедшей русской любовной машине» — Г. Распутине. Однако если все-таки отказаться от позиции человека, стоящего в белом фраке посреди всеобщей антисанитарии, то, вероятно, повышенный интерес к сексуальной проблематике в начале века не только в России, но и во всем мире возможно объяснить не только загниванием и разложением, а и некими общечеловеческими свойствами и законами развития общественной морали, ибо, простите за азбучность, до возникновения классового общества дети зачинались тем же способом, что будут зачинаться и после исчезновения классов вместе со всеми семью их признаками.

Иначе как мы объясним тот факт, что и при диктатуре пролетариата проблема взаимоотношения полов стояла тоже достаточно остро, была предметом шумных дискуссий, экспериментов в сфере семейно-брачного законодательства, скандальных книг, впоследствии вытравленных из советской литературы. Кто, кроме тех же специалистов, помнит о недавно ушедшем от нас С. Малашкине, авторе «Луны с правой стороны», потрясшей общественность более полувека назад.

Между прочим, не осатаневшая от безделья великосветская «магдалина», но пламенная революционерка А. Коллонтай выдвигала и даже пыталась внедрить в массы концепцию «стакана воды». Нет, к драматургу Скрибу эта теория отношения не имеет. Упрощенно говоря, речь шла вот о чем: почему бы в новом, свободном от классовых, сословных и прочих предрасудков обществе гражданам не относиться к интимной близости, как к стакану воды в жаркий день. Правда, мы знаем, что В. И. Ленин резко отрицательно относился к «поцелуям без любви» — именно так он именовал безответственные половые контакты, используя при этом строчку из стихотворения уже поминавшегося мной В. Брюсова. Кстати, читая периодику нашего времени, приходишь к трагическому выводу, что последние годы своей деятельности вождь занимался нередко тем, что предостерегал от последствий совершенного. Да, революция раскрепостила не только классовые инстинкты: по улицам обновленного и потрясенного Петрограда разгуливал футурист жизни В. Гольцшмидт в окружении таких же, как и он сам, обнаженных дам. Да, у революции были серьезные планы ни унизительный буржуазный брак-делку; она ставила своей целью раскрепостить женщину и уравнивать ее в правах с мужчиной. В анкетах того времени не желающие ни в чем уступать сильному полу комсомолки в графе «семейное положение» писали:

«Холоста». Но красиво манифестированное равноправие довольно скоро превратилось в равное право женщины на тяжелый физический труд, не освобождавший, кстати, от не менее тяжелого труда домашнего, равноправие трансформировалось в равное право с мужчинами сгинуть за колючкой Архипелага ГУЛАГ.

Если главный долг людей — стать исправными винтиками в отлаженной государственной машине, то у людей все должно быть одинаково — и душа, и тело, и одежда, и мысли... Чтобы общественное всерьез встало над личным (а только на основе такого мировоззрения может работать тоталитаризм), нужно объявить личное, куда входит и интимная жизнь, чем-то низким, малодостойным, даже постыдным. Боже, да появись в те времена какой-нибудь Лысенко от сексологии и предложи способ размножения советских людей при помощи социалистического почкования, его ждала бы такая слава и такая любовь властей предрежащих, в сравнении с которыми триумф приснопамятного Трофима Денисовича с его дурацкой ветвистой пшеницей показался бы детским лепетом на лужайке!

Но такой способ даже в отдаленной перспективе не намечался — и пришлось идти другим путем. Все возрастающее обострение классовой борьбы рано или поздно с полей, заводов, пленумов, из наркоматов, красноармейских штабов должно было переместиться на брачные ложа. Интересная деталь: люди, в ту пору стоявшие у власти (про сексуального злодея Берию я даже не говорю), так вот, эти люди отличались весьма своеобразными брачными стереотипами. Чего только стоит традиция проверять партийного соратника на излом, ввергая его супругу в узилище. Мол, кого ты больше любишь, партию или жену? Такой, понимаете ли, идейно-половой мазохизм!

Не случайно в ту пору читателям и зрителям настойчиво предлагались для осмысления произведения, подобные «Любови Яровой» К. Тренева и «Сорок первого» Б. Лавренева. Напомню, в первом случае большевичка-подпольщица Любовь Яровая выдает красным своего любимого мужа, бывшего революционера, не принявшего октябрьских событий и связавшего свою жизнь с белым делом. Во втором случае красноармеец Марютка убивает своего ненаглядного, голубоглазого подпоручика Говоруху-Отрока, выполняя приказ командира: в случае опасности плена живым его белым не отдавать! «В воде, на розовой нитке нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно. Она шлепнулась в воду, попыталась приподнять мертвую изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завывала низким, гнетущим воем...»

Для меня совершенно очевидно, что в обоих случаях авторы ведут речь о страшной трагедии братоубийственной резни, в слепом своем ожесточении заставляющей даже влюбленных уничтожать друг друга. Но в нравственной атмосфере той эпохи эта аномалия, это кровавое затмение выдавалось за норму. Мало того, за образец поведения, ибо на самом-то деле под завесой идеологического камлания готовилась почва для тотального контроля над каждым человеком. От этого контроля — по замыслу его организаторов — нельзя было скрыться нигде, даже в объятиях любимого человека. За пуританством диктатора (как правило, показным) всегда стоит не забота о нравственности управляемого им общества, но неослабная забота о подконтрольности своих подданных.

Эротика, пусть кому-то покажется это натяжкой, таила в себе вызов тоталитарному обществу, основанному на абсолютизации и даже обожествлении одного из многих элементов общественной жизни, насильно вырванного из хитросплетений бытия. Абсолютизированы могут быть классовые противоречия, национальные отношения, религиозное сознание... Окиньте мысленным взором диктатуры XX века в различных странах — и увидите: все они опирались на этот принцип. А эротика? Она, погружая подданного в тонкости взаимоотношений между мужчиной и женщиной, убеждая его, какое важное влияние оказывает сексуальная жизнь на судьбу, вольно или невольно заставляла сомневаться в правильности мифа о божественном абсолюте, на котором держится режим. Не потому ли советские люди лишь недавно стали узнавать, что, оказывается, Фрейд — не бранное слово, а имя великого ученого.

Кстати, примеры раскрепощающего воздействия эротика на умы и души можно отыскать и в других эпохах: тот же «Декамерон», на который неоднократно ссылается в своем эссе Лоуренс... «Сексапильные» святые отцы не просто забавны, это смелый вызов всемогущей церкви (я почти цитирую сразу несколько классических советских трудов о литературе Возрождения). Да, это вызов церкви, тоже некогда претендовавшей на тотальный контроль над духовной и физической жизнью паствы и, между прочим, своевременно от этого отказавшейся для того, видимо, чтобы атеисты прошли тем же самым путем и уперлись лбом в ту же самую стену. Но факт остается фактом: были времена, когда отцы церкви на своих высоких сошествиях и собраниях совершенно серьезно рассматривали вопрос, допустимо ли, чтобы добрый христианин для улагодворения своей законной супруги использовал не только аксессуар, предназначенный для этого Богом, но и

нежной» среди граждан, живущих по преимуществу в ульеподобных коммуналах и общежитиях.

Но, поведя наступление на эротику как на составную часть здравого мироощущения и раскрепощенного сознания, власть была далека от того, чтобы искоренить и, так сказать, грубо материальную базу этой самой эротики, ибо, поизведя население в разного рода кровавых экспериментах, была горячо заинтересована в повышении рождаемости. Будущие специалисты еще разберутся, как повлияло на сексуальные стереотипы советского человека запрещение аборт и противозачаточных средств. Человек во френче строго смотрел с портрета, заменившего во многих домах икону, и как бы сурово предупреждал супругов: «То, чем вы собираетесь заняться, дело не личное, но государственное! Имейте в виду!» Впрочем, и сегодня, будучи легализован, аборт в нашей стране остался своеобразной и жестокой формой наказания женщины за нежелание выполнить свой долг перед государством. Что же касается противозачаточных средств, то презервативы — это единственное, видимо, в нашей стране изделие, которое от Бреста до Владивостока выпускается в единой, неколебимой модификации, ибо в человеке все должно быть одинаково!..

В чем-то я согласен с Л. Петрушевской: рассказывать советским людям об эротике — то же самое, что объяснять различия между последней моделью «пежо» и предпоследним выпуском «рено» человеку, который, кроме кустарного самоката на подшипниках, в своей жизни ничего не видел. Если предположить, что существовала античная, ренессансная, барочная эротика, то нашу эротику я бы назвал «барачной». Нашего соотечественника за границей сразу можно обнаружить, во-первых, по привычке угрюмо смотреть на витрины, одновременно перебирая в кармане смехотворную валюту, а во-вторых, по нездоровому хихиканью и толканию друг друга в бок при виде на прилавке тамошней «союзпечати» журнала, с которого улыбается милая девушка, обнажившая грудь не для кормления, а ягодицы не для инъекции.

Одержимые установкой на воспитание народа в соответствующем духе, наши командармы идеологического фронта напоминали чем-то недалеких родителей, скрывающих до самой брачной ночи от своего отпрыска, для чего предназначены природой те или иные части тела. В книгах, приходивших к советскому читателю из-за рубежа, где процесс легализации эротики в общественном сознании шел своим чередом, вымарывались все неподобающие подробности. Даже в ущерб сюжету и здравому смыслу. Исключения делались, да и делаются, лишь для академических текстов; впрочем, и тут находят способы

смягчить зарвавшегося классика при помощи «шадящего» перевода. Из собраний сочинений вслед за произведениями, отражающими так называемые реакционные взгляды титанов духа, вылетают и сочинения, отмеченные ненужным нашему читателю интересом к взаимоотношениям между полами. Так, например, в последний десяти томник Бальзака «Озорные рассказы» почему-то не вошли. Карандаш редактора охраняет лишь те пикантные эпизоды в книгах западных писателей, которые иллюстрируют глубину нравственного разложения буржуазного общества. А сколько зарубежных писателей вообще к нам не дошли из-за своего, как говорится, нездорового увлечения эротикой? Достаточно назвать американца Генри Миллера... Хотя, разумеется, если исходить из того, что книга-бестселлер — это всего лишь коварный способ одурачить доверчивого западного читателя-потребителя, тогда произведения названного автора и других его коллег можно и в дальнейшем не переводить на русский язык. Зачем?

А зарубежные кинофильмы? После первоначального объятия героев кадр конвульсивно дергается... «Вырезали!» — с пониманием переглядываются зрители. Лента, которую довелось увидеть на фестивале, так же отличается от прокатной копии, как фунт стерлингов от фунта лиха.

Если бы телевизионщиком был я, непременно раскопал бы все эти пикантные вырезки (ведь не выбрасывали же?!), смонтировал бы, оснастил хорошим закадровым текстом... Если начать со сцен, купированных еще из трофейных лент, а потом просто соблюдать хронологию, вышел бы замечательный, по всем правилам дидактики, эротический ликбез. Отдаю эту идею телевидению безвозмездно, прошу только сердечно поблагодарить меня в титрах!

Но давайте снова вернемся к отечественному опыту!.. Что мы все, право, про импорт да про импорт! В советской литературе, по-моему, происходило следующее: представляете себе страну или даже планету, где самое неприличное — это вслух говорить о пище и даже намекать на то, что люди вообще едят. Вот такие странные нравы! Теперь вообразите себе литературу этой планеты. Тот факт, что в художественных произведениях действуют полноценные герои, а не дистрофики, неизбежно должен наводить читателей на мысль о питании литературных персонажей. Они, читатели, конечно, догадываются, что он, герой, заторопившись после службы домой, хочет (о, я краснею!) плотно поужинать или что он, герой, любит свою жену (и как только язык поворачивается!) за ее умение прекрасно готовить... Но я представляю, какая буря поднялась, если бы автор попытался написать, что герой выходит

из столовой, вытирая после еды губы! Но самое удивительное заключается в том, что изящная словесность этой планеты ломится от сочинений, посвященных страданиям голодающего человека! Думаю, нет нужды продолжать эту весьма прозрачную аллегория: для того чтобы попасть на эту удивительную планету, не нужно никуда летать — достаточно зайти в библиотеку. А писатели, все-таки обращавшиеся к эротическим проблемам, выглядели в нашей литературе поистине как инопланетяне. Напомню, что сексуальная заостренность некоторых вещей, вошедших в свое время в «Метрополь», возмутила «общественность» чуть ли не больше, чем сам факт создания неподцензурного альманаха.

Но гласность, как любили выражаться в прошлом веке, обнимает все сферы нашей жизни. Обняла она и эротику. Вот на страницах «Огонька» печатается (правда, под иным названием) «Маленький гигант большого секса» Ф. Искандера — самая сильная, по-моему, прозаическая вещь в «Метрополе». Вот маленькая Вера в позе наездницы обсуждает со своим милым разные семейно-бытовые проблемы. Вот и ленинградское телевидение по вечерам показывает нам художественно обнаженных девушек. Вот начинают выходить в свет книги, о которых не могли даже мечтать те, кто не знает языков, а это основной удел людей, выросших за железным занавесом или за пыльными кумачовыми портьерами.

Разумеется, не все идет гладко. Приведу один близкий мне пример. Режиссеру Сергею Снежкину, экранизировавшему мою повесть «ЧП районного масштаба», пришлось решительно отстаивать свое право на введение в фильм достаточно «крутых» интимных сцен, необходимых, по его убеждению, для художественной концепции ленты. Киноначальство спорило, возражало, но не вырезало. Теперь спорит, соглашаясь или возражая, зритель: По-моему, так и должно быть в обществе, где деятель культуры — творец, а не инженер человеческих душ, ибо над инженером всегда можно поставить главного инженера...

Однако все чаще и чаще раздаются встревоженные голоса: «Неужели из-за мутных потоков непотребства, затопивших книги и экраны, мы не уберем исконное народное целомудрие?!» Ну, это — преувеличение: никаких потоков нет, пока мы имеем дело лишь с первой каплейю. Но ратуящим за «исконное целомудрие» я бы советовал поговорить с врачами соответствующих лечучреждений. Они расскажут, что речь идет не о целомудрии, а об элементарной физиологической безграмотности, даже дремучести, о полном отсутствии культуры интимных отношений — эдакие сексуальные Пила и Сысойка... Встречаются опасения, что легализация эротики будет способствовать

более раннему приобщению молодежи к половой любви. Не волнуйтесь, товарищи, резкое «помолодение» интимных контактов началось у нас задолго до сегодняшнего дня. Кстати сказать, в некоторых странах, где давно отказались от истощающего пуританства, весьма высок процент молодых людей, вступающих в интимные отношения только после двадцати лет, семьи там крепче и долговечнее, нежели у нас, да и детей в этих семьях поболее нашего...

Есть и другой важный аспект. Говорят, когда-то японцы не ведали лобзаний, не знали, что такое поцелуй,— и все тут! Но с приобщением Страны Восходящего Солнца к мировому сообществу ситуация резко изменилась: целуются! Эротика в той или иной степени стала важным элементом культуры тех развитых стран, с которыми мы, соответствуя новому мышлению, затеяли плодотворное общение. Влияние — верю, что взаимное,— неизбежно. Ну, и как будем общаться? С ножницами и красным карандашом в руке? Будем наших туристов инструктировать на предмет эротических диверсий, как раньше инструктировали по поводу диверсий идеологических?

Эротическое сознание как романтизированное, эстетизированное, если хотите, отражение сексуальной жизни человека существовало всегда. Образно говоря, эротика соотносится с физиологией, как искусство с жизнью. Здесь есть и свои законы отражения, и свои условности, и свои тайны, и своя — уж извините! — воспитательная функция. Грубо выражаясь, молодые люди, посмотревшие хороший эротический фильм, наверное, уже не захотят общаться в пропахшем кошками подъезде. Говорят, и детишки, зачатые по-людски, красиво,— и лучше получаются, полноценнее... Или за нашими рассуждениями о нравственности продолжает скрываться обыкновенная неспособность создать человеку нормальные условия для существования? Молодожены годами дожидаются собственного угла, а гостиничное хозяйство не управляется даже с командированными, не то что с влюбленными, озабоченными классической проблемой единства места и действия... Запретный плод все равно будет сорван и съеден. Но съесть его можно с удовольствием, красиво, по всем правилам веками выработывавшегося этикета. А можно сожрать, давась, запихивая в рот грязными руками и чавкая...

Без сомнения, очень скоро и у нас встанет вопрос, где проходит граница между эротикой и порнографией, между откровенностью и непристойностью. Уверяю, что эта проблема волнует не только нас. Я где-то читал, что картина Рубенса «Зачатие Марии Медичи» не выставляется из соображений нравственности. В Англии, например, совсем недавно приняты

новые законы, охраняющие мораль юношества. Проблема границы между эротикой и порнографией существовала всегда, но ведь это не повод для войны на уничтожение! А поправить тех, кто переступает границы здравого смысла, мы всегда сумеем — с запретительством у нас все в порядке.

Однажды с одним моим товарищем я разговаривал об эротических мотивах у Пушкина. Он с упоением декламировал знаменитое «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» Вот ведь — и дерзко, и нежно, и откровенно, и целомудренно! — восклицал он и продолжал:

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно с тобою счастлив я,
Когда, склоняясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна без упоенья...

После разговора я никак не мог избавиться от ощущения, что в цитате была какая-то неточность, и, придя домой, проверил. Так и оказалось:

О, как мучительно тобою счастлив я!

Чувствуете разницу? В первом случае — прозаизм, во втором — высокая, прекрасная эротика!.. Почему я вдруг решил закончить мои заметки этим случайным воспоминанием, ей-богу, и сам не знаю...

1989 год

ИЗ КЛЕТКИ В КЛЕТКУ

«...Раньше в Тульской губернии был один писатель, но Лев Толстой... А теперь? В масштабах страны вообще их прорва. Графоманы... Печатают друг друга — взаимное опыление называется, деньжищу лопатой гребут, а на Булгакова бумаги не хватает... Кончать надо с литературными генералами. А действительность? Если папа писатель, детки — тоже. А если вступил в Союз, никаких проблем... И вообще у них там в Союзе писателей одни евреи и черносотенцы...»

Вот так или примерно так осели в рядовых советских мозгах те страсти, которые уже пять лет бурлят на писательских пленумах и съездах. И от них ждут или самороспуска, или покаяния, давно уже ставшего способом приспособления к политической ситуации, или последнего, решительного боя с главным злом, которое каждый понимает по-своему.

Отпеть и похоронить явление, не вписывающееся в твою собственную картину мира,— это, как сказал бы В. Ерофеев, *very easy*. Но это, к сожалению, соответствует печальной отечественной традиции, в противном случае нашим сегодняшним гербом мог оказаться двуглавый орел с серпом и молотом в лапах. Вряд ли кто-нибудь сегодня будет оспаривать монстрозность феномена, имя которому — советская литература. Но ведь и на монстра можно смотреть по-разному, прикидывая наметанным глазом, какую яму копать под это чудище, или соображая, как же его так изуродовала жизнь, за что?!

Во всяком случае, если выбирать между позицией В. Ерофеева («Поминки по советской литературе», «ЛГ», 1990, № 27) и позицией М. Чудаковой («Сквозь звезды — к терниям», «Новый мир», 1990, № 4), мне ближе вторая. Хотя точка зрения В. Ерофеева на сегодняшний день выигрышнее, товарнее, что ли...

В самом деле, обратившись к текущему моменту, как любили выражаться основоположники, обнаружим: особенность нынешних литературных схваток заключается в том, что одни писатели вообразили себя могильщиками, а другие никак не хотят смириться с ролью мертвого тела, готового к погребению. Положение, по-моему, совершенно бесперспективное, и судьба приснопамятного могильщика буржуазии тому доказательство.

Но дыма без огня не бывает. Нынче на наших глазах заканчивается — отсюда и похоронные настроения — целый период, эпоха в истории отечественной словесности. Я бы назвал ее малой коллективизацией в отличие от коллективизации большой, лишившей страну крестьянина-кормильца. Малая коллективизация — это трагедия послеоктябрьской литературы, жестокое воздаяние за тупое буревестничество, точно так же, как большая коллективизация — это в какой-то мере душе-раздирающее возмездие за 100 000 разгромленных помещичьих усадеб. История неразборчива в способах мести...

Сегодня, когда разбираются, почему такое могло стрястись с «умным, бодрым нашим народом», известную долю ответственности, и не впервой, берут на себя деятели культуры, писатели в частности. Общеизвестно, что у буревестников революции крылья опустились довольно скоро. Они поняли: новым властителям страны не нужны властители дум. Им нужны проводники идей. Вместе с тем «капитаны Земли» умело воспользовались исторически сложившейся склонностью российских деятелей культуры к тому, что я назвал бы «поводыризмом», решительно придав ему четкую политическую направленность взамен традиционно мучительного нравственного поиска.

Мало того, культура и, в частности, литература стали коллективными поводьями. У крестьян отняли и обобществили землю, у писателей — свое, личное, суверенное понимание смысла бытия и назначения искусства. Любые попытки отстоять право на единоличность в этом разгуле коллективизма пресекались, и чем дальше, тем жестче. Но прискорбнее всего тот факт, что многие мастера художественного слова согласились на этот коллективный, идейно выверенный «поводыризм» без особых терзаний, ведь гораздо проще увивать гирляндами художеств генеральную линию партии, нежели страдать, мучиться, искать свою собственную правду да потом еще отвечать за нее перед людьми. А тут всю полноту ответственности берет на себя новая власть, сама в свою очередь ни перед кем не отвечающая, разве что перед смутной идеей, но это, как говорили в детстве, не считается. И в красивом соцреалистическом заклинании: «Мы пишем по велению сердца, а сердца наши принадлежат партии (...и народу» в литературном обиходе обычно опускалось) — скрыта огромная разрушительная сила, в конечном счете почти низведшая великую культуру до положения политической приживалки. А как быть приживалке, лишившейся патронасы? Одно из двух: или учиться жить одиноко и самостоятельно, или искать новую барыню.

А теперь, возможно, я возражу сам себе. Презрительно-уничижительный взгляд на «совковую» литературу эффектен.

но не эффективен. Во-первых, упускается из виду тот факт, что произрастала эта литература на почве естественного послереволюционного оскудения и упадка культуры. Стоит ли уж так презирать тех, кто вынужден был начинать почти с нуля. Во-вторых, это была пусть уродливая, но форма приобщения «внутреннего варвара» (С. Франк) к еще недавно громимой им культуре. В-третьих, развивалась эта литература в железной идеологической клетке, задуманной так, чтобы и без того уродливого младенца вырастить вообще в компрачиковское чудище. Остается лишь поражаться тому, что советская литература сохранила в себе хоть что-то из родовых черт отечественной классики.

Необъяснимо другое: почему сегодня выпущенные из огромной общей соцреалистической клетки писатели стремительно разбегаются по клеткам маленьким? Почему, избавившись от навязанного коллективизма, они тут же начинают исповедовать коллективизм добровольный?

Если еще недавно писатель имярек издавал свои, никем не читаемые книги благодаря активной работе в руководящем органе писательского союза, то теперь он издается благодаря своей активной работе в руководящем органе какого-нибудь новейшего движения. С политической точки зрения разница огромная. С эстетической — никакой. Если в застойный период критика, наиболее изгибчивый жанр изящной словесности, в основном обслуживала амбиции литчиновников и занималась алхимическими поисками соцреалистического камня, то нынче мы имеем почти ту же самую критику (и критиков), на тех же самых принципах обслуживающую амбиции тех или иных литературных команд. Те же умные, тонкие рецензии на дурацкие тексты, те же трепетные ссылки на имена, которых читатель и знать не хочет, то же священнодейственное выстраивание обойм с холостыми литературными патронами. Нет, я не наивен, я понимаю: командам нужны авторитеты, лидеры, срочно нужны, вот их и генерируют по тем же самым методикам, что и некогда столпов соцреализма: «Есть мнение, что Н. — большой художник». Если одна писательская стенка идет на другую, о какой широте и корректности оценок тут можно говорить: на войне как на войне...

Если смыть боевую раскраску, то станет понятно: почти все борются за идеи, вполне имеющие право на сосуществование. Вряд ли кто-то будет утверждать, что возрождение народа, серьезные сдвиги в материальной и духовной сфере возможны без роста, даже взрыва национального самосознания? Или спорить с тем, что интернационализм, доведенный до беспамятства, губителен, а патриотизм — мощный источник

созидательной энергии?.. С другой стороны, едва ли кто-нибудь будет спорить и с тем, что национальная спесь, тупой шовинизм — вещи страшные, что за идею превосходства одной нации над другой заплачено очень дорого. А поди ж ты, два эти взаимодополняющих посыла развели по разные стороны баррикад несколько хороших и множество разных писателей. Почему? А потому, что наша литература на тех же коллективистских принципах, на каких она ранее обслуживала власть, теперь включилась в борьбу за нее. Точнее, принялась обслуживать силы, борющиеся за власть. Затем, видимо, чтобы еще раз убедиться, как любая революция исчерпывается строчками известной песенки:

А в комнатах наших
Сидят комиссары
И девочек наших
Ведут в кабинет...

Белый и красный цвета могут мирно соседствовать на одном флаге, а могут стать символами противоборствующих сил. Дело не в цвете, дело — в цели. Вот и нынче не так уж важно, что твои убеждения по сути не противоположны убеждениям противника, главное — представить их противоположными в глазах публики. Так было, так есть, так будет. Ибо всегда отыщется множество труженников пера, способных существовать только в околотературной сваре. Вытащенные наверх, в собственно литературу, они гибнут от творческого удушья. Мне даже иногда кажется, что само писательство для них лишь пропуск туда, где можно посражаться, неважно даже с кем... Это как в модном казино, куда пускают только во фраках. Нет, я никого не осуждаю, каждый живет в литературе, как умеет. Хочешь жить в ватаге — ради бога. Но не надо доставать других осточертевшим за советский период многозначительнейшим вопросом: «С кем вы, мастера культуры?», от которого всего шаг до другого вопроса, очень хорошего: «А с кем это вы, мастера культуры?» С кем... с кем... Да ни с кем!

Обдумывая эти заметки, я так и хотел назвать единственно возможную, на мой взгляд, для художника позицию неприсоединением. Но пока я обдумывал, группа писателей, чтобы ловчей было не присоединяться, соединилась в группу неприсоединившихся. Тогда я понял, что попросту нашел неточное слово «неприсоединение». Наверное, правильнее — «одиночество». В том смысле, в котором одиноки были Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Ахматова, Булгаков, Пастернак, Солженицын, Пушкин, конечно же:

Ты царь, живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Свободный. Нашей пропаганде всегда было милее «свободолюбивый», нежели «свободный». Оно и понятно: свободолюбивый человек безопаснее, чем свободный. Глумливая мудрость бытия заключается в том, что, ступив на путь борьбы за свободу, человек тут же попадает в зависимость от законов этой борьбы. И он уже идет не туда, куда влечет его свободный ум, а куда влечет логика политической схватки.

Мне кажется, с высот свободного ума застойное единомыслие мало чем отличается от единомыслия перестроечного: так угрюмо преданный принципам ретроград тождествен обяательно-беспринципному прогрессисту. По конечному, так сказать, результату... Разумеется, никто и не помышляет о башнеленовококостном варианте: не зависеть от происходящего в стране невозможно, но независимо оценивать происходящее можно и должно. Именно в этом смысле свободный ум одинок, именно в этом смысле одиночество — единственная нравственная позиция, позволяющая художнику давать гуманистическую оценку происходящему. Классическая русская литература достигла горних высот именно потому, что ее создавали люди, знавшие цену одиночеству. Не стоит думать, будто такая позиция наиболее комфортна, мол, «двух станов не боец». Напротив, те, кто объединены в команды, говоря современным языком, лучше социально защищены. Достаточно напомнить, что все наши литературные полемики проходят по принципу «Наших бьют!». Не участвуя в этой азартной игре, литератор оказывается предоставлен сам себе, и в хорошем, и в плохом смысле этого состояния. Он упойтельно одинок в творчестве, и он тяжело одинок в литературе. Но, наверное, только этой дорогой можно от шумливого свободолюбия прийти к подлинной внутренней свободе, а значит, и к серьезным художественным результатам.

Заканчивая, хочу сделать чистосердечное заявление: у моих заметок об одиночестве есть крупный недостаток. Они неоригинальны. Очень похожие мысли я сам неоднократно встречал у самых непохожих авторов, живших в самое разное время. Общим у этих авторов было одно — все они остались в литературе, если оценивать их в соответствии с одной любопытной классификацией писательских судеб. Каждый писатель имеет возможность остаться или в истории литературной борьбы, или в истории литературы, или в литературе. В первом случае о нем вспоминают, во втором — его знают, в третьем — читают. Последнее — самое трудное, почти невозможное, испепеляюще непредсказуемое. Но только ради этого стоит садиться за письменный стол и пытаться. В одиночестве...

И СОВА КРИЧАЛА, И САМОВАР ГУДЕЛ...

Представьте себе, что вы живете на леднике, медленно и невооруженно сползающем в пропасть. Правда, шаманы, неся какую-то диалектическую чушь, доказывают, будто родной ледник не сползает, а, наоборот, неуклонно движется вперед и выше, но аборигены-то примечают, как с каждым годом жить становится все хуже и грустнее. Они-то слышали, что где-то там, в долинах, у людей жизнь совсем другая... Но вот выдвинут новый вождь, он решительно открывает своему народу глаза на губительное сползание и призывает, уничтожив ледник, зажить, как и весь цивилизованный мир, на естественной почве, а она — старожилы еще помнят — сказочно плодородна. Итак, диалектические шаманы изгнаны, аборигены долбят лед, а потревоженный глетчер вдруг ускоряет свое скольжение вниз. Плодородной земли пока не видно, а в ушах — свист ветра и слова вождя: «Не волнуйтесь — процесс пошел!» Остается добавить, что ошалевшие аборигены начинают яростно делить свой раскалывающийся ледник, разбиваются по кланам и родам, полагая, будто порознь падать лучше, а может, еще удастся и зацепиться...

Вот такая прозрачная аллегория. Конечно, читатель может спросить: «Выходит, по-вашему, вообще не надо было трогать ледник, занимавший шестую часть суши и лежавший «касаясь трех великих океанов»?» Я этого не говорил и не скажу никогда, но я считаю, что, разрушив миф о плодородном леднике заодно с самим ледником, не следует тут же творить новый миф — о счастье падения и распада.

Жертвам компрачикосов (я и себя считаю таковым) больно, когда им начинают выправлять изуродованные кости, возможно, даже еще больнее, чем раньше, когда их тела медленно, год за годом гнули в бараний рог. Поэтому, отважившись на такую операцию, вряд ли стоит ожидать слез восторга. Но к социальной хирургии я еще вернусь.

Когда сегодня иной выросший на кафедре марксизма-ленинизма реформатор начинает раздражаться косностью и неразворотливостью народной массы, не понимающей своих грядущих выгод, мне хочется в свою очередь спросить: «А что же, вы не знали, в какой парадоксальной стране начинаете реформы? Вы что же, Бердяева или Чехова не читали?» «Вишневы сад», например:

ФИРС: Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

ГАЕВ: Перед каким несчастьем?

ФИРС: Перед волей.

Вот и спорь тут с почвенниками про наш особый путь, если мы умудрились предложить миру даже свой особенный вид военного путча, являющегося составной частью демократического процесса: черные начинают и сразу проигрывают.

Вспомните, весь минувший год о предстоящем перевороте кругом говорили с той усталой уверенностью, с какой обычно говорят о недалеком очередном отпуске. Перебирались имена предполагаемых диктаторов, предугадывались сроки, спорили: отменит хунта талоны на водку или, наоборот, введет сухой закон... А слово «ОМОН» стало означать в русском языке примерно то же самое, что «OMEN» в английском. К этому настолько привыкли, что, когда министр иностранных дел отошел от дел, ссылаясь на грядущий путч, многие отнесли к его словам, как к не очень удачной шутке, с которой один из гостей покидает поднадоевшее застолье.

При всем моем скорбном сочувствии к участи трех погибших парней не могу не заметить, что и Великая Октябрьская социалистическая революция, и Великая Августовская капиталистическая революция имеют одну общую черту: они почти бескровны. Как известно, во время штурма Зимнего поруганных дам из женского батальона было чуть ли не больше, чем убитых штурмовиков. А бескровность — верный признак того, что интересы людей пока еще не столкнулись по-настоящему. Предприниматель, несущий на баррикаду мешок денег, и владелец кооперативного кафе, доставляющий туда же бутерброды, пока еще не воспринимаются обывателями как классовые противники, да простится мне этот «застоизм», от которого мы, впрочем, никуда не денемся, ведь вместо бесклассового общества будем строить классовое. Я не подстрекаю, я-то как раз отчетливо сознаю: история доказала, что эксплуатация человека человеком эффективнее, нежели эксплуатация человека государством. Но, возвращаясь в лоно цивилизации, хорошо бы предвидеть, что малоимущие, ненавидевшие партократов, вряд ли, как родных, полюбят тот новый слой общества, который в старину называли — скоробогатыми. Маркс тут ни при чем, это — психология.

Я вообще полагаю, что социализм и капитализм — это не столько экономические системы, сколько типы мироотношения, гнездящиеся в глубинах человеческого подсознания. На Западе я встречал немало людей с чисто социалистическим типом сознания, предпочитающих непьльнуу — разумеется,

в их понимании — службу в госсекторе круговерти и надрыву частного бизнеса. «По статистике, среди бизнесменов очень высокая смертность!» — так объяснил мне свое нежелание открывать собственное дело один знакомый британец. А теперь помножьте в уме этот подкорковый социализм на годы насильственной социализации человеческого сознания у нас в стране, и вы получите в уме то, что мы имеем наяву. Нет, я не против рынка, я просто за то, чтобы, отправляясь с сумой на рынок, заранее прикинуть, сколько там будет трудяг, сколько торговцев, сколько празднующихся, сколько карманников... Хотя бы приблизительно!

На мой взгляд, настоящая социальная драма начинается не там, где разгулявшиеся, а то и подгулявшие сограждане рушат обветшалые исторические декорации, а там, где возводятся новенькие, пахнущие свежей краской кущи и начинается распределение ролей. Лепетать «кушать подано», сами понимаете, не хочется никому. Но проблема даже не в том, что две «звезды» из основного состава повздорят из-за главной роли, а в том, что рабочие сцены посреди спектакля вдруг выбегут на сцену и закричат: «А нам — кушать?!»

И вот еще — чтоб закончить про военный путч. Сам для себя я называю его военный пуч. «Пуч», по Далю, — надувательство, нелепая выдумка. Так вот, нынче много пишут о загадочности, даже инфернальности этого события. Скажу больше: это настоящая тайна, и разгадать ее удастся, может быть, только в следующем веке, когда участники действия сойдут с политической сцены. Да, это тайна, ибо есть секреты, которые большие политики не выдают даже на смертном одре и даже в мемуарах. Именно поэтому они — большие, а не сидят в общих камерах одетые во все казенное... Секреты эти тшятся разгадать историки и журналисты по обмолвкам и обрывкам. Но помимо тайн политиков есть еще тайны истории, непонятные до конца даже самим участникам и творцам рассматриваемых событий. И здесь они — творцы — похожи чем-то на фокусника, торжественно достающего из шляпы заранее определенных туда голубей и вдруг обнаруживающего там еще и птеродактиля. А ведь он его в шляпу-то не клал, да и никто вообще не мог положить его туда...

О чем это я? Да все о том же — об ответственности: есть такое почти выпавшее из нашей речи слово. Ныне часто и с гневным удовольствием пишут про самонадеянных, невежественных ребят, выгнанных за неуспешность из гимназий и решивших до основания разрушить не устраивавший их мир. Как говорится, дурацкое дело нехитрое: в обломках этого мира, наскоро оборудованных под жилье, мы с вами обнтаем и по сей

день. Ведь и перемены начинались для того, чтобы поскорей выкарабкаться из-под этих коммунальных руин. Ведь радовались, что на смену усатым и броватым сторожам этой исторической свалки пришли новые люди! Почему же сегодня, когда я — уже вполглаза — смотрю по телевизору очередное прение на внеочередной сессии, я опять вижу перед собой все те же неуспешных гимназистов. Искренних и лживых, умных и глупых, но — неуспешных! Неужели, влетая в большую политику на волне людской ненависти к подлой жизни, они не понимают, какую ответственность на себя взяли?! Неужели забыли, что выбирают за слова, а убирают за дела!

Знаете, меня очень задел уход из «Огонька» В. Коротича. Не по каким-то личным соображениям, — я сотрудничаю с другим популярным журналом. Коротич в данном случае для меня всего лишь символ, знак... Мне за перестройку обидно! Когда ты просто писатель, просто кустарь-одиночка, ты можешь творить и жить где угодно — хоть в Париже, хоть в Марбурге. Твое личное дело. Но если ты стал деятелем, стал одним из тех хирургов, которые вскрыли обескровленное тело больного общества, тогда разговор другой. В конце концов никто в большую политику — а от нее зависят судьбы миллионов — винтовочными прикладами не заталкивает. Оттуда — да, а туда — нет. Так что же это, извиняюсь, за хирург? Мол, вы, мужики, тут без меня дорезывайте, а мне там за СКВ работенку подбросили! Не хочется об этом, а надо: пусть лучше я скажу, чем те «силы», которыми отъезжающие родители устрашают в Шереметьево-2 расшумевшихся детей. Меня это задевает еще и потому, что и я сам, смею думать, своими книжками в какой-то мере вострил тот самый скальпель, каковым сделан исторический надрез... А теперь мы стоим над разверстой плотью в недоумении и готовы, как в том анекдоте, замахать руками и закричать: «Ничего не получается, ничего не получается!» И больше всего на свете я боюсь, что какой-нибудь сегодняшний Фирс — миллионы фирсов — скажет:

— Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел...

Октябрь 1991 года

ОТ ИМПЕРИИ ЛЖИ — К РЕСПУБЛИКЕ ВРАНЬЯ

Человек, сегодня толкующий об упадке общественных нравов, в лучшем случае может вызвать снисходительную усмешку: мол, не учи других жить, а помоги сам себе материально! Выходит, раньше, когда мы влачили существование, у нас оставалось достаточно сил и времени, чтобы поразмышлять о пороках общества. Сегодня, когда за существование приходится бороться, на это нет ни сил, ни времени. И все же...

Если без ностальгических прикрас, то давайте сознаемся: до перестройки и гласности наше Отечество было империей лжи. Сразу оговорюсь: это совершенно не значит, будто все остальные страны были эдакими «правдалендами», но про это пусть пишут их журналисты и литераторы. Итак, мы были империей лжи, но заметьте: это была ложь во спасение... Во спасение сомнительного эксперимента, предпринятого прадедушками многих нынешних демократов и бизнесменов, во спасение «всесильной Марксовой теории», оказавшейся неспособной накормить народ, проживающий на одной шестой части суши, наконец, во спасение той коммунальной времянки, которую наскоро сколотили на развалинах исторической России. Нужно или не нужно было спасать — вопрос сложный и запутанный. Полагаю, сидящий в президиуме научного симпозиума и сидящий в приднестровском окопе ответят на него по-разному...

Впрочем, все еще хорошо помнят двойную мораль минувшей эпохи: пафос трибун и хохот курилок, потрясающее несовпадение слова, мысли и дела. Однако это была норма жизни, и сегодня корить какого-нибудь нынешнего лидера за то, что он говорил или даже писал до перестройки, равносильно тому, как если б, женившись на разведенной даме, вы стали бы укорять ее за былые интимные отношения.

Задайтесь вопросом, с какой целью лгали с трибуны, с газетной полосы, с экрана директор завода, ученый, журналист, партийный функционер, писатель, офицер, рабочий или колхозница? Ради выгоды? Но какая тут выгода, если почти все вокруг делали то же самое! В массовом забеге важна не победа, а участие. Да и сама ложь эта скорее напоминала заклинания. Нет, я не имею в виду откровения приспособленцев, которые прежде с гаденькой усмешечкой интересовались: «А вы случайно не против партии?» — а сегодня с такой же усмешечкой спрашивают: «А вы случайно не против реформ?»

«Но ведь были же еще диссиденты!» Были. Их роль в судьбе России на протяжении нескольких столетий — один из сложнейших вопросов отечественной истории. Трудно ведь давать однозначные оценки, когда историческая личность одной ногой стоит на бронемашине, а другой на опломбированном вагоне. Поэтому надо бы отказаться от восторженного придыхания, навязанного нам сначала авторами серии «Пламенные революционеры», а потом серии «Пламенные диссиденты», и предоставить делать выводы и переименовывать улицы нашим детям. А поспешность приводит обычно к тому, что, например, в Москве исчезла улица Чкалова, но зато осталось метро «Войковская», названное так в честь одного из организаторов убийства царской семьи.

Нет, я не против реформ и не говорю о рухнувшей империи лжи, я просто констатирую факт, что на ее развалинах возникло не царство правды, а обыкновенная республика вранья. Если огрубить ситуацию и выделить тенденцию, то люди решительно прекратили лгать ради «государственных устоев», взапуски начав врать в корыстных интересах, ради преуспевания клана, команды, политической партии, родного этноса... Собственно, ложь стала первой и пока единственной по-настоящему успешно приватизированной государственной собственностью...

Сегодня уже вдосталь осмеяно поколение людей, менявших свои убеждения согласно очередной передовой статье. В самом деле, эта готовность искренне разделить с государством его очередное заблуждение у кого-то вызывает презрительное недоумение, у кого-то горькое сочувствие, а у кого-то даже мазохистскую гордость. Но ирония истории заключается в том, что люди, осмеивающие тех, кто поверил, «будто уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме», сами поверили, что уже нынешнее поколение будет жить при капитализме. Как сказал поэт, «ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад!».

Стоит ли удивляться, как почти все наши более или менее крупные политики меняют убеждения в зависимости от «погоды». На первый взгляд вообще может показаться, что нас с вами держат за слабоумных. Но на самом-то деле все гораздо тоньше: тотальная опека коммунистической власти привела общественное сознание к инфантилизму, привычке все принимать на веру. А зачем, на самом деле, было анализировать и сравнивать, если от тебя все равно ничего не зависело. Но теперь-то зависит, и многое, а инерция доверчивости осталась. Ею-то очень умело пользуются сегодняшние не совсем честные и совсем нечестные политики. Но иногда они явно перебирают, путая инфантилизм с идиотизмом. Так, например, можно ли

себе вообразить, чтобы большевики в пылу борьбы за власть вдруг заявили, что в окружении государя императора затаились монархисты? Нонсенс! Но мы с вами постоянно слышим заявления о том, что в окружении президента полным-полно бывших партократов...

Однако самые яркие образцы индивидуально-утилитарного вранья, пришедшего на смену государственной лжи, мы имеем на телевидении, которое из коммунистического превратилось в демократическое, но, увы, не в смысле долгожданной объективности, а в узкопартийном (опять!) смысле. Честное слово, даже не знаю, что хуже: камнелицей, говорящий без запинки диктор застойного времени или нынешний комментатор, вечно путающийся, но при этом гражданственно морщащий лоб, интимно подмигивающий или инфернально ухмыляющийся! Но у первого по крайней мере не было выбора: ты говорящий солдат партии и будешь лгать, что прикажут. А новое поколение, такое самостоятельно мыслящее, такое раскованное, даже «Москву-Петушки» промеж правительственных сообщений цитирующее, что же оно? А оно вчера ликовало по поводу шахтеров, бастующих в поддержку демократии, а сегодня так же искренне сокрушается на предмет неразумных авиадиспетчеров, мучающих народ своими нелепыми стачками...

Поймите меня верно: я не наивный романтик и хорошо сознаю, что есть законы политической борьбы, тактика и стратегия, даже разные хитрости... Но уж если мы открестились от большевиков, главным принципом которых была политическая выгода любой ценой и вопреки всяким моральным нормам, то стоит ли в нынешней борьбе за власть пользоваться их «старым, но грозным оружием». Оно ведь обоюдострое!

Мне становится очень неудобно, когда я вижу, как пресловутое черно-белое мышление, еще недавно активно использовавшееся в смертельной схватке с мировым империализмом, сегодня просто-напросто переносится во внутривнутриполитическую жизнь. Кстати, не потому ли так легко нашли свое место в новом раскладе именно журналисты-международники? Все ведь, как и раньше, очень просто: правительство поддерживается цветом нации, оппозиция — красно-коричневыми люмпенами. А вот, кстати, и жуткая ушербная рожа, выхваченная камерой из толпы. И эти недочеловеки еще смеют бороться за власть?! Но, во-первых, неадекватных граждан достаточно на любом массовом мероприятии, только проправительственных шизоидов телевизор нам по возможности не показывает. А во-вторых, за что же тогда должна бороться оппозиция — за право делать педикюр членам правящей команды?

Только, ради Бога, не надо мне про конструктивную оппозицию! Конструктивная оппозиция — это когда инструктор райкома, сочиняя выступление ударнику труда, вставляет туда парочку критических замечаний, согласованных с обкомом.

Ну а если с высот большой политики спуститься, скажем, в мелкий и средний бизнес, то мы увидим, как эта «тактическая непорядочность» политиков трансформируется в откровенное жульничество в наших свежеселеных рыночных куцах. Я, конечно, читал и знаю, что период первоначального накопления всегда связан с криминальными явлениями, поэтому большое спасибо, если предприниматель придет приватизировать фабрику с мешком ваучеров, а не с мешком скальпов! Да и почему, собственно, деловой человек не должен по дешевке гнать за границу нашу медь, если главная власть этой самой загранице в рот смотрит и давно уже превратила Страну Советов в страну советов Международного валютного фонда. А почему бы мелкому чиновнику за определенное вознаграждение не закрыть глаза на сдаваемый за границу металлолом, если самая главная власть сдала за границу целый полуостров — и хоть бы что!

Человек, сегодня толкующий об упадке общественных нравов, в лучшем случае может вызвать снисходительную усмешку... Но ведь без нравственных устоев, без отказа как от государственной лжи, так и от индивидуально-утилитарного вранья ничего путного у нас не получится. Вместо рынка и процветания слепим грязную барахолку, в центре которой будет стоять игорный дом с теми же черными «персоналками» у подъезда и большим лозунгом на фронтоне: «Верным курсом идете, господа!»

Декабрь 1992 года

«ГОТТЕНТОТСКАЯ МОРАЛЬ»

Перед вами — новенький «мерседес». Будучи плюралистически мыслящей личностью, вы можете оценить это чудо западного автомобилестроения по-разному. Например — в долларах. Или — в лошадиных силах. Или — в количестве нервной энергии, потраченной деловым человеком, чтобы заработать эту валюту. Не исключена оценка в тоннах — в том смысле, сколько понадобилось сплавить за рубеж цветных металлов, дабы мечта о «мерседесе» материализовалась. Наконец, можно оценивать и по количеству пенсионеров, роющихся в помойках вследствие «преобразований», которые позволили предприимчивому человеку сменить одну иномарку на другую.

Что ж, о «цветущей сложности» жизни писал еще классик. Но если из всего многообразия точек зрения вы облюбовываете и абсолютизируете только одну и только потому, что она вам выгодна, то знайте: такое отношение к миру и живущим рядом называется «готтентотской моралью». Это — этическая система, точнее, антисистема, обладающая колоссальной разрушительной силой, хотя происхождение самого термина — «готтентотская мораль» — даже забавно.

Однажды миссионер спросил готтентота: «Что такое зло?» — «Это когда сосед украл у меня барана», — ответил тот. «Ну хорошо, а что же такое добро?» — «Это когда я украл у соседа барана...» Несмотря на первобытную незатейливость этого миропонимания, а может быть, именно благодаря ей «готтентотская мораль» все шире овладевает нашим обществом, все глубже проникает в него.

Возьмем, к примеру, самое страшное из всего, что происходит сейчас на нашей земле, — межнациональные войны и конфликты. Если вы попытаетесь уловить логику в предъявлении территориальных претензий, то просто голова закружится. В ход идет все: и затерявшаяся в веках история вхождения того или иного народа в Российскую империю, и нелепые административные границы, нагороженные неуспешными гимназистами, с горя пошедшими в революцию, и пакт «Молотова — Риббентропа», толкуемый как кому вздумается, и хрущевские шедроты, и автографы, которые в пылу борьбы за власть раздавали уже ныне действующие руководители... Впрочем, логика все же есть — «готтентотская».

С особой грустью смотрю я на экран телевизора. Ведь как грезилось: лишь падет большевистская цензура — получим мы объективную информацию о времени и о себе. Увы, ленинский принцип партийности (разновидность «готтентотской морали») продолжает торжествовать на ТВ, правда, с обратным, политическим знаком. Ну в самом деле, почему я должен узнавать последние новости в версии искромечущего Гурнова или трепетного Флярковского? Я просто-напросто хочу получать информацию, изложенную по возможности телегеничным и обладающим четкой артикуляцией диктором. А выводы я могу сделать сам.

Не знаю, как другим, но мне кажется подозрительным, когда про необходимость референдума о земле на телеэкране говорят, поют и даже пляшут, а противоположная точка зрения дается впроброс, да еще со словами комментатора, точно извиняющегося за «дауна», испортившего гостям ужин. Лично я за реформы и за демократическую Россию в широком смысле этого словосочетания. Но я не понимаю, что такое «враги реформ». Враги народа, что ли? Лично я сторонник рыночной экономики. Но меня берет оторопь, когда симпатичная дикторша вдруг злущим-презлущим голосом начинает говорить о «красно-коричневых люмпенах». Допустим, эти люди не хотят расставаться со своими коммунистическими убеждениями так же быстро, как расстались с ними многие из тех, кто вбивал всем нам в головы эти убеждения, в частности телевизионщики. А может быть, они вообще не хотят расставаться со своими убеждениями? Это — их право. История рассудит. Не будем забывать, что подобное уже было: красные профессора убедительно доказывали, а красные корреспонденты убедительно показывали неспособность крестьянина своим умом понять всю жуткую выгоду колхозов. «Готтентотская мораль» в мире информации — страшное дело!

Другой разговор — авторские программы. Если меня утомит пронзительный взгляд А. Политковского, словно бы подозревающего каждого своего собеседника в тяжком уголовном прошлом, я не стану смотреть «Политбюро», а буду оставаться с «Красным квадратом». Когда же я пресыщусь геополитическим конферансом А. Любимова, то переключусь на «Тему», где и без В. Листьева много достойных и умных людей. Но и в авторских программах хотелось бы более широкого спектра мнений. Например, по-моему, очевиден недостаток передач, сориентированных на формирование патриотических чувств. Нет, не советского патриотизма и не национал-патриотизма, а просто патриотических чувств. Ведь сегодня мы переживаем взрыв национального самосознания, некогда затоптанного силовым

интернационализмом. Если этот взрыв оформится в цивилизованное патриотическое сознание — мы обретем колоссальный источник творческой энергии для возрождения Отечества, да и для умиротворения конфликтов. Патриот с патриотом договорится. Националист с националистом — никогда.

Поэтому, когда я вижу на экране эдаких саркастических небожителей, рассуждающих об «этой стране», точно речь идет не об их Родине, а о неведомой территории, заселенной недоумками, мне хочется им по-спикеровски сказать: «Эх, ребята, что-то вы все-таки недопонимаете, несмотря на ваши умные усмешки и тщательную английскую интонацию. (Кстати, хотел бы посмотреть на английского теледиктора, говорящего с русской интонацией!) Именно недопонимаете, ибо человек, не желающий быть патриотом, обречен однажды проснуться в стране, где к власти пришли фашисты...»

Однако вернемся к рассматриваемому нами феномену «готтентотской морали» и посмотрим теперь, что происходит в искусстве, в частности в литературе. Сегодня, когда меняется идеология общества, точнее, разрушается старая идеология, идет и переоценка ценностей эстетических. Причем исподволь людям навязывается мнение: раз социально-политические принципы минувшей эпохи обанкротились, то изящную словесность этого времени тоже нужно выбросить в мусоропровод истории. Появился даже тип литературного предпринимателя — организатор поминок по советской литературе. Может быть, эти образованные и неглупые люди просто не понимают, что советская литература не исчерпывается беллетризированными комментариями к партийным постановлениям? Может быть, они не сознают, что место написания романа — Переделькино, Париж или котельная — далеко еще не определяют его художественный уровень. Понимают и сознают, просто тут мы как раз и вступаем в сферу «готтентотской морали».

Я искренне сочувствую иным нашим критикам и литературным активистам: им не терпится освободить ниши в старом «пантеоне», чтобы заставить их своими, собственноручно оформованными кумирами. Во-первых, льстит самолюбию, а во-вторых, обдуть пыль намного проще, чем пристально следить за сложными извилинами художественного процесса и давать им честное профессиональное объяснение. Вчитайтесь в критические разборы, публикуемые как в левой, так и в правой печати, и вы заметите характерную «готтентотскую» закономерность: создание новых, посткоммунистических литературных авторитетов часто идет по старому, соцреалистическому принципу. Наш, по-нашему думает, по-нашему сочиняет — «подсажу на пьедестал». Ну а если из чужой команды или вообще

какой-нибудь литератор, пишущий сам по себе,— не то что понимания, пощады не жди!

Говоря об этом, не могу не остановиться на одном примечательном факте нашей литературной жизни. Состоялось вручение британской премии Букера за лучший российский роман этого года, и лучшим романистом оказался Марк Харитонов, запомнившийся читателям своей повестью про Гоголя, опубликованной в середине семидесятых в «Новом мире». А в шестерку сильнейших, кроме него, вошли Л. Петрушевская, В. Маканин, Ф. Горенштейн, А. Иванченко, В. Сорокин. Все эти имена у меня сомнений не вызывают, а вызывают только уважение, за исключением, пожалуй, В. Сорокина, работы которого мне представляются подзатянувшимся и не очень талантливым розыгрышем как российской, так и зарубежной читающей публики. Хотя, быть может, я и ошибаюсь...

Но какое отношение к «готтентотской морали» имеет премия Букера, спросите вы? Имеет. И дело не в том, кто именно получил премию, хотя я бы на месте высокого жюри, коль уж выбирать из шестерых, поделил бы ее между Л. Петрушевской и В. Маканиным. А дело в том, что все шестеро принадлежат к одному, пусть уважаемому, достойному, но все-таки одному течению отечественной словесности. Конечно же, как люди одаренные, они не похожи друг на друга, но эта непохожесть, по-моему, укладывается в рамки общего эстетического и духовного направления. Только ведь, как я понимаю, наши британские доброжелатели намеревались в трудную годину поддержать всю российскую словесность, а не одно, пусть даже очень перспективное ее направление. Полагаю, учредители премии сами будут огорчены, когда поймут, что эта благотворительная акция вызвала в литературном мире больше недоуменных вопросов, чем слов благодарности. Впрочем, заграничным благодетелям не привыкать: они часто видят свою гуманитарную помощь на кооперативных прилавках, и втридорога...

Однако вернемся к нашим отечественным деятелям и господам, которые с родной словесностью поступают совершенно «по-готтентотски». Пока они боролись за власть, то охотно пользовались ее извечной тягой к переустройству мира. Но, усевшись в кресла, как-то сразу про нее и позабыли. А может быть, наоборот,— очень хорошо запомнили, на что способна российская литература, возглавлявшая перемен! Во всяком случае прежде стоял вопрос, может ли писатель на свои заработки содержать семью. Сегодня стоит вопрос, может ли семья на свои заработки содержать писателя. Тоталитарный режим гноил юные таланты в котельных и сторожках — это

общеизвестно. Но мало кто знает, что нынче и молодым, и пожилым литераторам гораздо чаще приходится идти в дворники, чем лет 10 назад.

«Все сегодня трудно живут!» — воскликнете вы и будете правы. Поэтому не кормления хочет творческий работник, а возможности заработать на прокорм. Как? Нереализованных возможностей много. Вот хотя бы одна. Скажите, пожалуйста, неужели деньги, потраченные на покупку несчетносерийных рыданий-страданий, после которых чувствуешь себя абсолютным латиноамериканцем, нельзя было пустить на развитие отечественной теледраматургии?

Да что там говорить, если о собственных ученых-атомщиках вспомнили лишь после того, как старшие американские товарищи обеспокоились расползанием ядерного оружия по планете. Об отечественной культуре вспомним, наверное, только в том случае, если атомная бомба бездуховности рванет так, что вылетят стекла и в Кремле, и в обоих белых домах.

И спросит миссионер русского: «Что такое зло?» — «Это когда сосед украл у меня барана...»

Январь 1993 года

ПОЧЕМУ Я ВДРУГ ЗАТОСКОВАЛ ПО СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Преждевременные мемуары

Сознаться сегодня в приличном обществе, что тоскуешь по советской эпохе,— примерно то же самое, как в году 25-м сознаться, что скучаешь по царизму. Расстрелять не расстреляют, но на будущее обязательно запомнят...

И все же.

Я не стану рассуждать о России, которую мы потеряли. Это тема необъятная, и об этом еще будут написаны тысячи томов стихов, прозы, публицистики, следственных дел. Я хочу немного поговорить о литературе, которую мы потеряли. О советской литературе. Согласен, само определение — «советская» — довольно нелепо. Почему в таком случае не «нардеповская» или «совнаркомовская»? Но, с другой стороны, ведь не вычеркиваем мы из мировой истории коренных обитателей Американского континента лишь потому, что в результате навигаторской ошибки их назвали «индейцами»? Хотя, кто знает, может, это и было первопричиной их печальной судьбы?..

Мы все в неоплатном долгу перед советской литературой. Говорю это совершенно серьезно, отбрасывая в сторону столь милую лично мне и моему поколению «мировую иронию». Именно она, советская литература, волей-неволей восприняв художественную и нравственную традицию отечественной классики, смогла противостоять той «варваризации» общества, которая неизбежна в результате любой революции. А известные заслуги литературы перед революцией обеспечили ей даже некоторые послабления: Священное писание в атеистическом государстве было фактически запрещено, а «Воскресение» или «Двенадцать» включались в школьную программу. Да и вообще «преодоление большевизма» началось уже тогда, когда красноармеец Марютка завывала над бездыханным белогвардейцем Говорухой-Отроком, а профессор Преображенский взял да и вернул Шарикова в первобытное состояние. И если бы большевики, опамятавшись, не начертали «Россия, единая и неделимая» симпатическими чернилами на своем красном знамени, то, вполне возможно, возвращение в лоно цивилизации происходило б не сегодня по записочкам Бурбулиса, а полвека назад по задачам И. Ильина. Кстати, не этим ли «симпатическим» лозунгом и объясняется обилие красных

флагов на митингах нынешней оппозиции, в своем большинстве совсем не мечтающей о возвращении в развитой тоталитаризм?

Да, 90% из написанного в советский период отечественной литературы сегодня читать невозможно. Точно так же, как невозможно сегодня читать 90% из всего написанного за последние семь десятилетий во Франции или в США. Эти книги устарели вместе со своей идеологией, которая есть в любом обществе, независимо от того, есть ли идеологический отдел ЦК. Там тоже были свои комиссары в пыльных шлемах, свои павлики морозовы, свои целинники и ферапонты головатые. Кстати, «Золотая фильмотека Голливуда», показываемая ныне по нашему ТВ, самое удивительное тому подтверждение! А социализм... Социализм был общепланетарным наваждением заканчивающегося века, а мы народ отзывчивый, увлекающийся. Знаете, как бывает: втянули ребята постарше простодушного паренька во что-нибудь, но сами-то вовремя опомнились, а паренек за всех и отдувался. И великая литература с ним тоже вместе отдувалась...

Всем еще памятно, какая у нас была цензура и как она охотно в отличие от своей дореволюционной предшественницы владела шпицрутеном! Тотальная была цензура: уйти от нее можно было, только эмигрировав, а преодолеть — только художественно. И ведь преодолевали! Борясь за свободу слова, советская литература была вынуждена выдавать тексты с такой многократной степенью надежности, что цензура была бессильна. Знаменитый подтекст Хемингуэя — забава в сравнении с подтекстами советских писателей. Это была мощнейшая и сложнейшая криптоэстетическая система, понятная читающей публике, да и цензуре тоже. Однако произведения, где инакомыслие достигало градуса художественности, входили (не всегда, но чаще, чем нынче изображают) в правила той странной игры, которая завершилась падением постылого режима и распадом горячо любимой страны.

Советская литература была властительницей дум в самом строгом и упойтельном смысле этого слова! Это настолько очевидно, что даже не буду доказывать, а просто предлагаю припомнить общественный трепет, связанный с выходом новой повести Ю. Трифонова или романа В. Астафьева, книги стихов Владимира Соколова или постановкой пьесы А. Вампилова... Имена подобраны в духе личных пристрастий, но каждый может длить этот список по своему вкусу. А обязательный ответственный работник ЦК КПСС, сидящий на писательских собраниях и строчащий в свой служебный блокнот, — это и фискальный знак эпохи, но это и знак уважения власти к литературе, к ее власти над умами...

Тут я, что называется, подставляю горло любому критику с большой дороги: мол, вот она, рабская натура, вот она, тоска по кнуту. Грешен, недовывадал из себя раба, но иногда мне кажется, что человек, родившийся и сложившийся в тоталитарном обществе, может выдать из себя раба только вместе с совестью. Во всяком случае исторически и психологически мне понятнее А. Фадеев, визирующий присланные с беспощадной Лубянки списки приговоренных, чем седоусый «апрелевец», призывающий набычившегося всенародно избранного «власть употребить».

Но пойдём дальше. Советская литература, особенно если брать ее последнюю золотую четверть века, была той редкостной сферой, где осуществилось почти все, декларированное, но не воплощенное в жизнь большевиками. (Не путать с коммунистами — они у нас у власти никогда не были.) Но история ждаться не любит, поэтому объяснения нынешних политиков, исповедующих коммунистические ценности, напоминают обещания отвергнутого мужа не изменять и носить на руках. С одной стороны, очень хочется верить, а с другой, обидно второй раз оказаться в дураках. Итак, в литературе мы имели жизнь, где в конечном счете побеждали или хотя бы, погибая, показывали свое нравственное превосходство люди честные, добрые, талантливые, бескорыстные... А что касается книжек про кулаков и вредителей, то это тоже наднациональная черта любой литературы — образ врага. Только мы самокритично нажимали на врага внутреннего; а те же американцы — на врага внешнего. Сегодня, когда идет обвальная перевод средней американской литературы, этот факт очевиден. Кстати, может быть, именно поэтому они остались сверхдержавой, в то время как мы спихнулись с дистанции.

А привитая у нас в стране любовь к художественному слову! Где это, интересно знать, не сотня-другая эстетов, а сотни тысяч обыкновенных людей читали бы интеллектуальную прозу А. Битова или разгадывали историко-литературные шарады мовиста В. Катаева? Или покупали из-под полы долгожданную первую книжку Олега Чухонцева? Нет, иногда мне кажется, что развитый социализм — это лучший строй для обеспечения читательского досуга. Если б он еще изобилие обеспечивал — цены б ему не было! Однако серьезные ученые уверяют, что мировая цивилизация будет развиваться в сторону ограничения потребительской разнузданности. Раз так — к опыту социализма, запечатленного, в частности, в советской литературе, человечество еще вернется.

А вспомним дни советской литературы! Писатели, подавленные местным гостеприимством, влекутся вдоль бесконечного

конвейера того же КамАЗа и вяло слушают объяснения главного инженера. А вечером — многотысячный зал, и заводчане, как тогда выражались, слушают гостей-писателей, а наиболее любимых узнают и хлопают заранее. И если во время такого вечера Сергей Михалков в президиуме наклонится к первому секретарю горкома и попросит дать квартиру местному талантливому поэту — через месяц-два новоселье! Я не любил дней литературы: мне было стыдно похмельно шататься среди работающих людей, мне была смешна организованная местным агитпропом всенародная любовь к литературе. Но нынешнее забвение и равнодушие, оно не смешно, а страшно. Девочке, которая хочет «во-от такой миллион», неинтересен Том Сойер, если он не находит в конце клада.

В литературе же сегодня, как мне приходилось уже писать, «кафейный период» — был такой в гражданскую войну, когда все остановилось, и чтоб обнародовать свое новое творение, писатель заходил в литературное кафе, заказывал на последние морковный кофе и ждал кого-нибудь в слушатели. На заваленных всем, чем угодно, — от Сведенборга до «Счастливой проститутки» — книжных прилавках современных российских писателей вы почти не найдете. Их издавать невыгодно — и поэтому у них «кафейный период». Заметьте, я говорю не об идейно выдержанных бездарях, они-то как раз устроились и рьяно обслуживают теперь каждый свою крайность. Я говорю о талантливых писателях, которых читали, обсуждали, покупали... Они стали хуже писать? Нет, просто люди стали хуже читать. Привычка к серьезному чтению — такое же достояние нации, как высокая рождаемость или низкое число разводов. Добиться трудно — а утратить очень легко. Ведь добро должно быть не с кулаками, а с присосками, чтобы не соскользнуть по ледяному зеркалу зла в преисподнюю. Восстановление поголовья серьезной читательской публики — общенациональная задача на ближайшие десятилетия.

Но как же случилось, что отечественная литература оказалась в брошенках именно тогда, когда она, к счастью, духовно обеспечила победу демократии и, к несчастью, победу демократов?! Ну подумайте сами: на площади людей против партократов выводило истощенное чувство социальной справедливости, воспитанное, между прочим, этой самой советской литературой. Вроде как и поблагодарить надо. Ан, нет, какой-нибудь косноязычный партократ, брошенный с коксохимии на культуру, заботился о писателях поболее, чем наши нынешние деятели, которые, как и Ленин, совершенно справедливо в графе «профессия» могут писать «литератор». Литераторы — и по результатам политической деятельности, и по вкладу в родину

словесность: жанр мемуаров быстрого реагирования изобретен ими.

В чем же дело? Руки у них не доходят? Возможно... Но я подозреваю, дело в другом: литература — властительница дум может снова вывести людей на площади, на этот раз с прямо противоположными целями. Допустить этого нельзя, но снова затевать цензуру — глупо. Во-первых, сами промеж собой недодрались, а во-вторых, снова у писателей появится ореол мучеников — и, значит, влияние на умы. Все можно сделать гораздо проще. Горстью монет, сыпанной в носок, можно прибить человека, а можно и литературу. Надо только знать, куда ударить...

Написал — и засомневался: сгустил по российской литературной традиции краски. Потом подумал, еще раз поозирался кругом и понял: ничего я не перебрал. Одни писатели (в количестве, даже не снившемся застою) работают, чтоб прокормиться, сторожами, грузчиками, лифтерами, но западные журналисты не заезжают, чтоб узнать, как идет работа над романом-бомбой. Другие ушли в политику, но там, сами понимаете, вовремя разбитые очки важнее вовремя написанной поэмы. Третьи стали международными коммивояжерами и мотаются по миру, чтоб с помощью родни и друзей пристроить свой лет двадцать назад написанный роман, про который и в России-то никто слыхом не слыхивал. Четвертые ушли в глухую оппозицию, пишут в стол, но ящик стола уже не напоминает ящик Пандоры, а скорее свинцовый могильник, да и за несуетную оппозицию теперь не дают госдачи в Переделкине, как прежде. Пятые... На похоронах пятого, моего ровесника, я был недавно.

А когда я думаю о советской литературе, у меня на глаза наворачиваются ностальгические слезы, как если б я зашел в мою родную школу.

20 июля 1993 года

СНОВА — «КАФЕЙНЫЙ» ПЕРИОД

Заметки писателя

Люди просвещенные, конечно, знают, что вскоре после Октября начался так называемый «кафейный» период отечественной словесности. Назывался он так, потому что в разоренной гражданской войной России книги почти не выходили и голодные писатели собирались в нетопленных кафешках, пили, если повезет, морковный кофе и читали друг другу новые стихи, прозу...

Подобный «кафейный» период мы переживаем и сегодня. Слава Богу, социально-политическое противостояние еще не обернулось гражданской войной, а экономическая неразбериха — разрухой. И даже лотки — в отличие от тех давних времен — завалены свежоотпечатанными книгами. И тем не менее наша современная литература переживает второй «кафейный» период.

Конечно, если смотреть на ситуацию из бронированного правительственного лимузина, мчащегося по улицам с той же скоростью, что и в прежние времена, то может показаться: с чем уж, а с книгами у нас все в порядке! Но достаточно остановить машину, подойти к одному из лотков, чтобы понять — в стране произошла духовная катастрофа, ибо тотальный контроль в книгоиздательском деле сменился не свободой, а тотальной вседозволенностью. На людей, особенно на молодежь, обрушился девятый вал недостойной серьезного внимания, а то и просто непристойной литературы. Даже иностранцы качают головами, мол, нашли, что у нас позаимствовать!

Поверьте, я не ханжа и не вижу катастрофы в том, что подросток в пору пробуждения основного инстинкта читает «Эммануэль» или «Счастливую проститутку». Доставали и читали в самые пуританские времена. Катастрофа в том, что если нынешняя ситуация закрепится, то юный человек даже не узнает, что про то же самое, оказывается, написана «Митина любовь» или «Крейцера соната». Он попросту нигде не найдет этих книг. Эстетический вкус народа — вещь настолько хрупкая, что его нужно хранить в вате, а мы грохнули по нему миллионами пудов постыдной книжной макулатуры...

У писателей есть такое профессиональное выражение — «писать в стол». В годы всемогущества цензуры в стол писали десятки литераторов. Нас не печатали по идеологическим сооб-

ражениям. Моя повесть «Сто дней до приказа» пролежала в столе семь лет. И это далеко не рекорд... Сегодня, в период отсутствия цензуры, тысячи писателей пишут в стол. Их не печатают по экономическим соображениям. Невыгодно. Даже шутят: «А вы пишете так, чтобы раскупали, как «Счастливую проститутку», будем печатать!»

Хочу напомнить таким книгопродавцам один эпизод. Однажды, беседуя со своими учениками о смысле жизни, Сократ прогуливался по садам Ликия. К нему подошел богатый вино-торговец и сказал: «Я пообещаю твоим ученикам дармовую выпивку и хорошеньких рабынь, и они тут же уйдут со мной. Не веришь?» — «Охотно верю, — ответил Сократ. — Ведь тебе намного легче: ты тянешь людей вниз, а я стараюсь поднять хоть чуть-чуть вверх...»

Теперь часто можно слышать воспоминания о том, как молодые талантливые писатели, затираемые прежним режимом, были вынуждены, чтобы просуществовать, работать истопниками и сторожами. Но почему-то помалкивают о том, что сегодня большинство писателей, чтобы просуществовать, чтобы заработать на свой «морковный кофе», вынуждены заниматься чем угодно, но только не литературным трудом. Нет, я имею в виду не идеологически выверенных бездарей, набившихся в литературу в застойные времена, а настоящих, талантливых писателей, чьи книги покупались, читались, обсуждались... Можно, можно успокоить себя тем, что они, мол, стали хуже писать. А может быть, наоборот, люди стали хуже читать. Так ведь тоже бывает... Недавно по телевизору выступал наемный убийца, киллер. Отвечая на вопрос, почему наших душегубов охотно приглашают для выполнения специфических поручений на Запад, он сказал примерно следующее: «У них на Западе культура... Там даже профессионалу трудно поднять руку на себе подобного. А у нас с культурой стало совсем плохо. Мы уьем, и уьем задешево...» О том, что в Отечестве плохо с культурой, знает даже киллер!

Отечественная словесность — важнейшая составная часть национальной культуры. А литературный процесс без отлаженного, продуманного книгоиздательского процесса развиваться не может. Особенно больно случившееся ударило по молодым литераторам. Прежде существовала отлаженная, даже заорганизованная система работы с молодыми литераторами, обеспечивавшая постоянную подпитку отечественной словесности молодыми талантами. На первых книжках и публикациях издатели и не помышляли заработать. Даже замшелые партократы предоставляли начинающему писателю эту привилегию — быть убыточным. Но, увы, в ходе всенародной

борьбы с привилегиями привилегии сохранила и приумножила только власть. Все остальные, включая молодых и немолодых литераторов, их лишились...

И вообще, покидая социалистические куши, мы, подобно неопытным переселенцам, все побросали на старом месте, мол, на новом месте все будет и даже еще лучше! Ан, нет... Ну, в самом деле, кому мешала государственная поддержка издательств — при невмешательстве в тематическое планирование?! Кому мешала отлаженная система сбора заказов и распространения книг? Кому мешали издательства, остававшиеся федеральной собственностью и способные противостоят неразборчивому диктату книжного рынка? Ведь об умном рынке, по крайней мере в отношении книг, могут всерьез рассуждать только неумные люди...

Уже говорено и переговорено про то, что экономящие на отечественной культуре — экономят на будущем своего Отечества. Но ведь поразительный факт: эта расточительная экономия торжествует именно тогда, когда к власти пришли люди, гордящиеся своим хорошим образованием и выдающимся языкознанием, а ее пик пришелся на ту пору, когда в правительстве руководил писательский внук и сын. Да ведь и почти все наши нынешние лидеры смело могут называть себя деятелями культуры, писателями... Более того, они даже подарили родной литературе новый жанр, который я бы назвал мемуарами быстрого реагирования! А вот поди ж ты! Ну, взгляните хотя бы на список телефонов Министерства печати. Управление книгоиздания и книготорговли — титульное, как теперь принято выражаться, стоит на самом последнем месте, даже после управления капитального строительства...

Так ли уж все действительно плохо, или я впал в традиционный грех отечественной словесности — сгущать краски и говорить больше о плохом? Конечно, есть и хорошее. Ну, например, люди, которые во времена книжного бума заработали миллионы, заваливая страну гнилыми запретными плодами, слава Богу, ушли из книжного бизнеса, перенесли свои интересы в сферу торговли алкоголем. Теперь они успешно травят и ослепляют население, но уже не в духовном, а в физиологическом смысле. Сегодня, к счастью, все чаще можно услышать об издателях, пытающихся продолжить благородные традиции Сытина и братьев Сабашниковых. Понятное дело, эти люди, сознающие, что книга — товар особый, одухотворенный, в период бума не стали миллионщиками. Отсюда и их сегодняшние проблемы.

Приведу лишь один пример — мне близкий. Издательство «Культура» из подмосковного города Пушкина, возглавляемое

Аркадием Петровым. Вот только несколько выпущенных здесь названий: двухтомник Тютчева, воспоминания Фета в трех томах, многотомная биография российских военачальников Бантыш-Каменского, Бердяев, Артур Миллер, Кир Булычев, Борис Можаяев, «Золотая детская библиотека»... Надо ли говорить, что таким издателям, старающимся тянуть людей вверх, а не вниз, издавать классику и хорошую современную литературу, помогать молодым писателям, живется трудно? Именно они заслуживают целевой государственной поддержки, льготных кредитов и освобождения от удушающего налогообложения. Ведь, отбирая у таких, как Аркадий Петров, последнее, государство не богатеет, а напротив — беднеет.

Давно пора России присоединиться к Флорентийскому соглашению. Во всем мире книги путешествуют без границ. А у нас, наоборот, городятся все новые кордоны и препоны для книг в рамках СНГ. Книга на родном языке становится проблемой для наших соотечественников, волею судеб и чужих амбиций оказавшихся за рубежами России. Руководители иных новых суверенных государств в ответ на неумную и явно преувеличиваемую русификацию времен застоя притесняют не только политические, но и культурно-духовные права тех, кто думает по-русски. За это они поплатятся, и даже скорее, чем полагают, ибо насилие над чужой культурой — самый короткий путь вместо соседа обрести недруга. Но пока, убежден, снабжение русской диаспоры книгами на родном языке, особенно детскими, должно быть взято под контроль российского правительства и общественности. Очень, очень хочется верить, что все мы сообща, при поддержке обретшего государственное мышление государства, сделаем так, чтобы конец двадцатого века не был для отечественной литературы постыдным «кафейным» периодом, а для российской книги стал бы пусть не золотым и даже не серебряным, но уж никак не каменным веком...

5 августа 1993 года

Я НЕ ЛЮБЛЮ ИРОНИИ ТВОЕЙ

Начну, как это ни предосудительно, с самоцитирования. Лет пять назад я опубликовал в «ЛГ» статью, где были, между прочим, и такие строки: «Блистательный щит иронии! Мы закрывались им, когда на нас обрушивались грязепады выпренного вранья, и, может быть, поэтому не окаменели...» Сегодня от этих слов я не отказываюсь. Да, ирония в купе с самоиронией была средством психологической, нравственной защиты от нелепого жизнеустройства, а автор этих строк был именно за ироничность своих повестей и бит, и хвалим. Напоминаю все это не из тщеславия, а лишь для того, чтобы неискушенный читатель не подумал, будто имеет дело с эдаким Угрюм-Бурчеевым, которому вообще не нравится, когда люди улыбаются, а тем более смеются.

Это преамбула. А теперь суть: за последние годы, на мой взгляд, ирония из средства самозащиты превратилась в важный и весьма агрессивный элемент государственной идеологии. Если оттолкнуться от лозунговой классики, то можно сформулировать так: «Капитализм есть частная собственность плюс иронизация всей страны». Выглядит поначалу неожиданно, но — порассуждаем.

Помните, при социализме сатира была эдакой смешливой Золушкой, которая, старательно начищая хозяйские позументы, иногда прыскала в ладошку? Но Золушка вышла замуж за принца, а принц в результате дворцового переворота стал королем. И вот сатира-золушка становится чуть ли не главным действующим лицом нашей жизни, заполняет эфир и печать, без сардонической усмешки теперь вроде как и слово-то сказать неудобно. Сатирик вместо генсека поздравляет теперь народ с Новым годом. Тенденция...

Смеясь, человечество расстается со своим прошлым. Хоть и сказано это классиком, ныне не почитаемым, но сказано в принципе верно. Но ведь можно взглянуть на это и с точки зрения управляемых процессов. Заставить общество забыть о своем прошлом, а лучше даже возненавидеть его — задача любой революции, особенно если воплощение ее идеалов в жизнь идет неважнецки.

А теперь постарайтесь вспомнить смысл юмористических и сатирических произведений, слышанных и читанных вами за

последние годы. Смысл таков: какая постыдно смешная жизнь была у нас ДО, как нелепы люди, тоскующие о прошлом, как омерзительны те, кто пытается сопротивляться тому, что наступило ПОСЛЕ. Но ведь это как две капли воды похоже на пресловутое «одемянивание» литературы, предпринятое в свое время большевиками. И суть та же. Сидя в измордованном, голодном Петрограде, обыватель не должен был вспоминать о прошлом как об относительно спокойной и безбедной жизни, пусть даже и с квартальным. Он должен был вспоминать исключительно о проклятом царизме с фабрикантами-кровососами, попами-пьяницами и т. д. История, увы, повторяется, и не в лучших своих эпизодах. Поговорите сегодня с пенсионеркой, роющейся в мусорном баке! Она между делом охотно поведает вам про злодеев-партократов, сховавших народные денежки за границей, а может быть, и расскажет неприличный анекдот про Брежнева, слышанный давеча по телевизору в передаче, посвященной вопросам организации детского питания. Этот тотальный иронизм напоминает мне массовый забег партхозактива в городе, где первый секретарь увлекается бегом трусцой...

Тут я хочу сделать небольшое мемуарное отступление, имеющее, впрочем, отношение к нашим рассуждениям. Однажды в пору моей комсомольской юности (а у меня была-таки именно комсомольская юность) мне дали поручение — пригласить на вечер отдыха молодежи какого-нибудь профессионального юмориста. Я отправился в Москонцерт, но там мне объяснили, что в связи с праздничными мероприятиями всех мастеров веселого жанра расхватали, остался один, но брать его не советуют. Почему? В ответ только отвели глаза, как отводят родители, когда их чадо испортит за столом гостям аппетит. Я же, воспитанный на Жванецком, подумал Бог знает что, все-таки пригласил и получил в результате выговор, правда, без занесения. Дело в том, что мой юморист, лепетавший какую-то хреновину про тещу, про пиджак с брючинами вместо рукавов, про «диван с матросом», был освистан и позорно согнан со сцены... К чему я это? Объясню, но сначала еще одно воспоминание.

Когда я был молодым писателем (существовала такая категория трудящихся, коварно опекаемая тоталитарным государством, а ныне честно, без сюзюканий умертвленная государством демократическим), так вот, когда я был молодым поэтом, мы организовывали небольшие литературные бригады и ездили на заработки по линии бюро пропаганды по городам и весям, выступая перед рабочими, колхозниками, трудовой интеллигенцией и т. д. Сатирик-юморист был непременно членом такого скоротечного трудового коллектива, и поэтому

за несколько лет передо мной прошел тогда почти весь веселый цех отечественной словесности. Обратил я внимание на одну любопытную деталь: обычно сатирик во время встречи исполнял одну-две-три собственных вещицы, остальное же — шутки, репризы, хохмы, даже экспромты — были у всех у них совершенно одинаковые, слово в слово. Да и сами они не стеснясь именовали это «коммунальным юмором», объясняя, что добрая острота в голову приходит редко, а жить-то надо да и народ смешить тоже.

Теперь о том, к чему это я, сравнительно молодой еще человек, вдруг впал в мемуаристику. Того самого освистанного юмориста я нынче чуть ли не каждый день вижу по телевизору, острит он так же бездарно — только теперь не про «диван с матросом», а про «неверного Руслана» или про сталинские усы... Только освистать его теперь нельзя, разве что ящик выключить. Попадаются и бывлые спутники давних поездок на заработки. Юмор все тот же — коммунальный, но только теперь все, как один, шутят про «страну, которую путчит», про «парламент, который можно преобразовать в дурдом простой сменой вывески», и т. д. В общем, в смысле качества ничего не изменилось. Изменилось лишь — разительно! — количество людей, охватываемых этим неприличным качеством. Плохонький юмор, да свой! Ильич ведь тоже Демьяна невысоко ставил, а жил он, Бедный, между прочим, в Кремле. Параллели, думаю, проведете сами.

А я, раз уж коснулся телевидения, продолжу эту тему. Да, раньше, при социализме у нас было очень серьезное телевидение. Юмор строго дозировался, точно критические абзацы в партийном докладе. Да, это было телевидение со сжатыми зубами. Сегодня мы имеем зубоскалящее телевидение. Что лучше, право, не знаю... Ну, почему, например, я должен выслушивать последние вести из уст дикторши, которая непрестанно кривит эти самые уста в саркастической усмешке? Мне нужна информация, а не личное отношение к этой информации служащего (ей) ТВ. Оно меня абсолютно не интересует, как не интересует, что думает о жизни и политике кассир сбербанка, куда я ношу мои деньги.

Нет, конечно, я не младенец и понимаю: идет политическая борьба, где основной прием — представить противника одновременно дураком и жуликом. Как соединяются в человеке эти два достаточно разнонаправленных качества — не важно. Ладно, есть специализированные передачи, где политики, как в известных западных шоу, могут на глазах у всей страны вывалить друг друга в грязь. Ведь сказано же: политика — дело грязное. Но ухмыляющийся диктор! Ведь, как я понимаю, в его задачу входит по возможности с выражением и без речевых ошибок

донести до рядовых налогоплательщиков, среди которых могут быть и горячие сторонники президента, и не менее горячие противники, текущую информацию. И все? И все. Но нет: он, диктор, скорее будет запинаться, путаться, разевать по-рыбий рот, позабыв нажать какую-то кнопку, но никогда не забудет съязвить по поводу того, что Рущкому здорово пришлось бы раскошелиться, найми он носильщиков, чтоб перетащить свои чемоданы с компроматом. Стоило корячиться, ломать советскую империю лжи, чтобы дикторы снова были у нас бойцами идеологического фронта да еще отличниками боевой и политической подготовки! Да что там дикторы... Я накануне референдума в метро слышал, как дежурная при эскалаторе говорила в микрофон: «Не ставьте вещи на ступеньки. Держитесь за поручни. ДА-ДА-НЕТ-ДА...»

Если б я писал статью специально об иронизации ТВ в рамках иронизации всей страны, то я, конечно, остановился бы подробно на появлении особого типа телеинтервьюера, которому важно не выспросить «гостя студии», а высмеять его. Зачем? Старший приказал. Эти журналисты отличаются друг от друга лицом, полом, интеллектом, но есть неизменно общее: ангажированность под видом правдолюбия и хамство под видом ироничности.

По моему глубокому убеждению, ирония приличного человека предполагает прежде всего самоиронию. Это как бы нравственное условие, дающее право смеяться над другими, точнее — и над другими. Этот маленький союзик «и» имеет огромное моральное, этическое значение! Потеряй его — и тогда можно иронизировать, а верней, уже глумиться над чем угодно, даже над тем, что по крайней мере в христианской этике табуировано, например над смертью, пусть даже врага. «Ликовать — не хвастливо в час победы самой» (А. Твардовский).

Впрочем, хвастливость и глумливость, поражающая впоследствии духовную жизнь общества, может сначала просто мелькать в литературном эксперименте и выглядеть как тонкая игра насмешливых реминисценций, без чего и сам я, грешный, честно говоря, не представляю себе творчества. Но есть «заветная черта» — ее лучше не переступать, даже эпатируя публику:

О страна моя родная
Понесла ты в эту ночь
И не сына и не дочь
А тяжелую утрату
Понесла ее куда ты?

(Д. А. ПРИГОВ)

Позже, спустившись с горних высот литературного эксперимента, эта «некротическая» ирония превращается в пошлое газетное зубоскальство. Очень мне запомнился один случай. В разделе «Происшествия» заголовок «Генерал — в лепешку!». Едучи в черной, естественно, «Волге», какой-то генерал врезался в «КраЗ». Оказывается, даже генералы разбиваются в лепешку. А в следующем номере абсолютно искреннее прощание с «давним другом и автором нашей газеты» генералом имярек, «погибшим в результате трагической случайности». Просто генерал своим оказался. А если б чужим?

Потом, вырвавшись на простор политической борьбы, этот «некротический иронизм» уже не знает удержу. Достаточно напомнить читателю постоянные остроты в СМИ по поводу самоубийства Пуго. Лично недавно видел по телевизору передачу, где явно неприличные стихи приличного в общем-то поэта иллюстрировались почему-то портретом бывшего министра внутренних дел в траурной рамке. Зачем? Ведь самоубийство после неудавшегося политического замысла — поступок, заслуживающий если не подражания, то уважения. А может, именно затем... Ведь у нас есть политики, наворотившие такого, что не застрелиться — четвертоваться впору, а они живут припеваючи и организуют что-то среднее между фондами и фрондами...

Обобщим. Превращение иронии в госидеологию, точнее, в идеологию правящей политической партии ведет в конечном счете, какие бы цели оно ни преследовало, к снижению нравственности в обществе. От насмешки над чужой смертью до бессмысленного убийства случайного прохожего не так уж и далеко. Ирония — это форма инакомыслия, свойственного человеку, если верить некоторым ученым, с прединсторических времен. У нас в стране за последние годы ирония превратилась в форму борьбы с инакомыслием. Причем осмеянию подвергается не суть инакомыслия, а сам его факт. Точно так же, как партocrats боролись не с причинами диссидентства, а лишь с его явными проявлениями. Но они-то, упертые, делали это всерьез, а нужно, оказывается, шутя. Гораздо эффективнее...

«А что,— спросите вы,— разве нынешняя оппозиция не насмешничает, не иронизирует, не издевается?» Без сомнения! И если, придя к власти, она тоже захочет сделать иронию госидеологией, я напишу новую статью. И начну ее, быть может, такими строчками классика:

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим...

(Н. НЕКРАСОВ)

18 августа 1993 года

СМЕНА ВСЕХ

Своевременные мысли

Стыдно. Пожалуй, именно это слово наиболее полно передает то состояние, в котором нынче пребывает любой здравомыслящий человек, если он воспринимает Россию как Отечество, как свой дом, а не дешевую мебелирашку, откуда можно в любое время съехать, прихватив с собой казенный табурет с жестяной биркой на боку.

Мне стыдно, что уже второй раз за одно столетие, ничему не научившись на своих ошибках, мы, борясь против обветшалого политического и экономического устройства, нанесли сокрушительный удар по собственной державе. Это, знаете, как если б человека, страдающего общей слабостью, отлупили до полусмерти, чтобы включить защитные силы организма. Они могут включиться тогда, когда защищать будет уже, увы, нечего.

А минувший год? Стыдно было слушать эти бесконечные «страшилки» про надвигающийся переворот — о чем плели сатирики с эстрады, пели поседелые рок-певцы, зловеще предупреждали массовики-геополитики, остерегали наиболее чуткие депутаты, многие из которых сегодня деловито перепрыгнули с одной ветки власти на другую. Это, право слово, очень напоминало ситуацию, когда все энергично ищут любовника в доме, забывая только заглянуть в постель к молоденькой хозяйке.

Мне стыдно, что президент устал. Во всех смыслах. Достаточно, даже не обладая специальными знаниями, взглянуть в его лицо, появляющееся на телеэкране. Но особенно мне стыдно, что он устал на манер знаменитого матроса Железняка с его приснопамятным караулом. В те годы тоже, насколько мне известно, не все симпатизировали Учредительному собранию, и его состав многим не нравился. Даже А. Блок, если помните, в «Двенадцати» иронизировал над «учредилкой». Но знаете, бывают такие родинки на коже, некрасивые, даже уродливые, а сковырнешь — и кровь потом ни за что не остановишь.

Мне стыдно за наш разогнанный парламент. Нет, не за его состав, который не более нелеп, чем президентская команда, в значительной степени из этого самого парламента и рекрутированная. Качественный состав и первого, и второго органов

отражает то помутнение народного сознания, каковое всегда происходит, если из затхлого помещения выбежать на свежий воздух. Мне стыдно, что эти люди, так громко спорившие «о будущих видах России», оказались в критическую минуту абсолютно беспомощны и беззащитны. В их кобуре, которую они так многозначительно оглаживали, пикируясь с исполнительными своими противниками, оказался огурец. А ведь это фактически те самые люди, что в 91-м активно участвовали в августовских игрищах. Они же отлично знают, как это делается. Они же знают, как подвыпившую массовку можно объявить героическими защитниками, а можно — обнаглевшей чернью и люмпенами. Все зависит от того, кто владеет пятисотметровой волшебной дубиной с бесполом названием «Останкино». Да, большую часть парламента нужно было давно выгнать из политики за профнепригодность без выходного пособия! Но разгонять парламент — это совсем другое...

Мне стыдно за нашу отечественную интеллигенцию — она так и осталась советской в самом неизъяснимом и неисчерпаемом смысле этого слова. Как ретиво она начала озвучивать и расцвечивать идею большого скачка в рынок и демократию, даже не озаботившись, чем такая поспешность может обернуться для людей, да и для нее самой. С нравственной точки зрения ухватистые пропагандисты умного рынка и просвещенного фермерства ничем не отличаются от воспевал стальной индустрии и поголовной коллективизации. И для тех, и для этих цена, заплаченная народом, значения не имеет. Более того, будь человеческий век подольше, это вообще были б одни и те же люди! А ведь на самом-то деле главная задача интеллигенции быть интеллектуальной лабораторией и нравственным арбитражем властей перестраивающих. Ее задача — помочь правильно установить парусную систему государственного корабля, а не дуть в паруса, лиловея от натуги и стараясь, чтобы их усердие заметили если не капитан, то хотя бы старпом. Увы, процесс превращения советской интеллигенции в российскую долог, мучительно труден, а те, кто торопится, часто выдавливают из себя раба вместе с совестью.

Мне стыдно, что в России усиленно раздувается национализм. В России, многонациональной, мешаной-перемешаной революцией, войнами, депортациями, массовыми перебросками молодежи, ехавшей «за запахом тайги»... В России, где население всегда отличалось небывалой широтой положительной комплиментарности, если пользоваться терминологией гениального Л. Гумилева! А попросту говоря, в России никогда не встречали и не провожали по форме носа или цвету волос, а только — по уму и верной службе Отечеству. У меня просто

уши от стыда теплятся, когда я слышу по телевизору разные заявления о том, что тот же Хасбулатов чужд русскому народу не в силу политических взглядов, а по причине своего врожденного чеченства. Руслан Имранович никогда не был героем моих политических грез, но когда я слышу такое, у меня возникает вопрос — вы там, в пресс-секретариатах, когда-нибудь думаете? Этого нельзя было заявлять даже в том случае, если б в России было только две национальности — русские и чеченцы. Стоит только начать оценивать политиков с точки зрения национальной принадлежности — и сами не заметите, как политический Олимп превратится в Лысую гору!

Мне стыдно думать о судьбе русских людей, оказавшихся за границей или в горячих точках. В отношении к ним мы ведем себя, как древние римляне периода упадка — «А говорят, на рубежах бои...» Ну и что предпринимает власть российская по поводу попрания их духовных и политических прав? Безмолвствует или витиевато уходит от трагедии. А на самом деле это только кажется, что Жуковка или Барвиха ближе к Москве, чем Нарва или Приднестровье. На самом-то деле Нарва и Приднестровье гораздо ближе.

Мне стыдно смотреть в глаза пожилым людям, которые подходят на улице к тем, кто побогаче одет, и просят на хлеб. Омерседесить полпроцента населения и завалить города дорогами западными неликвидами — еще совсем не значит влиться в не очень-то дружную семью цивилизованных народов. Страна, где профессор медицины получает меньше, чем подросток, подторговывающий анальгином, обречена. Порядочный политик застрелился бы, узнав, что научную элиту его страны взял, спасая от голода, на содержание зарубежный фонд. Но вместо выстрелов слышны только хлопки шампанского на бесконечных раутах. А когда снова станут актуальными строчки Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков жуй...» — те, кто успеет отступить на заранее подготовленные калифорнийские виллы, будут жалостливо объяснять доверчивой западной общественности, что-де дикий русский народ не понял своего счастья и погубил нетерпеливостью замечательные реформы. А доверчивый западный обыватель будет кивать, не догадываясь, что сам бы не выдержал не только нескольких лет, нескольких недель таких реформ!

Мне стыдно смотреть на наших сегодняшних политиков. Начнем с того, что у хорошего политика должно быть лицо семейного доктора, которому вы с легким сердцем разрешите осмотреть вашу жену по самому сокровенному вопросу. А теперь мысленно переберите галерею наших нынешних вершителей. Вопросы есть? Вопросов нет. Впрочем, один все-таки

есть: где были наши глаза и мозги?! Я прежде думал, что не бывает ничего более удручающего, чем президиум съезда компартии. Я ошибался... Отличительная черта большинства тех, кто был прежде, — бездарность. Отличительная черта большинства тех, кто сейчас, — бессовестность. Не знаю, право, что и хуже!

Когда на экране появляется политик имярек, уже поработавший на конкретной должности и заваливший все, даже то, что по своей природной особенности и заваливаться-то неспособно, когда он начинает наставлять, как нужно жить и каким курсом вести страну, мне хочется сделать то, чего я никогда не делал: позвонить по контактному телефону и сложносочиненно выругаться. Очень интересно наблюдать, как госдеятель, попавшийся на коррупционерских штучках, подвижнически глядя в телеобъектив, учит меня, грешного, нравственным ценностям! Еще очень хорош внешнеполитический деятель, который с вялым миротворчеством объясняет соотечественникам, что утрата той или иной страной территории — дело житейское и особенно огорчаться тут нечего: ведь планета — наш общий дом и так ли важно, где проходит граница. Французский госмуж, сказавший что-нибудь подобное, например, о Корсике, на следующий день исчез бы из политики, как плевок с раскаленной каминной решетки. А мы терпим — и первого, и второго, и третьего...

Мне стыдно за себя. Потому что многие из нынешних верховодов, особенно мои ровесники, начинали на моих глазах, и, наблюдая их первые робкие шажки и отлично зная цену этим людям, я только иронически хмыкал, я и представить себе не мог, в какую силу они войдут и в какой беспорядок ввергнут страну, лишь только бы у них все было в порядке, лишь бы зажить поцивилизованнее в своей новой, отобранной у кого-нибудь из «бывших» московской квартире. Подумаешь, что страна сжимается, как шагрeneвая кожа, главное, что своя жилплощадь увеличивается... Впрочем, что я мог сделать даже тогда, вначале? Ничего. Но все равно стыдно.

Если б я обладал социальной энергетикой настоящего политика, я бы сегодня организовал новую партию с лозунгом «Смена всех!». К руководству страной должны, разумеется, в результате выборов прийти новые люди — порядочные, умные, государственно и патриотично мыслящие, не причастные к «машкерадным» переворотам, обкомовским номенклатурам, гэбэшнo-диссидентским играм. Да, лично мне не нужен парламент, который живет с президентом, как кошка с собакой, но мне не нужен и президент, который разгоняет парламент.

А новые люди есть, и если то же телевидение вдруг перестанет быть развязно-однопартийным, то через несколько дней мы убедимся в том, что Россия не оскудела талантливыми и преданными Отечеству политиками, состоявшимися или только готовящимися вступить на это поприще. И если кто-нибудь, прочитав эти строки, захочет воплотить в жизнь мои литературно-политические мечтания и создаст партию с лозунгом «Смена всех!» — я тут же вступлю в эту партию, стану «сменовсеховцем» и начну активную работу на низовом, как говорится, уровне — буду ходить по квартирам своего микрорайона и объяснять людям, что, когда тебе стыдно за свое Отечество, дальше ехать уже некуда. Ради такого дела я, не задумываясь, отложу в сторону рукопись новой повести: она подождет до того времени, когда можно будет наконец «не краснеть удушливой волной» за творящееся в России.

Пока — стыдно...

Сентябрь 1993 года.

ОППОЗИЦИЯ УМЕРЛА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОППОЗИЦИЯ!

Записки писателя

...Под выстрелами толпа любопытствующих дружно приседала. Потом кто-то начинал показывать пальцем на бликующий в опаленном окне снайперский прицел. Били пушки — словно кто-то вколачивал огромные гвозди в «Белый дом», напоминавший подгоревший бабушкин комод. А около моста, абсолютно никому не нужный в эти часы, работал в своем автоматическом режиме светофор: зеленый, желтый, красный...

Вечером торжествующая теледикторша рассказывала мне об этом событии с такой священной радостью, точно взяла рейхстаг. Что это было на самом деле — взятие или поджог рейхстага, — покажет будущее. Однако кровавая политическая разборка произошла. В отличие от разборок мафиозных в нее оказались втянуты простые люди, по сути, не имевшие к этому никакого отношения. Я — не политик, я — литератор и обыватель. Мне по-христиански жаль всех погибших. Нынешним деятелям СМИ и тому, что осталось от нашей культуры, когда-нибудь будет стыдно за свои слова о «нелюдях, которых нужно уничтожать». А если им никогда не будет стыдно, то и говорить про них не стоит.

Профессиональное воображение подсказывает мне, какой ад сейчас в душах арестованных. У одних потому, что осознали кровавую цену политического противостояния. У других потому, что хотели большего, а лишились всего. У третьих потому, что представляют себе, как их недруги празднуют свою победу на какой-нибудь правительственной даче. Бог им судья: они сами виноваты, ибо пошли или дали себя повести на крайность — на кровь. Что толкало или подтолкнуло их на это — мы когда-нибудь узнаем. Думаю, произойдет это гораздо раньше, чем полагают многие. Уверяю вас, правда будет отличаться от того мифа, который срочно лепится прямо на наших глазах, как подлинник Ренуара отличается от тех подмалевков, какие продают на художественных толкучках. Не это сейчас главное. Я слушал и участвовал в разговорах людей, толпившихся у «Белого дома», на Смоленке, у Моссовета. Правда, в последнем месте от разговоров спорящих часто отвлекала обильная гуманитарная помощь, раздававшаяся прямо с грузовиков. Так вот: того единодушия, которым отличаются комментаторы ТВ, там не было. Большинство склонялось к тому, что виноваты и те и другие.

Противостояния президента и парламента, двоевластия больше нет, но то неоднозначное отношение к происходящему в стране, которое это противостояние символизировало, осталось. От того, что Мстислав зарезал Редедю пред полками касожскими, ничего не изменилось. Как, впрочем, ничего не изменилось бы, если б Редедя зарезал Мстислава... Поляризация в обществе осталась. Поэтому сейчас нужна не сильная рука, а мудрая голова!

Как справедливо заметил Сен-Жон Перс, плохому президенту всегда парламент мешает. Кстати, на улицах об этом тоже немало говорили. В одной группе спорщиков можно было схлопотать за хулу в адрес президента, в другой — за хвалу. Но все сходились на том, что указы, после которых следует кровь, совсем не то, что нужно стране, уже однажды потерявшей в братоубийственной войне лучших своих людей. И кого сейчас волнует, кто из них был белым, а кто красным?

Итак, оппозиция, пошедшая в штыковую контратаку, уничтожена. Закрыты оппозиционные газеты, передачи, возможно, будут «закрывать» неудобно мыслящих политиков и деятелей культуры... Создатели политических мифов не любят оттенков: у врага в жилах должна течь не кровь, а серная кислота — желательно поконцентрированное. Но, надеюсь, даже активист «Демроссии» не будет спорить, что демократия без оппозиции невозможна. Без оппозиции, действующей, конечно, в рамках закона, выражающей свои политические цели, критикующей находящиеся у власти. В противном случае можно и ГУЛАГ объявить оппозицией Сталину, да и считать впрямь, что его режим был не тоталитарным, а демократическим.

Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!

Конечно, инакомыслящим политикам сейчас трудно высказывать свою точку зрения. Ситуация, когда, говоря словами классика, «где стол был яств — там гроб стоит» — деморализует. И потом, новая оппозиция еще должна оформиться. Не исключаю, что ее будущие лидеры сегодня вместе с Б. Ельциным принимают поздравления, как два года назад вместе с ним же принимали поздравления А. Руцкой и Р. Хасбулатов. Посмотрим.

Я не политик, никогда этим не занимался и, надеюсь, не буду. Я, повторяю, литератор и обыватель, поэтому мне проще говорить об оппозиции. Не о той, что в президиумах, а о той, что в душе. Я хочу воспользоваться неподходящим случаем и сказать о том, что я — в оппозиции к тому, что сейчас происходит в нашей стране. По многим причинам.

Во-первых, потому, что как воздух необходимые стране реформы начались и идут очень странно. Представьте, вы

пришли к дантисту с больным зубом, а он, предъявив диплом выпускника Кембриджа, начал сверлить вам этот самый зуб отбойным молотком. Я за рынок и за частную собственность. Но почему за это нужно платить такую же несусветную цену, какую мы заплатили семьдесят лет назад, чтобы избавиться от рынка и частной собственности?

Во-вторых, меня совершенно не устраивают те территориальные и геополитические утраты, которые понесла Россия на пути к общечеловеческим ценностям. Я очень уважаю исторический и экономический опыт США, но я уверен: вас бы подняли на смех, предложи вы американцам решить их социальные проблемы (а их и там немало) в обмен на хотя бы квадратный километр флоридских пляжей. Я уже не говорю о россиянах, оказавшихся заложниками этнократических игр в странах ближнего зазеркалья. Они-то теперь прекрасно разбираются в общечеловеческих ценностях.

В-третьих, мне совсем не нравится пятисотметровая дубина с бесполом названием «Останкино», которая снова изо дня в день вбивает в голову едному слову. Ее просто переложили из правой руки в левую, но голове-то от этого не легче. Да и толку-то! Уж как коммунисты гордились «небывалым единением советского народа», а что получилось...

В-четвертых, меня берет оторопь, когда я вижу, в каком положении оказалась отечественная культура, как мы теперь догадались, не самая слабая в мире. Гэкачеписты во время путча хоть «Лебединое озеро» крутили. А нынче в перерывах между разъяснительной работой ничего не нашлось, кроме сникерсов, сладких парочек да идиотского американского фильма, по сравнению с которым наш «Экипаж» — Феллини...

В-пятых, я не понимаю, почему учитель или врач должен влачить нищенское существование, когда предприниматель, детей которого он учит и которого лечит, может строить виллы и менять «мерсы», как велосипеды. Я с большим уважением отношусь к предпринимателям, на износ работающим сегодня в своем сумасшедшем и опасном бизнесе. Я никогда не назову такого человека «торгашом» или «спекулянтом». Это особый и трудный талант. Но ведь человек приходит на землю не только для того, чтобы купить дешевле, а продать дороже! И талантливый ученый или квалифицированный рабочий, бросившие все и пошедшие в палатку торговать «жвачкой», — это знак страшной социально-нравственной деградации народа.

В-шестых... Впрочем, думаю, и сказанного довольно.

Не знаю, возможно, преодолеть все эти «ужасы», как выражается моя знакомая, президентской команде действительно

мешал парламент. Поживем — увидим. Если так, я честно признаюсь, что был не прав, и встану под знамена победителей, хотя, думаю, там уже и сейчас нет ни одного свободного места... Но скорее всего дело в ином: наше нынешнее руководство просто не соответствует тем сложнейшим задачам, которые стоят сегодня перед Россией. А плоскостопие лечить посредством ампутации ног — любой сможет. Поэтому, как справедливо говорит президент, нужны новые выборы. А выборы без оппозиции, имеющей доступ к средствам массовой информации, никакие не выборы, а голосование, каковое мы и имели семьдесят лет. Не будете же вы просить девушку выйти за вас замуж, приставив ей пистолет ко лбу?! Конечно, выйдет, если жить хочет. А потом — спать в разных комнатах, бить посуду и подсыпать друг другу тараканьи порошки?..

...От «Белого дома» гнали кого-то с поднятыми руками. Мимо проносили очередного убитого или раненого. Мальчишки втихаря вывинчивали золотники из колес брошенных машин. А светофор все так же работал в автоматическом режиме: красный, желтый, зеленый...

7 октября 1993 года

РОССИЯ НАКАНУНЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО БУМА

Литературные мечтания

Со словом «патриот» за последние годы произошли странные вещи. Уважаемые деятели культуры уверяли нас, будто патриотизм чуть ли не зоологическое чувство, характерное более для кошки, нежели для человека. В газетных шанках различные производные от этого слова появлялись, как правило, в тех случаях, когда речь заходила о каком-нибудь политическом дебоше. Если в просвещенной компании человек лепетал, что социализм, конечно, не мед, но зачем же всю нашу новейшую историю мазать дегтем, как ворота не соблюдающей себя девицы,— его, морща нос, тут же спрашивали: а не патриот ли он, часом? Наконец, меня просто добил эпизод, когда теледикторша с чувством глубочайшего, доперестроечного удовлетворения сообщила, что, по последним социологическим опросам, патриотов поддерживает всего один процент населения.

Никогда не поверю, что у нас в стране столь ничтожное число людей, обладающих патриотическим сознанием. В таком случае России давно бы уже не было, а была бы огромная провинция «недвижного» Китая или независимой Украины. Тут налицо явная подмена понятий. В минуты семантических сомнений я всегда обращаюсь к словарю Даля. Открываем и находим: «Патриот — любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник...» Как будто все ясно, и слово-то хорошее, чистое, а тем не менее превратилось в политическое, да и в бытовое ругательство. «За что, Герасим? — спросила Муму» — как написано в одном школьном сочинении.

Было за что. Напомню, в прежние времена это слово употреблялось в устойчивом сочетании — «советский патриотизм». Дело тут не в эпитете, который в те годы лепился ко всему: советская литература, советская женщина, советский цирк... Тут проблема гораздо сложнее и тоньше. Но сначала сделаю небольшое отступление. Когда я впервые попал в США и пообщался с тамошними рядовыми налогоплательщиками, то обратил внимание на их своеобразный патриотизм — яркий, демонстративный, напористый — с непременным звездно-полосатым флагом перед домом. Но мне показалось, это была не «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», а скорее

любовь к социально-политическому устройству своей страны. Это патриотизм эмигрантов, которые на новом месте зажили лучше, чем на прежнем.

А теперь я хочу предложить читателю одну гипотезу. Мы помним, что Ленина, большевиков всегда грел американский опыт. Обратились они к нему и тогда, когда, говоря по-нынешнему, обдумывали концепцию нового патриотизма без самодержавия, без православия, без народности в стране победившего пролетариата. Поначалу, правда, пытались обойтись одной классовой солидарностью, но мировая революция как на грех запаздывала. А лозунг «Штык в землю!» хорош, пока ты борешься за власть, а когда ты ее взял и хочешь удержать, необходим совсем другой лозунг, например: «Социалистическое Отечество в опасности!»

Итак, обдумывая эту новую концепцию, большевики, предполагаю, вспомнили об опыте американского, назовем его условно «эмигрантского», патриотизма. Ведь, по сути, 150 миллионов подданных исчезнувшей Российской империи в результате революционных преобразований, оставаясь на своей отеческой земле, на родном пепелище, стали переселенцами, эмигрантами, ибо очень скоро очутились в совершенно новой стране, с совершенно иным устройством и принципами жизни. И если «передовому» россиянину начала XX века полагалось не любить Отечество из-за его реакционной сущности и даже желать ему поражения в войне, то теперь, он, напротив, был обязан горячо любить советскую Россию за новое, передовое устройство. Очень хорошо это прослеживается у Маяковского. «Я не твой, снеговая уродина» — до Октября. «Читайте, завидуйте...» — после Октября. А ведь речь-то шла о той же самой стране — с той же историей, культурой, ландшафтом, населением, правда, сильно поистребленным. Этот новый «эмигрантский», то бишь советский, патриотизм был внедрен в умы и души настойчиво, талантливо, стремительно. И не надо сегодня, задним числом, преуменьшать привлекательность тогдашних коммунистических лозунгов, идей, символов. На них купились не только в России. Вспомните, ведь и Есенин совершенно искренне писал: «За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ламанша». Любопытно, что не до Босфора и Дарданелл... Правда, в другом месте великий поэт уточнял: «Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам». За это и поплатился, как и тысячи других, надеявшихся совместить новый советско-«эмигрантский» патриотизм с прежним — назовем его так же условно «отеческим». И не могли не поплатиться: у выпученных рачьих глазок агитпропа всегда были безжалостные чекистские клешни.

Но совмещение, взаимопроникновение этих двух патриотизмов все равно произошло, ибо новое, как всегда, возводилось на старом фундаменте, подобно тому как заводские клубы строились на фундаментах снесенных церквей. В конце концов этот подспудно шедший процесс совмещения возглавила и подстегнула сама новая власть. Когда? Когда подступила Великая Отечественная. Заметьте, Отечественная, а не пролетарская или социалистическая. Поднять и повести в бой нужно было всех, до единого, даже пострадавших, униженных новой властью. Заградотряд может остановить отступающего, но на смерть ведет любовь к Отечеству. В последней фразе есть, конечно, пафосная условность, но есть и неоспоренная истина. И вот тогда-то до зарезу понадобились такие, например, строчки сотрудника газеты «Сокол Родины» Дмитрия Кедрина:

Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья —
Тихая царевна Несмеяна —
Родина неяркая моя!

Несмеяна? Да за такое еще год-два назад отрывали голову. Но теперь голову могли оторвать сидевшим в Кремле — и это меняло ситуацию!

Разумеется, все было не так просто и однозначно. После войны были чудовищная кампания против космополитов и не менее чудовищное «ленинградское дело», преследовавшее как раз противоположные цели, но процесс, как говорится, пошел... Кстати, можно вообще нашу культурную жизнь последних трех-четырёх десятилетий проанализировать с точки зрения «единства и борьбы двух патриотизмов». Тогда гораздо понятнее станут и приснопамятная статья А. Н. Яковлева в «Правде» в 70-е, и пресловутое письмо группы литераторов, направленное против «Нового мира», возглавляемого А. Твардовским, и многое-многое другое. Но это тема серьезного исследования, которое по плечу не мне, дилетанту, а специалисту-культурологу.

Одно можно сказать с уверенностью: каким бы гремучим синтез этих двух патриотизмов ни был, режим он обслуживал. Хотя, конечно, на плацу клялись в верности социалистической Родине, а любили все-таки «стойбище осеннего тумана».

Сегодня даже политическому младенцу ясно: когда наметилось принципиальное изменение политического и экономического устройства нашей страны, этот патриотизм был обречен, ибо являлся немаловажной частью всего каркаса, державшего систему. Конечно, сначала говорили о социальной справедливости и социализме с человеческим лицом, но исподволь, а потом все откровеннее стала внушаться мысль, что эту страну

любить нельзя. Эту страну — с кровавым усатым деспотом на партийном троне, с гугаговскими бараками, с тупыми людьми, стоящими в драчливых очередях за водкой, с вечным дефицитом всего элементарного, с искусством, осуществляющим непрерывный куннилингус власти... И ведь с точки зрения прагматичного «эмигрантского» патриотизма это было абсолютно верно: обещали рай земной, а что нагородили! В общем, как семьдесят лет назад людей напористо выучили любить свою советскую Родину, так теперь столь же стремительно отучили. Эта взлелеянная нелюбовь стала идейно-эмоциональной основой для таких грандиозных процессов, как распад Союза, отстранение от власти компартии, изменение геополитического положения нашей страны в мире...

И когда упоенная теледикторша сообщает, что всего один процент населения поддерживает патриотов, она имеет в виду, что подавляющая часть граждан (тут сделаем поправку на непредсказуемость наших социологических методик) разочаровалась в советском патриотизме, т. е. разлюбила бывшее социально-политическое устройство своей страны. Но ведь это совершенно не значит, что 99 процентов населения разлюбилн свою страну, что они не переживают распад державы, что их радует утрата исконных земель и 25 миллионов россиян, оказавшихся за границей. Это совсем не значит, будто их устраивает наша страусино-аллигаторская экономическая политнка, наше вялое «чего изволите» на мировой арене, упадок российской культуры, без всякой поддержки оставленной один на один с обильно финансируемой западной массовой культурой, от которой сами западники не знают, куда спрятаться. А если вести речь об оборонной доктрине, то, извините, чего стоит присяга Отечеству, если его «передовому» человеку и любить-то неловко? Генералы рыдают, что срываются призывы, — я вообще удивляюсь, что хоть кто-то в такой атмосфере надевает на себя военную форму! Зачем? Разве для того, чтобы за большие деньги пострелять из пушки по собственному парламенту!

Но шутки — в сторону! Я берусь утверждать, что, несмотря на жесточайшую спецобработку общественного сознания, патриотизм никуда не делся, а просто временно перешел (даже в душах) на нелегальное положение — ситуация постыдная и чрезвычайно вредная для государства.

Кто в этом виноват, мы вроде худо-бедно разобрались. Теперь самое главное: что делать? На первый взгляд проще всего — спешно приучать людей любить наше новое социально-политическое устройство. Но ведь его пока попросту нет — руины. А те реформы, что успели наколбасить, подавляющей части населения тоже любить не за что — нищаем.

Вот и наши записные рыночники, которые три года назад уверяли, что хватит-де жить верой в светлое завтра, горбатиться на потомков, теперь, решив свои личные проблемы, с той же аввакумистостью запели про то, что рынок построить — не фунт изюму съесть, что процесс этот длительный, а ради счастья детей и внуков можно потерпеть и подзятнуть пояса, стоически проходя мимо обильных витрин. (На «Березках» хоть глухие шторы висели.) Лично я ради свежеотпущенной бородки Г. Попова и тимуровского оптимизма Е. Гайдара терпеть не собираюсь. Ради будущего моего Отечества — дело другое!

А теперь, догадливый читатель, надо ли объяснять, что без новой концепции патриотизма не обойтись, особенно теперь, когда двоевластие закончилось, когда завершена, кажется, битва за гаечный ключ и теперь уже совершенно ясно, кто персонально будет затягивать гайки разболтавшейся государственной конструкции. Да, время лозунга «Баллистическую ракету — в землю!» закончилось. Наступает эпоха лозунга «Демократическое Отечество в опасности!» Не пугайтесь, наши дорогие зарубежные благожелатели, думаю, поисков внешнего врага не предвидится — не до жиру. обойдемся врагом внутренним. Но суть от этого не меняется: укрепившейся новой власти теперь до зарезу понадобится возрождение патриотического чувства, которое, собственно, и делает население народом и заставляет людей терпеть то, чего без любви никто терпеть не станет.

Каким он будет, этот новый патриотизм? «Отеческим», новой разновидностью «эмигрантского» или, скорее всего, «синтетическим»? Не знаю. Будет ли отмыто загаженное прекрасное слово «патриот» (месяц активной работы ТВ) или возьмут что-нибудь новенькое, вроде далевского «отчизнолюбя»? Не знаю. Кто будет разрабатывать и внедрять новую концепцию — те же люди, что изничтожили старую, или посовестятся и призовут новых людей, незапятнанных? Не знаю, хотя, увы, догадываюсь... Одно я знаю твердо. Мы с вами, соотечественники, живем в канун патриотического бума.

Декабрь 1993 года

ЗРЕЛИЩЕ

«Каждый народ имеет такое правительство, которое заслуживает» — эта фраза стала уже банальностью. Поругивать человеческий материал, выпавший на их долю, среди государственных мужей стало навязчивой традицией. Ну, а если перевернуть формулу — каждое правительство имеет такой народ, который заслуживает? И в самом деле, давайте порассуждаем о том, какое влияние моральный облик властей предержавших (да простится мне сей старорежимный оборот!) оказывает на общественную мораль, а следовательно, и на всю жизнь общества.

Что и говорить, политический театр минувшей эпохи был крайне скуп на выразительные средства. Хотя, конечно, мы догадывались, что за внешним единодушием президиума съезда, напоминающего в этом своем единодушии большой академический хор, скрываются подлинно шекспировские страсти. Но что мы знали? Вот пошли слухи, что у члена Политбюро имярек сынок что-то там выкинул за границей. Ну, стал не сумевший достойно воспитать сына имярек реже появляться в телевизоре, потом строчка в газете «освобожден в связи...». Дальше — работы в телогрейках изымают его канонический портрет из длинного ряда портретов где-нибудь на Ленинском проспекте, бросают в грузовик и увозят. А ведь в 37-м в грузовике увезли бы труп! Конечно, мы не были наивными и понимали: сын тут ни при чем или почти ни при чем — идет политическая борьба, а это всегда — торжище и игрище. Но в застойный период она не была зрелищем, и поэтому тогдашние деятели своим личным моральным примером не оказывали прямого воздействия на общественную нравственность. Еще памятная всем формула «партия — ум, честь, совесть нашей эпохи» оказалась роковой: ведь отсутствие вышеперечисленных качеств связывалось в общественном сознании не с конкретными деятелями коммунистического и международного рабочего движения, а с партией как с политической силой. Именно поэтому она так вдруг потеряла власть. Именно поэтому неотвратимое народное возмездие тоталитаризму закончилось ритуальной посадкой Чурбанова. Именно поэтому большинство президентов в подразделениях СНГ — это бывшие крупные партийные функционеры. Да, политические спектакли прошлой эпохи шли при

опущенном занавесе. И вдруг занавес поднялся — оставаясь торжищем и игрищем, политика в нашей стране стала еще и зрелищем!

Помните бесконечные трансляции съездов, которые поначалу смотрелись как «Просто Мария»? Вот Горбачев запросто переругивается с депутатом, запросто лезущим на трибуну. А вот самого Сахарова сгоняют с трибуны за общегуманистическую неуместность! А вот Ельцин публично объясняется по поводу своего исторического падения с моста! А вот Оболенский самовыдвигается в президенты! А вот Бондарев произносит свою пророческую метафору про самолет, который взлетел, не ведая, куда будет садиться! А вот уже и чета Горбачевых, точно погорельцы, спускаются по самолетному трапу... Одним словом, большая политика из тайной стала у нас настолько явной, что закончилось все пушечной пальбой по парламенту на глазах у потрясенной отечественной и мировой общественности.

Эта зрелищность большой политики повлекла появление на сцене совершенно нового типа деятеля, разительно не похожего на тех, что мы видели прежде. Вспомните хотя бы Громыко, который во время своих редких телевизионных выступлений говорил так медленно, будто за каждым новым словом ему приходилось отлучаться в соседнее помещение. А ведь то был золотой интеллектуальный фонд тогдашнего Политбюро! Как же нас всех тогда поразил новый генсек, говоривший быстро-быстро и без бумажки! К общеизвестным неправильностям его речи мы относились снисходительно, хотя месяца работы со специалистом хватило бы, чтобы наш первый президент заговорил на хорошем мхатовском уровне. Думаю, тут сказалась та нетребовательность к себе, которая и привела к преждевременному уходу Горбачева из большой политики.

А потом вдруг выяснилось, что можно быстро-быстро и без бумажки говорить не только на родном, но даже и иностранном языке, ибо если прежде для успешной карьеры требовалось поработать на комбайне или помесить раствор, то теперь — окончить спецшколу и пройти стажировку за границей. Впрочем, если б отцы не месили раствор, то вряд ли их дети стажировались бы за границей. Как заметил классик, каждое новое поколение стоит на плечах предыдущего, не надо только вытирать о предшественников ноги... Как мы гордились Гайдаром, когда он где-то в европах говорил по-английски без переводчика, хотя, полагаю, по протоколу надо бы как раз с переводчиком, но, как говорится, понты дороже денег! Впрочем, Гайдар принадлежал уже к новому поколению и отлично сознавал, что является персонажем зрелищной политики. Лично я просто восхищен тем, как оперативно избавился он от своего

пресловутого причмокивания. Оставалось еще стремительно похудеть в соответствии с резким обнищанием народа, но не будем отчаиваться — его политическая карьера еще не закончена!

О том, что за власть держатся до последнего, общеизвестно. Но как именно за нее держались в застойные годы, можно было только догадываться, взирая на задыхающегося Черненко. Теперь мы это увидели ясно и четко — вплоть до побелевших от напряжения пальцев, намертво вцепившихся в государственное кресло. А помните, что они говаривали нам в сладкую пору оболъщения: мол, власть для них не самоцель, а тяжелая ноша, что, мол, если что-нибудь не получится, они тут же куда-нибудь уедут за рубеж преподавать и т. д. А теперь вспомните, как всем им не хотелось расставаться с тяжелой ношей, и, даже выпихнутые из тронной залы, никуда они не уехали, а толпятся в комнате ожидания, надеясь снова вернуться, хотя, насколько я понимаю, мы с вами уже давно их об этом не просим.

Однако и у прежнего, и у нынешнего поколения политиков есть одна общая, неискоренимая, чисто большевистская черта — неумение и нежелание признавать свои ошибки. То, что реформы не вышли, а если и вышли, то только боком, сейчас признано всеми, включая и тех, кто эти реформы затевал. Вы слышали хоть слово извинения, хоть лепет раскаянья: «Мол, простите, люди русские и нерусские, бес попутал!» Лично я не слышал. Наоборот, те самые парни, что учудили нынешний развал и оскудение, не вылезая из телевизора, учат нас, как жить, говоря сегодня обратное тому, что провозглашали еще недавно. Говорят, все сказанное не исчезает, но витает где-то в околоземном пространстве. Представляете, каково словам Собчака-91 встречаться там со словами Собчака-94?

А теперь призадумаемся, может ли такое поведение на самом верху не отразиться на нравах в обществе? О каком патриотизме и государственном подходе к делу «новых русских» может идти речь, если они, еще сидя в своих первых палатках где-нибудь возле Курского вокзала, усвоили, что эти ребята там, на Олимпе, занимаются тем же самым, но только в особо крупных размерах. Трудно осуждать мелкого или среднего предпринимателя, перегоняющего свои капиталы на Запад, если он постоянно слышит не опровергаемые (или неопровержимые?) факты о гигантских счетах за границу, о каких-то странных лицензиях, о родственниках, перебравшихся за рубеж и там прекрасно натурализовавшихся. Весь год, предшествовавший октябрьским событиям, высокопоставленные бойцы противоборствующих станов обливали друг друга тщательными аргументированными помоями. Когда схватка закончилась, никто

не стал отмываться, а все сделали вид, что ходить с повисшей на вороту бранью — просто новый стиль одежды. О том, как этот новый стиль отразится на миропонимании рядового налогоплательщика, никто не озаботился.

Но, конечно, самое губительное воздействие на общественную мораль оказали уже поминавшиеся нами октябрьские события прошлого года в Москве. Ведь суть этих событий, давайте сознаемся, заключается в том, что одним махом было зачеркнуто то, что Бердяев очень точно назвал «преодолением большевизма». А ведь это был длительный, мучительный процесс, вобравший в себя и государственническую переориентацию режима в 30-е годы, и возвращение к патристическому сознанию во время войны, и хрущевскую «оттепель», и неуклюжую либерализацию при Брежневе, и горбачевский апрель... Как холостой выстрел «Авроры» вверг страну в гражданскую войну, так нехолостые залпы на Краснопресненской набережной ввергли, а точнее вернули нас в ту страшную эпоху, когда господствовал принцип, сформулированный писателем-гуманистом: «Если враг не сдается, его уничтожают». Любопытно, что среди тех, кто подталкивал исполнительную власть к крутым мерам, было немало писателей, полагавших, а может, и продолжающих полагать себя гуманистами. А теперь попробуйте упрекнуть преступника, на заказ застрелившего строптивного банкира. «Эге,— скажет он,— заказное убийство из пистолета — плохо, а из пушек — хорошо?» И будет, как ни стыдно признаться, по-своему прав!

Вот к чему приводит зрелищность в политике, когда персонажи забывают, что их пример заразителен. И мне почему-то вспомнился рассказ какого-то мемуариста о том, как в первые годы советской власти какой-то красноармеец, сидя в театре, так вознегодовал на шиллеровского негодяя, что вскинул винтовку и застрелил актера наповал. Но наши нынешние политики не актеры, а мы не зрители. Вот о чем хорошо бы помнить, составляя меморандумы о гражданском мире, иначе все это окажется очередным никого ни к чему не обязывающим зрелищем. Впрочем, у В. И. Даля можно найти синоним к слову «зрелище» — «позорище», но в этом своем забытом значении он сегодня в русском языке не употребляется. А жаль...

4 мая 1994 года

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕМГОРОДОК. <i>Выдуманная История</i>	5
АПОФЕГЕЙ. <i>Повесть</i>	121
ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА. <i>Повесть</i>	211
РАССКАЗЫ И СТАТЬИ	
Ветераныч	319
▶ Апофегмы	334
▶ Томление духа	343
Об эротическом ликбезе и не только о нем	354
Из клетки в клетку	365
И сова кричала, и самовар гудел	370
От империи лжи — к республике вранья	374
«Готтентотская мораль»	378
Почему я вдруг затосковал по советской литературе. <i>Преждевременные мемуары</i>	383
Снова «кафейный» период. <i>Заметки писателя</i>	388
Я не люблю иронии твоей	392
Смена всех. <i>Своевременные мысли</i>	397
Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция! <i>Записки писателя</i>	402
Россия накануне патриотического бума. <i>Литературные мечтания</i>	406
Зрелище	411

Поляков Юрий Михайлович
ДЕМГОРОДОК:
Выдуманная История

Заведующий редакцией *В. М. Подугольников*
Редактор *Н. Б. Чунакова*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 9798

ЛР № 010273 от 10.12.92.
Сдано в набор 13.04.94. Подписано в печать 14.07.94.
Формат 84x108¹/₁₆. Бумага офсетная № 2.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 23,69. Тираж 20 000 экз.
Заказ № 4558. С 068.

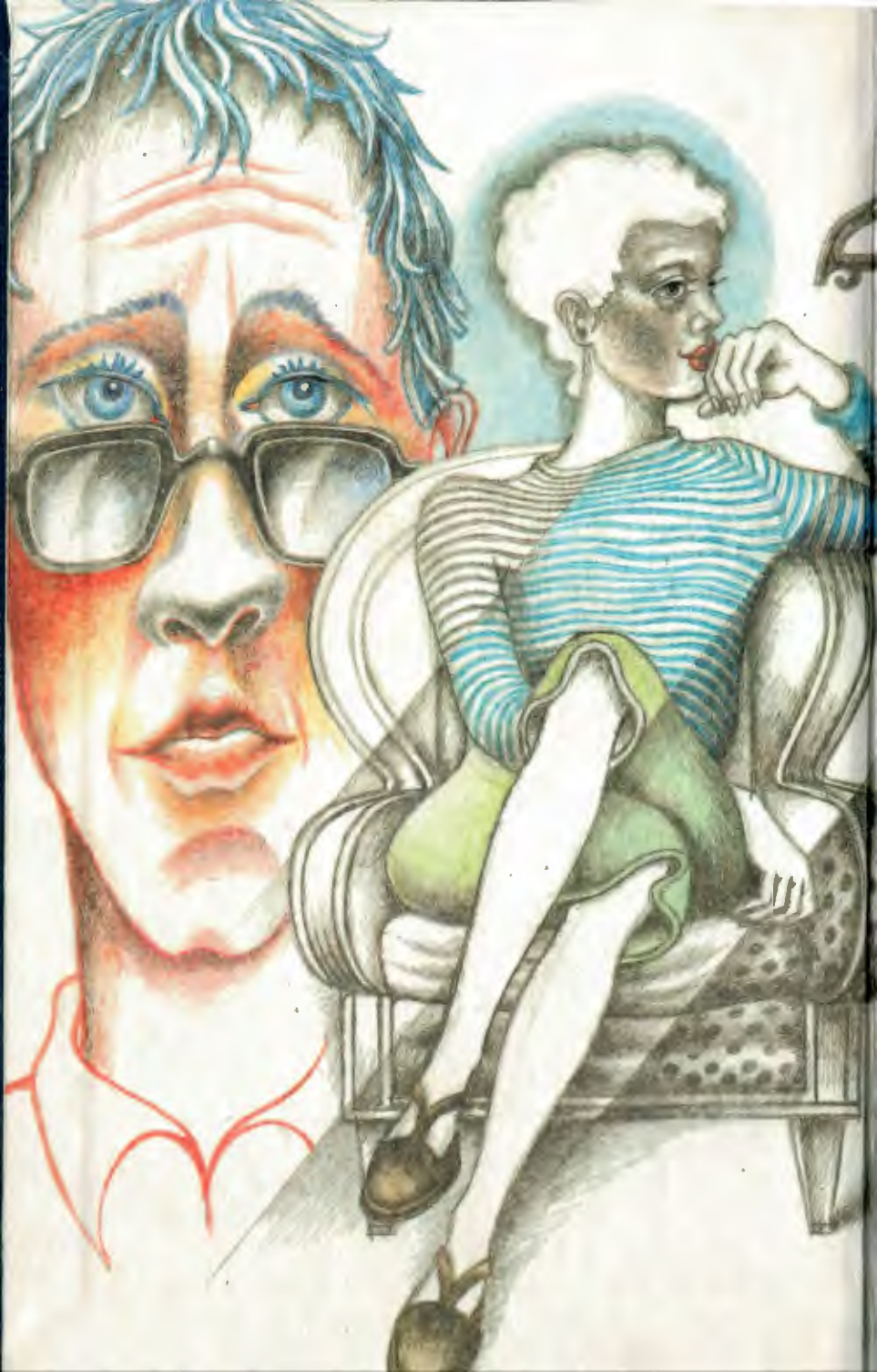
Российский государственный
информационно-издательский Центр «Республика»
Комитета Российской Федерации по печати.

Издательство «Республика».
125811, ГСП, Москва, А-47, Мнусская пл., 7.

Полиграфическая фирма
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

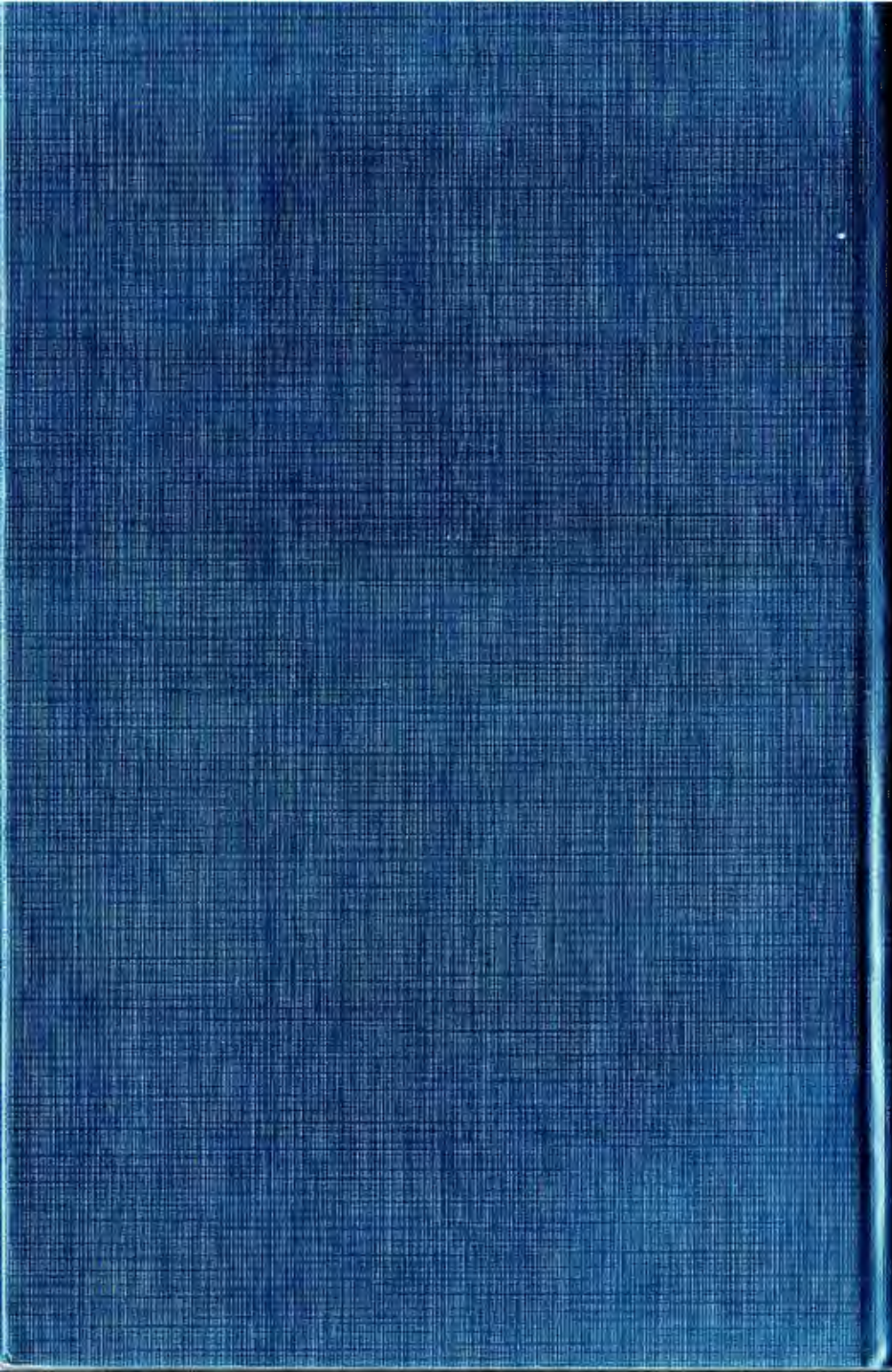


ИДЕЯ
АПОФЕГЕЙ



Парижская
любовь
Кости Гуманкова





Избавитель Отечества

